Константин Симонов

Сто суток войны

От автора

На протяжении войны я был военным корреспондентом. Насколько позволяла обстановка, я делал на фронте краткие записи в блокнотах, а потом в Москве между командировками передиктовывал их стенографистке, восполняя недостающее по памяти. Часть фронтовых блокнотов сохранилась, часть при разных обстоятельствах пропала. Все, что было продиктовано, сохранилось полностью.

Записи за июнь — сентябрь 1941 года, которые я сейчас предлагаю вниманию читателей, были продиктованы в марте — апреле 1942 года. В этот период весеннего затишья на фронте я около месяца работал в Москве, в редакции «Красной звезды» и урывками диктовал свои записки работавшей там во время войны дежурной стенографистке, ныне покойной, М. Н. Кузько.

Небольшая часть этих записок с существенными купюрами была опубликована сразу после войны — летом 1945 года; несколько страниц вошло в 1965 году в мою книжку «Каждый день — длинный».

Сейчас, при публикации записок, я исправил в них бросавшиеся в глаза стилистические погрешности и сделал купюры личного характера.

На страницах записок отражена точка зрения, сложившаяся у меня к марту — апрелю 1942 года.

И когда читатель будет встречаться в тексте записок с такими оборотами речи, как: «Сейчас, когда я знаю…» или «Теперь, когда выяснилось, что…» — пусть он помнит, что все эти «сейчас» и «теперь» относятся к весне 1942 года. Позади оставались поражения первых месяцев войны, победа под Москвой и наше зимнее, уже начавшее выдыхаться наступление. Впереди были тяжелые весна и лето 1942 года — Керчь, Харьков…

В начале Великой Отечественной войны мне было двадцать пять лет. Сейчас — пятьдесят.

Готовя записки к печати, я испытал потребность высказать мои нынешние взгляды

на события того времени — это сделано в комментариях.

В них читатели найдут также ряд фактических уточнений. Я сделал это в комментариях, а не в тексте, потому что наше тогдашнее незнание или неверное толкование многих фактов есть историческая черта того времени, и, чтобы наглядно ее обнаружить, я предпочел комментировать, а не исправлять написанное мною тогда.

В тех случаях, когда мне это удалось, я постарался проследить дальнейшие судьбы людей, с которыми я встречался в 1941 году, и историю частей, в которых был.

Если верно, что нельзя оценивать события сорок пятого года, упуская из памяти сорок первый год, — в такой же мере верно и обратное — невозможно осмыслить события начала войны, не памятуя о падении Берлина. Хотя погибшие в сорок первом так и не узнали об этом.

Сто суток войны

Записки

Двадцать первого июня меня вызвали в Радиокомитет и предложили написать две антифашистские песни. [1] Так я почувствовал, что война, которую мы, в сущности, все ждали, очень близка.

О том, что война уже началась, я узнал только в два часа дня. Все утро 22 июня писал стихи и не подходил к телефону. А когда подошел, первое, что услышал: война.

Сейчас же позвонил в Политуправление. Сказали, чтоб позвонил еще раз — в пять.

Шел по городу. Люди спешили, но, в общем, все было внешне спокойно, только по-особенному нервно.

Был митинг в Союзе писателей. Во дворе столпилось много народу. Среди других были многие из тех, кто, так же как и я, всего несколько дней назад вернулся из лагерей после окончания курсов военных корреспондентов. Теперь здесь, во дворе, договаривались между собой, чтоб ехать на фронт вместе, не

разъединяться. Впоследствии, конечно, все те разговоры оказались наивными, и разъехались мы не туда и не так, как думали.

На следующий день нас — первую партию — человек тридцать вызвали в Политуправление и распределили по газетам. Во фронтовые — по два, в армейские — по одному. Мне предстояло ехать в армейскую газету. Было немножко неожиданно это предстоящее одиночество. Писательское, конечно.

Потом до вечера был в Наркомате. Там выписывали документы: мне в армейскую газету 3-й армии. Получили документы и обмундирование. Оружия не дали, сказали: достанете на фронте. Там, в вещевом цейхгаузе, я в последний раз видел тех, с кем мы разъезжались.

Шумели, примеряя военную форму. Были очень оживлены, может быть даже слишком, нервничали.

Шинель впопыхах выбрал себе не по росту, и пришлось ее на следующее утро, 24-го, менять в военторге. Там в последний раз видел Долматовского. Он покупал шпалы. Так и простились с ним посреди магазина.

В эту ночь — с 23-го на 24-е — была первая воздушная тревога, как потом оказалось — учебная. [2] Все это, конечно, были игрушки, но я тащил детей с пятого этажа вниз, в убежище, и мне все это казалось тогда чрезвычайно серьезным.

Двадцать четвертого, еще засветло, ездил на вокзал, чтобы оформить до Минска свои литеры, но места так и не добился, только узнал, когда пойдет поезд. Решил, что как-нибудь сяду. Было настроение проститься с Москвой сегодня и не откладывать отъезда еще на день.

Вечером в Москве было абсолютно темно. Машину, в которой я ехал на вокзал, задержали: шофер ехал с какими-то не такими предохранительными сетками, которые положено было иметь. К счастью, подвезла другая машина, и в последнюю минуту я все-таки попал к поезду, отходившему на Минск. Верней, думал, что в последнюю минуту, потому что поезд ушел только через два часа.

На вокзале кое-где горели синие лампочки. Первые признаки неразберихи и беспорядка. Черный вокзал, толпа людей, не понятно, когда, куда и какой идет поезд, какие-то решетки, через которые не пускают. Перебросил чемодан, потом

перелез сам.

Шинель была хорошо пригнана, ремни скрипели, и мне казалось, что вот таким я всегда и буду. Не знаю, как другие, а я, несмотря на Халхин-Гол, в эти первые два дня настоящей войны был наивен, как мальчишка.

Поезд тронулся. Вагоны были — неизвестно почему — дачные, без верхних полок, хотя поезд шел до Минска.

Я должен был явиться в политуправление фронта в Минске, а оттуда — в армейскую газету 3-й армии. В вагоне ехали главным образом командиры, возвращавшиеся из отпусков. Было тяжело и странно. Казалось, что половина Западного военного округа была в отпуску. Я не понимал, как это случилось. Впрочем, не понимаю этого и до сих пор.

Ехали ночь на 25-е и весь день 25-го. Вечером в Орше бомбили, но где-то далеко от поезда. 26-го, вернее в ночь на 26-е, поезд подошел к Борисову. Известия с каждым часом были все тревожнее. И, надо сказать, мы быстро привыкали к ним, хотя им и трудно было поверить.

Рядом со мной в вагоне сидели полковник-танкист и его сын, мальчик лет шестнадцати, которого отцу разрешили взять с собой в армию. Кроме них — один артиллерийский капитан, по виду спокойный человек.

Слезли в Борисове в шесть утра. Дальше поезда не шли. Были сведения, что пути до Минска разбомблены и в каком-то месте перехвачены десантом. [3] Как потом говорили, 26-го немцы уже вышли на железную дорогу между Минском и Борисовом, обойдя Минск. Но тогда нам это еще не приходило в голову, думали: десант. Мы вылезли прямо у станции, свалили в кучу чемоданы. Сын полковника заботливо помогал старшим устроиться с харчами. Все вытащили всё, что было, и ели вместе. Кто-то вдруг притащил бочонок сметаны. Черпали сметану котелками, кружками и даже касками. По сути дела, было в этом что-то грустное. Внешне как будто ничего особенного, а в сущности: эх, где наше не пропадало!

Поев, три часа метались по городу в поисках какой-нибудь власти. Ни комендант станции, ни комендант города ничего не могли сказать. Начальник гарнизона, корпусной комиссар Сусайков, был не то в городе, не то у себя в бронетанковом училище, которым он командовал, километрах в двенадцати от города.

Чтобы не нарушать структуру книги, примечания оставлены как в источнике — отдельной частью, а сноски выделены как главы в ней — прим. верстальщика.

После долгих поисков мы с артиллерийским капитаном поймали пятитонку, шофер которой готовился бросить ее из-за того, что кончался бензин, и поехали по Минскому шоссе искать хоть какое-нибудь начальство.

Над городом крутились самолеты. Была отчаянная жара и пыль. У выезда из города, возле госпиталя, я увидел первых мертвых. Они лежали на носилках и без носилок. Не знаю, откуда они появились. Наверное, после бомбежки.

По дороге шли какие-то войска и машины. Одни в одну сторону, другие — в другую. Ничего нельзя было понять.

Выехали из города, но там, где стояло бронетанковое училище, верней должно было стоять, и где, по нашим расчетам, мог находиться начальник гарнизона, все было настежь распахнуто и пусто. Стояли только две танкетки, и в ожидании отъезда сидели в одной из пустых комнат их экипажи. Никто ничего не знал. Начальник гарнизона, по слухам, был где-то на Минском шоссе, а училище было уже эвакуировано.

Поехали обратно в город. Немецкие самолеты гонялись за машинами. Один прошел над нами, строча из пулемета. От грузовика полетели щепки, но никого не задело. Я плюхнулся в пыль, в придорожную канаву.

Вернулись в комендатуру. Комендант — какой-то старший лейтенант — кричал: «Закопать пулеметы!» За два часа нашего отсутствия многое переменилось. Была уже паника. По городу шли и бежали неизвестно куда какие-то люди.

Я попросил коменданта выдать мне наган. На это комендант мне ответил: «Эх! Что бы вам обратиться раньше на полчаса. Ничего не осталось. Все за час роздали. Даже маузеры раздавали рядовым бойцам».

В нашей машине бензин действительно был уже на исходе. Узнав, где находится нефтебаза — она была где-то примерно в пятнадцати километрах от Минска, — поехали туда за бензином. По дороге подсадили в машину какого-то интенданта и еще двух-трех военных.

На нефтебазе все оказалось спокойно, хотя по дороге нас уверяли, что там уже немцы. Пока мы ведрами заливали бензин в машину, капитан пошел к начальнику

нефтебазы что-то выяснить. Войдя вслед за ним, я увидел странную картину: капитан и какой-то подполковник держали под взведенными наганами двух командиров в форме саперов. Один из них был с орденами. У обоих было отобрано оружие. Как впоследствии оказалось, их прислали сюда выяснить возможность подрыва нефтебазы, и не то они перепутали и явились уже подрывать ее, не то их не так поняли, в общем, вышло какое-то недоразумение, из-за которого капитан и подполковник приняли их за диверсантов и пять минут держали под револьверными дулами. Когда все наконец выяснилось, один из саперов — немолодой майор с двумя орденами — стал кричать, что с ним еще никогда такого не было, что он три раза был ранен в финскую кампанию, что после такого позора ему остается только застрелиться. С трудом удалось его успокоить.

Заправившись бензином, поехали обратно. На переезде стоял длиннейший состав, загораживавший дорогу. Голова его упиралась в хвост другого состава, загораживавшего следующий переезд. И так, кажется, до бесконечности. Двое из сидевших в кузове нашей машины стали кричать и требовать, чтобы мы бросили машину и шли пешком, потому что поезда никогда не пойдут и нас тут настигнут немцы. Мы с капитаном на них накричали.

Но, действительно, пришлось ждать около часа. Где-то бухала артиллерия. Было отвратительное ощущение неизвестности, а у меня к тому же — безоружности. Болтавшаяся на боку пустая кобура только раздражала.

Когда мы снова добрались до города, комендатура грузилась. На мой вопрос, что происходит, комендант охрипнувшим голосом прокричал:

— Есть приказ маршала Тимошенко оставить Борисов, перейти на ту сторону Березины и там, не пуская немцев, защищаться до последней капли крови!

Мы выехали из города. По пыльной дороге на восток шли машины, изредка — орудия. Двигались пешком люди. Теперь все уже направлялись только в одну сторону — на восток.

На дамбе, перед мостом, стоял совершенно растрепанный человек с двумя наганами в руках. Он останавливал людей и машины и, вне себя, грозя застрелить, кричал истерическим голосом, что он — политрук Петров — должен остановить здесь армию, и он остановит ее и будет убивать всех, кто попробует

отступить. Этот человек был искренен в своем отчаянии, но все это вместе взятое было нелепо, и люди равнодушно ехали и шли мимо него. Он пропускал их, хватал за гимнастерки следующих и опять грозил застрелить.

Переехав через мост, мы свернули с дороги и остановились в небольшом редком лесу, метрах в шестистах от реки. Здесь уже кишмя кишело народом. Как мне показалось тогда, беглецов и дезертиров было мало. По большей части командиры и красноармейцы, ехавшие из отпусков обратно в части. А кроме них — бесконечное количество призванных, упорно двигавшихся на запад, на свои призывные пункты.

Было уже часа четыре дня. Несколько полковников, в том числе и тот полковник-танкист Лизюков, с которым я ехал в одном вагоне, наводили в лесу порядок. [4] Составляли списки, делили людей на роты и батальоны и отправляли налево и направо вдоль берега Березины занимать оборону. Было много винтовок, несколько пулеметов и орудий.

Артиллерийский капитан, с которым я ехал, отправился еще раз обратно в Борисов за снарядами к пушкам, потому что хотя здесь были и пушки и снаряды, но калибр снарядов не соответствовал калибру орудий.

Я загнал машину в лес и пошел записываться. Записавшись, встретил военного юриста, кажется, прокурора какой-то дивизии, который тоже ехал со мной в одном вагоне. Он сказал мне, что ему приказали заниматься тут его прокурорскими делами, и посоветовал мне быть при нем: «Ведь не газету же здесь выпускать». Через несколько минут он притащил мне откуда-то винтовку со штыком, но без ремня, так что мне все время приходилось держать ее в руках.

Через полчаса после того, как я попал сюда, немцы с воздуха обнаружили наше скопление и стали обстреливать лес из пулеметов. Волны самолетов шли одна за другой примерно через каждые двадцать минут, может быть, полчаса. Наших не было видно.

Мы ложились, прижимались головами к тощим деревьям. Лес был редкий, и нас очень удобно было расстреливать. Опасность была еще и в том, что кругом, из-за каждого куста, при появлении немецких самолетов начиналась дикая стрельба в божий свет как в копеечку. Никто друг друга не знал, и при всем желании люди не могли толком ни приказывать, ни подчиняться.

— Хотя бы дождаться темноты, — сказал мне прокурор. Наконец часа через три над лесом низко прошло звено И-15. Мы вскочили, довольные, что наконец-то появились наши самолеты. Но они полили нас хорошей порцией свинца. [5] Несколько человек рядом со мной были ранены — все в ноги. Как лежали в ряд, так их и пересекла пулеметная очередь.

Мы думали, что это случайность, ошибка, но самолеты развернулись и прошли над лесом во второй и в третий раз. Они шли на высоте в двадцать пять — тридцать метров. Большие звезды на их крыльях были прекрасно нам видны. Когда они в третий раз прошли над лесом, кому-то из пулемета удалось сбить один самолет. Туда, где горел этот самолет, на опушку побежало много народа. Бегавшие туда говорили, что из кабины вытащили труп полусгоревшего немецкого летчика.

До сих пор не понимаю, как это получилось. Остается думать, что немцы в первый день где-то захватили несколько самолетов и научили своих летчиков летать на них. Во всяком случае, впечатление у нас осталось удручающее.

Штурмовали нас до поздней ночи. К ночи вернулся капитан и привез снаряды. Он был очень доволен тем, что дорвался до своего артиллерийского дела и не чувствует уже себя больше неизвестно куда бегущей пешкой.

Мы чего-то пожевали, кажется, сухарей. А пить — устали так, что за водой даже не пошли.

Я уже в темноте улегся у колес грузовика, положив под голову шинель, а винтовку — рядом. Было мне уже все равно. Оставалось только чувство усталости и полного недоумения перед всем, что кругом делается. Вместе с тем была вера, что все это случайность, какой-то прорыв, что впереди и сзади есть войска, которые придут и все поправят.

Я устал до такой степени, что, когда ночью нас опять начали обстреливать с воздуха, я проснулся, только когда кто-то над ухом выстрелил и открылась отчаянная стрельба в небо. Поднялась паника. Машины ехали куда-то между деревьями, натыкались одна на другую, на деревья, разбивались, ломались. Над горизонтом то и дело повисали осветительные ракеты и слышались далекие взрывы бомб.

Мой водитель хотел было рвануться вслед за другими, но я удержал его, решив не выезжать из лесу, пока не прекратится паника.

Через полчаса в лесу стало тише. Машины уехали, люди убежали. Я сел в нашу пятитонку и стал пробираться к дороге. Выехав на опушку и оставив там водителя с машиной, вышел на дорогу и наткнулся на группу из четырех или пяти людей, которые разговаривали с человеком, одетым в штатское, — требовали у него документы. Он отвечал, что документов у него нет. Они требовали еще настойчивее, тогда он дрожащим злым голосом крикнул: «Документы вам? Все Гитлера ловите! Все равно вам его не поймать!» Военный, стоявший рядом со мной, молча поднял наган и выстрелил. Штатский согнулся и упал.

Не знаю, может быть, это и был агент, диверсант, но скорей всего — просто какой-нибудь мобилизованный, доведенный до отчаяния трехдневными мытарствами на дорогах в поисках своего призывного пункта.

Едва он упал, как над нашими головами загорелась ослепительная белая ракета и сразу же шагах в сорока грохнула бомба. Я упал в кусты. Потом грохнуло еще раз и еще — уже дальше. Я поднялся. Рядом со мной лежали застреленный и около него — почти на нем — убитый осколком бомбы военный, один из только что стоявших здесь. А больше никого не было, все разбежались.

Я вернулся в лес. Мой шофер лежал под машиной, головой под мотор. Выехав с ним на дорогу, мы узнали у проходивших военных, что всем приказано отойти назад километров на семь, туда, где через лес идет просека.

На лесной дороге было темно. Я шел перед машиной, чтобы не дать ей врезаться в деревья. Когда рассвело, мы подъехали к опушке леса, где чуть ли не за каждым деревом стояли машины. Люди рыли окопы и щели.

Я оставил машину в лесу, рядом с другими машинами, а сам пошел искать какое-нибудь начальство. Мне указали как на старшего на корпусного комиссара Сусайкова. Он стоял на лесной дороге — молодой небритый человек в надвинутой на глаза пилотке, в красноармейской шинели, накинутой на плечи, и почему-то с лопатой в руках. Я подошел к нему и по своей все еще не выветрившейся наивности спросил, где редакция газеты, в которой я мог бы работать, потому что я писатель и направлен в армейскую газету.

Он посмотрел на меня отсутствующим взглядом и сказал равнодушно:

— Разве вы не видите, что делается? Какая газета?!

Я сказал, что мне надо явиться в штаб фронта, в политуправление. Он покачал головой. Он не знал, где штаб фронта, [6] и вообще он ровно ничего не знал, так же как и все находившиеся вместе с нами в этом лесу.

В семь, когда солнце уже поднялось высоко, немцы снова начали бомбить и обстреливать это место. Приходилось ложиться, вставать, опять ложиться, опять вставать. Во время одного из таких лежаний я увидел прокурора. Оказывается, он лежал рядом со мной.

— Что ты делаешь? — спросил он меня.

Я сказал, что пока ничего.

— Ну, тогда будешь работать у нас, хорошо?

Он спросил потому, что в те дни все только спрашивали и уговаривали. Никто не приказывал. Я сказал: хорошо — и подсел к той кучке людей, которая пыталась здесь организовать военную прокуратуру. Кроме прокурора, тут был какой-то политрук с авиационными петлицами и еще несколько человек.

Шли беспрерывные бомбежки и пулеметный обстрел с воздуха. Кругом был мелкий лес и редкий березняк. Я вспомнил свой монгольский опыт и, так как мне уже надоело лежать плашмя на животе с чувством полной беспомощности, предложил достать лопаты; мы достали их, и под моим руководством работники свежеиспеченной прокуратуры стали рыть щели, как мы рыли их в Монголии: в виде буквы «г».

Часа через два, успев за это время два раза перележать бомбежки, мы вырыли в песчаном фунте добротную глубокую и узкую щель. Только к концу этой работы я вдруг вспомнил, что уже двое суток почти ничего не ел и не пил. Меня клонило ко сну — должно быть, от усталости и голода. Я сел на краю щели, прислонился к березовому кустику и задремал. Лицо согревало солнцем, и, как обычно бывает в такие минуты короткого и случайного сна, снилось что-то очень приятное и очень наспех.

Среди этого сна снова началась трескотня пулеметов. Я автоматически, еще не проснувшись, прыгнул в щель. Самолеты шли над лесом бреющим, и вслед за мной в щель скатились люди. Не успел я окончательно проснуться, как мне на голову ссыпалось что-то очень тяжелое и спросило женским голосом:

— Вам не тяжело?

— Не тяжело, — сказал я.

А женщина все еще сидела на моей шее, пытаясь как-то подвинуться, чтобы мне было легче, и от этого у меня трещали позвонки. Через пять минут, когда, сделав несколько кругов, самолеты ушли, я почувствовал, как тяжесть ослабела, и вышел из щели. Оказывается, на мне сидела довольно плотная санитарка. Она теперь стояла передо мной и робко извинялась: говорила, что все люди, всем жить хочется. Оставалось только согласиться.

События дня путаются у меня в голове. Я засыпал, потом стреляли, я лез в щель. Потом опять засыпал. Помню, как меня послали сопровождать каких-то двух людей — мужчину и женщину, — как я вышел на открытое место, стоял с ними у ограды, проверял их документы и выяснял с дотошностью доморощенного следователя, откуда они и как они сюда попали.

А в это время опять пошли над головой самолеты. Кругом все или легли, или побежали в лес. И мне хотелось сделать то же самое, но было неудобно. Я стоял и продолжал расспрашивать этих двух — мужчину и женщину, — которые, кажется, были больше напуганы моими расспросами, чем пулеметными очередями с воздуха: к ним они, наверно, уже привыкли.

Тут же, недалеко, у забора, шлепали пули, но нас не задело, все обошлось благополучно.

Потом, помню, какой-то майор с обвязанной шеей — в него только что выстрелил по недоразумению какой-то командир, приняв его в истерике за диверсанта, — волновался, обижался, кричал сердитым голосом, но это ни на кого не производило впечатления.

Я подошел к самой опушке, где лесная дорога выходила на Минское шоссе. Вдруг в пяти шагах от меня на шоссе выскочил красноармеец с винтовкой, с сумасшедшими, вылезающими из орбит от страха глазами, и закричал сдавленным, срывающимся голосом:

— Бегите! Немцы окружили! Пропали!

Кто-то из командиров, стоявших рядом со мной, закричал:

— Стреляй в него, в паникера! — и, вытащив револьвер, стал стрелять.

Я тоже вынул наган, который получил час назад, и тоже стал стрелять по бегущему. Сейчас мне кажется, что это был, наверно, сумасшедший, человек с психикой, не выдержавшей страшных испытаний этого дня. Но тогда я об этом не думал, а просто стрелял в него.

Очевидно, мы в него не попали, потому что он побежал дальше. Какой-то капитан выскочил ему наперерез на дорогу и, пытаясь задержать его, схватил за винтовку. После борьбы красноармеец вырвал винтовку. Она выстрелила. Еще больше испугавшись этого выстрела, он, как затравленный, оглянулся и кинулся со штыком на капитана. Тот вытащил наган и уложил его. Три или четыре человека молча стащили труп с дороги.

Над шоссе опять пошли немецкие самолеты, и все легли на землю или в щели и через три минуты забыли об этом эпизоде.

Потом помню двух человек — полкового комиссара и бригвоенврача, которые вели за собой через лес под командой человек полтораста выпускников Военно-медицинской академии. Я так и не понял: не то они практиковались в Минске, не то их зачем-то под командой отправили в Минск, и теперь, потеряв по дороге уже двадцать человек во время бомбежек и обстрелов, они шли обратно на Оршу. Они искали начальство, просили им чем-нибудь помочь, но кто и чем мог им тут помочь? Им просто предложили идти дальше. И они так и сделали — пошли. Потом еще через час военюрист подошел ко мне и сказал:

— Вы ведь, кажется, писатель?

Я сказал, что да.

— Вот помогите тут определить одного человека. Он по вашей части, если не врет. Он все документы и военный билет со страху порвал, но говорит, что работал в Союзе писателей в Минске. Может, это и правда?

Я подошел к этому человеку. Это был обросший, грязный, усталый еврей. У него был такой измученный вид, что нельзя было разобрать, сколько ему лет — тридцать или пятьдесят. Я стал расспрашивать его. Оказалось, что это работник бюро обслуживания Союза писателей в Минске — тот самый человек, который в мирное время доставал билеты на поезд и устраивал номера в гостинице.

Для очистки совести — хотя я ему сразу поверил — я стал выяснять у него

какие-то подробности про Кондрата Крапиву, когда Кондрат Крапива ездил в Москву? Я сам не знал Кондрата Крапиву и никогда не видел его, но вспомнил числа, в которые он этой весной должен был приехать на конференцию драматургов в Москву. Человек ответил на мой вопрос настолько точно, что сомнений не оставалось: он был именно тем, за кого себя выдавал.

А я вдруг вспомнил, как что-то совершенно дикое и нелепое, — обсуждение своей пьесы «Парень из нашего города». Совсем недавно на конференции в Клубе писателей, доклад, выступления, какие-то споры. Все это сейчас, здесь, было невероятно странно и невероятно ни к чему.

Так как личность этого работника Союза писателей в Минске оказалась установленной, его не тронули, несмотря на отсутствие документов, а решили отправить в какую-нибудь часть, которая будет формироваться. Но где эта часть и кто ее будет формировать — этого никто не знал.

И он сидел тут же рядом с нами, сначала вместе с конвойными, которые его привели, а потом просто так, потому что все о нем уже забыли.

Следующий, с кем мне пришлось говорить, был девятнадцатилетний мальчишка — худой, с редко торчащими на подбородке волосками, с тонким и злым лицом, которое то казалось очень умным, то казалось лицом помешанного. Я так до конца и не понял, кем он был. Его привели из роты, стоявшей в соседнем лесу. Когда там над рощицей проходили немецкие самолеты, он, несмотря на команду командира роты: «Маскируйся!» — вышел на середину поляны, встал на самом виду и начал размахивать руками. Ни окрики, ни приказы не помогали. Он продолжал делать свое. Когда его привели к нам, он продолжал с упорством маньяка твердить, что он попал к немцам и что все мы — немцы.

Военюрист подвел его ко мне и спросил:

— Ну вот, кто это, по-вашему, стоит перед вами? Батальонный комиссар или нет?

— Нет, это немецкий офицер, — сказал парень.

— Но ведь у него знаки различия, разве вы не видите? Вот, — ткнул военюрист в мои шпалы. — Или это, по-вашему, погоны?

— Погоны, — с упорством сумасшедшего сказал парень.

— Вы понимаете, где вы находитесь? — спросил военюрист.

— Я у немцев. Все вы немцы, — сказал парень.

И больше из него ничего невозможно было выжать.

Его тоже отвели на опушку к нескольким густо росшим деревьям, где сидели остальные задержанные. Сначала хотели его расстрелять, а потом оставили вместе с другими до выяснения их общей судьбы. Так они и сидели там, между деревьями, маленькой кучкой в пять-шесть человек.

Мне самому казалось, что этот мальчишка тронулся.

Часов в пять дня, уже не помню зачем, мы вместе с военюристом вышли на самую опушку леса. Шагах в ста от нас стоял грузовик, а около грузовика — высокий командир в форме пограничника. Вдруг раздалось гудение, потом свист. Все мы легли на землю где кто был, а этот командир-пограничник полез под свою машину.

Наверно, бомба была небольшая, разрыв был не особенно сильным, но она прямым попаданием угодила в машину. Когда мы поднялись с земли, вместо машины были только куски изогнутого железа, а по лужайке еще катилось колесо. Оно докатилось и упало около нас.

Я накинул на плечи шинель, потому что озяб от голода и усталости, несмотря на то, что был теплый день, и пошел искать свою машину. Наверно, ее кто-то перегнал на другое место. А может быть, шофер самовольно уехал, не знаю. Искал ее часа полтора по всему лесу, но так и не нашел. Там, в машине, у меня был чемодан и притороченный к нему плащ. Но всего этого было не жаль, а жаль было только лежавшей в чемодане, привезенной еще из Монголии меховой безрукавки — там, в Монголии, их называли забайкальскими майками, — и двух трубок, лежавших в карманах этой безрукавки. Табак был в кармане брюк, а трубок не было. Я, собственно говоря, главным образом из-за них и пошел искать машину.

Вернулся, попробовал свернуть цигарку из газеты, но ничего не вышло — никогда не вертел.

Под вечер, часов в семь, военюрист сказал мне, что все-таки он должен искать штаб фронта, куда он командирован.

— А вы куда? — спросил он меня.

Я сказал, что мне нужно явиться в политуправление фронта.

— Ну что ж, тогда поедем вместе, — сказал он. — А по дороге вы мне поможете доставить арестованных до Орши.

Я согласился. По правде сказать, мне в тот момент было все равно — оставаться тут до утра или ехать. Хотелось только одного — спать.

Мы вышли на дорогу. По ней с запада на восток с небольшими интервалами шли грузовики, то полные, то пустые. Мы остановили один из них. С нами вместе останавливали эту машину немолодой, усталый полковник в пограничной форме и боец-пограничник. Они оба искали штаб пограничных войск.

Все мы сели в эту машину. Полковник рядом с шофером, а я, военюрист, один конвойный, боец-пограничник и пять арестованных — в кузов.

Сначала я дремал, но потом начались налеты и обстрелы, и мы то и дело вылезали из машины, ложились в кювет, снова влезали, снова вылезали. Надоело все это до невероятия. Но спать уже не хотелось. Неудобно сидя, трясясь на борту машины, я стал расспрашивать сидевшего рядом со мной, тоже на борту, парня — того, который всех нас называл немцами. Не помню точно, откуда он был, но он говорил, что в деревне у него мать, что он окончил десятилетку и был взят в армию. Говорил он туманно, и мне по разговору показалось, что отец его был, наверно, из высланных кулаков. Судя по всему, в армии ему не понравилось; в этом, очевидно, сказывались и неуживчивый характер, и многолетнее озлобление. Все это вместе взятое привело в первые дни войны к ненависти с долей помешательства. Он говорил то злобно, то бестолково, как настоящий сумасшедший. И, по-моему, не притворялся. Это помешательство находило на него в какие-то узкие куски времени.

— Ну, хорошо, мы тебя отпустим, — сказал я. — Что ж ты будешь делать? Будешь драться с немцами?

— Нет, я поеду домой.

— Тебя возьмут там и расстреляют как дезертира.

— Ничего, все равно я поеду домой, — упрямо повторял он. — Я не хочу тут быть. Я хочу домой.

На все вопросы он отвечал злобно, грубо, так что казалось: вот сейчас возьмет и укусит тебя. Его лицо и сейчас стоит у меня перед глазами, и я уверен, что

тогдашнее мое ощущение было правильным. Он был одновременно и озлоблен, и ненормален.

По обеим сторонам шоссе между столбами все телефонные и телеграфные провода были порваны. Возле дороги лежали трупы. По большей части — гражданских беженцев. Воронки от бомб чаще всего были в стороне от дороги, за телеграфными столбами. Люди пробирались там, стороной, и немцы, быстро приспособившись к этому, бомбили как раз там, по сторонам дороги. На самой дороге воронок было сравнительно мало, всего несколько на всем пути от Борисова до поворота на Оршу.

Как я потом понял, наверное, немцы рассчитывали пройти этот участок быстро и беспрепятственно и сознательно не портили дорогу.

Вдоль дороги шли с запада на восток женщины, дети, старики, девушки с маленькими узелками, девочки, молодые женщины — большей частью еврейки, судя по одежде — из Западной Белоруссии, в жалких, превратившихся сразу в пыльные тряпки заграничных пальто с высоко поднятыми плечами. Это было странное зрелище — эти пальто, узелки в руках, модные, сбившиеся набок прически.

А с востока на запад вдоль дороги шли навстречу гражданские парни. Они шли на свои призывные пункты, к месту сбора частей, мобилизованные, не желавшие опоздать, не хотевшие, чтобы их сочли дезертирами, и в то же время ничего толком не знавшие, не понимавшие, куда они идут. Их вели вперед чувство долга, полная неизвестность и неверие в то, что немцы могут быть здесь, так близко. Это была одна из трагедий тех дней. Этих людей расстреливали с воздуха немцы; они внезапно попадали в плен; они шли часто без документов, и их поэтому иногда расстреливали и наши.

Во время одного из лежаний под бомбежкой полковник-пограничник вдруг сказал, что сегодня убили одного писателя. Я спросил — где.

— А там, в лесочке, где мы стояли. Это наш писатель-пограничник. [7]

Он назвал фамилию, вылетевшую у меня потом из памяти, но тогда я вспомнил батальонного комиссара-пограничника, заходившего иногда в Москве к нам в Клуб писателей. Полковник сказал, что этот писатель-пограничник во время бомбежки залез под свою машину и там его и убило. Я вспомнил машину,

пограничника рядом с ней и понял, что был свидетелем этой смерти.

У полковника-пограничника был замученный вид. Мы опять лежали и ждали, пока немцы отбомбятся, и он сказал мне усталым голосом:

— Имею сведения, что все мои на заставах погибли. Дрались до последнего человека и погибли все, кто там был. А семья у меня там, около Граева. Жена, двое детей, мать и сестренка. Все, что есть на свете, все там.

У него были глубоко запавшие, почти безразличные ко всему глаза и такое безысходное и безнадежное спокойное горе в словах, в голосе, в движениях, что было почти страшно на него смотреть.

Когда мы доехали до поворота на Оршу и повернули, то впервые увидели войска. Не движущиеся вразброд, а стоявшие на позициях [8] тут же, около дороги, в придорожных лесах. Тут были пулеметы, орудия, люди в касках и с оружием, походные кухни, вообще все то, что мне наконец напомнило армию такой, какой я ее раньше привык видеть. Впервые стало немного легче на душе.

В Оршу мы въехали уже часов в девять-десять вечера. Город был пустой, хотя слухи о том, что его разбомбили и сожгли, оказались неправдой. На него упало несколько бомб, вылетели все стекла на нескольких центральных улицах, а все остальное было в этот день еще цело. Но в городе: все было закрыто, и людей в нем я почти не видел.

Мы сначала пошли к железнодорожному коменданту узнать, есть ли поезд на Смоленск, потому что считали, что если штаб Западного фронта ушел из Минска, то он теперь, наверное, в Смоленске.

Оказалось, что поезда на Смоленск нет и не известно, когда он будет, хотя рано или поздно он должен быть.

Кто-то обратил внимание военюриста на ходившего по платформе пожилого капитана, высокого, аккуратно одетого и в желтых крагах. Кто-то сказал о нем, что этот капитан тут толчется уже второй день и беспрерывно заговаривает с гражданскими пассажирами. Сначала военюрист прошел несколько раз мимо капитана, намереваясь его задержать, но потом, видимо, понял, что, задержав сейчас тут этого человека, с ним можно сделать только одно из двух: или расстрелять, или отпустить. Ничего третьего не сделаешь. Он плюнул на эту

историю и отошел от капитана.

Я еще раз посмотрел на капитана, продолжавшего ходить по платформе, и мне показалось, что, в сущности, подозревать его было не в чем, что это просто немолодой, замученный, оглушенный бестолковщиной этих дней, только что призванный из запаса командир, сидевший тут в ожидании какого-то поезда и ничего, так же как и мы, не знавший.

Мы продолжали топтаться на станции. Кто-то сказал, что скоро уйдет поезд на Витебск. Но нам туда ехать было ни к чему.

Станция была забита эшелонами с самым разным народом. Было много военных, но еще больше беженцев. И никто ровно ничего не знал. Все толпились, суетились, нетерпеливо спрашивали, куда и когда пойдут поезда. Но некоторые люди, видимо, уже притерпелись и отупело сидели на лавках, ожидая, что кто-то их подберет и увезет.

Полковник-пограничник отделился от нас. Кто-то сказал ему, что штаб пограничных войск в Витебске, и он побежал выяснять, ушел уже поезд на Витебск или еще не ушел. А мы с военюристом пошли к коменданту города.

По дороге с вокзала к коменданту мы наткнулись на какой-то склад около вокзала. Бородатый человек вытащил нам из темноты две буханки хлеба, банку килек и несколько пачек папирос. Судя по тому, как он привычно это делал, очевидно, он весь день занимался этим — раздавал понемногу всем, кто к нему подходил, все, что у него было.

Мы взяли поесть себе и, вернувшись, дали поесть арестованным. Я считал, что этого сумасшедшего парня, которого мы привезли, наверно, расстреляют, и у меня было странное чувство, когда я смотрел на него и видел, с какой он жадностью жевал хлеб и как чуть не ударил другого арестованного, деля с ним пачку папирос.

Раздав продукты задержанным, мы все-таки пошли к коменданту города. Комендатура находилась в подвале какой-то школы. Там стояло несколько телефонов, сидели военный диспетчер и два майора-железнодорожника. В подвале стоял сплошной хриплый крик по телефону. Едва войдя в эту комнату, я уже понял, что, наверно, никакого связного ответа мы здесь не получим. Наконец, на минуту оторвав одного из майоров, мы спросили у него, будет ли поезд на

Смоленск.

— Сейчас скажу, — ответил он и бросился к телефону, к которому его вызвали. Он слушал что-то, что ему говорили по телефону, и лицо его все больше искажалось. Потом раздалась длинная пятиэтажная ругань. — Не будет поезда, — сказал он нам, оторвавшись от телефона. — Не будет. Вот мне только что сообщили: по дороге отсюда на Смоленск немцы разбомбили поезд с боеприпасами. Оба пути заняты. Вагоны рвутся. В двадцати шести километрах отсюда. Не будет никакого поезда на Смоленск.

Мы начали спрашивать коменданта, что нам делать с задержанными. Комендант не знал. В городе не было никаких властей, которые могли бы этим заняться.

Мы с военюристом вышли во двор. Уже совсем темнело. По улице под командой лейтенанта шла группа человек в пятьдесят бойцов, отбившихся от своих частей. Мы остановили лейтенанта и узнали, что он ведет их в расположение какой-то части, чтобы присоединить их к ней. Тогда, не видя другого выхода, да и не ища его, мы взяли четырех из пяти задержанных — всех, кроме сумасшедшего парня, — и, поговорив с лейтенантом, присоединили их к этой колонне. Их должны были теперь доставить в часть и выдать им оружие.

Тогда мы колебались. Но теперь я думаю, что это был самый правильный выход. Это были просто растерянные люди, никакие не преступники. Им нужно было только одно — найти часть и взять в руки винтовки.

Через минуту колонна скрылась из вида. А на сумасшедшего парня мы написали сопроводительную записку и все-таки заставили коменданта принять его и посадить в одну из подвальных комнат с часовым, впредь до выяснения того, где же все-таки находятся в Орше трибунал, НКВД или хоть что-нибудь.

Пока мы были в комендатуре, к коменданту явились три мальчика лет по пятнадцати-шестнадцати, воспитанники авиационной спецшколы. Они просили сказать: по-прежнему ли находится их спецшкола там, где она находилась, и назвали место. Уже забыл, какое это было место, но тогда я хорошо помнил его название; еще накануне в Борисове говорили, что там шел бой с немцами.

Комендант сказал мальчикам, что он ничего не знает, но что, впрочем, они могут идти к себе в спецшколу, потому что там, несомненно, наши. Я промолчал, но, когда ребята вышли во двор, я подозвал их и спросил, откуда они и как сюда

попали. Выяснилось, что они от своей школы ездили в Москву, кажется для подготовки к какому-то параду, и теперь не знают, что делать. У них нет ни командировочных предписаний, ни денег, ничего.

Они, наверно, сутки ничего не ели. У них были похудевшие лица и отчаянные глаза. Стояли худые и несчастные, как галчата, в своих аккуратненьких шинельках. И было их жаль почти до слез. Не объясняя подробностей, я сказал им, что разыскивать школу сейчас нет смысла, что им надо искать какой-нибудь штаб и вступать добровольцами в армию. Один из них с радостью стал говорить мне, что он хорошо знает бодо и может работать военным телеграфистом.

Я посоветовал им, если они успеют, сесть в тот поезд, который должен был отойти на Витебск, потому что в Витебске есть какой-то штаб. У меня была острая жалость к ним. Я боялся, что эти три мальчика пойдут вперед и ни за что ни про что попадут к немцам, разыскивая свою школу.

Потом я сообразил, что у них нет денег и им не на что будет покупать еду, пока они доберутся до Витебска и попадут в какую-нибудь часть. Я спросил, сколько у них денег. Они ответили, что у них шестнадцать рублей на троих. Тогда я им отдал половину своих денег. Ребята сначала гордо отказывались, но я приказал им, и они взяли, сказав, что непременно когда-нибудь вернут мне эти деньги и поэтому хотят знать мою фамилию. Я назвался и пошутил, что после войны они могут зайти в Москве в Клуб писателей и спросить там меня.

Оказалось, что ребята читали мои стихи, и у нас возник странный пятиминутный разговор о стихах в этой пустой, разбитой Орше. Ребята почему-то обрадовались, что я писатель. Может быть, им стало спокойнее оттого, что вдруг оказалось, что эта Орша настолько тыловой город, что в нем есть даже писатели, не знаю. Но когда я стал с ними прощаться, они немножко приободрились.

Они пошли, а я их провожал глазами. Бог его знает, почему мне было так грустно. Почему-то казалось, что ребята эти непременно пропадут.

Ночью мы опять пришли на станцию. К этому времени выяснилось, что, может быть, отсюда пойдет поезд на Могилев.

Свет нигде не горел. Отправление составов было связано с полной тайной и полной неизвестностью. Наконец нам шепотом сказали, что где-то за водокачкой, налево, стоит состав, который, может быть, пойдет на Могилев.

Нас набралось человек десять командиров. Старшим был высокий артиллерийский полковник с Красным Знаменем за финскую войну. Мы пошли по путям, мимо паровозов и бесконечных составов. По всем путям бродили люди — военные и беженцы. Увидев нашу группу, они сейчас же бросались к нам, спрашивали, куда мы едем, куда хотим садиться, в какой поезд. Но мы и сами толком еще не знали этого и молчали.

Потом началась воздушная тревога. Заревели все паровозы, стоявшие на путях, — а их тут было, наверное, около сотни. Весь день, когда нас бомбили, не было так страшно, как было страшно сейчас, когда кругом нас на путях, выпуская белый пар, ревели паровозы. Рев их был чудовищный, Тоскливый, бесконечный. Он продолжался несколько минут, а нам показалось, что целый час.

Наконец мы добрались до какого-то засыпанного углем откоса и там легли рядом, чтобы обсудить положение. Посоветовавшись, решили во что бы то ни стало искать поезд, уходивший на Могилев. Большинство считало, что если там и не было штаба фронта, то хотя бы штаб одной из армий там должен быть.

Все командиры были расстроены и подавлены тем, что где-то идут бои, где-то дерутся их части, а они никак не могут попасть туда из отпусков и не могут даже понять, как это сделать. Во всяком случае, в такой обстановке единственным способом попасть в свои части было найти сначала хоть какой-нибудь штаб фронта или армии. На том и порешили.

Особенно волновался артиллерийский полковник. Он ехал с назначением — начальником артиллерии дивизии. Как мне показалось, это был деловой и решительный командир, и он невыносимо страдал от своей бездеятельности, оттого, что ничего нельзя понять.

При этом все мы, как водится, в один голос ругали нашу русскую растяпистость, беспорядок и бестолковщину.

Пролежав с час, пошли опять по путям в поисках состава на Могилев. Наконец стрелочник показал нам на темневшие вдали вагоны и сказал, что вот эти вагоны потом пойдут на Могилев. Не в силах больше бродить и решив — будь что будет, — мы залезли на этот состав.

На платформах стояли два новеньких штабных автобуса. Мы влезли в один из этих автобусов. Я присел на холодное кожаное сиденье, прислонился к окну и

моментально заснул.

Наверно, никогда не забуду своего первого утреннего ощущения. Я открыл глаза и увидел, что еду на автобусе, что в автобусе рядом со мной и впереди меня сидят военные, а по обеим сторонам от нас бежит зеленая равнина. В первые секунды, спросонок, у меня было полное ощущение, что я еду по шоссе. Только потом, вспомнив все, что было ночью, я понял, что движется наш поезд.

Было восемь часов утра, светло. Ясная, свежая погода после дождя. Кто-то сзади меня сказал, что мы подъезжаем к Могилеву.

Было утро 28 июня. До Могилева мы добрались часам к десяти утра. Поезд остановился на каких-то дальних путях. Мы слезли и только тут почувствовали, как проголодались. Пошли скопом в железнодорожную столовую, где всем приходящим военным бесплатно давали похлебку и мясо.

Несмотря на весь беспорядок, в эти первые дни войны к военным всюду относились с особым вниманием.

Из столовой двинулись через город к военному коменданту. Там, на другом конце города, недалеко от моста через Днепр, на широкой площади, где стояли какие-то старые пушки, толпу вернувшихся из отпусков командиров человек в двести стали делить по специальностям. В одном месте строились пехотинцы, в другом — артиллеристы, в третьем — связисты, в четвертом — политсостав. После этого деления я и воен-юрист оказались совсем отдельно, вдвоем.

Я добрался до начальника Могилевского гарнизона, полковника, который, после того как мы с воен-юристом предъявили свои бумаги, сказал нам, что штаб Западного фронта находится в восемнадцати километрах от Могилева. [9] Надо вернуться обратно на ту сторону через мост и идти налево по шоссе на Оршу.

Мы перешли мост и вскоре по дороге остановили «эмку» с командиром-связистом. Вся «эмка» была завалена гранатами и капсюлями. Он подсадил нас, и мы, трясясь в ней среди гранат, добрались до леса, в который уходили недавно наезженные дороги.

Было уже часа два дня. Погода испортилась, день стоял туманный и дождливый, было мокро, сыро и серо. Пройдя метров шестьсот, мы добрались до гущи леса. Там на склонах холмов устраивался, очевидно, только что приехавший сюда штаб.

Красноармейцы торопливо вкапывали в землю автобусы и машины, маскировали их срубленными ветками.

На дороге, прямо на дожде, стояли дивизионный комиссар в кожаном пальто и рядом с ним несколько политработников. Я обратился к дивизионному комиссару, который оказался начальником политуправления Лестевым, и представился. Рядом с Лестевым, как выяснилось, стоял и редактор фронтовой газеты Западного фронта Устинов и редактор армейской газеты 10-й армии Лещинер.

Как только я представился, между обоими редакторами начался сдержанный спор вполголоса о том, куда меня взять, потому что ни где 3-я армия, ни где газета 3-й армии, в которую я был командирован, здесь никто не знал. В конце концов было решено, что я пока что останусь работать в фронтовой газете.

Сидя под дождем на крыле «эмки», Устинов и я закусили сухарями и кильками. Я совершенно забыл об этой банке килек, которая лежала у меня в кармане шинели. В те дни всем нам вообще казалось, что еда — ото случайность.

В разговоре с редактором выяснилось, что газета печатается в Могилеве, что сегодняшнюю газету сюда еще не привезли, что работников почти никого нет, еще не приехали, что редактор будет их встречать, а мне — он сунул при этом мне в руку кипу заметок — нужно сейчас же ехать в могилевскую типографию, обработать эти заметки и сдать в полосу.

Начинало темнеть. Я уже собрался ехать, когда вдруг из лесу выскочило несколько машин — впереди длинный черный «паккард». Из него вылезли двое. Все это происходило в нескольких шагах от меня. Лестев вытянулся и начал рапортовать:

— Товарищ маршал…[10]

Вглядевшись, я узнал Ворошилова и Шапошникова. Меня обрадовало, что они оба здесь. Казалось, что наконец все должно стать более понятным. Я обошел стороной стоявшее на дороге начальство, сел в редакционную полуторку и поехал назад, в Могилев.

Все кругом было полно слухами о диверсантах, парашютистах, останавливавших машины под предлогом контроля. [11] А контролировали на дорогах тогда все, кому не лень. Это действительно было так. Шофер нервно спросил меня, есть ли у

меня оружие.

Пока мы ехали, стало уже совсем темно. Я вынул наган и положил на колени. Когда по дороге проверяли документы или просто спрашивали, кто едет, остановив машину, я левой рукой показывал документы, а в правой держал наган. Потом в те дни у меня это вошло в привычку. Сейчас это уже кажется смешным, но тогда было не лишено смысла.

Мы приехали в типографию ночью. Там же, в типографии, помещалась редакция фронтовой газеты на немецком языке. Из нашей редакции мы застали там машинистку и выпускающего, больше никого не было. Я сел готовить материал и к ночи, отдиктовав все, что мог, сдал в набор.

Никто ничего не ел и как-то даже не хотелось. Часа в два ночи я лег спать на полу, положив под голову шинель. Меня разбудил дневальный:

— Товарищ батальонный комиссар, к телефону.

Еще толком не проснувшись, я подошел к телефону. По телефону спросили:

— Товарищ Симонов?

— Да.

— Это говорит Курганов. Сейчас я приеду к вам.

Мне было совершенно все равно — приедет ко мне кто-нибудь или не приедет, только бы поскорее снова уснуть. Не вдаваясь в расспросы, я сказал звонившему человеку, чтобы он приезжал, и снова лег спать. Проснулся я оттого, что меня тряс за плечо Оскар Эстеркин, в газете подписывавшийся Кургановым, которого я давно и хорошо знал, но мне просто не пришло в голову, когда он говорил по телефону, что это тот самый Курганов. Точно так же, как и ему, когда он дозвонился до типографии «Красноармейской правды», не пришло в голову, что батальонный комиссар Симонов, который спит и которого он велел разбудить, — это именно я.

Оскар был точно такой же, каким я привык его видеть в Москве, в редакции «Правды», у Кружкова, или в театрах, на премьерах. Казалось, что он все еще пишет свои театральные рецензии. На нем была кепка, измятый полосатый штатский пиджачок с орденом «Знак Почета» за полярные экспедиции, измятые брюки и стоптанные полуботинки.

Как выяснилось, именно в таком вот виде он попал 24 июня ночью в горящий Минск, а потом шел оттуда до Могилева — без малого двести километров — пешком и видел все творившееся на дорогах. Видел еще больше, чем я. Его приютили у себя секретари ЦК Белоруссии, которые приехали сюда и жили в каком-то доме под Могилевом. Оттуда он дозвонился сюда, обрадовавшись, что нашел хоть какую-нибудь газету. Мы проговорили два часа и заснули под утро.

Утром нас разбудил Устинов, предложивший ехать вместе с ним в штаб. В буфете оказались тульские пряники и свежее могилевское пиво. Мы пили его, закусывая пряниками. Вечером этого же дня в первую бомбежку Могилева пивоваренный завод был разбит.

Приехав в штаб, пошли информироваться в оперативный и в разведотдел. В штабе была еще большая сумятица, чем вчера. В лес, где он размещался, в общем, могли пройти все, кто хотел. Зато, попав туда, никто не мог найти, где какой отдел штаба. Получалась конспирация шиворот-навыворот. Все это уладилось только потом, когда штаб стоял уже в Смоленске. А здесь надо было бродить часами в поисках того, что тебе нужно. Отделы штаба стояли в лесу, в палатках, а некоторые размещались прямо на машинах и около машин.

Первые бомбежки и обстрелы дорог приучили к маскировке, и маскировались в эти дни быстро и ловко. Нам рассказали, что сбито два немецких бомбардировщика и захвачен летчик. Насколько я понял из разговоров, здесь это был первый пленный летчик за войну.

Летчика привезли в штаб только к темноте. Это был фельдфебель с железным крестом — первый немец, которого я видел на войне. [12] Я шел вместе с несколькими работниками политотдела и четырьмя конвоирами, которые вели этого немца, раненного в спину.

Мы никак не могли в темноте найти разведотдел. Потом часть группы пошла искать его, а я с конвоирами и одним политработником остался вместе с немцем. Немца положили на траву. Он лежал с завязанными глазами и стонал. И я перекинулся с ним несколькими словами на своем немецком языке. Он сказал, что ему больно; холодно, и попросил разрешения сесть. Мы его посадили.

Этот первый немец был событием. Все толпились вокруг него. Кто-то сказал, что его уже допрашивал сам маршал. Какой из маршалов — я не понял.

Накрывшись шинелью, я закурил. Огонек под шинелью едва тлел, но какое-то проходившее мимо начальство страшно закричало: «Кто курит?!»

Наконец разведотдел нашли. Немца привели в маленькую палатку, где при свете ручного фонаря, придерживая и оттягивая к земле полы палатки, чтобы не просвечивало, скорчившись, долго его допрашивали.

Это был первый увиденный мною представитель касты гитлеровских мальчишек — храбрых, воспитанных в духе по-своему твердо понимаемой воинской чести и до предела нахальных. Очевидно, именно потому, что он был воспитан в полном пренебрежении к нам и вере в молниеносную победу, он был ошарашен тем, что его сбили. Ему это казалось невероятным.

В остальном это был довольно убогий, малокультурный парень из Баварии, приученный только к войне и больше ни к чему. Ландскнехт и по воспитанию, и по образованию. Самое интересное было то, что, будучи сбит у Могилева и имея компас, он пошел не на запад, а на восток. Из его объяснений мы поняли, что по немецкому плану на шестой день войны, а именно 28-го, то есть вчера, немцы должны были взять Смоленск. И он, твердо веруя в этот план, шел к Смоленску.

Вернулся я в редакцию ночью. Опять на грузовике. Опять наган на коленях. И бесконечные контроли на дороге.

Могилев слегка бомбили. Наборщик типографии, старый еврей, во время бомбежки несколько раз лазил на крышу. Он говорил, что бомба непременно пройдет через такую слабую крышу и разорвется внизу. Мы тогда над ним смеялись, хотя он был не так далек от истины.

Ночью мы с Кургановым сидели в типографии. Остальные работники редакции съехались, но ночевали где-то в палатках. Что до меня, то я предпочитал ночевать в типографии — по крайней мере здесь был сухой пол. А к бомбежкам после первых трех суток войны я был почти равнодушен.

По-прежнему все было непонятно. Настроение было отчаянное. С одной стороны, газеты и радио сообщали об ожесточенных танковых боях, о сдаче каких-то небольших городков на границе — о Минске не упоминалось, сообщалось только о взятии Ковно и, кажется, Белостока. А между тем тут, в Могилеве, уже ходили слухи, что бои идут под Бобруйском и под Рогачевом. А что Борисов взят немцами — это я точно знал сам. Создавалось такое ощущение, что там впереди дерутся

наши армии, а между ними и нами находятся немцы. Так потом в действительности здесь, на Западном фронте, и оказалось. Только с той разницей, что большинство этих наших армий было окружено и выходили они частями. Но сидя здесь, в Могилеве, ничего нельзя было понять. И только теперь я понял, если я действительно прав, что в первые два-три дня войны, понеся страшные поражения на границах, мы решили не поддерживать всех, кто там оставался, и не помогать этим окруженным частям, бросая на съедение новые дивизии. Решили оставить всех, кто дрался там, впереди, на произвол судьбы, драться и умирать, а из всего того, что было в тылу, далеко на линии Орша — Шклов — Могилев, по Днепру и Березине организовать новую сплошную линию обороны, пропустить через нее остатки разбитых частей и встретить немцев на этой второй линии.

Так и случилось в первые июльские дни. И именно это жестокое, но единственно правильное решение спасло нас в тот период войны.

Если бы подбрасывали вперед, в неизвестность, на помощь разбитым частям дивизию за дивизией по мере их подхода, то они тоже были бы разгромлены в этой каше, и немцы на их плечах действительно за шесть недель дошли бы до Москвы.

По утрам через Могилев тянулись войска. Шло много артиллерии и пехоты, но, к своему удивлению, я совсем не видел танков. Вообще за все свое пребывание на Западном фронте до 27 июля я не видел ни одного нашего среднего или тяжелого танка. Так до сих пор и не знаю, где они были. Легких видел довольно много, особенно 4–5 июля на линии обороны у Орши, о которой тогда говорили как о месте будущего второго Бородино.

Уже не помню всех деталей тех дней. Помню, поражало, что в Могилеве по-прежнему работали парикмахерские и что вообще какие-то вещи в сознании людей не изменились. А у меня было такое смятенное состояние, что казалось, все бытовые привычки людей, все мелочи жизни тоже должны быть как-то нарушены, сдвинуты, смещены против обычного. На самом деле, конечно, это не было так и не могло быть.

За эти несколько дней я написал два очень плохих стихотворения. Они были напечатаны в газете, но о чем они были — не помню.

Газета работала в пустоту. Ни о какой полевой почте, ни о какой регулярной

рассылке газеты не было и помину. Печаталось тысяч сорок экземпляров, и их развозили всюду, куда удавалось, на собственных двух-трех грузовиках. И попадали они в какие-то случайные части, в одну, в две, в три дивизии. А о том, чтобы газета расходилась по всему фронту, в те дни не могло быть и речи.

Первого июля днем, в пять часов, была сильная бомбежка Могилева. Немецкие и наши самолеты кружились над домами. Стоял рев моторов. Дрожали стекла, бухали взрывы. Но мне было все до такой степени все равно, что я не мог заставить себя подняться с пола в, типографии, где мы лежали во время бомбежки, и посмотреть в окно. Хотя по звукам казалось, что самолеты летают буквально мимо нашего дома.

Если не ошибаюсь, 2 июля утром мне бесконечно надоело это сидение в Могилеве, писание плохих стихов, неизвестность, и я вызвался ехать под Бобруйск с газетами, [13] которые мы должны были развезти на грузовике во все встреченные нами части. С газетами поехали шофер-красноармеец, я и младший политрук Котов — высокий, казачьего вида парень в синей кавалерийской фуражке и в скрипучих ремнях. Он меня называл строго официально «товарищ батальонный комиссар» и настоял на том, чтобы я ехал в кабине.

Едва мы выехали из Могилева на Бобруйск, как увидели, что кругом всюду роют. Это же самое я видел потом ежедневно весь июль. Меня до сих пор не оставляет ощущение, что вся Могилевщина и вся Смоленщина изрыты окопами и рвами. Наверно, так оно и есть, потому что тогда рыли повсюду — и где нужно, и где не нужно. Представляли себе войну еще часто как нечто линейное, как какой-то сплошной фронт. А потом часто так и не защищали всех этих нарытых перед немцами препятствий. А там, где их защищали, немцы, как правило, в тот период совершенно спокойно их обходили.

Вокруг Могилева повсюду рыли. От этого возникало какое-то тяжелое чувство. Хотя, казалось, пора бы уже привыкнуть к тому, что надо быть ко всему готовым.

Примерно после сорокового или пятидесятого километра нам навстречу со стороны Бобруйска стали попадаться по одному - по два грязные, оборванные люди, совершенно потерявшие военный вид. Это были окруженцы, может быть, среди них и дезертиры, вообще неизвестно кто.

Я не удивляюсь тому, что немцы в те дни засылали много диверсантов. Думаю,

наоборот, они даже не совсем ясно представляли себе существовавшую тогда у нас обстановку и засылали этих диверсантов гораздо меньше, чем могли бы. Потому что в те дни человек, одетый в красноармейскую форму и снабженный запасом продовольствия, мог, минуя контрольные посты и не зная ни слова по-русски, пройти по нашим тылам добрых двести километров. Его задержание было бы только случайностью.

Мы долго не встречали никаких войск. Только в одном месте, в лесу при дороге, стоял заградотряд НКВД. На дороге размахивал руками и распоряжался какой-то полковник, но порядка из этого все равно не выходило.

Мы раздавали свои газеты. У нас было их в кузове десять тысяч экземпляров. Раздавали их всем вооруженным людям, которых встречали — одиночками или группами, — потому что не было никакой уверенности и никаких сведений о том, что мы встретим впереди организованные части.

Километров за двадцать до Бобруйска мы встретили штабную машину, поворачивавшую с дороги налево. Оказалось, что это едет адъютант начальника штаба какого-то корпуса — забыл его номер. Мы попросились поехать вслед за ним, чтобы раздать газеты в их корпусе, но он ответил, что корпус их переместился и он сам не знает, где сейчас стоит их корпус, сам ищет начальство. Тогда по его просьбе мы отвалили в его «эмку» половину наших газет.

Над дорогой несколько раз низко проходили немецкие самолеты. Лес стоял сплошной стеной с двух сторон. Самолеты выскакивали незаметно, мгновенно, так что слезать с машины и бежать куда-то было бесполезно и поздно, если бы оказалось, что немцы решили нас обстрелять. Но они нас не обстреливали.

Километров за восемь до Березины нас остановил стоявший на посту красноармеец. Он был без винтовки, с одной гранатой у пояса. Ему было приказано направлять шедших от Бобруйска людей куда-то направо, где что-то формировалось. Он стоял со вчерашнего дня, и его никто не сменял. Он был голоден, и мы дали ему сухарей.

Еще через два километра нас остановил милиционер. Он спросил у меня, что ему делать с идущими со стороны Бобруйска одиночками: отправлять их куда-нибудь или собирать вокруг себя? Я не знал, куда их отправлять, и ответил ему, чтобы он собирал вокруг себя людей до тех пор, пока не попадется какой-нибудь командир,

с которым можно будет направить их назад группой под командой — к развилке дорог, туда, где стоит красноармеец.

Над нашими головами прошло полтора десятка ТБ-3 без конвоя истребителей. Машины шли тихо, медленно, и при одном воспоминании, что здесь кругом шныряют «мессершмитты», мне стало не по себе. Эти старые бомбардировщики показались посланными на съедение.

Проехали еще два километра. Впереди слышались сильные разрывы бомб. Когда мы были уже примерно в километре от Березины и рассчитывали, что проедем в Бобруйск и встретим там войска или встретим их на берегу Березины, из лесу вдруг выскочили несколько человек и стали нам отчаянно махать руками. Сначала мы не остановились, но потом они начали еще отчаяннее кричать и еще сильней махать руками, и я остановил машину.

К нам подбежал совершенно белый сержант и спросил, куда мы едем. Я сказал, что в Бобруйск. Он рассказал, что немцы переправились уже на этот берег Березины.

— Какие немцы?

— Танки и пехота.

— Где?

— В четырехстах метрах отсюда. [14] Вот сейчас там у нас был с ними бой. Убиты лейтенант и десять человек. Нас осталось всего семь, — сказал сержант.

Мы заглушили мотор машины и услышали отчетливую пулеметную стрельбу слева и справа от дороги — совсем близко, несомненно уже на этой стороне.

Мы сказали, чтобы сержант с бойцами подождал нас здесь, на опушке, — мы все-таки попробуем немножко проехать вперед. Проехали метров триста и вдруг увидели, что прямо на шоссе на брюхе лежит совершенно целый «мессершмитт». Трое мальчишек копались в нем, разбирая пулемет и растаскивая из лент патроны. Мы спросили, не видали ли они летчика. Они сказали, что нет, но что какие-то трое военных пошли в лес искать летчика. Рядом с самолетом лежал окровавленный шлем. Очевидно, летчик был ранен и ушел в лес.

Пулеметная стрельба была теперь совсем близко. Мы повернули и доехали до ждавших нас на опушке красноармейцев. Теперь их было больше, чем мы

оставили. Набралось уже человек пятнадцать. Я посадил их всех на грузовик, и мы поехали назад, километра за полтора, где влево уходила проселочная дорога.

На нашу машину подсело еще несколько человек. Мы свернули налево, думая, что, может быть, хоть там, на этом проселке, есть какие-нибудь части.

На проселке нам встретился еще десяток красноармейцев. Мы с Котовым собрали всех красноармейцев — их теперь было уже человек сорок, — назначили над ними командиром старшего сержанта, приказали расположиться здесь, в леске, и выслать во все четыре стороны по два дозорных искать какую-нибудь часть, к которой могла бы присоединиться вся их группа.

Потом мы развернулись и выехали обратно на шоссе. И здесь я стал свидетелем картины, которую никогда не забуду. На протяжении десяти минут я видел, как «мессершмитты» один за другим сбили шесть наших ТБ-3. «Мессершмитт» заходил ТБ-3 в хвост, тот начинал дымиться и шел книзу. «Мессершмитт» заходил в хвост следующему ТБ-3, слышалась трескотня, потом ТБ-3 начинал гореть и падать. Падая, они уходили очень далеко, и черные высокие столбы дыма стояли в лесу по обеим сторонам дороги.

Мы доехали до красноармейца, по-прежнему стоявшего на развилке дорог. Он остановил машину и спросил меня:

— Товарищ батальонный комиссар, меня вторые сутки не меняют. Что мне делать?

Видимо, тот, кто приказал ему стоять, забыл про него. Я не знал, что делать с ним, и, подумав, сказал, что как только подойдет первая группа бойцов с командиром, пусть он присоединится к ней.

Через два километра нам попалась машина, стоявшая на дороге из-за того, что у нее кончился бензин. Мы отдали часть своего, чтобы они могли доехать до какой-то деревни поблизости, куда им приказано было ехать. А они перегрузили к нам в кузов двух летчиков с одного из сбитых ТБ-3.

Один из летчиков был капитан с орденом Красного Знамени за финскую войну. Он не был ранен, но при падении разбился так, что еле двигался. Другой был старший лейтенант с раздробленной, кое-как перевязанной ногой. Мы забрали их, чтобы отвезти в Могилев. Когда сажали их в машину, капитан сказал мне, что этот старший лейтенант — известный летчик, специалист по слепым полетам. Кажется,

его фамилия была Ищенко, [15]/ Мы подняли его на руки, положили в машину и поехали.

Мы не проехали еще и километра, как совсем близко, прямо над нами, «мессершмитт» сбил еще один — седьмой — ТБ-3. Во время этого боя летчик-капитан вскочил в кузове машины на ноги и ругался страшными словами, махал руками, и слезы текли у него по лицу. Я плакал до этого, когда видел, как горели те первые шесть самолетов. А сейчас плакать уже не мог и просто отвернулся, чтобы не видеть, как немец будет кончать этот седьмой самолет.

— Готово, — сказал капитан, тоже отвернулся и сел в кузов. Я обернулся. Черный столб дыма стоял, казалось, совсем близко от нас. Я спросил старшего лейтенанта, может ли он терпеть боль, потому что я хочу свернуть с дороги и поехать по целине к месту падения — может быть, там кто-нибудь спасся. Летчику было очень больно, но он сказал, что потерпит.

Мы свернули с дороги и по ухабам поехали направо. Проехали уже километров пять, но столб дыма, казавшийся таким близким, оставался все на таком же расстоянии.

На развилке двух проселков нас встретили мальчишки, которые сказали, что туда, к самолету, уже поехали милиционеры. Тогда, видя, что раненый летчик на этих ухабах еле сдерживает стон и терпит страшную боль, я решил вернуться обратно на шоссе.

Едва мы выехали на шоссе, как над нами произошел еще один воздушный бой. Два «мессершмитта» атаковали ТБ-3, на этот раз шедший к Бобруйску совершенно в одиночку. Началась сильная стрельба в воздухе. Один из «мессершмиттов» подошел совсем близко к хвосту ТБ-3 и зажег его.

Самолет, дымя, пошел вниз. «Мессершмитт» шел за ним, но вдруг, кувыркнувшись, стал падать. Один парашют отделился от «мессершмитта» и пять — от ТБ-3. Был сильный ветер, и парашюты понесло в сторону. Там, где упал ТБ-3 — километра два-три в сторону Бобруйска, — раздались оглушительные взрывы. Один, другой, потом еще один.

Я остановил машину и, посоветовавшись с Котовым, сказал летчикам, что нам придется их выгрузить, вернуться к тому месту, где опустились наши сбросившиеся с самолета летчики, и, взяв их, потом ехать всем вместе в Могилев.

Раненый летчик только молча кивнул головой. Мы вынесли его из машины на руках и положили под дерево. Там вместе с ним, под деревом, остались Котов, второй летчик-капитан и два раненых красноармейца, которых мы подобрали по дороге.

Я сказал капитану, чтобы он до моего возвращения был здесь старшим, а сам вдвоем с шофером поехал назад.

Мы проехали обратно по шоссе три километра. Столб дыма и пламени стоял вправо от шоссе. По страшным кочкам и ухабам мы поехали туда, взяв по дороге на подножку машины двух мальчишек, чтобы они показывали нам путь.

Наконец мы добрались до места падения самолета, но подъехать к этому месту вплотную было невозможно. Самолет упал посреди деревни с полной бомбовой нагрузкой и с полными баками горючего. Деревня горела, а бомбы и патроны продолжали рваться. Когда мы подошли поближе, то нам даже пришлось лечь, потому что при одном из взрывов над головой просвистели осколки.

Несколько растерянных милиционеров бродили кругом по высоким ржаным полям в поисках спустившихся на парашютах летчиков. Я вылез из машины и тоже пошел искать летчиков. Вскоре мы встретили одного из них. Он сбросил с себя обгоревший комбинезон и шел только в бриджах и фуфайке. Он показался мне довольно спокойным. Встретив нас, он, морщась, выковырял через дыру в фуфайке пулю, засевшую в мякоти ниже плеча. Потом сказал об экипаже, что трое сгорели, а пятеро выбросились.

Милиционеры, водитель и я, разойдясь цепочкой, пошли по полям. Рожь стояла почти в человеческий рост. Долго шли, пока наконец я не увидел двух человек, двигавшихся мне навстречу. Мы все шли на розыски с оружием в руках, потому что сбросились не только наши летчики, но и немец. Но когда я увидел двоих вместе, я понял, что это наши, и начал им махать рукой. Они сначала стояли, а потом пошли нам навстречу с пистолетами в руках.

Еще не предвидя того, что произошло потом, но понимая, что эти двое не могут быть немцами, я спрятал наган в кобуру. Летчики подходили ко мне все ближе и когда подошли шагов на пять-шесть, направили на меня пистолеты, и один из них стал нервно, почти истерически кричать:

— Кто? Ты кто?

Я сказал:

— Свои!

— Свои или не свои! — продолжал кричать летчик. — Я не знаю, свои или не свои! Я ничего не знаю!

Я повторил, что тут все свои, и добавил:

— Видишь, у меня даже наган в кобуре.

Это его убедило, и он, все еще продолжая держать перед моим носом пистолет, сказал уже спокойней:

— Где мы? На нашей территории?

Я сказал, что на нашей. Подошли милиционеры, и летчики окончательно успокоились. Один из них был ранен, другой сильно обожжен. Мы вернулись вместе с ними к третьему, оставленному в деревне. Туда же за это время пришел и четвертый. Пятого отнесло куда-то в лес, и его продолжали искать. Куда отнесло парашют немца, никто толком не видел.

Летчики матерно ругались, что их послали на бомбежку без сопровождения, рассказывали о том, как их подожгли, и радовались, что все-таки сбили хоть одного «мессершмитта». Но меня, видевшего только что всю картину гибели восьми бомбардировщиков, этот один сбитый «мессер» не мог утешить. Слишком дорогая цена.

Мы не стали ждать, пока найдут пятого летчика — на это могло уйти и несколько часов, а у меня оставался на дороге раненый. Я забрал с собой этих четырех летчиков, из которых двое тоже были легко ранены, посадил в кузов и поехал обратно.

На шоссе, в полукилометре от того места, где я оставил своих спутников, меня встретил стоявший прямо посреди дороги бледный Котов. Рядом с ним стоял какой-то немолодой гражданский с велосипедом. Я остановил машину.

— Почему вы здесь? — спросил я Котова.

— Случилось несчастье, — сказал он трясущимися губами, — Несчастье.

— Какое несчастье?

— Я убил человека.

Стоявший рядом с ним гражданский молчал.

— Кого вы убили?

— Вот его сына. — Котов показал на гражданского.

И вдруг гражданский рыдающим голосом закричал:

— Четырнадцать лет! Какой человек? Мальчик! Мальчик!

— Как это случилось? — спросил я.

Котов стал объяснять что-то путаное, что кто-то побежал через дорогу по полю, и он принял этих бежавших за немецких летчиков, потому что упал немецкий бомбардировщик, и он выстрелил и убил.

— Как он мог принять за летчика мальчика четырнадцати лет? Просто убил, и все! — снова закричал штатский и заплакал.

Я ничего не понимал и не знал, что делать.

— Садитесь в машину оба. Доедем до того места, — сказал я.

Котов и гражданский оба сели в кузов, и мы поехали туда, где под большим деревом ждали нас остальные. Остававшийся за старшего летчик-капитан растерянно рассказал мне, что действительно недалеко в лесу упал сбитый немецкий бомбардировщик и были видны два спускавшихся парашюта. Котов, взяв с собой Двух легко раненных красноармейцев, пошел туда, поближе к опушке, и увидел, что от опушки метрах в шестистах от него перебежали двое в черных комбинезонах. Он стал кричать им: «Стой!», но они побежали еще сильней. Тогда он приложился и выстрелил. С первого же выстрела один из бежавших упал, а второй убежал в лес. Когда Котов вместе с красноармейцами дошли до упавшего, то увидели, что это лежит убитый наповал мальчик в черной форме ремесленного училища. Потом туда же прибежал вскоре его отец — этот человек с велосипедом, бухгалтер колхоза.

Что было делать? Отец плакал и кричал, что Котова надо расстрелять, что Котов убил его сына, единственного сына, что мать еще не знает об этом и он сам даже не знает, как ей об этом сказать. Он требовал от меня, чтобы я оставил Котова здесь, в их деревне, в километре отсюда, пока он не вызовет кого-нибудь из

местного НКВД.

Слушая его отчаянный ожесточенный голос, я вдруг понял, что если оставить здесь Котова, то вполне возможно, что отец убитого и соседи, даже тот же местный участковый милиционер, да и всякий другой, кто тут окажется, в том нервном, отчаянном состоянии, которое сегодня здесь у всех, просто устроят самосуд над убийцей, и вместо одного убитого будут двое.

Я сказал, что не могу оставить здесь Котова и что сдам его сам в военную прокуратуру в Могилеве, куда я возвращаюсь. Отец мальчика стал кричать, что он знает, что я хочу укрыть убийцу, что я хочу скрыть все это дело и что нет — он не отпустит Котова, что так нельзя. Тогда я сказал Котову, что он арестован, отобрал у него оружие и патроны, посадил его в кузов грузовика и в присутствии отца убитого приказал одному из красноармейцев охранять Котова и, если Котов попытается бежать, — стрелять по нему. Потом записал на бумажке свою фамилию и место службы — редакцию, отдал бумажку отцу убитого и твердо обещал, что это дело будет разобрано.

Времени терять было нельзя. Я сел в машину, и мы рванулись с места. Отец убитого стоял на дороге — раздавленный горем человек, к тому же еще угнетенный, наверно, мыслью, что я все-таки скрою случившееся, и убийца его сына не понесет наказания.

Спустя километр мы пронеслись через деревню. Стояла толпа, слышались вопли и крики. Наверно, только что узнали о случившемся. Я еще раз подумал, что действительно здесь могли бы устроить самосуд над Котовым.

Всю обратную дорогу мы ехали молча. Сначала сзади еще доносилась артиллерийская стрельба, потом стало тихо. Как мне потом говорили, немцы в этот день с утра действительно небольшими силами форсировали Березину около Бобруйска и навели панику в лесах на этой стороне. Их отбивало в пешем строю растянутое на двенадцать километров Бобруйское танковое училище, которое на следующий день, когда немцы окончательно переправились, все и полегло там, в лесах, в неравном бою.

В Могилев мы вернулись только к ночи. Я отвез раненых в госпиталь. В темноте их долго не принимали, шла какая-то канитель. У меня еще было наивное штатское представление, что к каждому привезенному раненому должны сразу выскочить

все врачи и сестры и начать кудахтать над ним: «Ах, что с вами, голубчик? Не больно ли вам?» Меня удивило, с каким равнодушием и даже волокитой в ту ночь принимали у меня раненых — так показалось мне, — хотя, в сущности, это была нормальная жизнь круглые сутки принимающего раненых госпиталя. К этому я привык только потом.

Сдав раненых, я вместе с Котовым и летчиком-капитаном вернулся в редакцию. Там, попросив редактора, чтобы из комнаты ушли посторонние, я положил ему на стол пистолет и патроны, отобранные у Котова, и доложил о происшедшем. Летчик, со своей стороны, как свидетель тоже рассказал об этом. Он был очень удручен, так как оставался старшим и чувствовал себя в какой-то степени ответственным за эту дикую историю.

Устинов неожиданно для меня отнесся ко всему происшедшему спокойней, чем я думал, и сказал, что доложит об этом члену Военного Совета фронта, а пока что потребовал, чтобы Котов сдал ему свои документы. Оказалось, что у Котова никаких документов нет, что он в растерянности, уговаривая отца убитого подождать, пока я вернусь, отдал ему в залог свои документы и потом так и не взял их.

Я написал короткую объяснительную записку. То же самое сделал летчик, и мы, смертельно усталые, повалились спать на полу рядом, все трое.

Так кончился этот день. Засыпая, я думал о Котове, Мне казалось, что его признают виновным и, может быть, расстреляют. Хотя я сделал все, что мог, чтобы спасти его от самосуда, но мне казалось, что за убийство мальчика, которое могло произойти только в обстановке общей нервозности этого дня, Котова будут судить и, возможно, расстреляют. Другие меры наказания в те дни не приходили в голову. Казалось, что с человеком можно сделать только одно из двух — или расстрелять, или простить.

Потом, на следующий день, я с удивлением узнал, что когда о случившемся доложили члену Военного Совета, то он, расспросив, как до этого вел себя Котов, и узнав, что хорошо, сказал:

— Ну что же, пусть загладит свою вину на войне.

В те дни мне еще казалось, что случайное убийство человека — все равно непоправимое деяние, за которое нельзя не понести наказания. Потом мне часто

уже не казалось этого…

Котова я увидел недавно в Москве, через восемь месяцев после случившегося. Он совершенно не изменился, только уже не носил кавалерийской фуражки и стал старшим политруком. А в общем, конечно, все это было правильно тогда — и то, что я не оставил Котова одного там, на дороге, когда ему грозил самосуд, и то, что его потом простили. Мальчика не вернешь все равно, а в живых остался все-таки лишний солдат.

На следующий день после поездки под Бобруйск, приехав в лес под Могилевом в штаб фронта, я прочел в политотделе записанную на слух радистами речь Сталина. [16] Отчетливо помню свои ощущения в те минуты. Первое — этой речью, в которой говорилось о развертывании партизанского движения на занятой территории и об организации ополчения, клался предел тому колоссальному разрыву, который существовал между официальными сообщениями газет и действительной величиной территории, уже захваченной немцами.

Это было тяжело читать, но нам, которые это знали и так, все-таки было легче оттого, что это было сказано вслух.

Второе чувство — мы поняли, что бродившие у нас в головах соображения о том, что разбиты только наши части прикрытия, что где-то готовится могучий удар, что немцев откуда-то ударят и погонят на запад не сегодня, так завтра, что все эти слухи о том, что Южный фронт тем временем наступает, что уже взят Краков и так далее, — мы поняли, что все это не более чем плоды фантазии, рожденной несоответствием того начала войны, к которому мы годами готовились, с тем, как оно вышло в действительности.

Это тоже было тягостно, а все-таки в этом была какая-то определенность. Становилось ясно, что придется воевать с немцами тем, что есть под руками, не обольщаясь никакими химерами и надеждами на воображаемые успехи Южного или Северо-Западного фронтов. Всюду было так же, как у нас, здесь — немного хуже или немного лучше. Оставалось надеяться только на собственные силы.

И над обоими этими чувствами было еще одно — самое главное. Вспомнилась речь Шверника о введении восьмичасового рабочего дня. В ней не говорилось, что восьмичасовой рабочий день введен по просьбе трудящихся, которым надоело работать семь часов, а потому, что на носу война и есть тяжелая государственная

необходимость перейти на восьмичасовой рабочий день. Говорилась полная правда. Мне всегда казалось, что именно так и нужно разговаривать, что так люди лучше понимают. А письма женщин, просящих о том, чтобы им сократили послеродовой отпуск, мне представлялись нелепыми и ханжескими. Надо было прямо сказать, что у государства сейчас недостаточно денег, что деньги нужны на оборону. И все бы поняли. И было бы вокруг этого закона гораздо меньше кривотолков.

Когда я прочел речь Сталина 3 июля, я почувствовал, что это речь, не скрывающая ничего, не прячущая ничего, говорящая народу правду, говорящая ее так, как только и можно было говорить в таких обстоятельствах. Это радовало. Казалось, что в таких тягостных обстоятельствах сказать такую жестокую правду — значит засвидетельствовать свою силу.

И еще одно ощущение. Понравилось, очень дошло до сердца обращение: «Друзья мои!» Так у нас давно не говорилось в речах. Нам все эти годы не хватало именно дружбы. И в этой речи слова «Друзья мои», помню, тогда тронули до слез.

Мы сидели в лесу. Над головой изредка гудели самолеты. Конечно, мы не знали, как все дальше повернется. И я не знал, что вот сейчас, в апреле, буду сидеть в Москве. Но после этой речи были мысли, что пойдешь, и будешь драться, и умрешь, если нужно, и будешь отходить до Белого моря или до Урала, но пока жив — не сдашься. Такое было тогда чувство.

В Могилеве вдруг стало тревожно. Сообщали, что около ста немецких танков с пехотой, прорвавшись у Бобруйска, форсировали Березину. Через город весь вечер и ночь проходили эвакуировавшиеся тыловые части. Из дома типографии, стоявшего над крутым берегом Днепра, было слышно, как повозки и грузовики грохочут по деревянному мосту.

Утром я приехал из типографии в лесок, где стояла редакция, и там узнал, что мы вместе со штабом фронта должны переезжать куда-то под Смоленск.

Здесь же в леске собралась только что приехавшая из Москвы бригада «Известий» — Сурков, Кригер, Трошкин, Склезнев, Белявский и еще, кажется, Федор Левин.

К середине дня редакция погрузилась на машины, и мы целой колонной двинулись на Смоленск. Большую часть пути ехали проселками. По дороге узнали, что накануне был убит один из наших редакционных водителей и смертельно

ранен заместитель редактора батальонный комиссар Лихачев. Вышло это под Могилевом, ночью. Их остановили на дороге и, пока Лихачев давал документы для проверки, разрядили в них в упор маузер. Водитель был убит наповал, Лихачев — смертельно ранен. Как это произошло, он рассказал уже в госпитале.

Оказывается, были не только слухи о диверсантах, но и сами диверсанты, и держать наизготовку наган при проверке документов было не так уж смешно.

Но все равно грустное часто сочетается со смешным. Так вышло и здесь. После того, как узнали о нашем редакционном несчастье, вскоре наша полуторка отстала на несколько километров от колонны, и вдруг перед нами на дорогу выскочил какой-то старик. При проверке документов оказалось, что это секретарь парторганизации здешнего колхоза. Остановив нас, он стал уверять, что впереди на дороге высадилась немецкая диверсионная группа и что она сейчас обстреляла его.

Мы вылезли из машины, разобрали винтовки, и машина тихо двинулась по дороге, а мы пошли цепочкой слева и справа. Было нас человек шесть, не помню кто — помню только Шустера, шумного, смешливого человека, потом пропавшего без вести во время Вяземского окружения. Немцев мы не встретили, но впереди километра за три на дороге обнаружили стоявший грузовик. У этого грузовика одна за другой лопнули сразу две покрышки, и эти лопнувшие покрышки как раз и были теми немецкими диверсантами, которые обстреляли бдительного старика. Посмеявшись, мы залезли в грузовик и поехали дальше.

Было очень грустно на душе. Мы проезжали проселками через места, где еще почти не ходили военные машины, через самые мирные деревеньки и городишки. Мы ехали на северо-восток, в тыл. И надо было видеть, с какой тревогой провожали глазами наши машины люди, выходившие из домов. Особенно встревоженно вели себя жители Шклова — старого еврейского городка. Городок был маленький, грязноватый, но оттого, что светило солнце, он казался все-таки веселым. Мы проезжали через город, а у дверей стояли испуганные еврейские женщины и глазами спрашивали нас: трогаться им с места или нет?

У одного из домов мы остановились, чтобы попить воды, и тут нам сказали вслух сказанное до этого только глазами. Спрашивали: «Где немцы? Придут ли они сюда? Может быть, пора уходить, скажите нам правду». И мы им сказали то, что в

тот день считали правдой: что немцы далеко и что их сюда не пустят. Не могли же мы знать, что именно около этого самого Шклова всего через несколько дней немцы прорвут нашу линию обороны, шедшую от Орши на Могилев.

Через Смоленск мы проезжали уже поздно вечером. Ходили слухи, что от Смоленска после немецких бомбардировок не осталось камня на камне. В действительности было не так. В тот вечер я почти не увидел в Смоленске разбитых бомбами зданий. Но несколько центральных кварталов было выжжено почти целиком. И вообще город был на четверть сожжен. Очевидно, немцы бомбили здесь главным образом зажигалками.

Это был первый город, который я видел еще дымящимся. Здесь я в первый раз услышал запах гари, горелого железа и дерева, к которому потом пришлось привыкнуть.

В небе высоко гудели самолеты. Мы спускались к железной дороге, когда увидели, что на другой окраине Смоленска взлетают ракеты. Значит, диверсанты были и здесь.

Мы проехали еще километров пятнадцать за Смоленск, свернув с дороги, приехали в сырой низкорослый лесок и, разостлав на траве плащ-палатку, немедленно заснули.

На следующий день началось устройство лагеря редакции. Устанавливали палатки, и Алеша Сурков впервые показал всем нам свои незаурядные хозяйственные способности старого солдата. С едой по-прежнему было скверно и бестолково. Вроде даже и было что есть, а ели все-таки кое-как.

По заданию редакции я поехал через Смоленск в стоявшую за ним где-то на окружавших его лесистых холмах танковую дивизию. Ехали мимо станционных путей и пакгаузов, видели, как выгружалось много пушек, тягачи тащили вверх, на холмы, тяжелую артиллерию.

Когда приехали, увидели танк БТ-7, который с трудом карабкался в гору, и по этому танку поняли, что отыскали местопребывание танковой дивизии. На Халхин-Голе я привык к тому, что танковая бригада или батальон — это прежде всего танки. Но здесь пришлось быстро отвыкнуть от этого представления. В дивизии были только люди, а танков не было. [17] Тот танк, который полз наверх, оказывается, был единственным в дивизии. Все остальные погибли в боях или

были взорваны после израсходования горючего. А этот прошел своим ходом сюда — кажется, от самого Бреста — единственный.

Я много говорил в дивизии с людьми; из этих рассказов понял, что дрались они хорошо, больше того — отчаянно, но материальная часть, которую вот-вот должны были сменить на современную, была истрепана во время весенних маневров. К первому дню войны половина танков была в ремонте, [18] а оставшиеся в строю были в непригодном к войне состоянии.

Не знаю, как было вообще, но в этой дивизии обстояло именно так. Оказавшись в таком положении, люди все-таки приняли бой с немцами. Сначала — один, потом — другой, третий. И так ежедневно десять суток, пока у них не осталось больше машин. Тогда они пешком добрались до Смоленска.

Судя по рассказам людей, несмотря на превосходство немцев и в качестве машин — в дивизии были только БТ-7 и БТ-5,— и в количестве, мы все-таки заставили их понести тяжелые потери. В дивизии не чувствовалось подавленного настроения, но была отчаянная злость на то, что все так нелепо вышло, и желание получить немедленно новую материальную часть, переформироваться и отомстить.

Мне рассказали об одном из командиров этой дивизии — майоре Бандурко, и я потом послал о нем очерк в «Известия» — мой первый за войну, да и вообще в жизни.

Другой майор-танкист там же в дивизии рассказал мне, что во время выхода из окружения его и нескольких бойцов нагнал на ржаном поле «мессершмитт». Расстреляв по ним все патроны, немец стал пытаться раздавить их колесами. Майор залег в канаву на поле. Три раза «мессершмитт» проходил над ним, стараясь задеть его выпущенными колесами. Один раз это ему удалось.

Майор, задрав гимнастерку, показал мне широкую, в пять пальцев, синюю полосу через всю спину.

Мы вернулись в лагерь редакции, и я весь вечер сидел и думал: как же мне писать? Все происходившее было тягостно. Писать, как было, казалось невозможным. Не только потому, что этого не напечатали бы, но и невозможным внутренне. Хотелось на что-то опереться, на каких-то людей, которые среди всех этих неудач своими подвигами хотя бы как-то вселяли надежду на то, что все повернется к лучшему.

Именно с таким чувством на рассвете следующего дня я и написал свой очерк о Бандурко.

Написал очерк, оставил его ребятам, чтобы передали в «Известия», а сам в то же утро поехал вместе с Сурковым, Трошкиным и Кригером по направлению к Борисову. По слухам, где-то там, под Борисовом, дралась Пролетарская дивизия.

Выехали на стареньком «пикапчике» «Известий». Его вел шофер Павел Иванович Боровков — мужчина лет тридцати пяти, веселый, хитроватый и до невозможности говорливый. В течение часа он укладывал в лежку всякого, кто садился с ним в кабину, заговаривал до смерти. Когда к нему пересаживался следующий, он заговаривал и следующего. Кроме того, у него была своя точка зрения на опасность. А именно — он считал, что опасно ехать только с востока на запад, а с запада на восток можно ехать совершенно безопасно. Поэтому когда он ехал вперед, то боялся самолетов и двигался со скоростью двадцать километров, приоткрыв дверцу, ежеминутно готовый выскочить. Но зато когда ехал обратно, то, считая, что машину, идущую с запада на восток, бомбить не станут, выжимал из своего «пикапа» чуть ли не восемьдесят километров.

Мы сначала двигались по проселку, а потом, за Смоленском, выехали на Минское шоссе и поехали по нему. Само полотно шоссе было по-прежнему сравнительно мало разрушено немецкой бомбежкой. Немцы, несомненно, берегли шоссе как путь своего будущего передвижения. И эта их самоуверенность удручала.

Мы без особых происшествий доехали до развилки, где одна из дорог поворачивает на Оршу и дальше идет на Шклов — Могилев. По этой рокадной дороге шло бешеное движение. Шли целые колонны грузовиков, и двигалось очень много легких танков. Мы переехали дорогу и попали на опушку леса. Там стояло несколько штабных танкеток и размещался штаб 73-й Калининской дивизии. [19]

Это была еще не принимавшая участия в боях, необстрелянная, но полностью укомплектованная и хорошо вооруженная кадровая дивизия.

Я вспомнил, как именно тут, когда ехал в июне из-под Борисова, впервые увидел наши регулярные войска. Я спросил, с какого числа стоит здесь дивизия, и мне ответили, что с двадцать седьмого. Значит, ее я и видел.

Пока мы сюда добрались, была уже середина дня. Трошкин пошел

фотографировать оборонительные работы. Перед лесом, на открытом месте, тысячи крестьян рыли огромный противотанковый ров. Вернувшись оттуда, Трошкин стал снимать бойцов в лесу за чтением газет, которые мы привезли из редакции. Я впервые с удивлением видел, как работает фотокорреспондент. До сих пор я наивно представлял себе, что фотокорреспондент просто-напросто ловит разные моменты жизни и снимает. Но Трошкин десять раз пересаживал бойцов так и эдак, переодевал каски с одного на другого, заставлял их брать в руки винтовки. В общем, мучил их целых полчаса. Меня поразила и удивительная любовь людей сниматься, и такое же удивительное их терпение. Потом я к этому, конечно, привык.

Здесь же, в лесу, стояла и дивизионная газета. Среди сотрудников редакции оказался умный еврейский мальчик, хорошо знавший стихи и, должно быть, сам писавший их. Мы разговорились с ним о стихах и о том, кто из поэтов где сейчас оказался и что пишет. Весь этот разговор был каким-то странным, ни к чему.

Со съемками и за разговорами довольно долго провозились, потом стали выяснять, что стоит там, впереди, ближе к Борисову, где, в частности, находится Пролетарская дивизия. Нам ответили, что эта дивизия входит в состав другой армии, а где эта армия и где ее штаб — здесь никто не знает. Знают только, что они впереди. А дивизия, в которой находимся сейчас мы, входит в состав другой армии, стоящей вдоль дороги, влево и вправо от Минского шоссе, и должна здесь ждать немцев и встречать их прорвавшиеся части.

В дивизии говорили, что высшим командованием решено дать здесь немцам новое Бородинское сражение и остановить их здесь. Не знаю, говорило ли так высшее командование или самим людям хотелось так говорить, чтобы успокоить себя, но во всяком случае, как мы убедились в течение этого дня, здесь было много техники, все, что положено, кроме тяжелых и средних танков. Было много противотанковой артиллерии, пушки торчали за каждым пригорком и кустиком.

Были отрыты окопы полного профиля, подготовлены противотанковые рвы. Мосты впереди были минированы, дороги — тоже. Здесь немцы действительно должны были наткнуться на ожесточенное сопротивление.

Очевидно, именно поэтому они потом, в десятых числах июля, и не пошли сюда, а, прорвавшись южнее, у Шклова, обошли эту линию обороны. И частям,

находившимся здесь, пришлось выходить из окружения.

Мы решили заночевать в дивизии, а утром ехать дальше, к Борисову. [20] Хотя впереди обстановка была неизвестна, но не хотелось возвращаться назад и искать штаб армии, в котором, впрочем, нам тоже могли не сказать всего того, что нам было нужно.

Перед темнотой штаб дивизии, где мы остановились, стал перебираться в другое место. Вместе с ним двинулись и мы. Сначала проехали километра три по шоссе по направлению к Борисову, потом свернули в лес налево и по лесной дороге двинулись в глубь него, выбравшись на маленькую лесную полянку.

Когда ехали к лесу, к его опушке, справа была видна незабываемая картина. Низкие холмы, облитые красным светом заката, темно-зеленые купы деревьев около маленькой красивой деревни. По гребню холма мальчишки гнали лошадей. Над крышами курился тонкий дым. Мирная картина срединной русской природы. Даже трудно представить себе, до какой степени все это было далеко от войны.

В лесу, куда перебрался на новое место штаб дивизии, было темно и сыро. Лес был густой и старый. Что-то пожевав наспех, мы наломали еловых веток, накрыли их плащ-палатками и легли рядом со своим «пикапом».

Утром проснулись рано и сейчас же выехали на шоссе. Сначала справа и слева по шоссе были видны артиллерийские позиции, потом увидели артиллеристов, очевидно, занимавшихся разметкой будущих площадей обстрела. Они ходили со своим артиллерийским инструментом и были очень похожи на каких-нибудь студентов-геодезистов. Дальше было пусто. Кое-где возле шоссе — воронки, следы крови. Но трупов не было: их уже убрали.

Проехали шестьдесят, шестьдесят пять, семьдесят километров. В одном месте, налево от шоссе, около церковки увидели три тяжелых орудия, стоявших не на позициях, а прямо у церковной ограды вместе со своими тягачами. Остановили машину и пошли туда, чтобы хоть что-нибудь узнать, но артиллеристы знали не больше нас. Им приказали стоять здесь, и они стояли. Они сказали нам, что впереди только что была сильная бомбежка. Вдребезги разбита зенитная батарея.

В самом деле, когда мы проехали еще немножко вперед, увидели эту разбитую батарею. У одной из пушек длинный хобот ее был разодран так, что трудно себе представить, как это могло случиться с железом. Проехали еще километров

десять. Вдруг в редком лесу налево увидели каких-то военных. Съехали с дороги, свернули в лес, из которого нам стали отчаянно кричать, чтобы мы поскорее замаскировали машину.

В лесу был хаос. Треть деревьев кругом вывернута или сломана. Весь лес в воронках, а люди почти в истерическом состоянии после только что кончившейся чудовищной бомбежки.

Наконец нашли какого-то капитана. Он сказал, что там, впереди, отступают и у него во время бомбежки погибло много людей, что они сами только что сюда отступили и попали под бомбежку, что они не знают, где командир полка. Мы спросили его, есть ли впереди какие-нибудь части, хотя бы отступающие. Он сказал, что да, впереди есть части Пролетарской дивизии.

Мы снова выехали на шоссе. Сурков благоразумно советовал не ехать дальше, не выяснив, что происходит там, впереди. Я и Трошкин спорили с ним. Не потому, что мы были такие храбрые: очень уж тошно было возвращаться без всякого материала. Кроме того, мы с Трошкиным еще питали тогда наивное представление, что раз мы едем вперед из штаба армии, значит, видимо, впереди — штаб дивизии, потом — штаб полка, а потом уже — передовые позиции. Нам казалось, что все это представляет собой несколько линий — первую, вторую, третью, которые нам нужно все проехать, прежде чем мы столкнемся с немцами.

Сурков в ответ на наши возражения промолчал, а мы с Трошкиным вслед за этим, смеясь, стали говорить о Боровкове, который едет на запад со скоростью двадцать километров, а на восток — со скоростью восемьдесят. Как потом оказалось, Сурков, не расслышав вначале нашего разговора, принял эту шутку на свой счет и закусил удила — решил назло нам не останавливаться, пока мы сами не запросим.

Поехали дальше. В воздухе крутились немецкие самолеты. Пришлось несколько раз выскакивать из нашего «пикапа» и бросаться на землю. Самолеты обстреляли шоссе, снижаясь до пятидесяти метров. При одном из приземлений я расцарапал себе все лицо. Злые, ничего не понимающие, мы наконец добрались до моста через какую-то реку: кажется, это была река Бобр.

На мосту, к каждому его устою, были уже привязаны здоровенные ящики со взрывчаткой. Около них наготове стояли саперы. А поодаль, в стороне, саперные командиры пробовали, очевидно, проверяя по времени, как горит запальный

шнур.

Мы на минуту остановились. Я и Трошкин предложили: не выяснить ли все-таки все обстоятельства, прежде чем ехать дальше? Но теперь уже Сурков сказал, что надо ехать дальше: поедем посмотрим сами. Что касается Курганова, то он относился к нашим спорам довольно спокойно. Ему больше всего хотелось встретить хоть кого-нибудь, кто бы хоть что-нибудь знал и мог дать ему беседу для «Правды».

Мы проскочили через мост. Кажется, саперы что-то хотели сказать нам, но не сказали или не успели. Проехав мост, мы сделали еще три-четыре километра. Впереди, слева и справа, была слышна артиллерийская стрельба. Вдруг справа у дороги что-то блеснуло на солнце. Мы остановились и увидели, что шагах в двадцати от дороги стоит мотоцикл с коляской, а рядом с мотоциклом с картой в руках — высокий комдив. Золотые галуны на рукаве у него горели на солнце. Их блеск мы и заметили. Рядом с комдивом — маленький полковник.

Мы выскочили из машины и подошли к ним. Сурков, как старший, представился, сказал, что мы являемся представителями центральных газет «Известий» и «Правды» и хотели бы поговорить. Комдив как-то странно посмотрел на нас, сказал: «Здравствуйте, дорогие товарищи», крепко пожал нам всем руки, а потом после паузы добавил: «Убирайтесь-ка отсюда поскорей к…»

Курганов, не смутившись и профессионально вынув записную книжку, спросил:

— А может быть, вы все-таки сможете посвятить нам пять минут для беседы?

— Что? — переспросил комдив. — Я же вам сказал: поезжайте ради бога отсюда! Уедете отсюда километров за двадцать назад — там штаб у меня будет. Вот там завтра и поговорим. Мост переезжали?

— Да.

— Так вот, поскорее обратно его переезжайте.

Мы сели в машину, повернули, проскочили через мост под удивленными взглядами тех же саперов и остановились километрах в трех за мостом, у колодца.

Когда мы сворачивали на дорогу, простившись с комдивом, то видели, что он тоже садится в свой мотоцикл с коляской. Тогда мы так ничего толком и не поняли, кроме того, что вляпались куда-то. Все выяснилось впоследствии. Пролетарская

дивизия после ожесточенного боя отступила и, оторвавшись от немцев, отошла за реку Бобр, по которой должна была идти ее новая линия обороны. Мост, через который мы проезжали, находился уже перед передним краем. Его должны были взорвать тотчас, как только вернется начальство, поехавшее вперед на рекогносцировку, проверить в последний раз сектора обстрела артиллерии. За этим занятием мы и застали торопившегося комдива.

Вопреки нашим корреспондентским представлениям о стратегии и тактике, дивизия отступала не по дороге, а слева и справа от нее по лесам. Там же наступали немцы, может быть, не предполагая, что дорога свободна и на том отрезке ее, который мы проехали, никого нет. Налево и направо в то время, когда нас завернул комдив, немцы были уже сзади нас, подходили к реке.

Все это мы выяснили потом. А тогда, добравшись до колодца, только безотчетно почувствовали, что выбрались из какой-то беды и, спустив на веревке в колодец котелок, стали жадно пить воду. Вода была замечательная, родниковая, холодная, и мы пили ее досыта.

Напившись воды, мы двинулись к Смоленску. По дороге, устав и окончательно пропылившись, заехали в какую-то деревеньку возле дороги и заглянули в избу. Изба была оклеена старыми газетами; на стенах висели какие-то рамочки и цветные вырезки из журналов. В правом углу была божница, а на широкой лавке сидел старик, одетый во все белое — в белую рубаху и белые порты, — с седою бородой и кирпичной морщинистой шеей.

Бабка, маленькая старушка с быстрыми движениями, усадила нас рядом со стариком на лавку и стала поить молоком. Сначала вытащила одну крынку, потом — другую.

Зашла соседка. Бабка спросила:

— А Дунька все голосит?

— Голосит, — сказала соседка.

— У ней парня убили, — объяснила нам старуха.

Потом вдруг открылась дверь в сени, и мы услышали, как близко, должно быть в соседнем дворе, пронзительно кричит женщина. Бабка, сев рядом с нами на лавку, спокойно следила, как мы жадно пьем молоко.

— Все у нас на войне, — сказала она. — Все сыны на войне и внуки на войне. А сюда скоро немец придет, а?

— Не знаем, — сказали мы, хотя чувствовали, что скоро.

— Должно, скоро, — сказала бабка. — Уже стада все погнали. Молочко последнее пьем. Корову-то с колхозным стадом тоже отдали, пусть гонят. Даст бог, когда и обратно пригонят. Народу мало в деревне. Все уходят.

— А вы? — спросил один из нас.

— А мы куда ж пойдем? Мы тут будем. И немцы придут — тут будем, и наши вспять придут — тут будем. Дождемся со стариком, коли живы будем.

Она говорила, а старик все сидел и молчал. И мне казалось, что ему было все равно. Все — все равно. Что он очень стар и если бы он мог, то он умер бы вот сейчас, глядя на нас, людей, одетых в красноармейскую форму, и не дожидаясь, пока в его избу придут немцы. А что они придут сюда — мне по его лицу казалось, что он уверен.

Он так молча сидел на лавке и все качал своей столетней седой головой, как будто твердил: «Да, да, придут, придут».

Я потом написал об этом стихотворение и посвятил его Алеше Суркову. Было нам тогда очень плохо в этой хате, хотелось плакать, потому что ничего не могли мы сказать этим старикам, ровно ничего утешительного.

Дальше, на обратном пути, не было ничего примечательного. Трясясь в «пикапе», я по дороге в Смоленск писал стихи о том, чтобы ничего не оставлять немцам, все жечь, чтобы сама сожженная, изуродованная природа повернулась против них. Стихи были, кажется, ничего, лучше обычных газетных. Но именно из-за этих сильных выражений они так и не попали в «Красноармейскую правду».

В редакцию мы приехали к вечеру, а на следующее утро снова уехали — на этот раз в район Краснополья.

Эта поездка, во время которой мы не слышали ни одного выстрела, за исключением далекого грохота канонады где-то на Днепре, у Рогачева, все-таки врезалась в память. Мы ехали через Рославль, Кричев, Чериков, Пропойск — через маленькие города, в которых я никогда в жизни, наверно, не побывал бы, если бы не война.

В Рославле мы с Калашниковым зашли в буфет, и нам налили там оставшиеся на дне бутылки последние капли какого-то ликера.

Дороги были пыльные, а от Кричева до Краснополья — неимоверно ухабистые. В маленьком районном городке Краснополье мы остановились у маленького книжного магазина и купили там несколько карт Могилевской области и Белоруссии. Это были детские карты, наведенные тонкими синими линиями, те самые карты, которые мы когда-то в школе раскрашивали зеленым, синим и красным. Могло ли мне когда-нибудь прийти в голову, что вот по такой карте я буду во время войны разыскивать какие-то нужные мне города и села?

Задание редакции было — найти в районе Краснополья находившиеся где-то там дивизии, которые переформировывались после выхода из окружения. [21] Говорили, что у них большой боевой опыт и что мы можем взять в этих дивизиях нужный для газеты материал.

Одну дивизию мы действительно нашли около Краснополья. Двое из нас остались в дивизии, а мы с Сурковым поехали дальше, в другую дивизию.

В этой поездке мы подружились с Алешей Сурковым. Дорога шла через какие-то глухие, совершенно неведомые деревни. Они были еще далеко от фронта, и я думаю, что даже потом, уже заняв Смоленск, немцы, наверно, целыми неделями не добирались до этих оставшихся у них в тылу глухих мест. Но хотя фронт был еще далеко, по всем дорогам, шедшим с запада на восток, по всем проселкам и тропинкам двигались бесчисленные беженцы. Население окрестных сел пока не трогалось с мест, хотя многие уже готовились к уходу.

А по дорогам шли еврейские беженцы из-под Белостока, из-под Лиды, из сотен еврейских местечек. Они ехали на невообразимых арбах, повозках. Ехали и шли старики, которых я никогда не видел, с пейсами и бородами, в картузах Прошлого века. Шли усталые, рано постаревшие еврейские женщины. И дети, дети, дети… Детишки без конца. На каждой подводе — шесть-восемь-десять грязных, черномазых, голодных детей. И тут же на такой же подводе торчал самым нелепым образом наспех прихваченный скарб: сломанные велосипеды, разбитые цветочные горшки с погнувшимися или поломанными фикусами, скалки, гладильные доски и какое-то тряпье.

Все это кричало, скрипело и ехало, ехало без конца, ломаясь по дороге, чинясь и

снова двигаясь на восток.

Наконец мы заехали в такую глушь, где даже не было беженцев. По проселкам шли только мобилизованные. В деревнях оставались женщины. Они выходили на дорогу, останавливали машину, выносили из погребов крынки с холодным молоком, поили нас, крестили и вдруг, как-то сразу перестав стесняться того, что мы военные и партийные, говорили нам: «Спаси вас господи. Пусть вам бог поможет» — и долго смотрели нам вслед. Просьбы взять деньги за молоко отвергались без обиды, но бесповоротно.

Деревни были маленькие, и около них, обычно на косогорах, рядом с покосившейся церквушкой, а иногда и без церквушки, виднелись большие кладбища с одинаковыми, похожими друг на друга старыми деревянными крестами. Несоответствие между количеством изб в деревне и количеством этих крестов потрясло меня тогда, и это чувство осталось и сегодня. Я понял тогда, насколько сильно во мне чувство родины, насколько я чувствую эту землю своей и как глубоко корнями ушли в нее все эти люди, которые живут на ней. Горести первых двух недель войны убедили меня в том, что и сюда могут прийти немцы, но представить себе эту землю немецкой было невозможно. Что бы там ни было — она была и останется русской. На этих кладбищах было похоронено столько безвестных предков, дедов и прадедов, каких-то никогда не виденных нами стариков, что эта земля казалась русской не только сверху, но и вглубь на много саженей.

До дивизии, которую мы с Сурковым искали, мы добрались под вечер. Было абсолютно тихо. Так тихо, что, хотя до Днепра еще было далеко, все-таки мгновениями было слышно, как там бьет тяжелая артиллерия.

Дивизия стояла на отдыхе. Сейчас в ней оставалось — в строю две с половиной тысячи человек. Но подполковник армянин, который командовал ею сейчас, потому что командир еще был где-то в окружении, спокойно сказал нам, что через два-три дня у него будет восемь тысяч человек. Когда я спросил его, из чего складывается такая арифметика, он ответил, что три тысячи мобилизованных уже собраны в окрестных деревнях, а три тысячи наверняка еще подойдут за эти дни из окружения.

Он говорил об этом так уверенно, словно речь шла о лыжном переходе, когда

одни участники уже пришли на финиш, а другие еще в пути. Тогда мне это показалось странным, но потом — и очень скоро — я понял, что он был прав. В окружении оставались пушки, танки, пулеметы, а люди выходили оттуда. Они просачивались через немецкие моточасти, как вода через гребенку. Окружение танками в этих густых минских и смоленских лесах было в большей степени окружением материальной части, чем окружением людей. И люди каждый день проходили через густые леса тысячами. Некоторые из них — ни разу не встретившись с немцами.

Из штаба дивизии мы поехали в полк уже на следующее утро. На опушке леса нас встретил только что назначенный командир полка, молодой капитан. Совсем молодой, обаятельный парень.

У него в полку оставалось всего двести человек. Но, несмотря на это, чувствовался полный порядок и дисциплина. Он и его начальник штаба подробно рассказывали нам о тяжелых боях, с которыми дивизия отходила от границы, о том, как жестоко и кровопролитно дрался их полк, — словом, рассказывали все то, о чем я потом, вернувшись из поездки, написал в своей статье «Части прикрытия». Она случайно не была тогда напечатана, а я и до сегодняшнего дня считаю ее единственным, хоть сколько-нибудь приближающимся к объяснению правды тех дней описанием первых боев.

Лицо лейтенанта — начальника штаба полка — показалось мне очень знакомым. Он был очень похож на кого-то, только я не мог вспомнить, на кого. Потом, когда мы уже закончили разговор, он вдруг спросил меня, не бывал ли я в издательстве «Советский писатель». Я ответил, что не только бывал, но и работал там редактором. Тогда он сказал, что я, наверное, знаю его брата. Только тут я сообразил, на кого он так похож. Начальник штаба был братом заведующего художественным отделом издательства художника Морозова-Ласа.

Странно было, сидя здесь, в лесу, под сосной, вдруг вспомнить, как я совсем недавно препирался с братом этого лейтенанта в издательстве по поводу обложки и иллюстраций к моей поэме «Первая любовь».

На прощанье командир полка в порыве добрых чувств обменял Суркову его винтовку на автомат.

Я тогда еще не преодолел штатскую страсть к оружию и завидовал Суркову

черной завистью.

Мы ехали обратно по тем же самым дорогам. В одном лесочке встретили ребятишек — мальчика лет шести и двух девочек постарше. Они шли с полными кружками земляники. Мы остановили машину и попросили продать нам ягоды. Мальчик был готов продать ягоды, но его старшая сестра быстро отвела его в сторону, что-то сердито сказала ему, а потом протянула нам землянику, отказавшись от денег. Нам не хотелось брать у ребят землянику, не заплатив, но девочка сказала:

— Колька хочет взять деньги, но это нельзя.

— Почему? — спросил я.

— Мать узнает, откуда у него деньги, — он ей расскажет, что у вас взял. Мать рассердится и плакать будет, а Кольку выпорет. Вы так берите, мы еще соберем.

Пришлось взять так. Было трогательно, а еще больше грустно. Я думал о том, что будет с этими ребятишками через неделю.

Когда мы ехали обратно через Краснополье, то увидели двух женщин, державших на руках ребятишек. Детишки махали руками вслед машинам. Не знаю почему, именно в тот момент меня прошибла слеза, и я чуть не заревел. Конечно, детей научили махать руками при виде едущих на машинах военных, а все-таки было в этом что-то такое, от чего хотелось зареветь.

Заехали на обратном пути за товарищами, оставшимися делать материал о другой дивизии. Здесь, в дивизии, устроили привал на полтора часа. Во время него выяснилось, что эта дивизия отступала через Рогачев, где был взорван нами самый большой в стране завод сгущенного молока, и запаслась этим молоком, заполнив им всю имеющуюся тару. Нам налили по котелку, и мы тронулись в дорогу, макая черные сухари в сладкое сгущенное молоко. Мне казалось, что я давно не ел ничего вкуснее. Вдруг вспомнилась Монголия, где мы с Колей Кружковым вот так, открыв две банки сгущенного молока, купленного в Мониенкоопе, за один присест приканчивали их, макая в банки черные сухари или хлеб.

К вечеру добрались до Рославля. Возник спор. Я и Сурков хотели остановиться в гостинице, но ребята из фронтовой газеты решили пойти к коменданту. Мы с

Сурковым уже расположились в номере на десять кроватей и заварили кипяток с молоком, когда явились ребята и сказали, что, по словам коменданта, положение тревожное и он не рекомендует нам ночевать в городе.

Потом выяснилось, что комендант считал положение тревожным потому, что сегодня днем немцы сбросили две бомбы на станцию. Вот и все причины для тревоги. Мы, конечно, решили наплевать на это и завалились спать.

Среди ночи началась пулеметная трескотня. Стреляли счетверенные установки по невидимым самолетам. Более дисциплинированные товарищи пошли в сквер напротив гостиницы и просидели там на холоде в щелях по крайней мере два часа. Мы трое — менее дисциплинированные Сурков, Калашников и я — остались валяться на кроватях в гостинице и не прогадали. Тревога оказалась напрасной.

Вернулись в редакцию под Смоленск во второй половине следующего дня, сделав в обе стороны, наверно, километров восемьсот, если считать все петли. Я рано лег спать, а на самом рассвете, высунувшись из палатки, лежа на животе, написал статью «Части прикрытия». [22] Кроме статьи, написал тут же подряд письмо домой. Мне вдруг захотелось описать эти две недели войны, которые были так не похожи на все, о чем мы думали раньше. Настолько не похожи, что мне казалось, что я и сам уже теперь не такой, каким уезжал 24 июня из Москвы.

После всего виденного и пережитого за две недели — не в смысле физической опасности для меня самого, а в смысле моего душевного состояния — у меня было такое чувство, что уже ничего тяжелее в жизни я не увижу. Мне и сегодня кажется, что так оно и есть. Эти первые две недели были самыми тягостными по силе перенесенных впечатлений.

Уже не помню, что я писал в этом письме, помню, что, конечно, не сообщал подробности, давал только понять, что тяжело и что хотя не надо отчаиваться, однако надо готовить себя к самым тяжелым вещам.

Когда написал и уже сложил все вместе с корреспонденцией, чтобы отправить в Москву, вдруг заколебался. Так и не послал письмо, порвал. Было такое чувство, что, пока письмо идет, может так много произойти, что стоит ли вообще посылать его.

Утром приехал Борис Громов из Смоленска, и я передал ему статью «Части прикрытия». Он обещал отправить ее в «Известия». Только потом выяснилось, что

статья так и не попала туда; он забыл ее отправить, и мне уже потом отдали ее в редакции «Красноармейской правды», где он ее оставил.

Вообще он произвел на меня тогда какое-то странное впечатление своим видом рассеянного и плохо слушающего, почти не слышащего тебя человека.

Едва я отдал статью Громову, как новый редактор «Красноармейской правды» Миронов сказал нам, что неплохо было бы съездить в 13-ю армию под Могилев, [23] что, по сведениям штаба фронта, где-то там высадился немецкий десант, который сейчас удачно уничтожают. Как я потом понял, это были первые слухи о немецком прорыве у Шклова.

Для того периода войны вообще было характерно, что немецкие прорывы из-за их неожиданности и глубины мы часто принимали за десанты. Так было, например, под Ельней.

В «Красноармейской правде» несколько машин уже вышло из строя. У корреспондентов центральных газет с машинами тоже было негусто. На всю бригаду «Известий» из шести человек имелся один «пикап». Перед тем как поехать под Могилев, я, посоветовавшись с ребятами, зашел к Миронову и предложил ему, что, когда мы вернемся из-под Могилева, я смогу съездить на одни сутки в Москву на «пикапе» и пригоню сюда на фронт, чтобы было на чем работать, «фордик», хотя и старенький, но вполне надежный, который я купил перед самой войной. Это предложение, к моей радости, было принято. Конечно, машин для разъездов по фронту нам действительно не хватало, но моя идея — пригнать сюда машину, — что греха таить, была вызвана еще отчаянным желанием хотя бы на несколько часов повидать в Москве близких.

Мы двинулись через Смоленск на Могилев, считая, что это займет у нас двое-трое суток.

По дороге заехали в типографию за газетами. Типография помещалась в огромном сером доме, одиноко, как свеча, стоявшем на площади среди пепелища. Было не понятно, как его еще до сих пор не разбомбили. Пока ребята забирали внизу газеты, я по какому-то наитию снял телефонную трубку и попросил междугородную дать мне Москву. Мне ответили: «Сейчас».

Это было так неожиданно, что я растерялся и спросил: «Что — сейчас?» Мне сказали: «Сейчас дадим Москву». Я ждал минут пятнадцать и наконец услышал в

трубке: «Москва, Москва! Говорит Смоленск. Дайте три-шесть-ноль-восемь-четыре».

Потом длинный звонок, знакомый голос: «Алло», потом грохот и одновременно голос телефонистки: «Я вас разъединила. В Смоленске воздушная тревога».

Оказалось, что налетел какой-то самолет и сбросил несколько бомб. К городу шли еще немецкие самолеты. Тревога затягивалась, ребята торопили меня ехать, и я, решив, что раз так, значит, не судьба, — сел вместе с ними в «пикап».

Мы поехали на Могилев через Рославль, а когда, остановившись в Рославле, узнали, что, по слухам, под Рогачевом идут удачные для нас бои, свернули на Пропойск — Рогачев. В темноте доехали до Пропойска и там заночевали. Там в церкви стояла редакция газеты 4-й армии. В Пропойске было спокойно, было еще довольно много народу. По улицам ходили девушки. Мы заночевали на полу в церкви и утром поехали дальше.

В середине дня подъехали близко к Днепру. Дорога была довольно пустынная, но чувствовался порядок. На развилках стояли маяки. В гуще этих лесов чувствовалось присутствие частей, спрятанных от немецкой авиации, которая весь день одиночными самолетами шныряла над дорогой.

Мы добрались до штаба дивизии, входившей в 63-й корпус, которым командовал только недавно вернувшийся в армию, впоследствии получивший звание генерал-лейтенанта и вскоре погибший в окружении комкор Петровский — бывший командир Пролетарской дивизии, сын старика Г. И. Петровского.

Корпус стоял передовыми частями по берегу Днепра слева и справа от занятого немцами Рогачева.

Из штаба дивизии поехали в один из полков. На опушке наткнулись на охранение. Красноармеец вызвал лейтенанта. Лейтенант долго и дотошно разглядывал наши документы, сверял один документ с другим — в общем, проявлял бдительность, может быть и лишнюю, но в те дни порадовавшую нас. Потом мы замаскировали машину и пошли вслед за лейтенантом.

В эту поездку мы отправились без Суркова — Трошкин, Кригер, Белявский и я. Сурков засел после краснопольской поездки за стихи и остался пока в редакции, отдав нам в дорогу свой автомат. Мы прошли за лейтенантом шагов двести и вдруг

услышали крик:

— Куда идете? Под деревья! Сейчас же под деревья!

На опушке под развесистой сосной на раскладном стуле сидел большой полный человек в галифе и белоснежной рубашке. Рядом на сучке висел его китель. Этот человек нам и кричал. Он оказался командиром полка и первоначально встретил нас не слишком ласково, ворчал с сильным грузинским акцентом, что вот ходят тут и демаскируют, и мало ли что, если мы корреспонденты, так мы уже думаем, что для нас не существует правил маскировки? Напрасно. У него в полку порядок, и он никому не позволит нарушать этот порядок.

В полку у него, как мы вскоре потом убедились, был действительно прочный порядок. Потом, через несколько минут, сменив гнев на милость, полковник приказал подать ему китель, надел его, застегнулся на все пуговицы, приказал расстелить плащ-палатку и, выйдя из роли командира полка и став хозяином, угостил нас завтраком.

Он оказался хозяином не только гостеприимным, но и запасливым. Кроме консервов и жареного мяса, нам была даже предложена коробка шоколадного набора, что показалось уже вовсе странным в этом лесу. За завтраком мы разговорились. Полковник сказал, что действительно позавчера у него был интересный бой, в котором принимал участие один из его батальонов. Он рассказал подробности боя, во время которого на том берегу была уничтожена группа немцев.

— Но сейчас, — добавил он, — на фронте полка все тихо и, наверно, будет тихо. Немцы сейчас стягивают силы куда-то в другое место. А здесь только переправляются разведывательные партии то с их берега на наш, то с нашего на их.

Потом он рассказал о способах борьбы с немецкими ракетчиками, которые они тут применяли. Ракетчиков было трудно ловить в лесу, поэтому делали просто: на болота и в разные самые глухие места засылали по ночам десяток наших ракетчиков, которые одновременно с немцами пускали такие же самые ракеты, и немецкие самолеты не знали, где им бомбить.

Потом полковник рассказал, что его бойцы сбили неподалеку немецкий самолет.

Трошкин снял полковника и комиссара полка. Полковник — в кителе, с автоматом через плечо, в новенькой каске, огромный, монументоподобный — сидел на складном стуле и держал на коленях большую карту.

Кто знает, где он теперь, этот гостеприимный карталинец, [24] грозный с виду, а на самом деле веселый и шумный человек, — полковник Кипиани.

От полковника мы поехали к самолету. Он стоял километрах в десяти от штаба полка на открытом месте, на опушке леса. Самолет был совершенно цел. Кажется, в нем были перебиты только рулевые тяги да было несколько пробоин в плоскостях. Летчики, очевидно, убежали в лес. Их до сих пор так и не могли найти. В самолете все было на месте — часы, фотоаппараты. И то, что самолет был в таком состоянии, было тоже одним из элементов порядка в полку, ибо у самолета дежурили часовые.

Трошкин сделал несколько снимков, и мы поехали обратно в Пропойск с тем, чтобы, переночевав там, двинуться дальше на Могилев.

Когда мы вернулись в Пропойск, то редакции армейской газеты там уже не застали. Она куда-то уехала. В городе было тревожно. Днем его бомбили. Все окна в домах были тщательно затемнены. Не зная, где заночевать, мы решили попробовать подъехать к городской гостинице. Оказалось, что там не только есть свободные комнаты, но вся эта маленькая полудеревенская гостиница вообще совершенно свободна.

В ней были только две девушки: одна — заведующая гостиницей Аня, и вторая — ее помощница, эвакуировавшаяся сюда из Белостока Роза.

Мы решили выспаться, и все четверо легли в одной комнате, положив под подушки оружие. А Боровков устроился на «пикапе» под деревьями, у наших окон.

Я лежал у самого окна. Оно было открыто. На крылечке сидел Боровков с Аней и Розой и по своей привычке бесконечно говорил, покоряя их сердца.

— Скажите, — мечтательно спрашивала Аня, — почему звезды бывают то белые-белые, а то, наоборот, совсем голубые?

— Отдаленность, — после короткой паузы отвечал Боровков голосом все знающего и все понимающего человека.

Мне не спалось, и я вышел на крыльцо и целый час сидел рядом с ними и молчал, пока они говорили все втроем. А вернее, говорил Боровков, а они слушали. Потом вдруг подошел какой-то человек, очевидно дежурный, и стал требовать, чтобы все ушли в дом, потому что не положено ночью в военное время сидеть на улице. Почему не положено, он и сам, наверное, не знал, но в голосе его чувствовалась полная убежденность.

Мы пошли в комнату. Боровков сел на диван рядом с Розой и стал с ней разговаривать, а я присел на окно. Аня подошла ко мне и, стоя рядом, у окна, тихим задыхающимся шепотом стала говорить мне об этой Розе, которая сидела на диване с Боровковым, что она приехала к ним сюда из Белостока, что все, кто там, в Западной Белоруссии и в Западной Украине, — все они шпионы, и что Роза, наверно, тут тоже шпионит, что она не верит ей, что она говорила начальству, чтобы Розу забрали из гостиницы, но что ее никто не слушает, а вот увидят, что она была права!

И вдруг я почувствовал, что всю свою тоску оттого, что война и что муж ее сейчас где-то в армии, неизвестно где, и что в городе темно и страшно, — все это она по какой-то странной логике готова была сейчас свалить на ни в чем не повинную бедную еврейскую девушку из Белостока, которую она жестоко ненавидела в этот момент чуть ли не как причину всех своих несчастий, и разуверять ее было бы бесполезно.

Мне надоело ее слушать, я пошел к ребятам и завалился спать.

Рано утром мы уехали из Пропойска. В городе ходили тревожные слухи, население покидало его. [25] Люди уже были готовы ко всяким неожиданностям.

Нам предстояло ехать в Могилев, где, по нашим сведениям, стоял штаб 13-й армии. В Могилев можно было ехать в объезд через Чаусы или вдоль Днепра, лесом, мимо Быхова. Это был путь покороче, и мы выбрали его.

Дорога была абсолютно пустынная; мы так и не встретили на ней ни одного красноармейца. Очевидно, там, впереди, были наши части, но здесь не было никого. Как потом оказалось, мы проскочили эту дорогу за несколько часов до того, как немцы переправились через Днепр у Быхова и перерезали ее. Но тогда мы этого не знали; дорога была спокойная, и мы ехали по ней, довольные тишиной леса и неожиданно — не по-летнему — прохладным утром.

В Могилев мы приехали около часу дня. Город был совсем не похож на тот, каким мы его оставили. В нем было уже пустовато и тревожно. На перекрестках стояли орудия, рядом с ними — расчеты. У начальника гарнизона, все того же полковника, который когда-то мне сообщил, где находится штаб фронта, мы узнали, что штаба 13-й армии в Могилеве нет, что он переехал в Чаусы, назад, за семьдесят километров отсюда. Как раз в те самые Чаусы, через которые мы утром решили не ехать.

Но нам уже показалось нелепым ехать обратно в тыл, чтобы искать штаб армии и там снова выяснять, куда и в какую дивизию нам ехать.

Свернув по старой дороге налево, на Оршу, мы поехали прямо в штаб ближайшей дивизии, которая, по сведениям начальника гарнизона, стояла в том самом лесу, где еще недавно располагался штаб фронта. Мы свернули в этот лес. В нем было пусто, остались лишь следы машин, засохшие ямы в глинистой земле, увядшие ветви разбросанной маскировки. Мы вновь выехали на шоссе и решили ехать по нему дальше, на север, к Орше, надеясь наткнуться вблизи шоссе на какой-нибудь из штабов дивизий.

Мы проехали километров тридцать пять или сорок, когда нам все чаще и чаще стали попадаться навстречу машины, летевшие с бешеной скоростью. Потом из кабины одной из встречных машин высунулся человек и ошалелым голосом крикнул:

— Там немецкие танки! [26] — и пронесся дальше.

Мы продолжали ехать. Нам было непонятно, как могут оказаться здесь, на этом шоссе, немецкие танки, в то время как мы знали, что вдоль всего Днепра стоят наши войска с приказом во что бы то ни стало задержать немцев.

Мы ехали с порядочной скоростью — шоссе было прекрасное, гудронированное, — как вдруг впереди начали рваться снаряды. Разрывы накрыли дорогу очень точно и совсем близко от нас. Машины, которые шли впереди нас, стали разворачиваться, и на шоссе возникла суматоха. Боровков при первых же разрывах, ни слова не говоря, выскочил из кабины и побежал в лес. Я не успел удержать его, но Трошкин уже выскочил из машины, погнался за ним и вернул его. Боровков объяснял, что он бросился к лесу, потому что подумал, что всем нужно прятаться.

— Все сидят в машине, — кричал Трошкин, — а ты бежишь! Ты знаешь, что за это полагается?

Мы развернулись и поехали по шоссе назад, мимо поставленных вдоль шоссе в кюветах противотанковых орудий, которые издали казались кустами: так хорошо они были замаскированы.

Когда мы ехали вперед, то не совсем поняли, зачем стоят здесь эти орудия. Это даже удивляло нас. А теперь, когда возвращались, нам казалось уже более вероятным, что немцы действительно переправились на этот берег Днепра. Во всяком случае нам надо было узнать, что происходит. Километра через полтора, прямо на дороге, мы встретили седого полковника, очень спокойного и, казалось, ничему не удивлявшегося. Когда мы сказали ему, что впереди по шоссе бьет немецкая артиллерия, он пожал плечами и лениво ответил:

— Очень может быть.

Мы попросили его сказать, где штаб хоть какой-нибудь дивизии. Он внимательно посмотрел на нас и после паузы сказал:

— Штаб какой-нибудь дивизии? Ну так поедем в нашу.

Проехав назад еще километра четыре и свернув с шоссе налево, мы въехали в редкий сосновый лес. Там за раскладным столиком на раскладном стуле сидел грузный, обливавшийся потом от жары полковник с орденами на груди. Он поднялся нам навстречу и спросил, кто мы. Мы ответили, что мы — корреспонденты.

— А счастье было так возможно, тудыть твою мать! — сказал полковник.

Он был очень взволнован. Мы в первую секунду подумали, что он ждал вместо нас кого-то другого и разочарован, что мы оказались корреспондентами. Но оказалось, что его восклицание относилось совсем не к нам.

Полковник с горечью рассказал, что только что у него на правом фланге его батальон, окруживший немецкий десант в какой-то деревушке, уже готов был добить этих немцев, но немцы подняли сразу несколько белых флагов. Обрадовавшийся командир батальона поднялся вместе со своими бойцами во весь рост и пошел брать немцев в плен по открытому полю. И в это время сразу и неожиданно огонь немецких минометов и пулеметов за несколько секунд скосил

три четверти батальона. Остаткам батальона пришлось отступить.

Даже и здесь еще в это время не понимали, что шкловский прорыв немцев — это прорыв, а не десант, и поэтому принимали разведывательные части немцев, двигавшиеся в разных направлениях впереди их главных сил, за десантные группы.

Всех подробностей этого дня не помню, но некоторые помню отчетливо. Я впервые после Халхин-Гола наблюдал здесь работу штаба в боевой обстановке. До этого мне все как-то не приходилось видеть дерущиеся части. То мы не могли добраться до них, то это были части, уже вышедшие из боя, то отступавшие.

Привезший нас полковник оказался начальником оперативного отдела дивизии. Я редко встречал таких спокойных людей. Он разговаривал со своими командирами, что-то отмечал на карте и неторопливо, скрипучим голосом отдавал приказания.

Позади нас, метрах в трехстах, стояла батарея тяжелой корпусной артиллерии и с небольшими промежутками через наши головы гвоздила куда-то на ту сторону Днепра.

Не совсем зная, о чем во всей этой горячке можно разговаривать с людьми, мы просто толкались между ними, прислушивались к разговорам, ходили от одного к другому. Вскоре с небольшим перелетом сзади нас разорвался в лесу первый немецкий снаряд. В лесу были отрыты маленькие щели, в которых можно было или сидеть на корточках, или стоять, согнувшись в три погибели. Но щель все-таки — щель, и когда вслед за первым разорвалось еще три или четыре снаряда, совсем близко, между деревьев, мы все полезли в эти щели.

Немцы, очевидно, били не по штабу, который они вряд ли могли тут обнаружить, а по крайне неудачно поставленной в трехстах метрах от штаба тяжелой батарее. Били тоже тяжелыми снарядами. Продолжалось это около двух часов, без больших пауз. Иногда мы вылезали из окопчиков, закуривали, но почти сразу же начинался новый налет, и приходилось опять ссыпаться в щели. За два часа я насчитал пятнадцать таких налетов.

Двухфюзеляжный «фокке-вульф», плавая над лесом, корректировал огонь. То ли помогли окопчики, то ли просто повезло, но во всем набитом людьми лесу после двухчасового обстрела оказалось всего несколько раненых.

Когда обстрел окончился, нас познакомили с работником дивизионной газеты. Дело шло к вечеру, и он предложил нам поехать ночевать к ним во второй эшелон, где стоит их газета, а утром снова вернуться и поехать вместе в один из полков. Мы согласились и уже собрались ехать, Боровков даже развернул между деревьями «пикап», но мы задержались, чтобы поговорить об обстановке с начальником оперативного отдела. Командир дивизии незадолго до этого приказал подать себе коня и куда-то уехал. Но едва мы подошли к начальнику оперативного отдела, как вдруг началась близкая частая стрельба из малокалиберных орудий, а вслед за этим пришло телефонное донесение: немецкие танки в четырех километрах от штаба, по шоссе и правее него.

Тут уже было не до того, чтобы спрашивать об оперативной обстановке. Но и уезжать было как-то стыдно. Донесения шли все тревожнее. В трех километрах. В двух. В полутора.

Седой полковник приказал нам всем, находившимся в штабе, разобрать гранаты и приготовить бутылки с бензином. Неожиданно выяснилось, что ни у кого не осталось спичек. Во время обстрела нервничали, курили и извели все спички.

Несколько минут, забыв о танках, все занимались мобилизацией внутренних ресурсов — искали коробки и делили спички, чтобы были у каждого. Потом сидели и ждали. Стрельба все приближалась. Потом стал слышен далекий грохот моторов. Последнее сообщение было, что танки в восьмистах метрах от штаба. Но вдруг стрельба начала стихать, и в штаб сообщили, что танки отбиты и повернули обратно.

После этого мы с работником дивизионной газеты решили, что ехать уже не стыдно, хотя в душе мне хотелось уехать раньше, и двинулись из лесу по проселку в другой лес, лежавший километров за десять отсюда.

Не успели мы остановиться там в лесу, в редакции, как низко, над самым лесом, прошло несколько троек немецких бомбардировщиков. Они шли очень низко. Но лес был таким густым, что, очевидно, стоявшие под елками машины редакции сверху были совершенно не видны.

Мы устроили себе под одной из елок шалаш из наломанных веток и, растянувшись, задремали. Через час приехал начальник политотдела дивизии, старший батальонный комиссар, маленький черный южанин не то из Херсона, не

то из Николаева. Он много и горячо рассказывал нам о последних боях, в которых, по его словам, он неизменно принимал главное участие — водил в атаки, бросал фанаты, поднимал, выручал и так далее и тому подобное. И за Халхин-Гол, и за первые недели этой войны я привык к скромности, с которой почти всегда рассказывают о себе наши командиры и политработники, и мне казалось, что этот человек, так много рассказывавший нам о себе, наверное, совершил еще в десять раз больше, чем говорит. Он говорил, а мы слушали его с открытыми ртами.

Переночевав в лесу, мы утром вместе с начальником политотдела вернулись в штаб дивизии, который стоял по-прежнему в том же лесочке.

Белявский и Кригер вместе с «пикапом» остались в штабе, чтобы собрать материал, а мы с Пашей Трошкиным и старшим батальонным комиссаром на его машине двинулись в глубь леса, к лесистым высоткам, по которым вдоль берега Днепра проходила линия обороны дивизии.

С того берега Днепра по-прежнему била немецкая артиллерия, но сегодня с утра она уже не делала огневых налетов, а вела беспокоящий огонь по лесу и дороге. Сначала несколько разрывов далеко на шоссе, потом один снаряд разорвался сзади нас на лесной дороге, потом было еще несколько разрывов в разных местах в лесу.

Доехав до крутого подъема на лесистый холм, мы вылезли из машины и пошли пешком. По гребню холмов были отрыты окопы полного профиля. Тут же, чуть поодаль, находился командный пункт батальона в большой, благоустроенной, крытой в два наката землянке. Что происходило правей, в батальоне не знали. Он должен был оборонять только свой кусок берега.

Я, правда, не совсем понял, как он мог это делать. Хотя старший батальонный комиссар раньше говорил нам, что оборона идет по самому берегу, но на самом деле это обстояло не так. С холма была видна только лесистая лощина впереди. В поле зрения — густой лес, и сам берег Днепра отсюда совершенно не виден. Как, занимая эти позиции, батальон мог помешать переправе немцев через Днепр — я не понял.

Из этого батальона мы пошли в соседний. Но когда добрались до места его прежнего расположения, то там его не оказалось. Нам сказали, что батальон поднят и переброшен правей, к шоссе. Тогда мы предложили старшему

батальонному комиссару, который, по его словам, знал всю эту местность и всю обстановку как свои пять пальцев, все-таки пойти вместе, найти этот батальон и вообще пойти направо, туда, где, очевидно, что-то происходит. Но, к нашему удивлению, эта идея его нисколько не увлекла. Он сказал, что переместившийся батальон трудно будет разыскать, что у него еще есть дела в том батальоне, из которого мы только что ушли, а нам лучше всего вернуться в штаб дивизии, нас там проинформируют, и мы пойдем туда, куда нам будет нужно. На этом мы с ним расстались и больше не виделись.

За десять месяцев войны я довольно часто видел людей неспособных, не соответствующих своему назначению или занимаемому ими положению. Но хвастуны — явление в нашей армии редкое и, я бы сказал, как-то даже противопоказанное ее духу.

В штабе дивизии нам сказали, что за два километра отсюда находится штаб корпуса. Самые интересные операции происходят сейчас не у них, а на фронте других дивизий, входящих в корпус, и нам лучше всего поехать туда. А вернее — пойти, чтобы не гонять лишний раз машину и не демаскировать этим расположение штаба.

Мы уже собрались идти, как вдруг в лесу появилась группа вернувшихся разведчиков и еще несколько присоединившихся к ним человек из другой дивизии, с боями выходившей из окружения. Командовал ими начальник АХО полка. Его отряд состоял из врача, санитаров, хлебопеков, сапожников и всяких других тыловых людей.

Врач, который шел с ними, оказался крошечной, худенькой женщиной. [27] Все в отряде относились к ней с уважением и нежностью, говорили о ней, захлебываясь. Она была из Саратова — из города моей юности, и посреди разговора мы вместе с ней вдруг стали вспоминать разные саратовские улицы. Потом она очень просто рассказала, какой у них был бой и как она убила из нагана немца. В ее устах все это было до такой степени просто, что нельзя было не поверить каждому ее слову. Она говорила обо всем происшедшем с нею как о цепи таких вещей, каждую из которых было совершенно необходимо сделать. Вот она окончила свой зубоврачебный техникум, стали брать комсомолок в армию, и она пошла. А потом началась война. Она тоже со всеми пошла. А потом оказалось, что зубов никто на

войне не лечит, и она стала вместо медсестры — нельзя же было ничего не делать. А потом убили врача, и она стала врачом, потому что больше ведь некому было. А потом раненые впереди кричали, а санитар был убит, и некому было их вытащить, и она полезла вытаскивать. А потом, когда на нее пошел немец, то она выстрелила в него из нагана и убила его, потому что если бы она не выстрелила, то он бы выстрелил, вот она его и убила.

Все это перемежалось в ее рассказе с воспоминаниями о муже, о котором она стыдливо говорила, что он еще не на военной службе, как будто она в этом была виновата, и о ребенке, которого она называла «лялькой».

Было странно, что у нее был ребенок, — такая она сама была маленькая. Потом, когда я кончил мучить ее расспросами, за нее взялся Паша Трошкин. Он усадил ее на пенек и стал снимать. Сначала в каске, потом без каски, с санитарной сумкой, без санитарной сумки. Перед тем, как он начал ее снимать, она улыбнулась, вытащила из своей санитарной сумки маленькую сумочку, а оттуда — совершенно черную от летней пыли губную помаду и обломок зеркальца — и, прежде чем дать себя снять, очистила эту помаду от пыли и накрасила губы.

Все это вместе взятое — помада и наган, из которого она стреляла, держа его двумя руками, потому что он тяжелый, и она сама с ее крохотной фигуркой, и огромная санитарная сумка, — все это было странно, и трогательно, и незабываемо.

Едва Трошкин кончил ее снимать, как по лесу снова, как вчера, стала бить артиллерия. Я попал в один окопчик с полковником, командиром дивизии. После каждого нового разрыва полковник, приподнявшись из окопа, кричал всякие нелестные слова сидевшему в десяти метрах от нас, в другом окопчике, начальнику артиллерии:

— Зачем вы ее здесь поставили? — кричал он про батарею, — Нашли место!

— Разрешите доложить, я ее поставил потому… — начинал отвечать начальник артиллерии, но в это время разрывался следующий снаряд, и оба присаживались в своих окопах. А через полминуты снова поднимались.

— Я вас не спрашиваю, как и почему! — кричал полковник. — Я просто приказываю вам…

Следующий разрыв. Оба снова прятались в свои щели. И хотя артиллерийский обстрел не располагал к веселому настроению, было во всем этом что-то очень смешное.

Насмешил нас на этот раз и Петр Иванович Белявский. Самый старший среди нас и человек чрезвычайно, щепетильно аккуратный, он во время обстрела почти после каждого разрыва вылезал из щели и отряхивался от земли и глины. И все это для того, чтобы через минуту снова кинуться в щель и, переждав там, опять вылезти и опять отряхнуться. Смешливый Кригер называл это: «Петя чистит свою курточку».

Когда налет кончился, Кригер и Трошкин остались здесь, в лесу, с «пикапом», а мы с Белявским пошли в штаб корпуса. Там, в штабе, мы встретили комиссара корпуса, немолодого, спокойного [28] бригадного комиссара, и начальника политотдела — огромного мужчину с орлиным носом, в каске.

Поговорив с ними, мы узнали, что самые интересные дела происходят в их левофланговой дивизии, обороняющей Могилев. Мы не стали терять времени, простились, обещав приехать потом, когда побываем в дивизии, и пошли обратно за Кригером и Трошкиным.

Как нам сказали, штаб этой 172-й дивизии стоял здесь, на восточной стороне Днепра, километрах в трех от Могилева. [29] Захватив ребят, мы добрались в дивизию к самому вечеру. Шоссе было разбомблено немцами. Утром, когда мы ехали по нему, оно было еще цело. На обочине валялись искореженные обломки грузовика. На кустах висели развороченные внутренности лошадей. Но все семь немецких бомб, разорвавшихся здесь, на шоссе, легли в строгом шахматном порядке, только небольшими секторами воронок захватывая шоссе по краям. Машины продолжали идти по шоссе зигзагами, петляя между этими воронками.

В штабе 172-й дивизии мы познакомились с ее комиссаром, полковым комиссаром Черниченко, человеком довольно угрюмым, неразговорчивым, но, видимо, деловым. Таким он по крайней мере мне показался тогда. Он рассказал нам, что лучше всего у них в дивизии дерется полк Кутепова, [30] занимающий вместе с другим полком позиции на том берегу Днепра и обороняющий Могилев. Кроме того, у них происходили разные интересные события в разведбате, в который можно будет добраться утром. Мы, посоветовавшись, решили разделиться. Одним

остаться здесь и поговорить с разведчиками, другим ехать в полк — тоже утром.

— Утром? — переспросил Черниченко. — Утром вы в этот полк не проедете. Надо ехать сейчас, ночью. В светлое время вы до него не доберетесь.

Мы уже разделились до этого, и теперь ехать в полк ночью выпало мне и Кригеру. Пока Боровков, не любивший ночной езды, со скорбным видом заливал в машину бензин, мы стали свидетелями разговора комиссара дивизии с начальником местного партизанского отряда. Это был инженер какого-то из здешних заводов, белокурый красивый парень в перепоясанной ремнем кожанке, с гранатами и винтовкой. Ему предстояло оставаться здесь в случае прихода немцев, а пока что он сидел на торфяных болотах и вылавливал там немецких ракетчиков. Он говорил комиссару дивизии, что в то время, как население уходит и угоняет скот, в нескольких окрестных деревнях кулаки, вернувшиеся недавно из ссылки после раскулачивания в тридцатом году, воспользовавшись растерянностью и бесхозяйственностью, воруют с лесопилки лес, по его мнению, явно ожидая прихода немцев.

— Ну, а вы что с ними делаете? — жестко спросил комиссар. Меня поразило холодное и беспощадное выражение его лица.

— Мы пока ничего, — сказал инженер.

— Пока? Что пока? Пока немцы не придут? Немцы придут — вы уже ничего не сделаете. Надо сейчас забрать эту заведомую сволочь и выселить ее в тыл. Это же наши явные и заклятые враги. Они это даже сами перестали скрывать. Какие вам еще нужны законные основания?

Конца разговора я не дослушал. Трошкин, узнавший, что в полку Кутепова подбито и захвачено много немецких танков, торопил меня. Он еще с самого начала поездки сказал, что не вернется, пока не снимет разбитых немецких танков. По газетным сообщениям, число их давно перешло за тысячу, а снимков пока не было ни одного. Жгли и подбивали их много, но при отступлении они неизменно оставались на территории, занятой немцами.

Мы переехали через Могилевский мост и проехали ночной, пустынный, молчащий Могилев. У одного из домов стоял грузовик, из которого тихо одни за другими выносили носилки с ранеными. В городе чувствовался железный порядок. Не болталось никого лишнего; на перекрестках у орудий, не отходя от них,

накрывшись плащ-палатками, дремали орудийные расчеты. Все делалось, тихо. Тихо проверяли пропуска. Тихо показывали дорогу.

С нами ехал проводник из политотдела, без которого мы, конечно, никогда не нашли бы ночью полковника Кутепова. Сначала мы остановились на окраине Могилева, у каких-то темных домов, в одном из которых расположилась оперативная группа дивизии. Наш провожатый зашел туда, узнал, на прежнем ли месте находится штаб полковника Кутепова, и мы поехали дальше.

На пятом или шестом километре за Могилевом мы свернули с дороги вправо и въехали в какие-то заросли, где нас сейчас же задержали. Обрадовал порядок в Могилеве, обрадовало и то, что, как только мы свернули с дороги, нас задержали. Очевидно, в этом полку ночью никуда нельзя было пробраться, не наткнувшись на патрульных.

Всех троих нас под конвоем доставили в штаб полка. Из окопа поднялся очень высокий человек и спросил, кто мы такие. Мы сказали, что корреспонденты. Было так темно, что лиц невозможно было разглядеть.

— Какие корреспонденты? — закричал он. — Какие корреспонденты могут быть здесь в два часа ночи? Кто ездит ко мне в два часа ночи? Кто вас послал? Вот я вас сейчас положу на землю и будете лежать до рассвета. Я не знаю ваших личностей.

Мы сказали, что нас послал к нему комиссар дивизии.

— А я вот положу вас до рассвета и доложу утром комиссару, чтобы он не присылал мне по ночам незнакомых людей в расположение полка.

Оробевший поначалу провожатый наконец подал голос:

— Товарищ полковник, это я, Миронов, из политотдела дивизии. Вы ж меня знаете.

— Да, вас я знаю, — сказал полковник, — Знаю. Только поэтому и не положу их до рассвета. Вы сами посудите, — вдруг смягчившись, обратился он к нам. — Сами посудите, товарищи корреспонденты. Знаете, какое положение. Приходится быть строгим. Мне уже надоело, что кругом все — диверсанты да диверсанты. Я не желаю, чтобы в расположении моего полка даже и слух был о диверсантах. Не признаю я их. Если охранение несется правильно, никаких диверсантов быть не

может. Пожалуйте в землянку, там ваши документы проверят, а потом поговорим.

После того, как в землянке проверили наши документы, мы снова вышли на воздух. Ночь была холодная. Даже когда полковник говорил с нами сердитым голосом, в его манере говорить было что-то привлекательное. А сейчас он окончательно сменил гнев на милость и стал рассказывать нам о только что закончившемся бое, в котором он со своим полком уничтожил тридцать девять немецких танков. Он рассказывал об этом с мальчишеским задором.

— Вот говорят: танки, танки. А мы их бьем. Да! И будем бить. Утром сами посмотрите. У меня тут двадцать километров окопов и ходов сообщения нарыто. Это точно. Если пехота решила не уходить и закопалась, то никакие танки с ней ничего не смогут сделать, можете мне поверить. Вот завтра, наверное, они повторят то же самое. И мы то же самое повторим. Сами увидите. Вот один стоит, пожалуйста. — Он показал на темное пятно, видневшееся метрах в двухстах от его командного пункта. — Вон там их танк стоит. Вот куда дошел, а все-таки ничего у них не вышло.

Около часа он рассказывал о том, как трудно было сохранить боевой дух в полку, не дать прийти в расхлябанное состояние, когда его полк оседлал это шоссе и в течение десяти дней мимо полка проходили с запада на восток сотни и тысячи окруженцев — кто с оружием, кто без оружия. Пропуская их в тыл, надо было не позволить упасть боевому духу полка, на глазах у которого шли эти тысячи людей.

— Ничего, не дали, — заключил он. — Вчерашний бой служит тому доказательством. Ложитесь спать здесь, прямо возле окопа. Если пулеметный огонь будет — спите. А если артиллерия начнет бить — тогда милости прошу вниз, в окопы. Или ко мне в землянку. А я обойду посты. Извините.

Мы с Трошкиным легли и сразу заснули. Спали, наверное, минут пятнадцать. Потом с одной стороны началась ожесточенная ружейно-пулеметная трескотня. Мы продолжали лежать. Так устали за день, что лень было двигаться. Трескотня то утихала, то снова усиливалась, потом стала сплошной и слышалась уже не слева, там, где началась, а справа. Трошкин толкнул меня в бок.

Костя!

— Да?

— Странно. Стрельба началась у ног, а сейчас слышится у головы.

Потом стрельба стихла. Понемногу начало светать. Как потом выяснилось, немцы пробовали ночью прощупать наше расположение и производили разведку огнем и боем.

При утреннем свете мы наконец увидели нашего ночного знакомца — полковника Кутепова. Это был высокий худой человек с усталым лицом, с ласковыми, не то голубыми, не то серыми глазами и доброй улыбкой. Старый служака, прапорщик военного времени в Первую мировую войну, настоящий солдат, полковник Кутепов как-то сразу стал дорог моему сердцу.

Мы рассказали ему, что когда проезжали через мост, то не заметили там ни одной счетверенной установки и ни одной зенитки. Кутепов усмехнулся:

— Во-первых, если бы вы, проезжая через мост, сразу заметили пулеметы и зенитки, то это значило бы, что они плохо поставлены. А во-вторых… — Тон, которым он сказал это свое «во-вторых», я, наверное, запомню на всю жизнь. — Во-вторых, они действительно там не стоят. Зачем нам этот мост?

— Как зачем? А если придется через него обратно?

— Не придется, — сказал Кутепов. — Мы так уж решили тут между собой: что бы там кругом ни было, кто бы там ни отступал, а мы стоим вот тут, у Могилева, и будем стоять, пока живы? [31] Вы походите, посмотрите, сколько накопано. Какие окопы, блиндажи какие! Разве их можно оставить? Не для того солдаты роют укрепления, чтобы оставлять их. Истина-то простая, старая, а вот забывают ее у нас. Роют, роют. А мы вот нарыли и не оставим. А до других нам дела нет.

Как я потом понял, Кутепов, очевидно, уже знал то, чего мы еще не знали: что слева и справа от Могилева немцы форсировали Днепр и что ему со своим полком придется остаться в окружении. Но у него была гордость солдата, не желавшего знать и не желавшего верить, что рядом с ним какие-то другие части плохо дерутся. Ему не было до этого дела. Он хорошо закопался, его полк хорошо дрался и будет хорошо драться. Он знал это и считал, что и другие должны делать так же. А если они не делают так же, как он, то ему до этого нет дела, он с этим не желает считаться. Он желает думать, что вся армия дерется так же, как его полк. А если это не так, то он готов погибнуть. И из-за того, что другие плохо дерутся, менять своего поведения не будет.

И слова Кутепова, а еще больше то настроение, которое я почувствовал за его словами, мне много раз вспоминались в последующие месяцы, когда то в одном, то в другом месте фронта я слышал, как люди, рассказывая о своих неудачах, говорили: «Мы бы стояли, да вот сосед справа…», «Мы бы не отошли, да вот сосед слева…» Может быть, формально они и были правы, но какое-то внутреннее чувство подсказывало мне, что правы не они, а полковник Кутепов.

— Как вы думаете, — спросил я у полковника, — что сегодня будет происходить перед фронтом вашего полка?

Он пожал плечами:

— Одно из двух: или, разозлившись на вчерашнюю неудачу, немцы повторят свои атаки и будет такая же горячка, как вчера, — или решат попробовать там, где послабее. И тогда у нас будет полная тишина. А в общем, советую, если хотите снять эти подбитые танки — пока можно, идите к ним.

Кутепов познакомил нас с комиссаром полка Зобниным, и мы пошли в батальон. По дороге туда видели всю систему обороны полка. Вроде ничего особенного — и все же: прекрасные окопы полного профиля, много ходов сообщения, столько, что никаким артиллерийским огнем нельзя было полностью прекратить управление полком, оторвать батальоны один от другого. Командные пункты батальонов и даже рот были размещены в таких блиндажах, что вчера немецкий танк выпустил по одному из них полсотни снарядов и все-таки не смог разбить его.

Вся система обороны давала почувствовать, что люди не поленились, закопались так, чтобы не уходить отсюда, несмотря ни на что. Так зарывалась японская пехота на Халхин-Голе. Лучшей похвалы не могу придумать, потому что я еще никогда не видел, чтобы солдаты так трудолюбиво, упорно, с твердым решением умереть, но не уйти, закапывались в землю, как это делали японцы на Халхин-Голе.

Передний край обороны полка там, где мы вышли к нему, тянулся вдоль лесной опушки; лес был низкорослый, но зато густой. Впереди расстилалось ржаное поле, а за ним шел большой лес. Там были немцы, и оттуда они вчера вели атаки. Слева — железнодорожное полотно, за ним — пустошь, за ней — шоссейная дорога. И железная дорога, и шоссе шли перпендикулярно позициям полка. Впереди, на ржаном поле, виднелись окопчики [32] боевого охранения.

Мы зашли на командный пункт батальона. Командир батальона капитан Гаврюшин был человек лет тридцати, уже два или три дня небритый, с усталыми глазами [33] и свалявшимися под фуражкой волосами. На лице его было странное выражение одинаковой готовности еще сутки вести бой, говорить и действовать, и в то же время — готовности уснуть в любую секунду.

Перед тем, как заснять Гаврюшина, Трошкин заставил его перепоясаться портупеей, надеть через плечо автомат, а вместо фуражки — каску. Вся эта амуниция удивительно не шла капитану, как она обычно не идет людям, сидящим на передовой и каждый день глядящим в глаза смерти… Мы сказали Гаврюшину, что, пока затишье, хотим заснять танки, видневшиеся невдалеке перед передним краем батальона. Отсюда была видна только часть сожженных танков. Еще несколько танков, как сказал нам Гаврюшин, были пониже, в лощине, метрах в пятидесяти-ста от остальных; отсюда их не было видно.

— Затишье? — с сомнением переспросил нас Гаврюшин. — Ах да, да, затишье. Но ведь они стоят за нашим боевым охранением. Там, во ржи, могут немцы сидеть, автоматчики. Могут из лесу стрелять, а могут отсюда, изо ржи.

Но Трошкин повторил ему, что приехал снять танки, и есть ли во ржи автоматчики или нет, его не интересует. Он горячился, потому что в эту поездку с самого начала был просто одержим идеей во что бы то ни стало снять разбитые немецкие танки.

— Ну что же, — сказал Гаврюшин, — тогда я сейчас пошлю вперед людей, пусть заползут в рожь и залягут впереди танков на всякий случай. А вы пойдете потом, минут через десять.

Он вызвал лейтенанта, который должен был проводить Трошкина к танкам.

— А вы? — спросил он меня. — Вам тоже нужно снимать?

Я ответил, что нет, мне нужно только поговорить с людьми.

— Тогда пойдем с вами в роту Хоршева, — сказал Гаврюшин. — А ваш товарищ потом тоже подойдет туда к нам.

Я был в душе рад этому предложению, потому что сначала у меня не возникло никакого желания идти вперед и присутствовать при том, как Трошкин будет на виду у немцев снимать танки. Но когда Трошкин с лейтенантом уже ушли, мне

тоже вдруг захотелось посмотреть поближе на эти танки. Я сказал об этом Гаврюшину, и мы пошли с ним вместе по ходу сообщения вслед за Трошкиным. Ход сообщения кончился у окопчиков боевого охранения, танки теперь были невдалеке — метрах в двухстах. Их было семь, и они стояли очень близко один от другого.

Мы вылезли из хода сообщения и пошли по полю. Сначала все низко пригибались, и когда подошли к танкам, то Трошкин их тоже сначала снимал, сидя на корточках. Но потом он вытащил из одного из танков немецкий флаг и, заставив красноармейцев залезть на танк, снимал их на танке, рядом с танком, с флагом и без флага, вообще окончательно обнаглел.

Немцы не стреляли. Я не жалел, что пошел. У меня было мстительное чувство. Я был рад видеть наконец эти разбитые, развороченные немецкие машины, чувствовать, что вот здесь в них попадали наши снаряды…

Чтобы немцы не утащили ночью танки, они были подорваны толом, и часть их содержимого была разбросана кругом по полю. В числе прочего барахла во ржи валялась целая штука коричневого сукна. А рядом с ним — дамские лакирашки и белье.

Трошкин снял это, а я потом описал. Кажется, это был один из первых документов о мародерстве немцев.

Закончив съемку, Трошкин пошел в лощинку к другой группе танков. Он хотел заснять еще и их. А я пошел с капитаном Гаврюшиным в роту Хоршева.

Хоршев был еще совсем молод, в сбитой набок пилотке, такой молодой, что было странно, что вчера он тут дрался до последнего патрона [34] и потерял половину роты. Чтобы добраться до него, пришлось перейти через разрушенное железнодорожное полотно мимо наполовину снесенной железнодорожной будки. В пристройке к этой будке продолжал жить старик сторож. Хоршев вчера после боя подарил ему мундир немецкого лейтенанта; старик спорол с него погончики и сегодня щеголял в этом мундире.

Сидя на траве и спустив ноги в окопчик, мы с Хоршевым жевали хлеб и разговаривали о вчерашнем бое. Через полчаса пришли разведчики, таща несколько немецких велосипедов. Два часа назад эти велосипеды бросила на шоссе немецкая разведка. Ее обстреляли, и она, оставив двух человек убитыми,

бежала в лес, оставив велосипеды.

Было по-прежнему тихо. Вдруг раздалось несколько пулеметных очередей. Впереди над полем крутился «мессершмитт». Когда вернулся Трошкин, то оказалось, что эта стрельба имела к нему прямое отношение. Он начал снимать вторую группу танков, и над ними появился этот «мессершмитт» и начал пулеметный обстрел с бреющего полета. Трошкин залез под немецкий танк и отсиживался там, пока немецкому летчику не надоело и он не улетел.

Весь день с самого утра мы ходили по позициям полка. По-прежнему было тихо. Вернулись на командный пункт полка. Трошкин заснял командира, комиссара и начальника штаба. Все они просили его отпечатать снимки и послать их не сюда к ним, а в военный городок — их женам, кажется, в Тулу. Не знаю, сделал ли это Трошкин, но помню, у меня было тогда такое чувство, что этих людей, остающихся здесь, под Могилевом, я никогда больше не увижу и что они, не говоря об этом ни слова, даже не намекая, в сущности, просят нас послать их женам последние фотографии.

Когда мы прощались с Кутеповым, у меня было грустное чувство. Хотя внешне он держался весело, прощаясь, устало шутил и, пожимая мне руку, говорил: «До следующей встречи». [35]

Из штаба полка мы заехали к артиллеристам. Начальник штаба артиллерийского полка оказался халхингольцем. Он служил там в дивизионе знаменитого на Халхин-Голе Рыбкина. Неожиданно угостив нас пивом, он повел нас на наблюдательный пункт, который размещался у него на башне элеватора. Вчера немцы влепили в башню снаряд, один из пролетов был разрушен, но оглушенный вчера наблюдатель сегодня залез еще выше и наблюдал с самого верхнего пролета.

Немцы больше не били по элеватору. Наверно, после прямого попадания считали, что там никого нет.

Мы вернулись из полка, так и не услышав за весь день ни одного орудийного выстрела. Такая тишина начинала даже пугать. Теперь, когда мы проезжали через Могилев обратно при свете, было особенно заметно, как он пуст. Лишь иногда по улицам проходил патруль. Кроме этих патрулей и орудийных расчетов на перекрестках, в городе, казалось, никого нет.

Вечером, заехав в штаб дивизии за Кригером и Белявским, мы все вместе тронулись в штаб корпуса, имея намерение заехать по дороге в штаб 13-й армии в Чаусы, а оттуда возвращаться с материалом в редакцию.

На этот раз, приехав в штаб корпуса, мы не встретили там комиссара корпуса, а увидели только начальника политотдела — полкового комиссара, который сказал нам, что он торопится и не может уделить нам много времени. Мы спросили его, куда он едет. «Вперед», — сказал он и добавил, что, пожалуй, мог бы взять нас с собой.

Услышав это «вперед», мы спросили, куда именно. Он сказал, что едет в опергруппу дивизии на тот берег Днепра. Мы сказали ему, что только что вернулись оттуда, из-за Днепра. Тогда он порекомендовал нам остаться на два-три дня у них в корпусе, так как, по его словам, их корпус будет проводить интересную операцию — завершать окружение немецкого десанта.

Он произвел на нас впечатление ничего не знающего толком человека. На самом деле, как мы потом выяснили, в тот день немцы уже крупными силами прорвались и севернее и южнее Могилева, перерезали магистраль на Оршу и шли к Смоленску. А он еще толковал нам, что их корпус должен закончить окружение немецкого десанта. Мы сказали, что подумаем, как поступить, и, простившись, пошли к машине посоветоваться.

По дороге к машине встретили комиссара корпуса. Он поздоровался с нами и спросил, что мы собираемся делать. Мы рассказали ему о том, что говорил нам полковой комиссар, и спросили его совета.

— Да? Он вам так сказал? Ну что ж… — Бригадный комиссар задумался. — А вы что, собрали уже какой-нибудь материал?

Мы сказали, что собрали, и довольно много.

— Тогда я вам советую — поезжайте в Чаусы и в Смоленск. Впрочем, как хотите. Но я советую. Раз есть материал, надо ехать.

У него был вид человека, чем-то удрученного, может быть и хотевшего сказать нам об этом, но не имевшего права [36] и оттого принужденного говорить совсем другие, не относящиеся к сути дела слова. Но говорил он их так, словно хотел, чтобы мы все-таки поняли то, чего он не имел права нам сказать.

Мы решили послушать его совета и свернули с шоссе по дороге, которая шла на Чаусы. Проехав по ней километров двенадцать, услышали впереди стрельбу, орудийную и пулеметную. Проехали еще немного, и нас на дороге остановили двое в форме НКВД, один с двумя шпалами, другой с одной. Они сказали нам, что немцы высадили впереди десант с двумя танкетками, [37] что ехать по этой дороге нельзя, что там дерутся с немцами их люди и что мы должны помочь. Надо высадиться здесь из машины, собрать людей и идти вперед.

Мы вылезли из машины. В это время сюда же подъехал и остановился грузовик с двумя десятками красноармейцев. Двое из НКВД подошли к грузовику и потребовали, чтобы красноармейцы тоже высадились и шли с ними вперед. Лейтенант, командовавший красноармейцами, отказался это сделать, заявив, что ему приказали расположиться здесь и охранять дорогу. Пошли препирательства. Один из тех двух, что остановили нас, как я заметил, был сильно пьян. Он вытащил револьвер и наставил на лейтенанта, угрожая застрелить его.

Не знаю, кто из них был прав и кто виноват. Лейтенант был спокоен и бледен. Он сказал, что пусть в него стреляют, но у него есть приказ быть здесь и он никуда отсюда не пойдет. Мне показалось, что он не боится идти вперед, а действительно считает, что раз у него есть приказ — он должен выполнять его в точности. Хотя пьяный мог застрелить его в любую секунду, лейтенант и под дулом пистолета продолжал упорно твердить, что он не боится, что его застрелят, но нарушать приказа не будет.

Мы прекратили эту дикую сцену, оттащив пьяного от лейтенанта. Потом подъехал еще один грузовик с несколькими военными. К нам подскочил какой-то сержант, сказавший, что недалеко отсюда стоит их часть и в ней есть легкие противотанковые орудия… Мы посадили его вместе с Женей Кригером на наш «пикап» и отправили, чтобы они притащили сюда, на дорогу, одно орудие — на тот случай, если действительно немецкие танки пойдут сюда, а сами цепочкой пошли вперед.

Всего нас было человек пятнадцать, потому что не успели мы оглянуться, как машина с красноармейцами и лейтенантом, уверявшим под дулом пистолета, что он должен стоять здесь и больше нигде, вдруг куда-то исчезла.

Пройдя с километр, мы дошли до опушки леса. Вдали справа была деревня, слева

— открытое поле и снова лес. Прямо на нас скакал всадник. Соскочив с лошади, он долго не мог отдышаться, потом, увидев тех двух работников НКВД, что нас остановили, начал матерно ругать их. Приехавший на коне был майор в форме НКВД. Оказалось, эти двое, остановившие нас, увидев немецкие танкетки, удрали вместе со своей машиной, бросив машину, на которой ехали этот майор и шофер. В машину попал снаряд с немецкого танка. Это были не танкетки, а два танка. Шофер был убит наповал, а этот майор, отлежавшись, выполз из-под огня и, схватив чью-то бегавшую по лугу лошадь, прискакал на ней сюда.

Гранат на всех у нас было только три штуки. Был один ручной пулемет, один «максим» и десяток винтовок. Посоветовавшись, решили, что с таким вооружением против двух танков, стоявших на открытом месте, идти бессмысленно, и стали ждать, когда вернется Кригер с противотанковой пушкой. Пока что залегли по обе стороны дороги на опушке векового соснового леса. Здесь можно было чувствовать себя сравнительно увереннее. Даже если бы танки появились на дороге, их можно было бы пропустить, а автоматчиков и мотоциклистов, которые, по словам майора, шли вместе с танками, задержать огнем.

Ждали около часа. Петр Иванович Белявский за это время устроил себе даже подобие окопчика. Насыпал бруствер, сделал в нем ложбинку и удобно приспособился с винтовкой. Только тут, неожиданно для меня, выяснилось, что он участник еще Первой мировой войны.

Над дорогой прошел немецкий самолет и обстрелял нас.

Кригер вернулся через два часа. Было уже девять часов вечера. Он сказал, что сержант надул его, что там, где, по словам сержанта, стояли противотанковые орудия, ничего не было, кроме каких-то грузовиков. Мы стали думать, что теперь делать, и решили вернуться в штаб ближайшей дивизии к полковому комиссару Черниченко и сообщить ему о том, что здесь происходит, чтобы из дивизии сюда прислали хоть броневичок или что-нибудь, с чем можно было идти против танков.

Оставив за себя старшего, майор НКВД поехал вместе с нами. Когда мы приехали к Черниченко, он встретил нас холодно, сказал, что сам знает, что здесь бродят немецкие десантные группы с танками, но что у дивизии другие задачи, а борьба с такими группами — это дело начальника Могилевского гарнизона, и что мы

должны поехать к нему и доложить об этом.

Мы ответили, что пусть начальнику гарнизона докладывает майор НКВД, а мы останемся ночевать в дивизии. Черниченко ответил, что у него нет машины везти в город майора, так что это придется сделать нам.

У него было при этом такое лицо, словно он очень не хотел, чтобы мы оставались у него в штабе дивизии. Кроме того, мне показалось, что он как-то удивительно равнодушно отнесся к нашему сообщению. Я был убежден, что, если бы мы сделали ему такое сообщение вчера, он совсем по-другому отнесся бы к нему. То, как он говорил с нами, вызвало у меня чувство недоумения.

Мы спросили его, не знает ли он, как обстоит дело на других дорогах, ведущих в Чаусы, свободны ли они.

Черниченко сказал, что он ничего не знает, что ему известно только то, что происходит в расположении его дивизии, а дороги на Чаусы ему не подведомственны. Связи с армией у него нет, связь идет через корпус, а о дорогах на Чаусы нам лучше всего может рассказать тот же начальник гарнизона, к которому мы едем.

Мы простились и поехали в Могилев.

К начальнику гарнизона мы попали глухой ночью. Третий раз — все та же комната, тот же полковник, теперь уже совершенно осатаневший от бессонных ночей. Он выслушал майора и нас и сказал:

— Вы что думаете, я подвижные орудия туда пошлю? Так нет у меня никаких подвижных орудий! Я ими не располагаю. Я дивизией не командую. У меня вот стоят на улицах пушки; если ворвутся сюда, то будем стрелять, вот и все.

И, больше не обращая на нас внимания, он при нас стал спрашивать кого-то из своих помощников, готовы ли люди на могилевских заставах и у моста к тому, чтобы встречать танки зажигательными бутылками. Ему ответили, что шестьдесят человек подготовлено.

— Хорошо, — сказал он и повернулся к нам: — Ну, что вы стоите?

Мы сказали, что хотим узнать у него, как лучше проехать на Чаусы. Он сказал, что не знает этого. Мы спросили его, где можно заночевать в городе.

— Заходите в какой-нибудь дом и ночуйте.

Майор остался у него, а мы вышли на улицу. Была темная ночь. Город был пуст и угрюм. По улице на руках, с грохотом катили куда-то орудие. У меня было единственное желание — поехать обратно в полк к Кутепову и оставаться там до конца. Там по крайней мере был порядок, и думалось, что если умрешь там, то хоть с толком.

В ту ночь я понял раз и на всю жизнь, что в тяжелые дни бегства, отступлений, окружений и смертельных опасностей все-таки лучше всего находиться на передовой, в дерущейся части, и нет ничего хуже, как оказываться в неизвестности, в отступающих тылах. Там в эти дни отвратительно, невыносимо так, что жить не хочется.

После разговора с Черниченко у нас не было уверенности, что за эти два-три часа, что мы пробыли в Могилеве, штаб дивизии не переместился куда-то из того леса, где он был. В Могилеве ночевать не хотелось. Может быть, мы и поехали бы к Кутепову, но ночью без проводника не надеялись туда добраться. Сейчас мы окончательно почувствовали, что и разговор бригадного комиссара в корпусе, и то, как с нами говорил Черниченко, явно желавший нас спровадить из дивизии, и то, как с нами говорил сейчас начальник гарнизона, — все это звенья одной цепи, что произошло что-то, еще не известное нам, большое и труднопоправимое, какая-то катастрофа, что людям не до нас.

В конце концов мы решили все-таки добраться обратно в штаб дивизии, дождаться там рассвета и утром попробовать проехать на Чаусы по проселочным дорогам.

Была темнота, хоть глаз выколи. Мы поехали через Могилевский мост. Было странно, что нас никто даже не задержал. Часовые с моста исчезли. Мы свернули на шоссе, потом свернули в лес, туда, где стоял штаб дивизии. И слева и справа, там, где еще недавно стояли машины штаба, все было пусто. Но в глубине леса копошились люди, стояли машины. Отсюда уехали еще не все.

Мы улеглись на землю рядом с «пикапом» и проспали до семи утра. Перед сном, после того как мы в отвратительном настроении по пустому мосту, без часовых, выехали из Могилева и я вдруг понял, что надвигается какая-то катастрофа и мы, весьма возможно, отсюда не выберемся, — мне стало не по себе оттого, что

какие-то вещи, лежавшие у меня в карманах, могут попасть в руки немцам. Я в темноте положил на колени взятую в штабе корпуса карту, на которой были пометки расположения войск, и на ощупь куском резинки постирал все, что там было. А потом вытащил из кармана гимнастерки не отправленное в Москву письмо и изорвал его на кусочки.

Утром мы выехали из лесу на шоссе. Было слышно, как слева и справа, кажется, уже на этой стороне Днепра, неразборчиво бухала артиллерия. Мы свернули на проселки и, руководствуясь картой, поехали по наезженным колеям от деревни к деревне. Дорога была скверная, бензин плохой, «пикап» чихал и портился. Мы продували подачу, ехали очень медленно, но все-таки понемножку приближались к Чаусам. Женщина, у которой мы на перекрестке стали спрашивать дорогу, сказала нам, что «вот туточка проехали на мотоциклах немцы».

— Куда?

— А вон туда, откуда вы едете. Только вы слева выехали, а они вправо поехали. А утром другие вон по той дороге ехали. — Она показала на восток.

То, что она сказала, было похоже на правду, особенно если учесть все происходившее в прошлую ночь. Но нам за вчерашний день так надоели все эти разговоры о немецких десантах, мотоциклистах, парашютистах, танкетках, что мы не обратили внимания на слова женщины. Мотоциклисты так мотоциклисты. Встретимся — значит, не повезло.

Сидя рядом с Боровковым в кабине «пикапа», я все время следил за дорогой и за поворотами. Вдруг неожиданно для себя я заснул, а когда так же вдруг проснулся — может быть, я проспал всего несколько минут, — оказалось, что мы свернули не налево, куда нам надо было по карте, а направо и уткнулись во взорванный мост через какую-то речку. Я со зла сказал Боровкову несколько «теплых слов», но не дальше как через двадцать минут выяснилось, что именно эта задержка и тот круг, который мы сделали из-за его ошибки, нас и спасли.

Мы развернулись, проехали обратно до поворота на другой проселок, который должен был вывести нас, судя по карте, на большак, соединявший Могилев и Чаусы. По этому большаку до Чаус оставалось бы уже всего километров двенадцать. Так по крайней мере показывала карта.

Проскочили маленькую деревеньку и стали подниматься по косогору. За

косогором проселок выходил на большак. Еще поднимаясь, я заметил, что справа, вдали, на большаке видны густые клубы пыли. Это было похоже на колонну машин или танков. Я сказал Трошкину, что, по-моему, там идет что-то вроде танков. Он тоже поглядел в ту сторону.

— Нет, это так, ветер пыль завивает.

Завивает так завивает. У нас у всех еще не выветрилась тогда глупая привычка — из боязни, чтобы тебя не сочли трусом, отказываться от споров на такие темы.

Боровков газанул, мы перевалили через бугор и выскочили к большаку. Как раз в эту минуту я сидел, уткнувшись в карту, проверяя, сколько осталось нам ехать до Чаус, а когда поднял глаза, то увидел, что по дороге, к которой мы выехали, в ста метрах от нас по направлению от Могилева к Чаусам идут четыре немецких танка.

Боровков тормознул, и мы все молча, не выскакивая из машины, смотрели на то, как проходят мимо нас эти танки. То ли им не было дела до нас, то ли они в этой пылище нас не заметили, но они проскочили мимо нас совсем близко на полном ходу. Через минуту было видно только пыль, клубами крутившуюся за ними.

Мы вылезли из «пикапа», и у нас началась мало подходившая к обстановке дискуссия, куда и как ехать: выжидать здесь, попробовать проехать на Чаусы какой-нибудь другой дорогой или возвращаться в Могилев? Было даже предложено ехать по большаку, вслед за танками, потому что они, может быть, все-таки не немецкие, а наши. Танки были совершенно очевидно немецкие, но их присутствие здесь, около штаба армии, все еще не укладывалось в сознании. Дискуссия, наверно, продолжалась бы еще долго, если бы я, заметив вдалеке, со стороны Могилева, новые клубы пыли на дороге, вдруг неожиданно для себя не заорал, что я тут старший по званию, приказываю сесть в машину, развернуться и ехать. Мы развернулись, отъехали с километр до деревеньки и поставили машину за дом. Трошкин полез на крышу наблюдать за дорогой, а мы остались внизу. Через несколько минут он крикнул нам сверху, что по дороге из Могилева на Чаусы прошли еще четыре танка.

На проселке, по которому мы только что проехали, показалась женщина. Она шла со стороны большака — должно быть, мы не заметили ее, когда обгоняли. Мы остановили ее, и она сказала нам, что еще раньше по большаку прошло много танков.

— А сколько?

— А кто их знает. Около дюжины. Что же нам делать-то, родные? Что же делать-то? — спрашивала нас женщина.

Но мы сами готовы были обратиться к ней с тем же вопросом. Подъехала полуторка. В ней было пять человек красноармейцев и какой-то артиллерийский капитан, ехавший в Чаусы к начальнику артиллерии армии. Мы остановили полуторку и рассказали капитану о танках. Дальше решили ехать вместе, двумя машинами, и, разложив пятисотку, стали смотреть, какая еще есть дорога на Чаусы, кроме того большака, по которому только что прошли танки. Впереди двинулся грузовик, как более проходимая машина, позади — «пикап». Карта была моя, и я сел в кабину грузовика, а капитан перелез в кузов.

Мы решили свернуть с проселка, перебраться через наполовину пересохший ручей и по пахотному полю, а потом через лес выехать сначала на другой проселок, а потом — на третий, который должен был нас кружным путем привести к Чаусам. Ехали мы этим кружным путем километров восемь. Справа от нас, с дороги Могилев — Чаусы, время от времени слышались выстрелы и появилось несколько дымных столбов. Мы гадали, что это: подожженные танки или подожженные дома.

Потом вдруг, уже слева от нас, раздалось несколько орудийных выстрелов и пулеметные очереди. В это время, выехав из одного леска, мы пересекали мелкий кустарник, чтобы добраться до следующего леска, за которым, судя по карте, опять начиналась дорога. Едва мы въехали в этот лесок, как навстречу нам показались два молодых парня, поддерживавшие третьего. Он был ранен в плечо и в руку. Мы дали ребятам индивидуальный пакет, и, перевязывая товарища, они рассказали нам о только что случившемся с ними.

Они были членами истребительного отряда. Им сказали, что по дороге идут два немецких танка, и они с бутылками с зажигательной смесью вчетвером легли в кюветы. Но оказалось, что танков было не два, а, по их словам, около двадцати. И когда ребята увидели эту приближающуюся к ним по проселку колонну немецких танков и, не выдержав этого зрелища, бросились из своих кюветов в лес, передний танк обстрелял их из пулемета. Одного убил, а вот этого, второго, которого они привели сюда, ранил.

Мы спросили, где это было.

— Километрах в полутора отсюда, — сказали ребята. — Теперь одни из них там крутятся на дороге и жгут деревню, а другие — дальше пошли.

Они торопились отвести раненого, и мы расстались с ними. То, что теперь орудийная стрельба доносилась и справа и слева, доказывало, что немцы, очевидно, идут к Чаусам с двух сторон. Нам стало еще тревожнее, чем раньше. В крайнем случае, конечно, можно было бы бросить машины и пробираться пешком, но этого не хотелось делать. Мы поставили машины под деревьями. Трошкин с одним красноармейцем из команды артиллерийского капитана пошел в ближайшую деревеньку на разведку, а мы остались ждать.

У капитана оказалось несколько гранат, и он раздал их нам. Ждали мы минут сорок. Вдруг совсем недалеко от нас, в лесу, очевидно на лесной дороге или просеке, не отмеченной на карте, прогрохотали один за другим два танка. Очевидно, немцы прочесывали лес. Невидимые за деревьями танки прошли совсем близко.

Капитан разнервничался и стал кричать, что мы отправили разведчиков, дав им сроку полчаса, а их нет уже целый час, что я как хочу, а он поедет, потому что если мы еще будем ждать здесь, то к Чаусам уже не прорвемся и он не выполнит приказания. Я спросил его: а как же быть с людьми, ушедшими в разведку? Он ответил, что раз проканителились сверх данного им срока, пусть сами и выбираются.

Кто его знает, может быть, по букве закона он был и прав, но мне что-то подкатило к горлу, и я сказал ему, что он может ехать со своей машиной, а я буду ждать столько, сколько придется, и что о своем красноармейце он может не беспокоиться — мы его возьмем с собой.

Капитан в ответ на это приказал всем сесть в машину, но машину не трогал, сидел на борту в выжидательной позе. Наверное, его все-таки заела совесть.

Так мы просидели молча еще минут двадцать, пока не вернулись Трошкин и красноармеец. Они сказали, что танки проскочили дальше в лес, что с пригорка видно, как горят вдоль большака деревни.

Решив все-таки проехать на Чаусы, мы сели на машины и поехали дальше так же,

как ехали перед этим: я в кабине грузовика. Миновали еще несколько лесочков. В одном из них встретили машину, которая, оказывается, недавно выехала из Чаус. Сидевшие в ней сказали нам, что там из Чаус слышны были только отдаленные выстрелы, и, лишь выехав оттуда, они увидели, что кругом стоит над дорогами дым. Но танков они не встретили.

Мы поехали дальше. Наконец, выскочив из лесочка на открытое место, мы увидели впереди речку, мост через нее, а за ним — Чаусы. По той слабо наезженной колее, по которой мы выехали, до моста оставалось метров триста, когда, поглядев направо и налево, мы увидели, что по двум дорогам — справа и слева от нас сходившимся к мосту, — что по ним обеим движутся танки, [38] Мы рванули к мосту, решив проскочить во что бы то ни стало. Влетели на мост с разгона, пронеслись через него, и сразу же сзади началась дикая пулеметная трескотня и разрывы снарядов. Чуть отставший от нас «пикап» с ребятами проскочил через мост уже под свист осколков.

Немцы стреляли с ходу, больше для наведения паники, чем прицельно, поэтому все и обошлось для нас благополучно. Мы петляли по улицам Чаус, объезжали загромоздившие их подводы и машины. Нам надо было скорее пересечь город и выбраться на другую его сторону, где, как мы знали, где-то в двух или трех километрах, в роще возле Чаус, был расположен штаб армии.

В городе была паника; люди выскакивали изломов. Из окон летели вещи, чемоданы лежали прямо на дороге. И эту панику нетрудно было понять, если представить себе, что за полчаса до этого здесь считали, что фронт еще по ту сторону Днепра, за Могилевом, что город находится в глубоком армейском тылу.

Над городом рвались снаряды, не причинявшие особенного вреда, но вносившие еще большую панику. Сзади, у моста, что-то горело.

Петляя по улицам Чаус, мы потеряли шедший за нами «пикап» и на своем грузовике первыми добрались до штабной рощицы. Грузовик пришлось остановить на опушке — дальше не пустили. Встретив какого-то полковника, я рассказал ему, что я корреспондент «Известий», что мы видели немецкие танки, идущие от Могилева к Чаусам, и что необходимо об этом как можно скорее доложить. Он сказал, что командный пункт в пятистах метрах отсюда, в глубине рощи, и мы вместе побежали туда.

Я прибежал на командный пункт, задыхаясь от быстрого бега. В кустарнике на скамеечках у стола сидели генерал-лейтенант, еще один генерал — авиационный — и несколько командиров. Как мне потом сказали, этот генерал-лейтенант не то в тот день, не то накануне принял командование армией от ее прежнего, раненого командующего.

Я доложил, что видел танки. Очевидно, то, что я так запыхался, не внушало ко мне доверия. Меня слушали несколько иронически. Хотя кругом чувствовалась некоторая нервозность, но все-таки здесь не представляли себе всего, что происходит. Я настаивал на своем и, развернув карту, показал, где мы видели танки. Тогда генерал-лейтенант спросил меня:

— Сколько танков?

Я сказал, что своими глазами видел восемь, но что на самом деле, судя по стрельбе и по тому, что говорило население, их гораздо больше.

— А у страха глаза не велики? — спросил меня генерал-лейтенант и стал выяснять все-таки, что я видел — танки или танкетки. Кто-то из окружающих его сказал, что это не могут быть танки, что это могут быть только танкетки.

В этом сомнении была все та же упорная концепция тех дней — неверие в то, что немцы прорвались, и желание считать все это парашютными десантами. Я настаивал на том, что это средние танки и что я в этом твердо уверен, потому что два дня назад под Могилевом разглядывал их во всех подробностях. Меня отпустили и начали принимать меры. В чем они выражались, я так и не знаю. Последующие события показали, что либо никаких серьезных мер так и не было принято, либо под руками не было средств для того, чтобы принять такие меры.

Со стороны Чаус стало слышно, как там начали стрелять наши пушки. Пока я шел назад по роще к опушке, кругом все уже закопошилось. Кто-то что-то кричал о бутылках с зажигательной смесью, о комендантской роте и еще что-то в том же духе. Выйдя на опушку, я не нашел там ни грузовика, ни капитана, но зато, к своей большой радости, увидел «пикап» и своих товарищей. Стали решать, что делать дальше. С одной стороны, вроде бы нам надо было немедленно возвращаться в редакцию, ехать на Кричев, Рославль, а оттуда — на Смоленск, но, с другой стороны, в сложившейся обстановке это бы походило на бегство, и мы решили зайти к начальству.

Через десять минут здесь же в роще, в политотделе, нас встретил высокий бригадный комиссар с орденом Красного Знамени на груди, который внимательно выслушал нас, посоветовал перекусить перед дорогой и ехать в редакцию не прямо через Кричев, а по дороге на Чериков; по ней еще с утра начал перебираться второй эшелон штаба армии. Он сказал нам, что мы, очевидно, еще нагоним этот второй эшелон в дороге.

Из того, что второй эшелон штаба эвакуировался еще с утра, я понял, что здесь уже имели сведения о переправе немцев через Днепр и, очевидно, только не представляли себе реальной быстроты их движения. Та беспечность, с которой мы столкнулись в Чаусах, показалась мне теперь еще более удивительной, чем поначалу.

В политотделе мы встретили кинооператора и его помощника, приехавших сюда, в 13-ю армию, вчера из штаба фронта. Они под секретом сообщили нам, что еще позавчера штаб и политуправление фронта, а стало быть, и редакция «Красноармейской правды», выехали из Смоленска под Вязьму, на станцию Касня.

Мы еще не представляли себе всего, что с этим было связано, но это известие было для нас тяжелым ударом. Такой скачок штаба фронта из Смоленска в Вязьму — целых двести километров! Вязьма в нашем представлении тех дней — это была уже почти Москва, и мы совершенно не понимали, что, как и почему. Но стало очень скверно на душе от самого факта, что штаб фронта переместился из-под Смоленска под Вязьму.

Мы стали наскоро закусывать тут же рядом, у палатки политотдела, как вдруг обнаружилось, что Боровков, переезжая в роще с одного места на другое и перекладывая в предыдущем месте вещи в «пикапе», повесил винтовку на сучок и там ее и оставил. Мне пришлось пойти вместе с ним за этой винтовкой, чтобы его одного кто-нибудь не задержал.

Вернувшись, я застал такую сцену: перед бригадным комиссаром в палатке стоял низенький толстеющий человек в форме полкового комиссара. Бригадный, не повышая голоса, спокойно и жестоко говорил ему:

— В другое время вас бы просто следовало расстрелять, но сейчас мне не до этого. Но разговаривать с вами я не хочу. Сначала найдите вашу дивизию, от

которой вы бежали.

— Я не бежал, — лепетал полковой.

— Нет, бежали! Покажите мне, где ваша дивизия. А пока ее нет, вы не комиссар дивизии. А в следующий раз, если я увижу вас без вашей дивизии, — я вас расстреляю. Вы должны кровью загладить свою вину перед родиной!

Полковой вытянулся и стал говорить какие-то слова о том, что он загладит, что он понимает, что родина… и все это заплетающимся языком. Бригадный брезгливо сказал ему:

— Идите.

Кажется, это был комиссар 55-й дивизии, той самой, отступление которой с берега Днепра под воздействием одной только ожесточенной бомбежки было одной из главных причин успешного прорыва немцев. Уходя, этот человек уже немножко окрепшим напоследок голосом, видимо, поняв, что он избавился от непосредственной опасности, сказал, что он найдет, что он оправдает, что он умрет, но сделает, и так далее. Когда он ушел, бригадный повернулся к нам и спросил:

— А вы все еще здесь?

Мы сказали ему, что сейчас уезжаем. Боровков уже крутил заводную ручку, кто-то из нас уже полез в кузов, кто-то открыл дверцу кабины — и вдруг в роще, совсем близко, одна за другой стали рваться мины. Это было совершенно неожиданно, потому что весь предыдущий час были успокоительные сведения, что немецкие танки задержаны у реки, что им не удалось переправиться через мост в Чаусы и что они стали обходить реку далеко влево и вправо, очевидно, в поисках бродов. Последние полчаса даже не слышалось стрельбы, и паника понемногу начала стихать. И вдруг эти разрывы.

Мы легли на землю. Рощица была небольшая и редкая — кусты да деревца. Ни одного окопа, ни одной щели. И вот по этой рощице в течение пятнадцати минут беспрерывно били минометы, как потом нам сказали, установленные немцами на танках, и орудия. Люди лежали, упав плашмя на землю, прижимаясь головами к тонким стволам деревьев, как будто они могли от чего-то защитить.

Потом обстрел прекратился. Роща зашевелилась. Ломая сучья, из-под деревьев

выезжали машины. Наш «пикап» был уже заведен. Мотор так и работал с тех пор, как Боровков вместе с нами бросился на землю. Мы сели в «пикап» и выехали по лесной тропке на дорогу, шедшую к Черикову. Дорога сначала шла вдоль рощи, и едва мы вывернулись на опушку, как на повороте за «пикап» ухватился какой-то человек и стал впрыжку бежать за нами, держась за борт «пикапа». У него было ошалелое, перепуганное лицо, настолько искаженное страхом, что я с трудом узнал в нем того самого полкового, который только что давал разные клятвы начальнику политотдела. Он кричал, чтобы мы его взяли, что ему не на чем ехать, что он должен ехать, что ему приказали что-то передать во второй эшелон. Не знаю, чем бы это кончилось, но он вдруг заметил, что какая-то «эмочка» перегоняет нас, отцепился от «пикапа» и вскочил на ее подножку. Так и не знаю, что с ним было дальше.

Стрельба не возобновлялась. Мы поехали по опушке, потом вдоль реки к какому-то мосту.

Это был не тот мост, через который мы переправились, подъезжая к Чаусам, а другой — с другой стороны города и, кажется, через другую реку.

Мы ехали по верху спускавшихся к реке холмов. От дороги до реки было метров четыреста. Ехали совершенно спокойно, и нам начинало казаться, что все это еще утрясется. Вдруг Трошкин толкнул меня в бок:

— Смотри.

Я, наверно, никогда не забуду этой картины. Прямо под нами, между нами и рекой, по отлогим скатам длинного холма, по гребню которого мы ехали, снизу вверх, перпендикулярно к нам, похожие на игрушечные, аккуратные, как на картинке, поднималось десятка полтора немецких танков. Как они оказались здесь, с этой стороны города, почему их раньше никто не заметил, до сих пор не знаю. Может быть, устроив ложную панику с той стороны города, так и не пойдя на него в лоб, они воспользовались этим и обошли его, — кто их знает, но теперь, вечером, поднимаясь вверх от спокойно текущей реки, над которой стоял розовый закат, на холм, по которому мы ехали, в двухстах метрах от нас ползли немецкие танки с аккуратными интервалами, как на параде.

Боровков рванул «пикап», мы полетели по косогорам, срезая углы дороги, и наконец выскочили вниз, к мосту.

Но оказалось, что мост не то взорван, не то разобран и по нему невозможно переехать на машине. Решив, что через эту реку, наверное, есть еще какой-нибудь мост — не может этого не быть, — мы теперь, когда танки остались позади, уже помедленнее поехали вдоль реки.

Наконец мост действительно нашелся. Это был какой-то временный мостик, сбитый из бревен, лежавших прямо на воде. Мы проехали по ним, как по ксилофону, окуная колеса в воду, и наконец выбрались на тот берег.

Боровков остановил «пикап» и, сняв с пояса фляжку, долго пил, пока не выпил всю до дна. Потом сзади нас вдруг снова начался грохот. Била артиллерия, стреляли минометы. Над Чаусами поднимались пламя и дым. Что там произошло в эти часы, кто оттуда выбрался, кто нет, я так и не знаю до сих пор.

За нашей спиной горели Чаусы, а нам нужно было ехать не в Смоленск, из которого мы уезжали всего какую-нибудь неделю назад, а уже в Вязьму. Настроение было самое отвратительное, Мы въехали в лес и два часа ехали по лесной дороге, пока окончательно не стемнело.

Уже в темноте мы нагнали медленно двигавшиеся через лес автомобильные колонны второго эшелона армии. Первый час проталкиванием нашего «пикапа» занимался Трошкин, потом он сел в кузов и заснул, и остальное время перед машиной шел я. Боровков минутами засыпал от усталости за рулем. Ему досталось за эти дни больше всех.

Хорошо помню эту ночь. Сзади, над Чаусами, виднелось высокое зарево и слышались глухие артиллерийские выстрелы. Лес был высокий и темный, дорога узкая, машин ехало много, проталкиваться среди них было трудно, а стоять надоедало. Так мы и ехали всю ночь, а вернее, если говорить обо мне, шли.

Многое я в ту ночь перебрал в памяти и передумал. У меня было ощущение усталости и какого-то отупения, потому что за последнее время пришлось пройти через столько неожиданностей и разочарований, что, казалось, уже нечему было удивляться.

В Чериков мы приехали на рассвете, а оттуда немедленно двинулись на Рославль. Рославль был не похож на тот, каким мы его оставили неделю назад. Было тревожно. Чувствовалось, что если тут и не представляют себе всех обстоятельств происходящего, то слухи сюда уже докатываются.

Было очень тягостно. Единственное, что как-то внутренне облегчало душевное состояние, это воспоминание о полке Кутепова, о том, что у нас люди все-таки умеют драться, и еще, пожалуй, собственное ощущение, что везем с собой нужный материал для газеты, что хотя бы в этом отношении поездка была не даром.

Мы остановились в Рославле, чтобы решить, как ехать дальше. В Смоленске в этот день уже были немцы, но мы этого, конечно, не знали. Нам казалось, что происходит отступление, что штаб фронта по каким-то соображениям переехал поглубже в тыл, но представить себе, что немцы в Смоленске, который казался нам еще недавно неприступным городом — мы видели, как его укрепляли, — этого представить себе мы не могли. [39] Поэтому вопрос о том, какой дорогой ехать на Вязьму, был для нас в этот момент чисто житейским. Казалось, что можно ехать через Юхнов, а можно ехать и через Смоленск.

Смоленск привлекал тем, что хотелось там побриться, а может, даже на скорую руку помыться в бане. Кроме того, мы надеялись, что найдем в Смоленске кого-нибудь из нашей редакции.

Нам казалось, что за это время что-то могло еще перемениться; может быть, в Вязьму уехала только часть штаба и политотдела, только вторые эшелоны. В общем, мы поехали на Смоленск.

Сначала дорога была довольно пустынная, но потом мы начали встречаться с шедшими нам навстречу грузовиками, с бредущими по шоссе беженцами и многочисленными стадами. Чем ближе мы подъезжали к Смоленску, тем двигавшийся нам навстречу поток становился все гуще. Мы несколько раз останавливались и расспрашивали, что там, в Смоленске, но никто нам не мог толком ответить. Военные были не из самого Смоленска, а из разных пунктов к востоку от него, а граждане тоже шли не из Смоленска, а из окрестных районов. Они эвакуировались на восток под влиянием слухов, что немец идет, но откуда он идет и докуда он дошел — было им неизвестно.

Мы проехали еще несколько километров и натолкнулись на огромные стада скота, заполнившие всю дорогу. Скота гнали столько, что дальше мы уже ехали со скоростью два-три километра в час, ныряя на своем «пикапе» среди голов и рогов. Проехав еще несколько километров, остановились, поставили машину на

обочине и стали совещаться.

Хотя мы по-прежнему не верили, что немцы могут быть в Смоленске, и нам казалось обидным возвращаться и ехать на Вязьму через Рославль, всего сорок километров не доехав до Смоленска, но двигаться вперед, пробираясь через эти сплошные стада, тоже было бесполезно. Мы не добрались бы до Смоленска и к ночи.

Наши сомнения окончательно разрешил какой-то саперный капитан, ехавший — а вернее сказать, ползший — на машине среди этих стад со стороны Смоленска. В ответ на наш вопрос он сказал, что двигаться дальше бессмысленно — в двадцати километрах от Смоленска дорога закрыта для движения и спешно минируется. Мы повернули.

У нас ушло еще два часа, чтобы пробиться сквозь стада назад, к Рославлю. Когда мы въехали туда, там была воздушная тревога. Над городом крутились немецкие самолеты. Потом они обошли город и, пикируя, стали обстреливать что-то невидимое нам за его окраиной. На городской площади, несмотря на воздушную тревогу, продолжали обучаться ружейным приемам мобилизованные. Кучки их, еще без оружия, в гражданском платье, стояли у военного комиссариата и у других зданий, где размещались мобилизационные пункты.

Развернув карту, мы решили ехать по шоссе до Юхнова, а оттуда свернуть проселками на Вязьму. На выезде из Рославля нас задержали и проверили документы.

Был жаркий летний день. Дорога здесь, за Рославлем, на восток была совершенно мирная. По сторонам виднелись деревни, и ровно ничто не напоминало о войне. Известия о прорыве немцев сюда еще не дошли, и никто не мог еще себе представить, что через несколько дней эти места станут ближайшим фронтовым тылом.

Было тягостное ощущение от несоответствия между тем, что мы видели в последние дни, и этой мирной, ничего не подозревающей сельской тишиной.

Несколько последних суток прошли у нас в непрерывном движении, и нам некогда было подумать, сообразить, нам нужно было только ехать, пробиваться, снова ехать, соединяться со своими, двигаться с места на место. Теперь, когда мы ехали по спокойной шоссейной дороге, когда был летний жаркий тихий день и Трошкин

и Кригер по очереди сменяли за рулем засыпавшего от усталости Боровкова, — мы вдруг сами почувствовали и то, как мы устали за эти дни, и через эту усталость — самое главное: почувствовали, что произошло какое-то большое несчастье. Только теперь, заново начав думать о том, что значит переход штаба фронта из Смоленска в Вязьму, мы заколебались: может быть, и Смоленск взят? А ведь еще так недавно о Смоленске не было разговора, говорили только о Минске, считалось, что фронт где-то там.

Все эти мысли, одна за другой, привели меня в такое тяжелое настроение, в каком я, кажется, еще никогда не был. Казалось, что немцы прут, прут и будут переть вперед, и не понятно, когда же их остановят.

Было тревожное чувство: неужели они придут сюда? [40] И чувство острой жалости и любви ко всему находившемуся здесь, к этим деревенским избам, к женщинам, к детям, играющим около шоссе, к траве, к березам, ко всему русскому, мирному, что нас окружало и чему недолго оставалось быть таким, каким оно было сегодня.

Мы ехали и молчали. Долго-долго молчали. Потом у нас от долгой езды в такую жару перегрелся наш старенький мотор, и мы километров через семьдесят после Рославля вынуждены были остановиться и ждать, когда он остынет.

Мы вылезли из «пикапа», и Паша Трошкин сказал:

Ребята, а ведь выбрались, а? [41]

Но это было сказано устало и без всякой радости. Нас не радовало то, что мы выбрались. Хотелось только поскорее добраться до Вязьмы и там, в Вязьме, хоть что-то понять. Понять то, чего мы еще не понимали.

Трошкин поставил нас у «пикапа» и несколько раз подряд снял таких, какими мы были в тот день, — усталых, небритых и, как мне тогда казалось, за несколько дней постаревших. Потом мы снова поехали.

По дороге, чтобы хоть как-нибудь не думать обо всем том, что нас мучило, я стал читать ребятам стихи, сначала чужие, а потом и свои, написанные перед самой войной. Стихи им понравились, но из-за одного из них — «Я, верно, был упрямей всех, не слушал клеветы» — Петр Иванович Белявский заспорил с Женей Кригером. Белявский говорил, что эти стихи не есть результат внутреннего

убеждения, а только попытка как-то оправдать то положение, в которое я попал. Кригер спорил с этим, а я молчал. Молчал не потому, что мне не хотелось спорить, а потому, что странным казался самый этот спор о стихах здесь, на этой дороге, после всего, что мы видели. По сравнению со всем, что произошло с нами и происходило кругом, мне казалось таким бесконечно неважным, был ли я упрямей всех и слушал ли я клевету, и вообще казалось, что я никогда не буду писать ни таких стихов, и вообще никаких.

Потом слева от дороги пошли места, где, оказывается, Петр Иванович Белявский провел свою юность. Он ударился в лирическое настроение, стал вспоминать, как он здесь неподалеку учительствовал в школе, какая это была школа, кто здесь жил, с кем он был знаком. Он говорил обо всем этом растроганно, сам немножко умиляясь своим воспоминаниям, но мне за этой настойчивостью воспоминаний, растянувшихся на добрых сорок километров, почудилось не столько действительное желание вспоминать все это, сколько необходимость вспоминать сейчас о чем-то другом, давнем, а не о вчерашнем и не о сегодняшнем.

Мы свернули с шоссе и проселками поехали на Вязьму. Дорога сначала шла через лес, потом спустилась к реке. Мы переехали мост и остановились. Было уже часов пять дня. Жара понемногу спадала, река была спокойная, тихая, и вдруг мы поняли, а вернее вспомнили, что ведь можно искупаться. Эта мысль поразила нас. Влезть в эту тихую воду, купаться… Вода была теплая, речка — мелкая, в самых глубоких местах по грудь. Мы долго мылись случайно завалявшимся в «пикапчике» кусочком мыла и только теперь увидели, до чего пропылились.

Аккуратный Боровков, идя купаться, накрыл «пикап» брезентом, и когда мы поднялись на берег, то увидели, что наш «пикап» окружило целое стадо коров. Они приподняли брезент и мордами тыкались в наши винтовки и каски. А одна пролезла головой в кабину и интересовалась баранкой.

Мы поехали дальше и слева от дороги увидели снижающийся за лесом ТБ-3. Где-то в этом районе был аэродром полка ночных бомбардировщиков. Еще до отъезда в Могилев мы слышали о нем в штабе фронта. Говорили, что этот полк в последнее время великолепно работал по ночам, почти не имея потерь. Секрет успеха, если верить истребителям, подшучивавшим над «ночниками», заключался в том, что немецкие зенитки с их автоматическим опережением были рассчитаны

на современные типы самолетов, а ТБ-3 со своей тихоходностью словно становился на якорь над целью. Стоял на якоре и плевался бомбами. Отплюется — и уйдет. А зенитки все время бьют не по нему, а впереди него.

Увидев над лесом ТБ-3, мы сразу вспомнили об этих разговорах в штабе фронта. Разговоры были веселые, но у меня, как и всегда с тех пор, когда я где-нибудь видел эти большие, тяжелые, очень надежные и очень тихоходные машины, мелькнуло щемящее воспоминание о том дне на Бобруйском шоссе, когда они при мне гибли.

Мы ехали мимо лесных деревень. На улицах было много народу. Женщины провожали уходивших на войну парней. Мы сначала думали сразу же в этот день доехать до Касни, где, по нашим сведениям, стоял штаб фронта, но пока добирались проселками, уже стемнело, и мы, благоразумно решив, что ночью в лесу, тем более без штабного пропуска, все равно ничего не найдем, двинулись прямо в Вязьму.

Наш маленький опыт уже подсказал нам, что след фронтовой или армейской газеты почти всегда можно найти в ближайшей типографии, и мы разыскали ее на ночных, абсолютно черных вяземских улицах. Действительно, наша газета печаталась здесь. Но в типографии ночью был только один человек — дежурный, которого мы почти не знали. Перекинувшись с ним несколькими словами, мы, усталые, повалились там же, в наборном цеху, на пол и проспали как убитые до шести утра. А в шесть вместе с отдежурившим выпускающим поехали в Касню, в редакцию.

В редакции нас уже считали в нетях, в окружении и тревожились. А в Москве, в «Известиях», как я уже потом узнал, кто-то даже додумался сказать моей матери, пришедшей туда спросить, нет ли чего-нибудь от меня, чтобы она готовилась к худшему.

Вместо двух-трех суток, как мы собирались, мы отсутствовали втрое больше, а такая задержка в те времена могла означать что угодно, любую неожиданность.

Как только мы приехали в Касню, я немедленно сел, а верней лег, за работу и к шести часам вечера сделал две статьи — для фронтовой газеты и для «Известий».

Наш «пикап» едва дышал после этой поездки и нуждался в ремонте, так что ехать в Москву была двойная необходимость — и чтобы пригнать мою машину, и чтобы

отремонтировать за сутки «пикап». Трошкин решил тоже поехать со мной, чтобы там, в Москве, самому проявить и напечатать свои снимки.

Миронов подтвердил свое разрешение мне уехать на полтора суток и приказал выписать документ. Трошкин был подчинен только «Известиям» и в разрешениях не нуждался, и мы решили с ним, не откладывая в долгий ящик, ехать в Москву немедленно — вечером. До полной темноты выбраться на Минское шоссе, гнать всю ночь, к утру быть в Москве, пробыть там день и ночь и на следующее утро выехать обратно в Вязьму.

Вечером мы с Трошкиным и Боровковым двинулись; наши полевые сумки были набиты несколькими десятками писем.. [42]

На шоссе из Касни мы выбрались какими-то долгими объездами. Всюду стояли сигнальщики. Во многих местах не пускали, потому что окрестности Вязьмы и подходы к шоссе всюду минировались. Во всем было заметно, что здесь считаются с возможностью приближения немцев.

Когда мы выехали на Минское шоссе и поехали по нему, я вдруг почувствовал, как близко от фронта, прямо за плечами Москва, как нас крепко и тесно прижало к ней: всего один ночной перегон на старой, разболтанной машине — и мы будем в Москве.

Минское шоссе — широкое и прямое — за этот месяц оказалось уже довольно сильно разбитым и местами было просто в ухабах. Была абсолютно черная безлунная ночь. Боровков, измучившийся за предыдущую поездку и, приводя в порядок «пикап», чтобы он дотянул до Москвы, почти не успевший поспать днем, сейчас клевал носом за рулем. А навстречу нам неслись без фар черные, видные только за десять шагов, бесконечные грузовики со снарядными ящиками. То и дело казалось, что они налетят на нас и сшибут. Мы с Трошкиным решили, сменяясь, всю дорогу стоять, открыв дверцу, на крыле «пикапа». Через ветровое стекло совсем ничего не было видно, а так можно было хоть что-то разобрать метров за двадцать.

Еще не так давно мы ночью проезжали по Минскому шоссе с подфарниками и маскировочными сетками на них и считали это вполне нормальным. Но сейчас на шоссе была другая атмосфера, да и у нас самих было другое отношение к этому. Увидев впереди на шоссе слабые отблески света, мы догнали и остановили

какую-то машину, ехавшую с подфарниками и сеткой, и, угрожая пистолетами, заставили ехавших в машине людей развинтить фары и вынуть лампочки. В обстановке этой тревожной, совершенно черной дороги нам искренне казалось, что каждый мелькнувший кусочек света может вызвать бомбежку. Это было, конечно, неверно, но и неудивительно: слишком много за этот месяц все хлебнули горя от беспрерывно летавшей над дорогами немецкой авиации.

Так мы и ехали, пока не начало светать, сменяя друг друга на подножке «пикапа».

Сурков дал нам с Трошкиным поручение: по дороге в Москву заехать на минуту во Внуково, завезти жившим там на даче родителям его жены письмо и сказать, что видели его живым и здоровым.

Как мы ни торопились в Москву, но во Внуково все-таки заехали. Было раннее утро. Тихая дача в лесу. Старики притащили нам таз с крупной клубникой и просили нас, если мы сумеем, заехать на обратном пути и отвезти зятю в Касню плетеночку этой клубники. Посидев у них пять минут, мы поехали дальше, в Москву.

Было раннее утро, и Москва казалась опустевшей. Мы с Трошкиным приехали прямо в редакцию «Известий». Я оставил там статью, пообещав привезти еще, а Трошкин пошел проявлять пленки. Едва ли я ошибусь, если скажу, что мы с ним, пожалуй, были первыми газетчиками, приехавшими с Западного фронта в Москву.

В эти сутки, что мы пробыли в Москве, нам выпала трудная задача — отвечать на десятки вопросов, на которые мы иногда не знали, что ответить, а иногда знали, но не имели права, потому что здесь все-таки совсем не представляли себе того, что делалось на фронте, [43] Даже отдаленно не представляли. Нас спрашивали, взят ли Минск, взят ли Борисов, правда ли, что немцы с налета взяли Смоленск и в нескольких местах переправились через Днепр и продолжают наступать. Но, еще подъезжая к Москве, мы дали друг другу слово держать язык за зубами, не говорить лишнего, и, кажется, оба сдержали это слово.

Ответив в редакции на первые поспешные вопросы и пробыв там минут двадцать, я поехал повидаться с близкими.

День был сумасшедший. Я отвечал на бесчисленные вопросы, писал для «Известий» еще одну статью, потом дописывал что-то, сидя в редакции, был у

матери и отчима, ездил договариваться насчет машины. В «Известиях» решили, что лучше будет, если я оставлю у них свой «фордик», а они вместо него дадут в мое пользование редакционную «эмку». К завтрашнему утру она должна была быть подготовлена и выкрашена в маскировочные цвета. Кроме того, было решено для пользы дела вырезать у нее середину крыши и вместо нее на барашках закрепить скатывающийся в трубку брезент. Учитывая предыдущий опыт, сделать это решили для того, чтобы быстрее передвигаться, не чувствовать себя в мышеловке и не выскакивать каждый раз, услышав самолеты, а, скатав этот брезент на ходу, наблюдать за воздухом.

Я узнал, что Ортенберг назначен редактором «Красной звезды». Накануне своего отъезда на фронт я встретил его в коридоре ПУРа, когда шел за командировочным предписанием, и сказал ему, что если его назначат в одну из военных газет, то чтобы он забрал меня к себе.

В «Красную звезду» к нему я попал вечером. Когда я вошел, он, встав из-за стола, сказал:

— А, Симонов! — таким тоном, словно он именно меня сейчас и ждал. — Ты получил мои телеграммы?

Я спросил — какие.

— Я послал тебе две телеграммы в «Боевое знамя».

Я сказал ему, что хотя и был первоначально назначен в эту армейскую газету, но так и не знаю, где она находится, и никаких его телеграмм не получал.

— А чего ты приехал с фронта?

Я объяснил.

— Хорошо, — сказал он. — А я тебе уже третью телеграмму собирался посылать от имени Мехлиса. Теперь у меня будешь работать.

Я сказал ему — и вполне искренне, — что был бы рад работать с ним, но я работаю во фронтовой газете и в «Известиях».

— Ничего, — сказал он. — Из фронтовой мы переведем тебя к нам приказом, а «Известия»… Я тебе позвоню ночью. Давай телефон.

Я не дал телефона, по которому он мог бы мне позвонить ночью, и сказал, что сам

позвоню ему утром.

Я вышел от него в большом сомнении. По старой памяти о Халхин-Голе мне хотелось работать у него, но, с другой стороны, была уже заварена каша с «Известиями», получено от них постоянное корреспондентское удостоверение на Западный фронт, и менять все это было крайне неудобно.

Я так и не решился в тот вечер и в ту ночь рассказать близким мне людям всю правду о происходившем на фронте. Настроение у меня было тяжелое, даже немного подавленное, но я старался его прятать. И близкие принимали его просто за результат большой усталости.

Я заснул поздно ночью, и, как мне показалось, через несколько минут меня разбудили. Звонил телефон. Оказывается, была уже не ночь, а половина седьмого утра.

— С вами говорит заместитель редактора «Красной звезды» полковой комиссар Шифрин. Выслушайте приказ заместителя народного комиссара. «Интендант второго ранга писатель Симонов К. М. 20.VII.41 назначается специальным корреспондентом газеты „Красная звезда"». А теперь, — продолжал Шифрин, — бригадный комиссар Ортенберг приказал вам спать, сегодня никуда не ехать, а завтра, в понедельник, к одиннадцати часам явиться в редакцию.

Я ничего не успел сказать, трубка была уже повешена.

Я сел на трамвай и поехал в «Красную звезду». Оказалось, что Ортенберг еще у Мехлиса. Значит, он приказал разыскивать меня еще оттуда, из ПУРа.

Вскоре он явился и сказал, что первые две недели я буду сидеть в Москве, что я нужен пока здесь, в редакции, а потом поеду на фронт по его усмотрению. Тщетно я старался объяснить ему всю невозможность для меня остаться сейчас в Москве, несмотря на все мое желание работать в «Красной звезде».

— Ничего, — сказал он. — Теперь ты наш работник. С «Известиями» мы уладим, а с «Красноармейской правдой» уже все сделано. Я дал в политуправление фронта телеграмму, что ты работаешь у меня, а не у них.

В общем, я в душе был рад переходу в «Красную звезду», но у меня все равно оставалось чувство, что я не могу сейчас задержаться в Москве и должен возвратиться в Вязьму именно сегодня, как обещал. Зная характер Ортенберга, я

использовал единственный козырь: попросту сказал ему, что если я сегодня же не вернусь на фронт, то меня сочтут за труса. Он полминуты подумал и сказал:

— Хорошо, поезжай. И чтобы тебе не было неудобно с «Известиями», то в эту поездку можно так: мне делай стихи, а им — прозу. Срок поездки — неделя, а потом — целиком наш, и никаких поблажек!

Мне оставалось подчиниться. Предписание было выписано немедленно. [44]

Поскольку мне в эту поездку еще дано было право писать в «Известиях», я смалодушничал и ничего не сказал там, решив отложить этот неприятный для меня разговор до возвращения.

Машина была готова. В газете был напечатан мой подвал о полку Кутепова «Горячий день» и на всю полосу — панорама разбитых танков, снятых Трошкиным. Это были первые материалы такого типа, и я испытал удовлетворение начинающего газетчика, видя, как у витрин с газетами стояли толпы народа.

К двенадцати часам дня закончили ремонт «пикапа», и мы выехали. «Пикап» вел Боровков, а «эмку» — второй известинский водитель Панков, впоследствии раненный на Западном фронте.

На дороге были пробки, объезды, и мы добрались до Вязьмы только к ночи. Встретив там в типографии дозванивавшихся до Москвы Кригера и Белявского, ночевать в Касню уже не поехали, а все четверо остались ночевать в Вязьме, в маленьком домике рядом с типографией, у работников газеты 24-й Сибирской армии.

Прежде чем лечь спать, мы просидели полночи. Кроме нас, были милый умный человек — редактор газеты полковой комиссар Ильин, еще один работник их редакции и корректорша — славная, хорошенькая девушка Женя. Выпили все, что привезли с собой из Москвы. Потом я долго читал стихи. Вязьму в эту ночь довольно сильно бомбили, но мы не вылезали из комнаты. Потом шумел самовар, и мы пили чай. Остаток ночи мы с Пашей Трошкиным проспали вдвоем на койке и в восемь часов утра поехали в Касню в редакцию.

Сурков только что уехал в Великие Луки. Как потом оказалось, ему так подвезло — удалось побывать в одном из первых городов, сначала попавших в руки немцев, а потом, через два дня, отбитых нами. В редакции были заняты тем, что

на всякий случай устраивали круговую оборону, копали окопы и щели.

Следующий день мы ездили вокруг Вязьмы, были на окрестных аэродромах [45] и в находившемся около Вязьмы небольшом лагере для военнопленных. Он был в трех километрах за городом в старых бараках, обнесенных колючей проволокой. Немцев там было человек полтораста. Тех, с кем мне надо было разговаривать, выпускали на улицу, и мы там беседовали с ними, сидя за врытым в землю столом.

Большинство пленных — около ста человек — было взято разом во время рейда какой-то нашей части по немецким тылам. Это была большая автомобильная колонна, шедшая позади первых эшелонов танков и пехоты и слабо вооруженная. Половину ее в течение нескольких минут перебили, а половину взяли в плен.

У этих пленных первых месяцев войны главным чувством было непритворное удивление, что они попали к нам в плен. Им это казалось чем-то невероятным, какой-то обидной случайностью. И они удивлялись этому до нахальства. Во всем этом чувствовалась долгая предварительная обработка. Они воспитывались в сознании, что если война с Россией произойдет, то произойдет молниеносно и победно.

Легкие успехи, с которыми были связаны все предыдущие победы Германии в этой войне, сами по себе уже развращают людей. А вдобавок именно на описании и подчеркивании всех этих успехов строилось все воспитание немецких солдат. Сейчас, на десятый месяц войны, даже не читая ни немецкой прессы, ни немецкой пропагандистской литературы, лишь на основании простых сопоставлений собственных разговоров с пленными теперь и тогда, в начале войны, можно понять, какой огромный и вынужденный перелом в системе воспитания солдат пришлось проделать немецкой пропаганде. Теперь ей приходится переучивать их и отношению к врагу, и отношению к срокам войны, и — что самое главное — отношению к смерти, потому что если в первое время русской кампании смерть объявлялась случайной возможностью, то сейчас о ней говорится как о вероятности.

Хорошо помню тот свой разговор с немцами в лагере под Вязьмой. Вот они сидят передо мной за столом, эти тыловики. Среди них несколько ветеранов мировой войны, а несколько совсем мальчишек. Я спрашиваю их, хотели ли они этой войны. Говорят, что не хотели. Этому я легко могу поверить. Спрашиваю, почему

же они начали войну. Отвечают: потому что русские сначала обещали пропустить немецкие войска в Иран, а когда немецкие войска вошли на русскую территорию, то русские на них напали. Другие просто говорят, что Советский Союз первый напал на Германию. В этом, видимо, звучат отголоски разных приемов пропаганды.

Один из пленных вызвал у меня острый приступ ненависти. У меня было чувство сожаления, что я его допрашиваю, а он мне отвечает, что все это происходит здесь и сейчас, в лагере военнопленных, а не десять лет назад, где-нибудь в школе. С каким наслаждением я расквасил бы ему тогда его наглую физиономию. Это был нахальный голубоглазый парень, фельдфебель со сбитого самолета. Он не показался мне ни глупым, ни ничтожным, но он был человеком, чьи суждения, мнения, представления, размышления раз навсегда замкнуты в один навсегда установившийся круг, из которого наружу не вылезает ничего — ни одна мысль, ни одно чувство. В пределах этого круга он размышлял. То есть был даже изворотлив. Он не говорил, что Россия напала на Германию. Он говорил, что Германия сама напала. Но напала потому, что она точно знала, что Россия через десять дней нападет на нее. В пределах этого круга он был образован. То есть читал несколько стихотворений Гете и Шиллера, читал «Майн кампф» и был вполне грамотен. В пределах этого круга он был не лишен чувств. То есть чувства товарищества, патриотизма и так далее.

Все, что выходило за пределы этого круга, его не интересовало. Он не знал этого. Не хотел и не умел знать. Словом, это была отличная машина, приспособленная для того, чтобы наилучшим образом убивать людей.

А больше всего меня бесило в нем то, что он явно принимал наше мягкое обращение с ним за признак нашей слабости и трусости. В его мозгу не умещалось, как можно быть мягкосердечным не от слабости, человеколюбивым не от трусости и добрым не по расчету. В системе воспитания, через которую он прошел, об этом не было сказано.

Из разговора с этим фельдфебелем, да и с другими пленными чувствовалось, что, во-первых, они твердо рассчитывают на то, что война кончится через месяц, и считают себя здесь, в плену, недолгими гостями, и что, во-вторых, они думают, что их кормят, поят, не расстреливают и вообще по-человечески обращаются с

ними только потому, что боятся мести немцев после того, как они через месяц выиграют войну и возьмут Москву.

Трошкин снял панораму выстроившихся во дворе пленных. В это время представитель 7-го отдела внутри барака разговаривал с бывшими участниками Первой мировой войны, пятидесятилетними людьми. Он предложил им написать листовку, и они согласились на это без особых препирательств.

Мы уже заканчивали свои дела, когда над лагерем появились немецкие самолеты. Находившихся на дворе пленных стали загонять в помещение. Они шли туда охотно и поспешно, опасливо косясь на небо.

Вечером я сидел в Вязьме и писал очерк для «Известий». Я закончил его и вышел на улицу. Была темная ночь. Высоко в небе эшелон за эшелоном шли немецкие самолеты на Москву. Мы уже знали, что накануне ночью была первая бомбежка Москвы. Она казалась отсюда, из Вязьмы, чем-то гораздо более грозным и страшным, чем была на самом деле. [46] Потом среди ночи Вязьму тоже стали бомбить. Возникло два пожара. Одна из бомб плюхнулась недалеко от типографии. Стекла тряслись, над головой с небольшими интервалами все еще шли самолеты на Москву.

Утром я написал для «Красной звезды» стихи и передал их по телефону стенографистке в редакцию. А в середине дня мы выехали под Ельню, где действовала оперативная группа частей 24-й армии, [47] которой тогда командовал генерал-майор Ракутин. По дороге в штабе 24-й армии нам сообщили пункт, где должна была находиться оперативная группа — сам Ракутин и член Военного Совета армии Абрамов. И мы двинулись туда.

На развилке дорог, одна из которых шла на Дорогобуж, а другая на Ельню, мы встретили в лесу штаб недавно вышедшей из окружения и пополнявшейся здесь 100-й дивизии — той самой, которая до первого июля все еще дралась в районе Минска, а потом с тяжелыми боями выходила оттуда.

Мы поговорили там в лесу с полковником, которого приняли за командира дивизии. Он сказал нам, что некоторые ее части продолжают выходить из окружения.

Мы решили заехать в дивизию на обратном пути и расположились на ночь в лесу, чтобы завтра с утра добраться до Ракутина. Ночевали под открытым небом, около

своих машин. Принесли колодезной воды и устроили обычную свою трапезу из черных сухарей, масла, сахара и этой воды. Утром тронулись дальше. Вскоре после того, как тронулись, в одной из деревень купили крынку молока и стали распивать ее, стоя у машины. Вдруг показался быстро ехавший через деревню грузовик. Грузовик остановился около нас, и сидевший в кабине военный крикнул:

— Товарищ командир, прошу сюда!

Я подошел к нему. Он спросил:

— Вы не видели частей Сотой дивизии? [48] Это был грузноватый, усталый, сильно небритый человек в накинутой на плечи красноармейской шинели. Он сидел рядом с водителем. В кабине стояли винтовки. А в кузове сидели еще человек двенадцать красноармейцев и командиров — обтрепанных, усталых, небритых, по-разному одетых, но все с винтовками и гранатами. Они были похожи на людей, только что вышедших из окружения.

Прежде чем ответить, где находится 100-я дивизия, я попросил у сидевшего в кабине документы. Он вытащил какой-то документ; в это время шинель его распахнулась, и я увидел под ней выгоревшие красные генеральские петлицы.

— Так вы видели или не видели Сотую дивизию? — нетерпеливо спросил он меня.

Я сказал, что да, километрах в семи отсюда, в леске, у дороги стоит штаб дивизии и мы вчера были у ее командира.

— У какого командира? — закричал генерал. — Я ее командир.

Я ответил, что мы были у полковника, который, как мы поняли, командир дивизии.

— Какой он из себя? Большой, плотный?

Я подтвердил, что действительно — большой, плотный.

— Так это же мой начальник штаба. Где он? А?

Я показал направление, в котором нужно было ехать. Генерал в страшном нетерпении велел сейчас же развернуть машину и, не простившись, погнал ее во всю мочь.

Как потом выяснилось, это был командир 100-й дивизии генерал-майор

Руссиянов, в последние дни окружения вместе с одной из групп оторвавшийся от штаба дивизии и вышедший отдельно от него и позже. По странной случайности мы оказались первыми, от кого он после выхода из окружения узнал о местопребывании своей дивизии.

Мы проехали еще через несколько деревень, через какое-то очень живописное место с заброшенной мельницей и полуразвалившимся мостом, с зацветшей позеленевшей водой, в которую уходили сваи — тоже зеленые от старости и сырости. Казалось, что едва ли нам удастся проехать по этому мостику, но мы все-таки проехали.

В следующей деревне мы встретили части одной из московских ополченческих дивизий, кажется, шестой. Помню, что они тогда произвели на меня тяжелое впечатление. Впоследствии я понял, что эти скороспелые июльские дивизии были в те дни брошены на затычку, чтобы бросить сюда хоть что-нибудь и этой ценой сохранить и не растрясти по частям тот фронт резервных армий, который в ожидании следующего удара немцев готовился восточнее, ближе к Москве, — и в этом был свой расчет. Но тогда у меня было тяжелое чувство. Думал: неужели у нас нет никаких других резервов, кроме вот этих ополченцев, кое-как одетых и почти не вооруженных? Одна винтовка на двоих и один пулемет.

Это были по большей части немолодые люди по сорок, по пятьдесят лет. Они шли без обозов, без нормального полкового и дивизионного тыла — в общем, почти что голые люди на голой земле. Обмундирование — гимнастерки третьего срока, причем часть этих гимнастерок была какая-то синяя, крашеная. Командиры их были тоже немолодые люди, запасники, уже давно не служившие в кадрах. Всех их надо было еще учить, формировать, приводить в воинский вид.

Потом я был очень удивлен, когда узнал, что эта ополченческая дивизия буквально через два дня была брошена на помощь 100-й и участвовала в боях под Ельней. [49]

Разминувшись с частями ополченцев, мы поехали дальше. Местность становилась все более открытой. Из последней деревеньки, через которую мы проехали, мы увидели поднимающиеся вдалеке холмы. В той стороне часто и монотонно била артиллерия и вставали далекие столбы разрывов.

Наконец мы доехали до того пункта, где должен был находиться Ракутин. Это был

старый барский дом со службами, маленький зеленый пруд, маленькая густая рощица. Дом стоял на открытом месте, на горушке, и, как единственный заметный пункт во всей окрестности, систематически подвергался огневым налетам немцев.

Едва мы подъехали, как произошел очередной такой налет. Но немцы, как обычно, стреляли плохо, и снаряды ложились метрах в двухстах-трехстах левее дома. Потом прошла девятка немецких самолетов; мы думали, что она будет бомбить, но она не бомбила, ушла дальше, куда-то в наш тыл.

Был жаркий летний день. Ни Ракутина, ни его опергруппы здесь не было. Распоряжался какой-то подполковник, который сказал нам, что план действий переменили, что главный удар теперь наносится не отсюда, а по прямой дороге на Ельню, что там стоят наши КВ, что скоро, во второй половине дня, во взаимодействии с ними пойдет в атаку пехота и Ракутин час-полтора назад уехал туда: Ждали оттуда делегата связи. Считалось, что нам есть смысл поехать с ним, чтобы не плутать.

Прождали его примерно час; он так и не явился, и мы решили ехать самостоятельно.

Во время еще одного огневого налета осколки все-таки долетели до дома, и двумя осколками был ранен в спину и в ноги один из часовых. Нас попросили довезти его на своей машине до медсанбата или до какого-то медпункта, о местопребывании которых, надо сказать, в те дни никто ничего толком не знал.

Раненый стонал, ему было худо, и мы взяли его с собой. Мы поехали к Ракутину кружным путем по раскаленной жаре. Сзади виднелись ельнинские высотки в круглых дымках разрывов. Проехали одну деревню, потом вторую, но никаких признаков медсанбата не было. На одном из попавшихся нам медпунктов ни фельдшера, ни санитары не захотели взять раненого на свое попечение, говоря, что его нужно везти дальше, что мы скоро доедем до медсанбата.

Но медсанбата не было и не было, и наконец мы, озлившись, насильно заставили взять этого раненого на следующем медпункте.

Не могу без злости вспомнить, как худо была в то время поставлена санитарная служба на Западном фронте. По крайней мере по нашим наблюдениям тех дней. То есть, когда раненые уже попадали в медсанбаты и в госпитали, медики работали там хорошо и даже героически. Но очень мало делалось для того, чтобы

раненые могли нормально, в кратчайший срок попадать в медсанбаты и в госпитали. Никто толком не знал, где расположены медпункты, и создавалось такое ощущение, что служба эвакуации совершенно не работает. По крайней мере там, где мы проезжали, было именно так, и исключений из этого правила в те дни мы не видели.

Часам к трем дня мы вернулись на ту самую развилку дорог, недалеко от которой ночевали. Следов пребывания 100-й дивизии теперь там не было: она, очевидно, куда-то двинулась отсюда.

Мы свернули под углом на другую дорогу, которая должна была нас вывести к предполагаемому местонахождению Ракутина, и поехали по ней. Слева и справа стеной стоял лес. Через несколько километров мы проехали мимо остановившихся в пути легких танков БТ-7. Было их штук шесть. Танкисты возились, устраняя какие-то неисправности. Потом мы обогнали некоторое количество пехоты, двигавшейся в том же направлении, что и мы. Наконец, по нашим расчетам километрах в восьми или семи от Ельни, когда впереди слышалась уже не только артиллерийская стрельба, но и далекая пулеметная, мы увидели у самой дороги две машины и группу военных.

Загнав свои машины под деревья, мы подошли к военным. Их было всего пять человек. Генерал Ракутин, дивизионный комиссар Абрамов и трое пограничников — капитан и два сержанта. Это и составляло собой весь полевой штаб Ракутина, который мы искали.

Я хорошо запомнил генерала. Он мне тогда понравился. Это был совсем еще молодой на вид парень лет тридцати — на самом деле ему, кажется, было значительно больше, — белобрысый, высокий, хорошо скроенный, в генеральском френче, с маузером через плечо и без фуражки. Фуражка и генеральская никелированная сабля лежали у него в машине.

Узнав, что мы корреспонденты, он сказал нам несколько слов об обстановке. По его мнению, так же как и по мнению всех, с кем мы говорили в те дни, Ельню захватил крупный немецкий десант — считали, что там примерно до дивизии немцев или около этого, — и вокруг этого десанта сейчас смыкалось кольцо наших войск.

Ракутин предполагал, что через день-два, максимум через три десант этот удастся

уничтожить. [50] Из его слов я понял, что немецкий десант сидит в Ельне, что наши войска сжимают вокруг него свое кольцо и что все это вместе взятое — операция в ближнем армейском тылу по ликвидации крупной десантной группы. А где-то дальше, западнее, предполагалось наличие сплошного фронта стоявших друг против друга наших и немецких войск. Видимо, тогда еще никто не знал, что Ельня занята не одной дивизией, а несколькими, что всего на этом участке сосредоточено до семи немецких дивизий, и что это не десант, а прорвавшиеся части, и что они уже установили связь и имеют коммуникации с основными немецкими силами, и что по этим коммуникациям к ним спокойно подбрасываются подкрепления, и они крепко вцепились в Ельню, рассчитывая сделать ее одним из своих главных опорных пунктов для дальнейшего наступления на Западном фронте.

Хорошо помню, как в сентябре в Севастополе, вернувшись из плавания на подводной лодке и читая накопившиеся за это время газеты, я прочел где-то статью Ставского о занятии нами Ельни. Вот когда она была действительно взята нами, а я оказался свидетелем еще самых первых боев за нее в июле.

Ознакомив нас с обстановкой и обругав усталым матом радистов, из-за которых немцы в течение сегодняшнего дня дважды свирепо бомбили его оперативную группу, запеленговав ее местонахождение, Ракутин спросил нас, что мы думаем делать. Мы сказали, что думаем поехать в его части, а потом — в части 100-й дивизии.

— Сотой дивизии? — переспросил он. — Да она у меня на подходе. У них большой боевой опыт, есть о чем рассказать. Ну, а если в мои части, так что же, на машине вас вперед пустить не могу — разбомбят и расстреляют, придется идти пешком.

Идти отсюда шесть-семь километров пешком и оставлять здесь машины не хотелось. Хотелось подъехать поближе. Не знаю, как бы это решилось, но вдруг Ракутин, словно что-то вспомнив, сказал нам:

— Вот капитан, — он кивнул на пограничника, — должен у меня ехать к комбригу, — Ракутин назвал какую-то странную фамилию, [51] которую я долго помнил, а потом забыл. — Плохо воюет старик. Не жмет так, как надо. Капитан к нему доверенным лицом от меня поедет. У него там самая горячка происходит — по дорогобужской дороге, на правом фланге. У меня машину разбили, так что вы

даже и помочь можете. Давайте так: одна ваша машина пусть в Сотую едет, а на второй кто-нибудь из вас вместе с капитаном — к комбригу. Посмотрите, сделаете то, что вам надо, и обратно.

Мы согласились. Ракутин начал давать капитану инструкции, как нужно нажать на комбрига, что капитан несет ответственность за это.

А мы тем временем стали накоротке совещаться, кому ехать в 100-ю и кому — в полк, к комбригу. Решили, что Кригер и Белявский поедут в 100-ю, а мы поедем в полк. А завтра все вместе съедемся в 107-й Сибирской дивизии, о которой, рассказывая нам об обстановке, хорошо отзывался Ракутин. Она недавно провела удачный бой недалеко от Дорогобужа. Одним словом, о ней было что написать. Если же мы не встретимся в 107-й, то через два дня встретимся в Вязьме. На том и порешили.

Мы с Трошкиным посадили в свою «эмочку» капитана и, простившись с Ракутиным, тронулись. Я оглянулся. Ракутин стоял на дороге и передавал какой-то пакет сержанту. Потом сержант побежал с этим пакетом к У-2, только что прилетевшему и севшему рядом с дорогой на поле.

По контрасту со штабом 13-й армии, находившимся за семьдесят километров от фронта, в Чаусах и, как мне показалось, имевшим весьма слабое представление о том, где и как дерутся части армии, мне понравился этот полевой штаб Ракутина и сам он — подвижный, молодой генерал-пограничник, которому, видимо, не сиделось на месте.

Проехав километра четыре, мы разминулись с Кригером и Белявским. Помахали друг другу и разъехались. Они двинулись дальше по дороге на Вязьму в 100-ю, а мы с капитаном и Трошкиным свернули налево, на север, на проселок. Мы двигались по очень плохим проселочным дорогам через леса и топи. Несколько раз пришлось вытаскивать машину на руках. Но капитан хотел непременно ехать кратчайшим путем, и этот кратчайший путь, как говорится, обошелся нам в копеечку. Мы выбрались на ельнинский большак, уже когда смеркалось, километра за три от переднего края частей, осаждавших Ельню.

Трошкин ехал хмурый, как туча. Сперва по своему легкомыслию я не понял, почему это с ним, и стал дразнить его, что он так обленился, что даже до полка не хочет доехать. Он разозлился и вдруг стал кричать на меня: что хорошо мне —

написал и все! Хорошо, когда можно наплевать на метеорологию, на время дня и на погоду, а ему же снимать надо! А что он будет снимать, если через час будет так темно, что хоть глаз выколи? Ну что он будет снимать? Немного покричав на меня, он успокоился.

Выбравшись на большак, мы проехали мимо артиллерийских позиций и километра через два встретили маяка, который указал нам путь в штаб полка. Штаб этот был слева от ельнинской дороги. Проехав километра два полем и кустами, въехали в рощу. Там раздавалась сильная пулеметная и ружейная трескотня. Впереди метров за восемьсот, на выходах из леска, у деревеньки — не помню, как она называлась, — атаки сменялись контратаками. Словом, была мясорубка.

Наши минометы, расставленные в роще, тявкали у нас за спиной, а немецкие минометы лупили по роще. Мы поговорили с комиссаром полка. Оказалось, что деревня на опушке леса была сначала захвачена нами, потом отбита немцами, потом опять захвачена нами, сейчас опять отбита немцами.

Настроение в полку было хорошее, бодрое. Все несчастье, как я уже потом понял, заключалось только в том, что людям дана была неверная установка — на уничтожение небольшого высадившегося здесь немецкого десанта. [52] Поэтому люди, встречая отчаянное сопротивление немцев, отбивая их крупные контратаки, никак не могли понять, почему и как все это происходит, и злились на своих соседей, считая, что те ничего не делают и от этого немцы сумели сосредоточить все свои силы именно здесь, на этом участке.

Словом, насколько я понимаю, разведка была поставлена отвратительно. Никто, начиная от Ракутина и кончая командирами батальонов, не знал истинного положения под Ельней. Так по крайней мере — берусь это утверждать — было в тот день, когда мы там находились.

Передав приказание командующего и с удивлением узнав при этом, что полк от времени до времени подвергается ураганному артиллерийскому огню с той стороны, где должны были находиться наши части, капитан, встревоженный этим, заторопился назад с докладом командующему. Когда мы уже сидели с ним в машине, кто-то прибежал с донесением, что немцы обошли полк с правого фланга и, выйдя на дорогу, ведущую от Ельни к Дорогобужу, перехватили ее.

С той стороны действительно слышалась частая стрельба.

Я и до сих пор не знаю, действительно ли немцы перехватывали эту дорогу или там, на дороге, появлялась только их разведка. Во всяком случае нам сказали, что тем проселком, которым мы сворачивали с дороги сюда, нам выезжать на дорогу нельзя, придется ехать лесом с километр назад и дальше делать объезд и выезжать на дорогу километров на шесть восточнее.

При мысли о том, что предстоит в полной тьме двигаться по совершенно неизвестной нам дороге, мы задумались и решили, что все же вряд ли там, где мы так недавно сворачивали с дороги, могут уже оказаться немцы. Решили рискнуть и ехать назад тем же путем, тем более что капитан спешил с докладом к командующему. Комиссар полка только пожал плечами.

Мы сели в машину и через двадцать пять минут благополучно выехали на большак. Стрельба слышалась слева и справа, но никаких немцев не было, и если они и перерезали дорогу, то, очевидно, где-то в другом месте.

Мы ехали беспрерывно до двух часов ночи. Как выяснилось потом, утром, мы, свернув с большака, в общем, взяли верное направление к той деревеньке, где должна была к ночи находиться оперативная группа Ракутина. Но к двум часам нам показалось, что мы потеряли всякую ориентировку, и, увидев справа и слева от проселка темные пятна домов, подъехали к тем, что поближе, слева. Это были брошенные жителями выселки. Там оставался только хромой старик-сторож, он показал нам сарай, куда можно было под навес загнать машину, и мы легли там же под навесом рядом с нею.

Как потом оказалось, мы удачно сделали, что заночевали именно в этих выселках, слева от проселка, а не справа — в деревне. Одна из немецких подвижных групп, производя поиск из Ельни, как раз в ту ночь заняла эту деревню вместе с двумя другими.

В четыре утра, едва рассвело, мы были уже на ногах и поехали дальше. Теперь мы ориентировались по карте и двигались, не плутая. В шесть утра мы оказались в той деревеньке на дороге из Вязьмы в Ельню, где теперь располагался полевой штаб Ракутина. В конце деревни, у двух домов, которые занимал штаб, стояли часовые-пограничники. Мы вошли в низкую избу. За столом над картой дремал дивизионный комиссар, а на русской печке без кителя спал генерал. На столе стояла огромная, наполовину съеденная яичница с колбасой, которую нам с

дороги предложили доесть.

Капитан доложил дивизионному об обстановке. Потом дивизионный спросил о том же самом меня. И я сказал о своем впечатлении, что люди, видимо, дерутся хорошо, но нервничают из-за того, что недостаточно ясно представляют себе происходящее.

Стали будить генерала, который, оказывается, лег всего полчаса назад. Он долго не просыпался, потом наконец проснулся, сел за стол и сразу уткнулся в карту. Выслушав доклад капитана, он спросил меня, куда я теперь поеду, не в 107-ю ли, как он вчера советовал? Я сказал, что да, поеду в 107-ю.

— Тогда я с вами пошлю им приказание, — сказал он, — Но только срочно доставьте, [53]

Я сказал, что будет сделано. Он тут же написал приказание, вложил его в пакет и передал мне. Если мне не изменяет память, это было приказание о том, чтобы 107-я дивизия одним из своих полков поддержала тот полк, в котором мы были, и обеспечила его от обхода немцев по шоссе.

Часам к девяти утра, свернув с ельнинской на дорогобужскую, мы подъехали к Дорогобужу. До него оставался всего километр. Впереди был хороший, утопавший в зелени городок с несколькими церквами и каменными домами, а в остальном почти весь деревянный. На стеклах играло солнце. Я хорошо запомнил это, может быть, еще и потому, что в тот день это была последняя возможность увидеть Дорогобуж таким, каким он был. К вечеру следующего дня его уже не существовало…

Штаб 107-й дивизий был удачно расположен в глубоких оврагах, перерезавших холмы перед Дорогобужем.

Мы оставили машину наверху в кустарнике, а сами спустились в овраг. Всюду стояли часовые. Чувствовался полный порядок и строгая дисциплина с тем оттенком некоторой аффектации и особой придирчивости, которая бывает в кадровых частях, только что попавших в военную обстановку… Два полка дивизии еще не были в боях, но третий уже участвовал в первом удачном бою два дня назад.

Я сдал пакет начальнику штаба дивизии, и мы стали дожидаться командира

дивизии, он брился. Через несколько минут явился он сам. Это был подтянутый невысокий сорокалетний голубоглазый спокойный полковник. Он мне понравился, и я потом рад был узнать, что его дивизия стала гвардейской и он до сих пор ее командир.

А вообще-то это сложное чувство. Берешь газеты, читаешь их, ищешь знакомые имена, находишь или не находишь. Откуда я мог знать, например, тогда, прощаясь с Ракутиным там, в избе, принимая от него пакет в 107-ю дивизию, что я его больше никогда не увижу и что во время вяземского окружения он будет ранен и, по слухам, застрелится. [54]

Командир 107-й дивизии полковник Миронов встретил нас очень хорошо, рассказал о положении в дивизии и посоветовал поехать сначала в его головной отряд, а затем в разведывательный батальон, стоявший километрах в сорока отсюда, у переправы через Днепр.

— Когда вернетесь, посмотрите у нас здесь богатые трофеи, захваченные полком Некрасова. А сейчас, если сразу поедете, попрошу взять с собой пакет с приказанием командиру разведывательного батальона.

Мы ответили, что готовы ехать и вручить пакет. Полковник приказал накормить нас перед дорогой. Ординарец неожиданно для нас раскинул на откосе холма ковер, должно быть, привезенный с собой из дома, из Сибири, и от этого ковра вдруг так и пахнуло маневрами мирного времени.

Мы выпили чаю, поели консервов и поехали вперед, к Соловьевской переправе. Нас предупредили, что там, где разместился головной отряд, нас встретит на дороге маяк, и у нас не было сомнений, что он нас действительно встретит. В дивизии чувствовался полный порядок, была отличная маскировка, землянки и блиндажи были надежно врыты в скаты холмов, по расположению штаба не слонялось ни одного лишнего человека.

Как потом оказалось, это сыграло свою роль: немцы так и не узнали местоположение штаба. По данным своей разведки они считали, что он находится непосредственно в Дорогобуже.

Первые пятнадцать километров мы ехали без всяких приключений, если не считать того, что вдруг встретили на дороге первую увиденную нами на ходу немецкую трофейную штабную машину. На ней ехали какие-то товарищи из

политуправления фронта, видимо, безрассудные люди, потому что ездить в те дни в нашем расположении на трофейной немецкой машине — значило рисковать быть обстрелянными и погибнуть ни за что ни про что.

Маяк стоял там, где ему и полагалось стоять. Мы заехали в головной отряд, поговорили там с людьми и двинулись дальше, в разведывательный батальон.

Следующие пятнадцать километров дело шло уже не так гладко. Немецкая авиация бомбила дорогу; нам несколько раз пришлось соскакивать с машины.

Самолеты проходили вдоль шоссе, бомбили и обстреливали его. В одном месте спереди нас несколько бомб разорвалось прямо на дороге и на обочинах, завалив дорогу деревьями. Пришлось, продираясь через кусты, объезжать это место по лесу. Потом еще раза два бомбили дорогу.

Наконец мы доехали до опушки леса, за которым было с километр совершенно открытого места, а за ним виднелся еще лесок на той стороне дороги. Немцы беспрерывно бомбили переправу, и этот лесок вдали, за которым опять до самой переправы шло открытое место, служил местом сосредоточения вторых эшелонов частей, стоявших на том берегу за переправой. И дорога, и все поле впереди были в воронках. Отсюда, с опушки, мы видели, как над леском на наших глазах появилась шестерка «юнкерсов»; они по очереди заходили, пикировали, снова поднимались, набирая высоту. Потом одна тройка ушла, три оставшихся спикировали еще по одному разу, развернулись и пошли назад. А навстречу им уже подошла следующая тройка, и продолжалась все та же карусель.

Стоявший на дороге контролер предложил нам оставить здесь машину и идти дальше пешком. Но мы с Трошкиным и Панковым решили все-таки проскочить на машине и благополучно проскочили, добравшись до опушки как раз в ту минуту, когда на середину рощи была сброшена очередная серия бомб.

Оказалось, что штаб разведбата как раз там, в центре рощи. Во время этого последнего налета, минуту назад, тут же у землянки штаба был убит красноармеец-посыльный. Во время разрывов бомб, вместо того чтобы кинуться в щель или лечь на землю, он, по детскому инстинкту, спрятался за дерево, и его пересекло осколком выше пояса вместе со стволом дерева.

Но штабная земляночка, буквально в трех метрах от воронки, хотя и обсыпалась, но осталась цела. Лес кругом был изрыт щелями и бесконечными воронками от

мелких пятидесяти килограммовых бомб. Очевидно, бомбежки здорово насолили всем, потому что щели были вырыты глубокие и в достаточном количестве. Этим объяснялось и то, что, по словам комбата, потерь за последние двое суток было совсем мало.

Мы поговорили с двумя разведчиками, которые накануне нахально проехались по немецким тылам на «газике» и благополучно вернулись. Трошкин сфотографировал их тут же в лесу, а я потом написал о них свою последнюю корреспонденцию в «Известиях». [55]

На протяжении того часа, что я разговаривал с разведчиками, пришлось три или четыре раза лазить в щели. Поблизости разорвалось еще несколько пятидесятикилограммовок, но ни одного человека даже не ранило.

Поговорив с разведчиками, мы поехали обратно в Дорогобуж, в штаб дивизии. Проехав несколько километров, увидели возвращавшиеся со стороны Дорогобужа «юнкерсы», а на горизонте — дым, разраставшийся все сильнее и сильнее. «Юнкерсы» возвращались тройками и сбрасывали на дорогу остатки мелких бомб. Сначала далеко от нас, а потом один раз все-таки пришлось выскочить из машины и залечь.

Проехали еще километра два. Впереди показалась еще тройка «юнкерсов». Эти шли совсем нагло на высоте двухсот метров и поливали дорогу из пулеметов. Мы выскочили из машины. В это время еще один «юнкере», четвертый, шедший повыше, метров на четыреста, вдруг задымил и резко пошел на снижение. Очевидно, его подбили с земли пулеметным огнем. Из него вылетели четыре комка и раскрылись четыре парашюта. Все это было очень близко и ясно видно. Один из трех других «юнкерсов» пошел дальше, а два развернулись и стали делать круги над местом гибели самолета. Там, в километре или полутора от нас, поднимался столб черного дыма. «Юнкерсы» спустились совсем низко и ходили над этим местом широкими кругами на высоте пятьдесят-семьдесят метров.

В воздухе стоял сплошной гул моторов и яростная трескотня пулеметов. «Юнкерсы» стреляли вниз, а все пулеметные точки, все бойцы стреляли вверх по «юнкерсам».

Так они сделали несколько кругов. Может быть, не представляя себе, насколько насыщена войсками эта местность, они думали, что один из самолетов под

прикрытием огня второго сядет на поле и заберет своих спустившихся на парашютах товарищей? Скорей всего так. Мне даже издали показалось, что один из «юнкерсов» сделал попытку сесть и снова поднялся. Потом он задымил и на бреющем полете ушел куда-то за холмы. После говорили, что за несколько километров отсюда он тоже разбился.

Второй немец продолжал крутиться над местом катастрофы. Наш шофер Панков, обычно очень спокойный, выдержанный, вытащил из машины винтовку и стал стрелять по «юнкерсу», а в общем, в божий свет, потому что место, где мы стояли, не вписывалось в тот круг, который делал «юнкере».

Трошкин побежал вперед — в сторону от дороги, ближе к месту катастрофы стояло какое-то каменное строение с наружной лестницей, которая шла вдоль стены на чердак. Трошкин взбежал по лестнице. Я — за ним. Он лихорадочно стал вставлять в аппарат телеобъектив, и в эту секунду самолет, разворачиваясь, прошел как раз над нами. Мы здесь на крыше были метрах в десяти от земли, и он прошел над нами на высоте каких-нибудь тридцати метров. Прошел со страшным ревом, так, что была видна каждая деталь, какие-то тросики, кабина летчиков, огромные свастики на крыльях.

Трошкин приложился, но запоздал на секунду и успел снять только хвост уходившего по кругу самолета. Он стал ждать следующего круга, но самолет, недовернув и продолжая поливать огнем землю, видимо, решив, что спасти товарищей не удалось, пошел к Днепру. Кажется, потом сбили и его. Всего в тот день над дорогой между Днепром и Дорогобужем было сбито три «юнкерса».

Трошкин рвал и метал, что ему не удалось снять самолет так, как ему хотелось. Мы кинулись к машине и, свернув с дороги, поехали по полю, туда, где в пшенице горел самолет и было заметно движение людей, наверно, искавших летчиков. Остановились на меже. Трошкин выскочил первым и бегом понесся вперед. Он ходил в ту поездку в кожаной куртке на молнии поверх гимнастерки, с немецкой «лейкой» на груди и в синей авиационной пилотке.

Даже не тревога, а какая-то тень тревоги мелькнула у меня, и я крикнул ему: «Подожди меня!» — но он уже побежал, не оглядываясь. Я влез на капот, осмотрелся, увидел, в какой стороне на поле происходит самая большая толкотня, и приказал Панкову ехать туда. Там слышались выстрелы, кричали люди, скакало

несколько всадников. Потом они сгрудились в кучу, и туда подъехал грузовик.

Я оставил машину и пошел через поле пешком. К грузовику я подошел в тот момент, когда туда сажали трех пойманных летчиков. Руки их были скручены ремнями. Трошкин тоже сидел в кузове машины.

Не поняв, в чем дело, я подошел к грузовику и сказал Трошкину, чтобы он пересаживался в нашу машину, я подогнал ее.

— Костя, выручай, — сказал он, — Меня забрали.

— Как забрали?

— Да вот, — кивнул Трошкин на какого-то парня в каске с совершенно ошалелым лицом, с тремя кубиками на петлицах.

Кругом нас было человек пятнадцать народу.

— В чем дело, товарищ политрук? — спросил я. — Почему вы его задержали?

Политрук, оказавшийся уполномоченным особого отдела стоявшего здесь полка, посмотрел на меня диким, ничего не соображающим взглядом и завопил:

— Арестовать и его! Арестовать и его! Скорей арестовать и его!

В руках он держал браунинг, с десяток людей вокруг него тоже размахивали оружием. Все были так взвинчены, словно тут высадился по крайней мере целый парашютный десант. Я сказал уполномоченному, что он с ума сошел, что я сейчас предъявлю ему документы.

— Руки вверх! — заорал он. — Руки вверх! Стреляйте в него без предупреждения, если он не будет держать руки вверх! — крикнул он стоявшим возле него двум или трем младшим командирам. — Отберите у него наган! Это диверсант!

О нагане я как раз и забыл.

Я повторил ему, чтобы он не валял дурака. Тогда, тыча в меня пистолетом, он заорал:

— Поднимите сейчас же руки — или я вас застрелю!

Пытаться оказать сопротивление, стоя в этой толпе считавших меня за диверсанта людей, было делом бесполезным и опасным. Я всегда особенно остро боялся именно такой вот глупой смерти. Пришлось поднять руки. После этого у меня

вынули из кобуры наган. Пока я не поднял руки, никому это в голову не пришло. Очевидно, им казалось, что я сначала должен поднять руки, а потом уже надо меня обезоруживать.

Последний раз взывая к остаткам здравого смысла, я опустил руку и полез в карман гимнастерки, чтобы достать документы.

— Сейчас я вам покажу, — сказал я, стараясь быть спокойным, думая, что хоть это спокойствие приведет их в чувство.

— Застрелю! — заорал уполномоченный. — Руки вверх!

Я снова поднял руки. Было совершенно идиотское чувство: одновременно и глупо, и смешно, и страшно. Никогда еще, даже в минуты паники, я не видел людей в таком невменяемом состоянии. Потом уже, когда я смог спокойно вспоминать об этом, я, кажется, понял, в чем было дело. Этот уполномоченный был, может быть, и неплохим, но глупым парнем. Полк прибыл на место только три дня назад, не участвовал еще ни в одном бою, и вдруг они огнем с земли сбили «юнкере», да к тому же еще «юнкере», который возвращался из только что сожженного Дорогобужа, и из этого самолета выпрыгнули живые немцы. А полк еще всего неделю назад проезжал Горький. И они окружили этих немцев, и взяли их в плен. Наверно, уполномоченному казалось в эти минуты, что ему дадут за это по крайней мере Героя Советского Союза. А тут вдобавок ко всему на поле прибежал неизвестный человек в кожаной, не похожей на нашу куртке, в синей пилотке, с какими-то иностранными аппаратами на груди и начал фотографировать немцев. Странно одетый человек снимает немцев! А потом подъезжает машина странного вида — наверно, тут сыграло свою горькую роль и то, что у нашей «эмочки» был непривычный закатывающийся брезентовый верх, — и из этой машины вылезает не известный никому батальонный комиссар и хочет освободить этого подозрительного человека, забрать его к себе в машину. То есть, несомненно, хочет увезти его. В общем, душу храброго уполномоченного охватили безумные подозрения, и мы были арестованы. И если бы мы тогда не сохранили некоторого хладнокровия и вздумали сопротивляться, то, наверно, я не писал бы этих записок, а уполномоченный доложил бы, что, кроме трех захваченных немецких летчиков, им уничтожено на месте двое оказавших сопротивление диверсантов.

Немцам на машине еще раз для надежности закручивали за спиной руки, а я, как

дурак, стоял около с поднятыми руками. Так продолжалось минуту или две. Я спросил уполномоченного, что же мы будем делать дальше, раз он не хочет смотреть мои документы.

— Я вас доставлю в штаб дивизии! Там с вами поговорят!

Это меня несколько успокоило, и я сказал ему, что доставка в штаб дивизии как раз и является моим единственным желанием, что я был там несколько часов назад. Но предварительно я все же хотел бы, чтобы он посмотрел мои документы и обращался со мной и с моим товарищем не как с диверсантами, а в крайнем случае как с людьми, взятыми им под подозрение.

— Я не подозреваю! — крикнул он. — Я знаю, знаю! Ишь, орден надели, так уже думаете, что мы не узнаем, что вы диверсант! Шпалы надели! В машину! Сейчас же в машину!

Я предложил: пусть он даст нам какую-нибудь охрану и мы поедем следом за ним на своей машине.

— Нет! — И он приказал какому-то лейтенанту вести нашу машину вслед за грузовиком. — А шофера тоже сюда, чтобы не убежал!

Приволокли ровно ничего не понимавшего Панкова и всех нас посадили в кузов машины. Наверно, запомню навсегда: по правому борту сидят трое немцев, рядом с ними — Трошкин, по левому борту — двое красноармейцев с винтовками, и между ними — Панков, у заднего борта — я и плохо понимающий по-русски сержант-среднеазиатец с автоматом в руках и с круглыми от служебного рвения и полного непонимания всего происходящего глазами. А напротив меня, прислонясь спиной к кабине, скрестив руки на груди, стоит в наполеоновской позе уполномоченный. Впереди — зарево горящего Дорогобужа. Над дорогой — возвращающиеся с бомбежки немецкие самолеты. На земле и в воздухе — дикая пулеметная стрекотня. Сзади грузовика — наша «эмка» с ее подозрительным тентом. За рулем в «эмке» — лейтенант, а кругом грузовика и «эмки» — человек пятьдесят красноармейцев и младших командиров, упоенных и разгоряченных своей первой удачной встречей с немцами.

И на нас, и на сжегших только что Дорогобуж немецких летчиков они смотрят одинаково ненавидящими глазами, и если бы дело дошло до самосуда, то, наверное, и от нас и от немцев остались бы одинаковые клочья.

Шофер высовывается из кабины и спрашивает уполномоченного, можно ли ехать.

— Погоди, — говорит уполномоченный и приказывает красноармейцам, сидящим в кузове: — Снимите ремни, свяжите руки этим троим. (То есть нам.)

Первому связывают руки Трошкину. Как потом оказалось, он был в этот день болен. Вечером в санчасти дивизии ему смерили температуру, оказалось — сорок. Наверно, этим объяснялось его особенно лихорадочное состояние в течение всего этого дня. Трошкин протягивает руки и срывающимся от злости голосом говорит уполномоченному:

— Ты дурак! Ты мальчишка! Нате, связывайте. Ты дурак. Я третью войну воюю, а ты первых немцев видишь. Панику устроил, дурак.

— Молчать! — визжит уполномоченный.

— Хорошо, я молчу, — говорит Трошкин. — Вяжите. Только отсадите меня от фашистов. Не хочу рядом с этой сволочью сидеть.

Следующий — Панков. Молча пожав плечами, он протягивает руки, и ему их связывают. Теперь дело доходит до меня. И вдруг, вместо того чтобы подчиниться этому дурню уже до конца, доехать до штаба дивизии и там показать ему кузькину мать, вместо этого я чувствую, что, прежде чем мне свяжут руки, я сейчас дам ему в морду, а потом меня убьют. Я чувствую, что будет именно так — и то и другое. И, оттолкнув уже протянувшиеся ко мне с ремнем руки красноармейца, говорю уполномоченному:

— Прежде чем начнете вязать мне руки, я дам вам в морду. А потом вы меня расстреляете и будете отвечать. Потому что я прибыл сюда по приказанию Мехлиса.

Не знаю, почему у меня вырвалась эта фраза, наверно, потому, что приказ о моем назначении в «Красную звезду» был подписан Мехлисом. Не знаю, что из двух больше подействовало на уполномоченного — что я здесь по приказу Мехлиса или что я успею дать ему по морде, — но он вдруг сказал:

— Хорошо, не вяжите ему руки. Но теперь ты, — крикнул он сержанту, — уставь ему в живот ППШ, раз он не хочет, чтобы вязали руки! Вы руки держите вверх! А если опустит — (это уже снова сержанту), — стреляй сразу!

Машина рванулась с места и на предельной для грузовика скорости поехала по

ухабистым, с выбоинами, дороге на Дорогобуж. Только тут я понял, что отказ дать связать себе руки может мне дорого обойтись. Я сидел в кузове грузовика у задней стенки, за спиной у меня лежали пулеметные диски. Машину дико дергало, я колотился спиной о диски — потом у меня недели две болели почки, так я их отбил. Руки у меня были подняты, я то и дело валился с боку на бок, не имея возможности опустить руки, боясь получить в живот порцию свинца. Сержант, вдавивший мне в живот дуло ППШ, все время держал палец на спуске. Машину трясло, и он мог в любую минуту случайно нажать на спуск.

— Поставьте хоть на предохранитель, — сказал я.

Сержант молча продолжал смотреть на меня.

— Скажите ему, чтобы он поставил на предохранитель, — обратился я к уполномоченному.

Уполномоченный подозрительно посмотрел на меня и крикнул сержанту:

— Не ставь на предохранитель! У тебя на сколько стоит?

— На один, — оказал сержант.

— Поставь на семьдесят один.

Теперь я был обеспечен, в случае какого-нибудь особенно неожиданного толчка, целой очередью в живот. Ехали мы, наверно, минут сорок пять или пятьдесят. Они показались бы бесконечными, если бы мы с Трошкиным не утешались тем, что всю дорогу по-всякому, и просто так, и по-матерному, ругали уполномоченного. Мы говорили ему, что он дурак, идиот, что его отдадут под суд, что он ответит, что он мальчишка, что он войны не видал и что напрасно он надеется получить Героя Советского Союза за этот подвиг.

Нужно отдать должное этому человеку. Уже решившись доставить нас в штаб как опасных диверсантов, он стойко переносил все эти личные оскорбления и не предпринял попытки разделаться с нами, хотя, судя по выражению его лица, ему этого очень хотелось. Он только от времени до времени орал:

— Молчать! Стрелять буду!

Или, обращаясь сразу ко всем нам вместе — и к фашистам, и к нам троим, — кричал, показывая на горевший впереди Дорогобуж:

— Смотрите, мерзавцы, что вы наделали! Смотрите, что вы наделали, негодяи!

Чем ближе мы подъезжали, тем зарево становилось все огромнее, и у меня, когда я слушал эти крики уполномоченного, было какое-то нелепое чувство. С одной стороны, я, казалось, сам был готов своими руками разделаться с любым из этих трех фашистов, только что сжегших этот зеленый мирный городок, который мы еще несколько часов назад видели совершенно целым. А с другой стороны, вся та искренняя ненависть, которая слышалась в голосе уполномоченного, адресовалась наравне с фашистами мне, Трошкину и Панкову. А в общем, это была совершенно бредовая поездка. Несмотря на всю опасность их собственного положения, как мне показалось, немецкие летчики смотрели на нас не только с удивлением, но даже с сочувствием. Может быть, они решили, что мы и правда диверсанты или что-то в этом роде, и от этого было еще нелепее и противнее на душе.

Больше всего я боялся, что по дороге какой-нибудь из возвращавшихся со стороны Дорогобужа немецких самолетов вдруг спикирует на нашу машину и наши конвоиры — кто их знает! — прежде чем кинуться в кюветы, могут пострелять немцев, а заодно и нас.

Наконец мы подъехали к самому Дорогобужу. Дорогобуж горел. Даже нельзя сказать, что он горел. Утром мы оставили за собой мирный, тихий деревянный городок, а сейчас его просто-напросто не было. Было сплошное море огня. Горел весь город. Весь целиком. Многие дома уже сгорели, торчали только одни трубы, другие догорали. Местами, где не обрушились еще стены, казалось, за пустыми окнами сзади подложена сплошная красная материя. Через эти дыры горящих окон, через обвалившиеся дома город был виден весь насквозь. Стоял невероятный треск и грохот. Когда горят и коробятся одновременно сотни железных крыш — это похоже на залпы.

К штабу дивизии ближе всего было проехать прямо через город, но ехать через такое сплошное море огня было невозможно. Грузовик двинулся в объезд — мимо маленьких домов окраины, тоже горевших и слева и справа от дороги. Отсюда, с окраины, немного поднимавшейся по склону над городом, горящий город был виден чуть-чуть сверху, и это было еще страшней.

На наших глазах покачнулась и упала пылавшая верхушка колокольни.

Наконец мы добрались до спуска в ту балку, где размещался штаб дивизии, и вылезли из машины. Взяв себя в руки, я как можно спокойнее сказал уполномоченному:

— Сейчас вы поведете нас к начальству через все расположение штаба, мимо бойцов. Я требую, чтобы вы, во-первых, вели нас отдельно от фашистов, и, во-вторых, вели так, чтобы бойцам не бросалось в глаза, что вы ведете задержанных командиров. Это лишнее.

Близость штаба, кажется, отрезвляюще подействовала на уполномоченного, и он ответил, что так и будет сделано.

Трошкину и Панкову развязали руки. Трошкин едва шел, еле-еле передвигая ноги. Как потом оказалось, у него была гнойная ангина.

Немцев вели впереди нас и, проведя мимо особого отдела дивизии, положили их на землю и поставили к ним часовых. А нам пришлось сесть у блиндажа особого отдела в ожидании, пока с нами разберутся.

Не везет так не везет. Командир дивизии полковник Миронов уехал куда-то в полк и должен был вернуться только под утро. После проверки документов и получасового ожидания наконец пришел начальник политотдела дивизии полковой комиссар Поляков. Он долго и придирчиво проверял наши документы, а потом, когда все стало совершенно ясно, вдруг начал нам же делать внушение: мы сами виноваты, зачем мы снимали немцев? Кто нас звал туда, к сбитому самолету? Это не наше дело и так далее и тому подобное.

Уполномоченный, не то для того, чтобы выпутаться из этой истории, а может быть, просто в силу воспаленного воображения, стал городить при начальнике политотдела совсем уж невероятные вещи: что там, в поле был еще какой-то полковник с двумя орденами — тоже диверсант, которому удалось бежать, что я и Трошкин хотели освободить немцев, в общем, нес уже совершенно несусветную ересь.

В довершение всего полковой заявил нам:

— Если вы корреспонденты и зарабатываете здесь себе на хлеб, и в редакции за это требуют от вас снимки или статьи — это еще не причина, чтобы вы совали свой нос куда не надо!

Это так взорвало нас с Трошкиным, что мы в ответ сказали ему, что он чинуша, никогда не видевший фронта, и что прежде, чем говорить другим, что они на войне зарабатывают себе на хлеб, ему самому надо было бы хоть немного повоевать. Назревал крупный скандал, но, к счастью, наконец пришел комиссар дивизии и разрядил атмосферу.

В довершение ко всем нашим бедам неизвестно куда делась наша «эмка». Лейтенант, севший за руль там, на поле, угнал ее в неизвестном направлении.

Трошкин не мог стоять. Он сидел на земле; его лихорадило и колотило. Начинало темнеть. Курносая девчушка-санитарка, увидевшая его состояние, принесла ему свою шинель, а потом — котелок супа. На улице было холодно. Ночь обещала быть студеной. А о нашей машине все еще не было ни слуху ни духу. Трошкину сунули под мышку термометр, дали проглотить несколько порошков, и мы все трое, решив, что не миновать заночевать здесь, полезли в узкий закоулок одного из блиндажей политотдела.

Спали, как сельди в бочке, на земляном полу и отчасти один на другом. Я втиснулся последним, перед этим постояв еще полчаса у входа в блиндаж. Отсюда, из глубокой балки, Дорогобуж не был виден, но небо, сколько хватало глаза — и налево, и направо, и впереди, — всюду было багровое. Пожар продолжался.

Когда рассвело, Трошкин, которому так и не стало легче от порошков, с трудом вылез из землянки, лег и задремал на откосе, немножко пригревшись на солнышке.

Мне сказали, что командир дивизии приехал, и я пошел к нему. [56] Оказывается, ему даже не доложили о происшедшем. Он был удивлен и рассержен. Я сказал ему, что, вернувшись в редакцию, доложу и о поведении уполномоченного, и об отношении его начальника политотдела к корреспондентам.

Крайне разозленный всем происшедшим, полковник сказал, что он будет только рад этому.

Тогда, там, в то утро, я был убежден, что именно так и сделаю. Но потом, когда приехал в Москву и первая острота всего происшедшего сгладилась, наша русская привычка — ладно, сойдет — взяла свое, и я никому ничего не докладывал.

Командир дивизии приказал немедленно вызвать уполномоченного и разыскать нашу машину. Нас покормили. Я сразу подобрел и стал относиться к происшедшему уже с некоторой иронией. Но Трошкин был по-прежнему расстроен до крайности. Ему не только помешали снять нужные газете до зарезу кадры немецких летчиков у горящего самолета, но и засветили всю его пленку — и снятую, и неснятую. Абсолютно все, что у него было. У него не осталось теперь ни одного кадра пленки, и нужно было ехать за ней в Москву.

Машины нашей по-прежнему не было; ее разыскивали по разным частям дивизии. Я пошел в политотдел и потребовал, чтобы нам все-таки разыскали машину. Там, в политотделе, со мной вдруг поздоровался какой-то человек и сразу начал извиняться. Я его не узнал и в первую минуту не мог понять, в чем он извиняется. Оказалось, что это тот самый уполномоченный, который вчера нас арестовал. Но вчера он был в каске и лицо у него было до того искажено волнением, что сейчас, когда он оказался в пилотке, а на его лицо вернулось нормальное выражение, я просто-напросто не узнал его.

Разговор наш был прерван тем, что меня вызвали к командиру дивизии. Оказывается, нашу машину пригнали, но она была уже наполовину «раскулачена». Очевидно, ее сочли трофеем, отнятым у диверсантов — а трофеи тогда были в новинку, — и шоферы, которым она была сдана на хранение, взяли из машины все, что их интересовало. Командир дивизии, узнав об этом, пришел в ярость и приказал комиссару того полка, в котором отыскалась машина, под личную ответственность найти все до последней мелочи.

Поехали в полк. Пришлось по дороге проехать через Дорогобуж. Странное и страшное зрелище представлял собой этот город, через который мы тем же маршрутом, в том же направлении, по тем же улицам ехали сутки назад. Улиц не было. Были только трубы, трубы. Немцы сбросили на город не так много фугасок, он сгорел главным образом от зажигалок. К счастью, Дорогобуж был заранее эвакуирован, жителей в нем не оставалось и во время налета погибло только несколько шоферов, остановившихся или проезжавших через город во время бомбежки. У двух городских водяных колонок сгорели выставленные к ним часовые.

Возможно, немцы бомбили Дорогобуж, имея ложные сведения, что там находится

какой-то из наших штабов. Хотя, вообще говоря, они часто ради паники сжигали с воздуха, а иногда и с земли маленькие деревянные города, в которых не было никаких войск и жило только мирное население.

С нескольких полуразбитых бомбежкой каменных домов свисали полотнища перегоревших железных крыш. Перегоревшее легкое железо колыхалось и шумело на ветру.

В полку мы прождали час, пока нам собирали все растащенное из машины. Наконец собрали, и мы, обогнув Дорогобуж с севера, выехали на вяземскую дорогу.

Я обратил внимание на то, что Дорогобуж был довольно сильно укреплен. Кругом него было много противотанковых рвов, блиндажей, укрытий, отсечных позиций. Местами было пять-шесть рядов колючей проволоки. Очевидно, тут был подготовлен один из узлов второй линии обороны. Но если мне потом правильно говорили, то тут, под Дорогобужем, сильных боев с немцами не было. Они, как и во многих других случаях, обошли этот узел сопротивления.

Объезжая Дорогобуж, попали под небольшую бомбежку. Два немецких самолета, неизвестно почему, бомбили именно этот участок дороги, совершенно пустой. Легли в канаву, переждали и поехали дальше.

Дорога от Дорогобужа на Вязьму во многих местах минировалась. По ней шло довольно много машин. Трошкин совсем разболелся и лежал на заднем сиденье «эмки». Я, открыв брезентовый верх, сидел на спинке переднего сиденья и, высунув голову через крышу, наблюдал за воздухом.

Должно быть, немцы пытались терроризировать всю эту коммуникацию от Вязьмы на Дорогобуж. В течение трех часов мы только и делали, что вылезали из машины, ложились в кюветы, пережидали там очередную бомбежку, опять лезли в машину, опять ехали, опять лезли в кюветы. За три часа вся эта процедура повторялась раз двенадцать. Самолеты так и крутились над дорогой, гоняясь за машинами. Многие машины, дожидаясь темноты, стояли по сторонам дороги в лесу. Кое-где стояли целые колонны. Но мы все-таки продолжали ехать и потому, что нам все это осточертело, и потому, что мы надеялись благодаря нашей крыше, а верней, благодаря отсутствию ее, своевременно замечать самолеты и лезть в канавы. А кроме того, был уже вечер 26-го, а утром 27-го я должен был явиться в

Москву. [57]

Когда до Вязьмы оставалось около часу пути, немецкие самолеты тройками одна за другой пошли над дорогой со стороны Вязьмы навстречу нам. За некоторыми из них гнались наши истребители. Как потом оказалось, немцы после сожжения Дорогобужа решили таким же образом спалить Вязьму, но их налет был отбит нашими истребителями; сбросить бомбы на Вязьму им не удалось, и они, возвращаясь, сбрасывали их куда попало, на дороги, на автомобильные колонны и даже на одиночные машины. Снова раз за разом пришлось вылезать и ложиться.

Трошкин выглядел так, что краше в гроб кладут. Пошел дождь. Мы раскатали брезент на крыше, застегнули его на барашки и уселись, чтобы ехать. Панков нажал на стартер, а Трошкин, глянув в заднее стекло, сказал мне:

— Смотри, какая туча. Теперь уж больше не будут бомбить.

Но едва он успел это договорить, как мы услышали даже не гул, а свист уже пикирующего самолета и, открыв дверцы, бросились на дорогу прямо у машины. Бомба рванулась метрах в пятидесяти сзади нас, скосив несколько деревьев и завалив ими дорогу. Трошкин поднялся и хрипло сказал, что наше счастье, что все это сзади, а не впереди, а то бы пришлось еще растаскивать с дороги деревья. Мы снова влезли в машину и решили больше ни за что не вылезать из нее, что бы там ни было.

Уже недалеко от поворота на Минское шоссе мы встретили втягивавшуюся на дорогобужскую дорогу дивизию. Машин было сравнительно мало; повозки, лошади, растянувшаяся, сколько видит глаз, пехота. Нам, недавно пережившим мгновенный прорыв немцев к Чаусам, показалось тогда, при виде этой дивизии, что такая «пешеходная» пехота — уж очень несовременный вид войска в нынешней маневренной войне. Но я не мог представить себе тогда, в июле, что всего через пять месяцев, в декабре, когда я окажусь в только что отбитом у немцев Одоеве, меня охватит противоположное, такое же острое ощущение при виде идущей мимо замороженной и застрявшей немецкой техники конницы Белова, у которой все с собой, все на лошадях и на санях, а не на машинах, и которая вдруг, в условиях зимней распутицы, стала более маневренным войском, чем немецкие механизированные части.

В вяземской типографии у телефона мы встретили Белявского и Кригера, которые,

оказалось, вернулись накануне. Было уже десять вечера. Они дожидались разговора с редакцией «Известий». Панков заправил машину, мы обнялись с Кригером и Петром Ивановичем и поехали. И того и другого я увидел только в начале декабря, вернувшись в Москву с Карельского фронта.

Проехав через ночную, темную Вязьму, мы выбрались на Минское шоссе. Трошкин, совершенно больной, тяжело дыша, спал сзади в машине. Панков, который последние несколько суток не слезал с машины, все время тер глаза — ему тоже хотелось спать от усталости. А мне не спалось. Тревожное чувство, как и много раз потом при возвращении с фронта в Москву, охватывало меня. Я понял, до какой степени моя жизнь связана с Москвой и как я люблю Москву, только в эти дни, когда узнал, что Москву бомбят немцы.

Я ехал с тревогой. Мне хотелось как можно скорее увидать Москву. Я не представлял себе, в каких масштабах происходят бомбежки. И когда после первой бомбежки, в течение всех этих ночей, над нами высоко с гудением проходили эшелоны немецких самолетов на Москву, я каждую ночь, считая дни, думал о том, что, пока я вернусь, будет еще, и еще, и еще одна бомбежка, и еще какие-то новые разрушения и новые опасности для всех близких мне людей.

Ночь была черная как сажа. Как и в прошлый раз, неделю назад, нам навстречу летели гудящие грузовики без фар, груженные снарядами. Почти всю дорогу до утра я, открыв дверцу, стоял на подножке для того, чтобы мы могли быстрее ехать, видя хотя бы край дороги. К утру от этого напряженного вглядывания в темноту у меня заболели глаза.

Ехали без приключений. Только в двух местах немцы недавно сбросили на шоссе бомбы; были огромные воронки, и рядом с одной из них — обломки грузовика и оттащенные в сторону, на обочины, тела убитых.

На шоссе было куда больше порядка, чем неделю назад. Патрули проверяли документы и указывали путь на объездах. На последнем контрольно-пропускном пункте нам сказали, что сегодняшней ночью бомбежка была незначительной и без крупных пожаров. Мы подъехали к Москве на рассвете. Впереди в двух местах, догорая, еще дымились развалины домов. Мы въехали через Дорогомиловскую заставу и с тревогой глядели направо и налево, ища разрушений. У самой заставы был разрушен дом. Потом на берегу Москвы-реки — еще один. Дальше все было

цело. На Садовой справа была разрушена Книжная палата.

Трошкин остался лежать в машине, а я поднялся в редакцию «Красной звезды». Там еще не спали, и я наскоро доложил Ортенбергу о поездке. Он сказал, что ближайшие дни я должен буду оставаться в Москве, а сегодня могу отдыхать.

Из «Звезды» поехали в «Известия», где нас, как и в прошлый приезд, тепло, по-дружески встретил Семен Ляндрес. В «Известия», оказывается, попала бомба — в главный вестибюль и в кабинет редактора. Но, по счастью, никого не убило, потому что в редакции в этот момент уже никого не было.

Я обещал к следующему дню написать в «Известия» подвал о разведчиках и, позвонив матери, поехал к ней. Трошкин остался в редакции; к нему вызвали врача. А я, выпив у матери кофе, заснул, что называется, без задних ног.

На следующий день, приехав в «Известия», чтобы сдать свой последний, шестой по счету подвал «Разведчики», я узнал, что Трошкина на несколько дней положили в больницу. Потом был трудный разговор с Ровинским, который не хотел отпускать меня а «Красную звезду».

Явившись к Ортенбергу, я выдвинул перед ним план поездки вдоль всего фронта от Черного до Баренцева моря. Я попросил, чтобы мне для такой поездки подготовили хорошую надежную машину и чтобы вместе со мной послали фотокорреспондента. Мы начнем с крайней точки Южного фронта и будем постепенно двигаться на север, с тем чтобы все мои статьи и все фото шли в «Красной звезде» под одной постоянной рубрикой: «От Черного до Баренцева моря». Ортенбергу эта идея понравилась. Он сказал, что доложит о ней Мехлису и постарается, чтобы сопроводительный документ был подписан самим начальником ПУРа для больших удобств в этой работе.

Оказалось, что для того, чтобы капитально отремонтировать «эмку», выделенную для этой поездки, требуется шесть-семь дней. За эти семь дней мне было предложено написать несколько стихотворений для газеты, что и было сделано. Кроме них, в эти дни я написал «Жди меня», «Майор привез мальчишку на лафете» и «Не сердитесь, к лучшему».

Первым читателем «Жди меня» был Лева Кассиль. Он сказал мне, что стихотворение, в общем, хорошее, хотя немного похоже на заклинание. Я ночевал на даче у Кассиля в Переделкине и у него же в тот раз остался на весь день

писать стихи. Накануне вечером мы вместе с Кассилем были у Афиногенова. Афиногенов безвыездно жил на даче с женой и дочкой, и все у них было по-прежнему, как зимой сорокового года во время финской кампании. И я невольно вспомнил вечера, проведенные у него тогда, в ту трескучую зиму, за игрой в маджонг и слушанием английского радио, говорившего о еще чужой и далекой тогда от нас европейской войне с немцами. По-моему, в тот вечер я видел Афиногенова в последний раз.

Поездка затягивалась — сначала из-за неготовности машины, потом еще на трое суток из-за того, что мой будущий спутник Халип вдруг прямо во дворе редакции подвернул еще раньше вывихнутую ногу и ему что-то с ней делали.

В один из этих дней мне позвонил Евгений Петров и сказал, что он хочет организовать американскому писателю Колдуэллу встречу со мной как с человеком, недавно вернувшимся с Западного фронта.

Встреча состоялась на квартире Вирты. Американец был большой, крепко сшитый, одетый в широкий мешковатый костюм. Он занимался во время бомбежек Москвы передачами по радио в Америку и вообще, по мнению Петрова, вел себя в Москве очень хорошо. В разговоре он показался мне довольно дотошным человеком. Но по понятным причинам я многого не мог ему рассказывать.

В разговоре была одна смешная деталь. Он спросил, видел ли я близко немецкие танки. Я сказал, что да, видел. Тогда он, должно быть, интересуясь, в каком состоянии у немцев техника, спросил, какой вид имели немецкие танки — новый или потрепанный. Меня этот вопрос рассмешил, и я ответил ему, что когда танки идут на вас, то вам, очевидно, трудно разобрать, какой они имеют вид — новый или потрепанный. Но если эти танки уже удалось остановить, то они неизменно имеют потрепанный вид.

Халип, с которым мне предстояло делить судьбу в будущей поездке, показался мне добрым товарищем.

Девятого августа, в день, когда мы с ним должны были выезжать, меня прихватил приступ аппендицита. Я заехал к матери, и меня так скрутило, что пришлось вызывать прямо туда врачей. Они мне и объяснили, что это приступ аппендицита, что, может быть, обойдется на первый раз и без операции — успокоится, но надо несколько дней полежать здесь, под рукой у них.

Я лежал у матери. В эти ночи были сильные бомбежки, и все в квартире, кроме нас с матерью, уходили в убежище. Комната у матери не была затемнена, а я из-за болей ночью подолгу читал. Мы вытаскивали с матерью тюфяки в закрытый, без окон, коридор в их большой коммунальной квартире, зажигали в нем свет и проводили там всю ночь, пока к утру, после отбоя, не возвращались жильцы.

Тринадцатого, почувствовав себя немного лучше, я решил, что оттягивать больше нельзя, надо ехать. Мать приготовила мне с собой на первые дни на дорогу кое-какой диетический провиант, и мы с Хал и пом назначили выезд на утро следующего дня — на четырнадцатое.

Накануне вечером я поехал к Ортенбергу. Было решено, что я выеду сначала в штаб Южного фронта, а оттуда — на самую крайнюю точку, к Черному морю. По последним сведениям, штаб фронта помещался уже не в Одессе, как я думал, а в Николаеве. Значит, нам нужно было ехать сперва до Николаева, а потом уже добираться в Одессу.

В редакции я встретил только что приехавших из Киева Лапина и Хацревина и не помню уже откуда приехавшего Славина. Я договорился с Захаром Хацревиным попозже вечером зайти к нему в «Националь», где он остановился. Не хотелось в последний вечер расставаться с матерью, и я потащил ее с собой в «Националь». Хацревин, который неважно чувствовал себя еще в редакции, сейчас лежал у себя в номере совсем больной, но тем не менее собирался в ближайшие дни возвращаться в Киев.

Мы долго разговаривали с ним, вспоминали Халхин-Гол, читали стихи. Потом началась бомбежка, и всю гостиницу погнали в бомбоубежище. Там сидела польская миссия и несколько иностранных корреспондентов. Немножко поспав в бомбоубежище, я после отбоя простился с Захаром и Борисом. Наверно, я видел их тогда в последний раз.

Мы с матерью шли пешком домой через ночную Москву. А в семь утра, простившись со своими стариками, я сел в машину и, заехав за Яшей Халипом, двинулся по шоссе на Тулу.

Первую остановку сделали в Туле. Тогда это еще был глубоко тыловой город, и странно было бы представить себе на его улицах баррикады из железа и камней, которые я увидел, въехав в него в следующий раз в декабре. Странно было

представить себе, что к этим кишащим народом улицам почти вплотную подойдут немецкие танки и только решительная оборона города избавит его от вторжения.

Перекусив в какой-то харчевке, мы поехали дальше. Живот здорово болел, и я попросил нашего водителя Демьянова, чтобы он дал мне сесть за руль и поучил меня вести машину. Мне казалось, что за этим занятием, требующим внимания и напряжения, мне легче будет переносить боль. Так оно и оказалось. Демьянов, как только я сел за руль, сейчас же из подчиненного превратился в начальство и уже не звал меня батальонным комиссаром, а вопил:

— Ты куда едешь?! Смотри же! Глаза у тебя на что? Наедешь же, черт!

Были и более сильные выражения по моему адресу, которые я безропотно сносил, чувствуя, что блестящими способностями не отличаюсь.

Было очень жарко. Хорошо еще, что я, как и на предыдущей «эмке», заставил вырезать крышу и сделать вместо нее брезентовый тент на барашках. Мы его отворачивали, и на встречном ветру было сравнительно прохладно.

Я взял с собой здоровенный томище «Тихого Дона» и, когда не вел машину, читал. Читал и дочел до конца в самом конце нашего сухопутного путешествия между Симферополем и Севастополем.

В Курске заночевали в гостинице. Номер был в стиле ампир, с клопами, кровать с какими-то завитушками, которые я, впрочем, обнаружил на ощупь. Было затемнение, а окна в гостинице без штор; вошли мы в номер уже в темноте, а вышли из него еще до рассвета — спешили.

В Харьков приехали к полудню. В городе все было спокойно, шла нормальная жизнь, и казалось, ничто не напоминает о том, что вокруг Киева уже идут кровавые бои. За Харьковом погода испортилась. Как только полил дождь, сразу дал себя знать чернозем. Под колесами все вязло и липло.

К вечеру мы добрались не до Днепропетровска, как рассчитывали, а только до Красноград — маленького городка в тенистых деревьях. На подъезде к городку виднелся большой аэродром, на нем стояли бомбардировщики. По улицам города ходили, сбив на бочок пилотки, бравые ребята с голубыми петлицами. Стайки девушек щебетали на городском бульваре. На углу, там, где начинался бульвар, стояли двое пожилых военных и, разговаривая о чем-то своем, серьезном,

одобрительно поглядывали на дефилирующую мимо молодежь.

Возникало ощущение маленького мирного гарнизонного городка; неясно вспомнилось даже что-то из литературы, связанное с этим ощущением.

Появление нашей «эмки» вызвало некоторое оживление. Очевидно, здесь, в глубоком тылу, никто еще не видел так роскошно закамуфлированной машины. Демьянов раскрасил ее под зеленого леопарда. Кроме того, тент вместо крыши вообще сильно менял вид «эмки» и придавал ей известную необычайность, от которой мы чем дальше в тыл, тем больше страдали.

Отыскав место в маленькой гостинице, больше похожей на чистенькую мазанку, только двухэтажную, мы вдруг услышали вопрос провожавшего нас и почему-то задержавшегося, уже после того как мы простились с ним, лейтенанта:

— Вы только вчера из Москвы?

Мы сказали, что да.

— Как вы считаете, неужели они сюда дойдут, а?

— Почему сюда? — удивились мы.

Именно в этом городке, каким мы его увидели в тот вечер, мысль, что сюда дойдут немцы, и притом высказанная не обывателем, а военным, была особенно странной.

— Но вот Первомайск же взяли? И Кировоград взяли, — сказал лейтенант. [58]

— Кто вам сказал?

— По радио было.

Мы не слышали радио и были совершенно огорошены этим известием. Первомайск и Кировоград — это уже Кривой Рог. Еще немного — и немцы у нижнего течения Днепра! А мы-то считали, что едем в штаб фронта в Николаев. Теперь Николаев оставался уже в тылу у немцев в мешке. Мы ничего не понимали и были удручены.

Потом пришлось привыкать к еще худшим неожиданностям, но в ту ночь, проводив лейтенанта, мы долго не могли заснуть. Сидели, разговаривали и не верили — неужели правда? Еще перед отъездом из Москвы я слышал, что на Южном фронте дела идут неважно. Свидетельством этого было и то, что в

последнюю минуту нам сказали, что штаб Южного фронта уже не в Одессе, а в Николаеве. Но все-таки мы даже отдаленно не представляли себе размеров катастрофы, разыгравшейся как раз в эти дни на Южном фронте. [59] Кроме всего прочего, теперь было не известно, куда ехать. По здравому смыслу казалось, что раз немцы уже взяли Первомайск и Кировоград, то, очевидно, штаб Южного фронта теперь переместился куда-то к самому Днепру. И если мы поедем на Днепропетровск, то штаб, наверно, окажется там или где-нибудь в том районе.

Неожиданно для нас получилось, что первый этап нашей поездки — до штаба фронта — сокращался. И как сокращался!

Мы выехали из Краснограда рано утром. Потом, когда я прочел в сводке, что немцы взяли Красноград, то хотя он и не был важным стратегическим пунктом, я с особенной болью воспринял это сообщение. Каким мирным и каким далеким от фронта городком показался нам Красноград, когда мы в него въехали, и в какой тревоге мы его покидали. Дорога на Днепропетровск была плохая. Мы двигались еле-еле, со скоростью двадцать-двадцать пять километров в час.

В середине дня мы, по нашим расчетам, подъехали близко к Днепропетровску. До него оставалось, наверно, километров пятнадцать. Мы проехали еще два или три километра, как вдруг нам навстречу стали попадаться беженцы. Глаза не могли нас обмануть: из города уходили и бежали люди, город эвакуировался. Я видел слишком много беженцев на Западном фронте, чтобы не отличить их повозку от всякой другой, даже если она одна на дороге. Из Днепропетровска бежали. Чем ближе к городу, тем поток беженцев становился все гуще. [60] Ехали на телегах, шли пешком, ехали на автомашинах. Двигались тракторы, комбайны — бесконечное количество тракторов и комбайнов.

Было видно, как впереди дымятся днепропетровские заводы, огромные махины со стоявшими над ними облаками дыма. Не прошло и десяти дней после этого, как мы, отходя, взорвали их. [61] Какое-то проклятье почти со всеми приднепровскими городами от Могилева и до Херсона! Почти все они или целиком, или главной своей частью, как Днепропетровск, расположены на том, правом, на западном берегу.

Мы проехали мимо вокзала, вокруг которого толпились тысячи людей. Чувствовалось нервозное настроение. У магазинчика с надписью «Галантерея и

дорожные вещи» стояла очередь. Наверно, здесь покупали чемоданы и рюкзаки.

Солнца не было, но в городе было душно и пыльно. Чтобы выяснить, где штаб фронта, мы поехали к коменданту города. А может быть, это был не комендант, а начальник гарнизона, не помню. Но хорошо помню небольшой серый дом на одной из центральных улиц с бульваром. Оставив машину у подъезда, мы поднялись на второй этаж, и дальше произошла следующая сцена. Большой кабинет с большим венецианским окном, большой стол. За ним сидит пожилой полный комбриг. Он встает к нам из-за стола навстречу, пожимает руки, просит предъявить документы, я вынимаю удостоверение, даю ему в руки. Вдруг он бросает удостоверение на стол, выбегает из-за стола и, крикнув: «За мной!» — выскакивает из комнаты.

В ту секунду, когда он бросил на стол мое удостоверение, за окном послышался знакомый страшный свист. А когда комбриг выскочил из-за стола, бомба уже разорвалась где-то неподалеку. Мы выскочили вслед за комбригом во двор и залезли в щель, перекрытую одним накатом бревен. Простояв вместе с нами там несколько минут и отдышавшись, комбриг сказал:

— Это они здесь первый раз днем. А ночью уже два раза побывали.

В городе раздалось еще несколько взрывов, но теперь уже далеких. Потом все стихло. Мы вернулись в кабинет комбрига, он прочел наши бумаги и сказал, что, по его сведениям, штаб фронта находится в Запорожье.

— Хорошая ли туда дорога? — спросили мы.

Он замялся на несколько секунд, потом сказал:

— Смотря как ехать. Если левобережьем — плохая, но зато… — Он снова замялся. — А если правобережьем, то прекрасное шоссе, но я не могу поручиться… В общем, решайте сами, как хотите.

Кажется, он намекал на то, что ехать правобережьем не стоит, потому что немцы где-то близко к Днепру! [62] Мы сели в машину и, прежде чем двигаться, втроем, с Демьяновым, обсудили положение. Если сейчас опять выбираться на левобережье через мост, то там сейчас, наверно, все уже так забито сельскохозяйственными машинами, тракторами и беженцами, что нам придется тащиться до ночи. А по хорошему правобережному шоссе мы, наверно, доберемся до Запорожья часа за полтора. Что касается немцев и риска, то, несмотря на

недомолвки комбрига, у нас не укладывалось в голове, что немцы уже здесь, около Днепра. Я этому в тот день не поверил и правильно сделал.

Мы свернули к выезду на Запорожское шоссе. У больницы выгружали из полуторок раненных во время бомбежки. Серия бомб, разорвавшихся на бульваре вблизи комендатуры, кажется, никого не убила и не ранила. Но вторая разорвалась как раз на вокзальной площади. Я вспомнил, какую толпу мы только что видели там, и понял, в какую страшную мясорубку попали там люди.

Мы выехали из Днепропетровска и за час с небольшим по великолепному шоссе проскочили почти до самого Запорожья. Оставалось повернуть, сделать несколько километров до моста через Днепр — и мы в Запорожье. Но эти несколько последних километров мы ехали больше пяти часов. Шоссе, подходившее к мосту, было совершенно разворочено.

По сторонам шоссе был песок, тоже развороченный гусеницами тракторов. Казалось, что тут вообще невозможно проехать. С запада на восток к мосту двигались беженцы, шли колонны тракторов и колонны комбайнов, машины грузовые и легковые, телеги с наваленным на них эвакуированным имуществом и какой-то рухлядью, непонятно зачем в последнюю минуту взятыми с собой вещами. Кругом машин — целое море телег. Люди ехали уже издалека. Лошади были заморенные — тех, которые падали, оттаскивали в сторону от дороги, и они издыхали там. Телеги и машины — все смешалось и почти не двигалось. Люди шумели, волновались, кричали, не хотели давать друг другу дорогу. Все хотели скорей перебраться на ту сторону Днепра.

Наконец, переехав через мост, мы оказались в Новом Запорожье. Я только тут узнал, что, оказывается, есть два Запорожья — Старое и Новое.

Машина наша, еле-еле проехавшая по вывороченным булыжникам, скрежетала теперь на каждом шагу, а потом и совсем остановилась. Демьянов стал ее чинить прямо посреди улицы. А мы с Халипом пошли в горком партии. Там мы нашли одного из секретарей, от которого узнали, что штаб фронта разместился не здесь, а в Старом Запорожье и туда надо проехать еще километров двенадцать.

Здесь, в Новом Запорожье, было сравнительно спокойно. В те дни Днепр по старой памяти считался трудно форсируемой, а может быть, даже и недоступной преградой. Кроме того, в сознании людей еще не умещалось, что немцы могут уже

находиться в считанных километрах от города.

Демьянов долго возился с машиной, наконец починил ее, и она, продолжая скрежетать, поехала дальше.

В Старом Запорожье нам посчастливилось почти сразу же наткнуться на редакцию фронтовой газеты Южного фронта. Эта многострадальная редакция, кажется, уже в девятый раз за войну меняла местопребывание [63]

Я знал, что здесь, на Южном фронте, во фронтовой и в армейских газетах работают, из числа моих старых знакомых, Горбатов, Алтаузен, Долматовский, Кружков, Френкель. Но здесь, в Запорожье, налицо оказались только двое последних. Про остальных нам сказали, что они где-то в войсках, не то вышли, не то еще выходят из окружения. [64]

Коля Кружков встретил меня тепло, по-дружески, и мы с горечью стали вспоминать Монголию, где война складывалась совсем иначе. Кружков произвел на меня впечатление ошарашенного всем происходившим человека. Да и трудно было здесь, на Южном фронте, в то время не оказаться в таком состоянии. Я тоже был ошарашен. Я чувствовал, что произошла какая-то огромная катастрофа с далеко идущими последствиями. Из четырех армий, которые были во фронте, две, по слухам, попали в полное окружение, и люди в них либо погибли, либо сдались в плен, либо ушли в партизаны. Две армии — 9-я и 8-я — с тяжелыми потерями выбрались, а частично еще выбирались из окружения. И в ту минуту это еще считалось удачей.

История когда-нибудь рассудит наших современников и скажет свое слово об этих днях. Но тогда трудно было что-нибудь понять. [65] В частности, 9-я армия, воевавшая южнее других — южнее ее была только Приморская группа, — здесь, в штабе фронта, считалась самой удачливой и достойной похвал армией, потому что она, отойдя от Одессы, быстро проскочила через Николаев и теперь собирала свои вышедшие из окружения части. А между тем не прошло и недели — и как только при мне не чихвостили в Одессе ту же самую 9-ю армию, которая, по словам людей, оставшихся в окружении в Одессе, не только с ходу проскочила двести километров, но и утащила за собой еще одну дивизию Приморской армии.

Кроме того, в Одессе, задыхаясь от ярости, говорили, что 9-я армия сдала в два дня Николаев, в то время как Одесса держится по сей день и будет еще долго

держаться, а между тем Николаев было нисколько не трудней оборонять, чем Одессу.

Не берусь сам судить об этом, но так говорили тогда.

Мы долго разговаривали с Колей Кружковым на все эти темы. Он спрашивал меня, как дела на Западном фронте, и я, под впечатлением последних дней поездки под Дорогобуж и Ельню, сказал, что там стало значительно лучше, гораздо больше порядка и уверенности, чем было вначале, и что уже появилось ощущение прочности.

— А у нас… — сказал он и махнул рукой. — Не стоит об этом говорить. В общем, воюем. Но на душе тяжело, даже говорить не хочется.

Потом Кружков куда-то ушел, а Френкель, тоже участвовавший в нашем разговоре, потащил меня в садик и стал расспрашивать там о делах на Западном фронте. Я в свою очередь стал расспрашивать у него о знакомых. Горбатов был где-то в частях. Про Алтаузена говорили, что он чуть не попал в плен к немцам, оставшись ночевать в какой-то деревне, в которую они уже вошли, и только случайно оттуда выбрался. Про Долматовского — что он был в армии, не могу вспомнить сейчас — не то в 6-й, не то в 12-й, в общем, в той, которой командовал Понеделин, через несколько дней так печально прославившийся своим ставшим к этому времени уже общеизвестным предательством, [66] Долматовского видели в последний раз 4 августа, то есть тринадцать дней назад, и с тех пор от него не было ни слуху ни духу. Ничего не знали и о Крымове, и об Аврущенко.

Поужинав в военной столовке, мы пошли спать в Дом пионеров, где жили редакционные работники. За Домом пионеров был сад и в нем — круглая, с земляным полом, беседка. В ней мы и улеглись.

Ночью над городом появились немцы. Начали стрелять зенитки и пулеметы. Мы проснулись, но, наверно, все остальные так же привыкли ко всему этому, как и я, и, как только прекратилась стрельба, все снова заснули.

Наутро мы с Халипом поехали искать Лильина начальника корреспондентской группы «Красной звезды» на Южном фронте, а найдя его, вместе с ним пошли к комиссару штаба фронта Маслову, у которого он жил. Получив от Маслова подтверждение, что Одесса пока в наших руках, и не желая отказываться от своего первоначального плана проехать от Черного до Баренцева моря, я решил

добраться до Одессы во что бы то ни стало.

Лильин сначала советовал мне поехать в ближайшие части и сделать первый материал отсюда, но я отказался. Уже по опыту зная, что такое откатывающиеся или только что откатившиеся войска, я просто внутренне, психологически не мог ехать и приставать с вопросами к людям сразу после двухсоткилометрового отступления. Что касается Одессы, то у меня было какое-то чутье, подсказывавшее мне, что она должна держаться.

Я вспомнил Могилев, Кутепова и подумал, что лучше поехать в окруженный город, в части, решившие драться до конца, чем искать какой-то материал в быстро отступающей армии. Ничего тяжелее душевно, ничего труднее и невыносимее не бывает, чем писать в газету в такие дни в такой обстановке. Я уже испытал это и, независимо ни от каких обстоятельств, хотел ехать в Одессу.

Халип на минуту замялся. Я его понял. Человеку, который впервые ехал на фронт и в первые же дни увидел то, что он увидел, было жутковато ехать в полную неизвестность. Но когда я твердо сказал ему, что поеду в Одессу, и предложил, если он хочет, разделиться — я поеду туда, он пока останется здесь, а потом мы объединимся, — он ни секунды не колебался, сказал, что раз поехали вместе, то всюду и будем вместе.

Маслов обещал выяснить, каким образом можно добраться до Одессы, и ушел, посоветовав нам пока отдохнуть. Я растянулся под яблонями и стал читать «Тихий Дон». Вернувшись, Маслов сказал, что в Одессу ходят суда Азовской военной флотилии, штаб которой базируется сейчас в Мариуполе. Туда эвакуируются из Одессы раненые, а оттуда везут в Одессу боеприпасы, и нам, чтобы добраться до Одессы, придется поехать сперва в Мариуполь. Это был крюк километров на полтораста на юго-восток, но делать было нечего. Других путей мы не знали и решили ехать в Мариуполь.

Демьянов менял в автороте вышедшее из строя сцепление, и нам пришлось заночевать у Маслова в сенях, с тем чтобы ехать завтра наутро.

Запасшись из штаба фронта бумагой с приказанием перебросить нас в Одессу, мы двинулись в штаб флотилии.

По дороге я заехал проститься в редакцию фронтовой газеты. Мы обнялись с Кружковым. Я думал заехать сюда на обратном пути из Одессы, но все

повернулось иначе, и я увидел его следующий раз только в ночь под Новый год и далеко отсюда.

По дороге на Мариуполь мы стали свидетелями довольно дикой сцены. Сначала мимо нас проехало несколько подвод с красноармейцами, потом, издали, с поля, заметив нашу машину, нам стали махать руками какие-то люди. Мы остановились. К нам подбежали двое, оба немолодые, и стали совать нам документы в таком волнении, что ничего невозможно было понять. Наконец выяснилось, что это председатель и бухгалтер здешнего колхоза. Они дали с бахчи много арбузов красноармейцам, проехавшим на подводах, но потом последняя подвода отстала и с нее соскочил красноармеец, который стал требовать еще арбузов, ругался и даже пригрозил гранатой. Старики арбузов так и не дали, а нас остановили на предмет наказания виновного. Посадив обоих стариков на машину, мы развернулись и догнали уходившие подводы. На задней сидел тот самый красноармеец, который угрожал старикам гранатой.

Происшествие было отвратительное, и надо было как-то успокоить стариков. Я выругал виновника и старшего по команде сержанта, ехавшего на передней подводе, и приказал ему довести до сведения командира части о случившемся. Подводы поехали дальше, а старики немножко отошли.

— Мы что, нам не жаль арбузов. Вот смотрите — гора арбузов у них на подводах навалена. Так он захотел еще те, которые неснятые. Мы не против дать арбузы, мы даем. Но если он на нас с гранатой!.. У меня у самого три сына в армии, — снова начал кипятиться один из стариков.

Еще раз успокоив его, мы тронулись дальше.

До Мариуполя оказалось больше, чем мы думали, — двести с чем-то километров. Часть пути я сидел за баранкой сам — живот по-прежнему болел. На полпути остановились в какой-то колхозной столовой. Это было большое хорошее украинское село. В столовой, в которую мы поднялись на второй этаж по дощатой наружной лестнице, продавали виноградное вино, молоко, огромные оладьи, жирный борщ. Что-то веселое и доброе было в этих деревянных струганных столах, в обильной еде, в приветливых, здоровых, красивых девушках-подавалыцицах. У меня было горькое чувство оттого, что мы раньше, чем это стало в действительности, начали писать, что люди стали жить

по-человечески, а потом, когда они кое-где, здесь, например, действительно стали жить по-человечески, все это теперь летело к черту. Горе, смерть, отчаяние — все это находилось отсюда уже в пределах трехчасового пути на машине по хорошей дороге.

Наша «эмка» с ее пятнистой серо-зеленой маскировкой, с закатанным брезентовым верхом здесь, где люди еще не расстались с представлением, что они живут в глубоком тылу, производила особенно подозрительное впечатление. В столовой ко мне подошел милиционер и осведомился, откуда мы и куда. Я показал ему свое удостоверение, но на дальнейшие вопросы отвечать отказался, считая их проявлением излишнего любопытства местной власти.

В дальнейшем оказалось, что все это не так просто. В следующей деревне следующий милиционер уже пытался нас задержать. Я предъявил ему документы и, считая это вполне достаточным, поехал дальше. Это ему не понравилось. Он кричал нам вслед и даже пытался бежать за машиной. На дороге перед следующей деревней нас встретила целая толпа людей с охотничьими ружьями. Они тоже пожелали проверить наши документы. Я обозлился, но командир этого отряда, симпатичный розовощекий парень, отвел меня в сторонку и тихо и доверительно сказал мне, что им прислано милицией сообщение, что мимо них должны будут проехать подозрительные люди, «вроде как бы налетчики». Вот почему они и бросили все в поле и прибежали сюда со своими охотничьими ружьями, так как они являются отрядом местной самообороны.

— Я, конечно, не сомневаюсь, товарищ командир, что вы есть действительно вы, но волнуется народ.

Чтобы народ не волновался, я показал ему все имевшиеся у меня бумаги, и он, успокоившись, откозырял вслед машине, приложив руку к кепке.

Я считал, что этим все и кончилось. Но в следующей деревне нам опять стал махать руками милиционер. Я сказал Демьянову, чтобы на этот раз он дул мимо милиционера полным ходом, что бы тот ни кричал и как бы ни махал. Мы проскочили милиционера и деревню и через несколько километров подъехали к районному центру. Здесь у самого въезда нас дожидалась уже целая группа милиционеров. Чувствуя, что с этим надо как-то покончить, мы остановили машину и спросили, чего они от нас хотят. Они сказали, что хотят, чтобы мы

заехали в местное отделение НКВД. Я подсадил двух милиционеров на подножки и поехал прямо в отделение.

Местный уполномоченный сидел в маленькой комнате за столом лицом к двери, и поначалу, когда я зашел, был суров и заявил, что должен нас задержать. Забавно было то, что как раз над головой этого сурового мужчины висел портрет не кого иного, как начальника Политуправления Красной Армии Льва Захаровича Мехлиса, подписанная которым бумага об оказании мне содействия при выполнении заданий «Красной звезды» лежала у меня в кармане гимнастерки.

Бумага эта ускорила наши переговоры с уполномоченным, и мы двинулись к Мариуполю. Когда мы подъезжали к городу, уже темнело. И на фоне потемневшего неба были видны огромные багровые отсветы доменных печей Мариупольского завода. Кто мог тогда подумать, что все это придется взрывать через каких-нибудь полтора месяца? [67]

Случайно встреченный моряк взялся показать нам, где находится штаб Азовской флотилии. Он помещался в каком-то большом здании в нескольких километрах от города. Командующего флотилией не было, и мы попали к начальнику штаба. И сразу же смогли оценить точность информации, полученной нами от комиссара штаба фронта. Оказалось, во-первых, что штаб Азовской флотилии приехал сюда только вчера вечером [68] и что, во-вторых, ни суда Азовской флотилии и никакие другие суда отсюда в Одессу не ходят по причине полной бессмысленности этого занятия; все, что ходит в Одессу, ходит туда из Севастополя, в крайнем случае из Новороссийска.

До сих пор не понимаю, как отправлявшим нас в Мариуполь товарищам из штаба Южного фронта, да и нам самим не пришла в голову простая мысль, что ближайший морской путь на Одессу все-таки лежит из Севастополя, а до Севастополя в то время можно было добраться сухим путем.

Обратно в Мариуполь мы поехали другой дорогой, через гору, с которой город был виден сверху. Отсюда, сверху, он представлял странное зрелище. Все дома в городе были наглухо затемнены, а огромные протуберанцы от доменных печей стояли в небе над городом.

Заночевали в Мариуполе в Доме крестьянина. Дом был построен четырехугольником; внутри четырехугольника, во дворе, стояли телеги. Мы

поднялись по лесенке наверх под дощатый навес. Дежурная — милая ласковая девушка, — посетовав, что уже нет ни одного места в комнатах, устроила нас под этим навесом, дала подушки, одеяла и простыни.

Утром мы решили немедленно ехать в Севастополь вдоль побережья через Бердянск, Геническ и Чонгарский полуостров. Дорога вдоль побережья оказалась прекрасной, кое-где асфальт, кое-где плотная грунтовка. Вдоль дороги колосились тучные хлеба. Убирали и вывозили урожай, работало много тракторов и комбайнов. На полях повсюду виднелись люди. И снова, как это уже часто бывало, казалось, что никакой войны нет.

До Геническа добрались за час до темноты. Сверху нашим глазам открылось море, и нам невероятно, отчаянно захотелось сейчас же выкупаться. Не заезжая к коменданту, мы поехали прямо к пристаням, мимо рыбачьих лодок и баркасов. В море купались летчики и девушки в купальных костюмах и шапочках. Это было как-то странно и казалось совсем давним и забытым, что вот можно так приехать на юг, купаться в море, видеть этих девушек в купальных шапочках.

Азовское море оказалось таким мелким, что мы с Демьяновым добрых полкилометра трудились, шагая по песку, пока добрались до глубины, на которой можно было кое-как плавать. Бедняга Халип из-за своей вывихнутой ноги купаться не мог и только растирался на берегу мокрым соленым полотенцем.

В Геническ, видимо, прибывали новые части. Город был полон военными. Комендант, молоденький лейтенант, миляга-парень, устроил нас ночевать у себя и угощал чаем с леденцами всех цветов радуги. Машина наша стояла тут же во дворе. С моря дул теплый ветер. Парило.

Это было 19 августа. Мог ли я думать, что еще через месяц из этого тихого и милого приморского городка, где мы купались около рыбачьих баркасов, немцы будут лупить по мне, ползущему по земле, из пулеметов и минометов, и что мы тоже будем бить по этому городку из дальнобойной морской артиллерии, и что мне придется присутствовать при обсуждении плана, как потопить здесь, в Геническе, оставшиеся не угнанными в Крым рыбачьи баркасы.

Утром, проехав через Чонгарский мост, на котором часовой проверил наши документы, мы были в Крыму, и часам к десяти добрались уже до Джанкоя. Повсюду были расклеены приказы командующего войсками Крыма

генерал-лейтенанта Батова. У Чонгарского моста, на перешейке, по дороге на Джанкой всюду что-то возводили, строили, укрепляли. Двигались войска. Чувствовалось, что Крым готовится к обороне [69] И хотя, с одной стороны, пора бы уже привыкнуть к тому, что многое нужно готовить заранее, и надо было радоваться, что это делается здесь и делается своевременно, но, с другой стороны, было тяжелое чувство: неужели мы не надеемся удержаться на Днепре? В те дни Днепр казался мне той крайней границей, где на Украине должны остановиться немцы, через которую мы их не пустим.

Перед Джанкоем у нас окончательно доломалось правое крыло. Я во время своей езды за рулем принял в этом посильное участие. Мы остановились у окраины города возле какого-то заводика и попросили вызвать директора. Навстречу нам вышел прихрамывающий молодой парень, в прошлом главный механик, а сейчас по совместительству — и главный механик, и главный инженер, и директор завода. Один за всех, взятых в армию. С завода в армию вообще взяли много людей, но завод продолжал работать. Оставшиеся работали вовсю. Все было как-то здорово по-хорошему. Слесаря взялись заклепать наше сломанное крыло. Сварщика не было, он ушел в армию. В столовой нас напоили молоком. Потом мы разговаривали с директором. Он был болен костным туберкулезом. Процесс развивался, ему все труднее становилось ходить. Он, видимо, понимал, что остановить болезнь уже нельзя, но говорил об этом без горечи, считая, что раз тут ничего не сделаешь, то нечего и жаловаться, надо работать, пока еще можешь.

Вообще во всей атмосфере на этом заводике, в том, как люди работали, как разговаривали с нами, какое у них было настроение, почувствовалось что-то очень хорошее, теплое, свое. Есть такие места в занятых немцами областях, в которых ты был до этого и о которых вспоминаешь с особенной тревогой: что стало с этими людьми? Где все это? Где этот хромой главный механик, где старики-слесаря, чинившие нашу машину, где девушки, поившие нас молоком? Где все эти люди? Что теперь сталось с ними?

Из Джанкоя поехали в Симферополь. Дорога была хорошая, Демьянов разрешил мне сесть за баранку и отобрал ее у меня только тогда, когда я за один крутой поворот сломал две изгороди с двух сторон дороги. Он потом язвительно говорил мне, что это редкий случай, почти трюк.

Через Симферополь мы проскочили, не останавливаясь, — хотели пораньше добраться до Севастополя.

Вот и знакомые, десятки раз изъезженные места. Скоро откроется бухта и будет виден Севастополь. Все кажется прежним. Только не видно больше туристских «ЗИСов» и «линкольнов» и иногда снуют по дороге окрашенные в цвет хаки военные «эмки».

В Севастополе поехали прямо в штаб флота, к начальнику политуправления. Нас принял его заместитель бригадный комиссар Ткаченко.

Там же у него сидел еще один бригадный комиссар — Азаров, который сказал, что он только вчера сюда прибыл. Он понравился мне какой-то особенно хорошей улыбкой, мягкостью. Мне показалось, что он внешне чем-то очень похож на покойного Щукина, а через него — чуть-чуть на Ленина.

Бригадные комиссары сказали, что военных судов на Одессу пока не предвидится, но завтра утром туда, очевидно, пойдет один тральщик, и послали нас к комиссару штаба Штейнбергу, который обещал все сделать.

Мы пошли из штаба в Дом флота, в котором расположился театр Черноморского флота. С актерами этого театра у меня было еще старое знакомство. Когда-то до войны они репетировали мою «Обыкновенную историю» и сейчас узнали меня и радостно встретили. Начальник Дома флота батальонный комиссар Шпилевой, впоследствии, по-моему, комиссар морского полка, [70] обещал устроить нас переночевать.

После этого, не теряя времени, пошли на Графскую пристань посмотреть на чудесную Севастопольскую бухту. Наглядевшись, решили искупаться. Купались около знаменитого севастопольского орла. Недалеко от него в край набережной ударила бомба и осколками побило постамент колонны. А вообще слухи о бомбежках Севастополя, верней о их результатах, оказались сильно преувеличенными. В городе все было цело. Немцам почти ничего не удалось разбомбить, кроме нескольких домов на окраине, куда попала одна из торпед. Правда, в порту суда двигались осторожно — там были набросаны немцами магнитные мины, и их вылавливали по новому английскому способу.

Выкупавшись, пошли в редакцию «Красного черноморца». Там оказалось много знакомого народу. Панченко, Гайдовский, Лева Длигач — толстый, веселый;

полосатая тельняшка, заправленная в широченные клеши, болтающийся сзади наган делали из него настоящего боцмана. Здесь же был и Ян Сашин. Как сильно война меняет людей. Он всегда был милым парнем, но, когда мы учились с ним в институте, я его почему-то не очень любил. Может быть, за излишнюю любовь к остротам, за эстрадные повадочки, за какую-то подчеркнутую инфантильную неприспособленность к жизни. Вот уж кого трудно было представить себе на войне. И вдруг я увидел здесь, в Севастополе, симпатичного подтянутого морячка, который, по общим отзывам, отлично, весело, безотказно работал в газете и только что вернулся из каких-то тяжелых мест, кажется из-под Очакова.

Яша Халип был расстроен, что у него, так же как у меня, какие-то не такие противогазы, какие носят здесь, в Севастополе. Наши противогазы были тощие, чахлые, а здесь у ребят из морской редакции это были солидные, плотно набитые парусиновые сумки. Приглядевшись к этим сумкам, он наконец обратился к Леве Дли гачу с просьбой, чтобы тот показал, какой системы у них в Севастополе противогазы. Длигач расстегнул свой противогаз и выяснилось, что устройство его весьма простое. Так как в Севастополе ношение противогазов было строго обязательно, то догадливые морячки из редакции превратили их в склад необходимого имущества. В «новую систему» противогазов входили, кроме их старого содержимого, еще одна-две книжки для чтения, мыло, полотенце и некоторые другие предметы мужского обихода — бритвы, кисточки для бритья, а у некоторых — очешники. Мы посмеялись над этим, потом Халип пошел спать, а я еще долго сидел с ребятами и пил крепкий и душистый чай.

Утром комиссар штаба, как и обещал, устроил нас на тральщик, стоявший у одного из севастопольских причалов. Там мы временно распрощались с Демьяновым, пристроив его в гараж Дома Морского флота.

Демьянов бушевал, не хотел оставаться, требовал, чтобы мы взяли его с собой в Одессу. Он еще долго маячил с машиной на причале, прежде чем уехать.

Насчет Одессы слухи были туманные. Говорили, что там положение серьезное, но подробности объяснять нам не стали. Тральщик был только что превращен в судно военно-морского флота, и на нем еще была целиком гражданская команда, в том числе произведенный в младшие лейтенанты флота капитан — симпатичный парень, в свое время ходивший на наших торговых судах в Испанию и державший

себя теперь, получив военное звание, довольно сурово. На судне еще оставались гражданские порядки, но оно считалось уже военным.

Когда Демьянов уехал, нам сказали, что тральщик снимется через полчаса, потом — через час, потом — через два часа. Так тянулось до вечера. Услышав о тревожном положении в Одессе, мы беспокоились, уж не из-за того ли задерживают нас и не пускают никаких других судов в Одессу, что решается вопрос о ее судьбе? [71] Не знаю, как это было в действительности, но простояли мы до утра следующего дня сначала у одной стенки, потом у другой, где нас заливали пресной водой. Капитан сказал, что вода есть на полный переход до Одессы, но нужно залить воду на обратный путь. Кто-то ответил ему, что на обратный путь можно было бы и там залиться. Он ничего не сказал, промолчал.

Этот разговор мне стал понятен только потом, в Одессе. Беляевку, из которой шел к Одессе водопровод, заняли румыны и немцы, и в городе не было воды. Ее выдавали по карточкам, и за нею строились длинные очереди.

Ночью по небу шарили прожектора. Мы с Халипом устроились спать на плоской крыше рубки радиста. Когда прожектора погасли и небо стало совсем черным, почувствовался юг и снова — в который раз — показалось, что нет никакой войны.

Утром к тральщику подошел большой баркас с работниками одесского НКВД. Насколько я понял, это была та часть работников, которая после окружения Одессы самовольно эвакуировалась оттуда. Теперь их возвращали в Одессу. Их было человек тридцать, и я еще никогда не видел людей, до такой степени обвешанных оружием. Разве что некоторых фотокорреспондентов. У них были ППШ, полуавтоматы, карабины, по одному или по два револьвера, гранаты РГД, гранаты-лимонки. Кроме всего этого, имелось еще и несколько ручных пулеметов. Как и всякие излишне вооруженные люди, они не внушали мне особого доверия. Они привезли с собой на тральщик двух девушек, которые тоже возвращались в Одессу. Капитан ходил вокруг них с недовольным видом, потом долго говорил о чем-то с комиссаром тральщика и, вызвав к себе радиста, кудрявого разговорчивого паренька, который вчера оказал нам гостеприимство на крыше своей рубки, отдал ему какое-то приказание.

Через час к борту подошел катер портовой службы, и двух бедных девушек

списали с тральщика так же быстро, как и привезли на него, при негодующих возгласах тридцати вооруженных до зубов мужчин.

Кто-то из ехавших объяснил капитану, что это хорошие женщины, подруги в полном смысле этого слова, и что совершенно напрасно он не захотел взять их. Но капитан был неумолим.

Наконец наш тральщик стал выходить из Севастопольской бухты. [72] Перед нами открыли боновую сеть, потом закрыли за нами, открыли вторую боновую сеть, снова закрыли, и мы вышли в открытое море. За нами следовал еще один транспорт, нас сопровождали три морских охотника. Однако после двух часов хода два охотника отстали, и с нами остался только один, шнырявший в море, то обгоняя нас, то возвращаясь назад ко второму транспорту, то снова выскакивая вперед.

Мы дошли до Тендеровой косы и стали поворачивать от нее в открытое море к Одессе. Теперь, когда мы оказались вне зоны действия наших, стоявших на крымских аэродромах истребителей, на тральщике одна за другой начали объявляться боевые тревоги. Сначала появился один немецкий разведчик. Он долго крутился над нами. Долго и высоко. Так как он не пытался снижаться, а из тех пушек, которые были установлены на тральщике, стрельба по самолету на такой высоте была нереальным делом, мы не стреляли. Потом пришла тройка самолетов. Самолеты долго крутились над нами, не сбрасывая бомб. По ним стреляли из пушек мы, стрелял шедший сзади транспорт, стрелял охотник, стремившийся во время их заходов выйти навстречу им и бивший по ним из своей сорокапятимиллиметровой пушечонки, стоявшей у него на носу.

Целый час прокрутившись над нами, самолеты снизились и начали бомбить. Первая серия бомб упала довольно далеко от нас. Сама бомбежка поначалу не показалась мне страшной. Я больше боялся результатов того ожесточенного ружейно-пулеметного огня, который со всех сторон открыли ехавшие с нами работники одесского НКВД. Не знаю, то ли этих ребят крепко накачали за то, что они удрали из Одессы, и они возвращались после этой накачки в воинственном настроении, то ли кто-то из них подвыпил перед дорогой, но они лупили из винтовок и пулеметов так, что по пароходу было опасно передвигаться. Бомбардировщики сделали второй заход и на этот раз положили бомбы между

нами и шедшим за нами транспортом — ближе к нему, чем к нам, потом развернулись и улетели.

На душе стало легче. Кроме нас, грешных, тральщик вез полный трюм снарядов и взрывчатки, часть этого груза, не поместившаяся в трюме, была наверху, на палубе под брезентом.

Шедший за нами транспорт повернул и на всех парах, сильно дымя, пошел в другую сторону от нас, к берегу. Бомбы упали сравнительно далеко от него, и не думаю, чтобы он мог быть поврежден. До сих пор не знаю, что было причиной такой перемены курса. Скорее всего, у него было другое задание, чем у нас, и он шел не на Одессу.

Охотник отстал, потом снова нагнал нас. Мы продолжали двигаться к Одессе. Вскоре в небе появилось еще два самолета незнакомого мне вида — должно быть, итальянские. Они тоже около часа крутились над нами, но бомб не сбрасывали. Еще через час пришла тройка бомбардировщиков и начала бомбить с большой высоты. Бомбы ложились далеко от нас. И мы и охотник били из пушек по самолетам. Потом один из самолетов спикировал ниже других, охотник выскочил ему наперерез на встречном курсе и, видимо, попал в него из пушки. Самолет начал быстро вкось спускаться куда-то за горизонт. За ним тянулась струя дыма, и он исчез из вида.

У нас на тральщике было обычное в таких случаях ликование. Появились неизвестно откуда взятые подробности, вроде того, что «он ему аккурат врезал посредине крыла — левого, нет, правого». Остальные два бомбардировщика, сбросив еще несколько бомб, ушли.

Поглядев на часы, я сообразил, что вся эта история в общей сложности продолжалась больше пяти часов.

Уже в полутьме в море курсом с запада на восток показалось пять низких белых бурунов. Стало ясно, что это торпедные катера. Но чьи? Скорей всего наши, но на тральщике, на всякий случай, объявили боевую тревогу. Катера проскочили мимо нас. Очевидно, это были наши катера, возвращавшиеся на свою базу.

Наступила темная ночь. Начало покачивать. По палубе проходил капитан. Я сказал ему, что нам везет — ночь очень темная.

— Темная? — переспросил он. — А вы пойдите на корму, посмотрите назад.

Я пошел на корму и увидел, что там за винтом на абсолютно черной воде лежит длинная белая фосфоресцирующая полоса. Хорошо заметная с воздуха. В небе что-то гудело, потом перестало. Потом опять загудело. Потом высоко наперерез нам прошел самолет с одним зажженным бортовым огнем.

Я пристроился на койке в каюте второго помощника, а Яша устало присел на диванчике. Мы оба одинаково тревожились, как сойдет этот переход до Одессы, но тревожились по-разному. Яша даже не мог себе представить, как это сейчас можно заснуть, а я, наоборот, хотел во что бы то ни стало заснуть. Как и в других случаях, когда я чего-нибудь трусил, мне хотелось, если удастся, переспать опасность.

Я уснул и вдруг услышал, как Яша трясет меня за плечо.

— Что?

— Сейчас по борту прошла торпеда.

— Уже прошла?

— Да.

Задним числом страха из-за этой уже прошедшей торпеды я не испытал. Наверно, потому что проспал тот момент, когда на корабле кричали: «Торпеда!» Яша слышал этот крик и был еще полон переживаний. И почему-то тащил меня на палубу. Но мне было лень туда идти, и я снова заснул.

Но он через некоторое время снова меня разбудил:

— Костя, тебя к капитану.

Я вскочил:

— Что случилось?

Он стал шепотом рассказывать мне, что сейчас к нему на палубе подошел радист, обходивший всех стоявших там людей и спрашивавший: «Вы кто?» Они в темноте отвечали ему, кто они. Так он наткнулся на Яшу. «А вы кто?» Яша сказал, что он корреспондент.

— Вот вас нам и нужно. Где ваш товарищ? Идите и срочно приведите его к

капитану.

Все последующее можно понять только с учетом того, что тральщик был сугубо гражданским судном и шел в свой первый военный рейс и что я со своими двумя шпалами представлялся капитану старшим военным начальником на корабле.

Я оделся, взял револьвер и в непролазной темноте вскарабкался на капитанский мостик. Капитан стоял в мокрой от брызг кожанке. На море сильно качало.

— Симонов? — спросил капитан.

— Да.

— У вас оружие есть?

— Да.

— Выньте его.

Я вынул револьвер.

— Идите за мной.

Мы спустились с ним с капитанского мостика куда-то вниз, потом свернули и остановились у маленькой двери. Капитан сказал шепотом: «Там» — и указал рукой на дверь.

— Кто-то там сигнализирует самолетам. Или человек, или специально оставленный аппарат.

— Человек? — удивленно спросил я, — Но ведь он потонет вместе с нами, если что-нибудь случится.

Капитан пожал плечами.

— Все равно кто-то сигнализирует, — сказал он. — Пошли.

Он толкнул дверь и втащил вместе с собой куда-то в тесноту меня и комиссара. По полному своему незнанию корабельной анатомии я предполагал, что мы спустимся сейчас в какие-то тартарары, в трюм. Так я читал в юности в разных романах, что негодяи прячутся обязательно в трюмах и их там разыскивают с фонарем в одной руке и с револьвером — в другой.

Я втиснулся вместе с капитаном через маленькую дверцу, осторожно нащупывая впереди себя ногой, чтобы не провалиться в какой-нибудь люк.

— Закрыл? — спросил капитан комиссара.

— Закрыл.

Капитан пошарил по стене и щелкнул выключателем. Я был удивлен. Оказалось, что это совсем не трюм и не тартарары, а маленькая штурманская каюта с двумя стульями, столом и большим диваном. Единственным местом, где в этой каюте мог спрятаться сигнальщик, был диван. И когда капитан решительно взялся за этот диван, чтобы открыть его, у меня в первую секунду даже мелькнула глупая мысль, что там, под диваном, идет вниз какой-то люк или ход. Но это был просто-напросто диван. И когда было приподнято его сиденье, там не оказалось ничего, кроме каких-то житейских мелочей.

Я пристыженно спрятал свой револьвер. Но капитан оставался крайне серьезным. Он отодвинул какие-то лежавшие внутри дивана тряпки, и там внутри действительно обнаружились ввинченные в переборку две электрические лампочки. Мы с полминуты постояли в молчании. Лампы зажглись и потухли. Потом снова зажглись и снова потухли. Они зажигались и гасли через одинаковые интервалы.

Капитан приказал вызвать в каюту корабельного электрика. Пока за ним ходили, между капитаном и комиссаром шло обсуждение того, как лучше взяться за электрика. [73] Решено было сразу огорошить его прямым вопросом: для чего он включает и выключает здесь эти лампы?

А лампы все продолжали включаться и выключаться.

Через несколько минут пришел корабельный электрик — спокойный и уже пожилой человек. Когда его спросили — резко, как на допросе, — он вдруг засмеялся:

— Что же вы меня диверсантом решили сделать? Это же, когда лаг одну десятую кабельтова делает, то лампы дают контакты и вспыхивают, отмечая, что десятая пройдена. Сейчас они опять загорятся.

Оказалось, что в штурманской рубке, где мы сейчас стояли, часть крыши была стеклянной, а в диване, около валика, была здоровенная щель. И так как в каюте был выключен всякий свет, а часть крыши оставалась не закрытой брезентом, лучик света от этих лаговых ламп был виден с капитанского мостика.

Всем было стыдно. Немножко меньше мне, немножко больше капитану и комиссару. А причиной всей этой истории было, конечно, нервное состояние. Первый военный рейс, беспрерывное гудение самолетов, предыдущие бомбежки, прошедшая по борту торпеда. Капитан, словно оправдываясь перед электриком, стал говорить, что торпеда прошла совсем близко и вообще черт знает какая беспокойная ночь.

Я вернулся в каюту и проснулся только на рассвете. На горизонте виднелась Одесса. Было холодное утро. Знакомый город казался более серым и строгим, чем обычно. Когда мы подошли поближе, стали видны сильно разрушенные здания на спускавшихся к порту улицах.

Мы сошли в порту и, закинув за спину рюкзаки, потихоньку двинулись наверх, в город. Яша прихрамывал. Улицы были совершенно пустынны, особенно в портовой части. Дома были одинаково молчаливые — и целые, и разрушенные. Поначалу казалось, что город вымер. Но чем выше и ближе к центру, тем нам все чаще стали попадаться люди. Потом мы увидели несколько не особенно многолюдных очередей около магазинов. Потом прошел один, другой, третий трамвай. Все улицы перегорожены баррикадами. Некоторые из них сложены на совесть, из камней, из мешков с песком в несколько рядов, с деревянными амбразурами для винтовок и пулеметов, с противотанковыми рогатками, сделанными из сваренных двутавровых балок. У некоторых баррикад, у их подножия, торчали глубоко врытые в землю, вкось поставленные толстые водопроводные и канализационные трубы. Они напоминали стволы орудий и имели угрожающий вид.

К девяти утра мы добрались до штаба Приморской армии. Он помещался на другом, противоположном конце города. После довольно длинной возни с пропусками и переговоров по телефону мы попали в здание штаба. В политотделе нам сказали, что член Военного Совета Кузнецов скоро вернется. Мы положили вещи и сходили позавтракать.

В подвале здания штаба было несколько маленьких комнат, в них стояли накрытые скатертями столики, на столиках — цветы. Бойко бегали девушки-официантки. Нас чудно накормили и взяли за все удовольствие рубль на двоих.

Бригадный комиссар Кузнецов показался мне по первому впечатлению недавним штатским человеком. Так оно и было. До войны он был секретарем Измаильского обкома партии и отступал сюда вместе с Приморской армией с Дуная. В разговоре с нами он долго ругал 9-ю армию, которая при отходе на Николаев утащила у них одну из трех дивизий и без того немногочисленной Приморской группы войск.

Одессу защищало значительно меньше войск, чем это думали и до сих пор думают те, кто там не был. [74] В день нашего приезда оборону вокруг города занимали сильно потрепанные беспрерывными шестидесятидневными боями 25-я и 95-я кадровые стрелковые дивизии, только что организованный полк морской пехоты, полк НКВД и несколько только что наспех созданных небольших отдельных частей, в том числе так называемая Первая Одесская кавалерийская дивизия ветеранов, состоявшая из бывших котовцев и буденновцев. Ее организовал генерал-майор Петров, ко дню нашего приезда ставший уже командиром 25-й дивизии.

Обе кадровые дивизии, входившие в Приморскую группу, так хорошо держались в боях под Одессой отчасти еще и потому, что обе ни разу за время войны не отступали, не выдержав натиска врага, а каждый раз только по приказу, чтобы не оказаться обойденными, когда немцы прорывали фронт севернее, у соседей. Дивизии несколько раз отходили, но каждый раз резко отрываясь от противника и выводя всю материальную часть.

Кузнецов посоветовал нам поехать к Петрову. 25-я дивизия занимала оборону на левом фланге у Дальника. Потом Кузнецов рассказал нам, что оставшиеся после эвакуации подсобные цеха одесских заводов и мастерских наладили за эти дни производство минометов, а кроме того, чинят танки.

Нам выделили полуторку, и мы остаток дня занялись объездом города, решив ехать к Петрову завтра с утра. Со стороны лиманов по городу била тяжелая артиллерия. Била нечасто. В городе к этому уже успели привыкнуть.

Яша снимал одесские баррикады. Это было не так-то просто. Работавшие на строительстве баррикад одесситы, в особенности девушки, завидев человека с фотоаппаратом, поворачивались и пристально, не сводя глаз, смотрели на него.

Ближе к вечеру мы с одним из работников 7-го отдела поехали в тюрьму, где в бараках жили военнопленные немцы и румыны. Немцев под Одессой было мало,

они попадали одиночками, а румын, взятых за последние два дня и еще не отправленных морем в Крым, накопилось человек двести.

В помещение комендатуры привели румынского майора — командира танкового батальона. Привели и почти сразу же увели на допрос. Потом появился румынский капитан, который отрекомендовался мне убежденным англофилом и германофобом и высказал разные соображения о губительности этой войны для Румынии. Трудно было решить, где кончаются его истинные убеждения и где начинается страх за жизнь. Мне показалось, что в его словах было и то и другое.

Халип решил снять во дворе всех пленных, находившихся в лагере. Румынский капитан энергично стал помогать ему в организации этой съемки. Он командовал, строил пленных то в две, то в четыре шеренги.

Когда пленных отвели обратно в помещение, то двух человек оставили для разговора со мной и рассказали мне историю о том, как эти два крестьянина — подносчики снарядов в расчете румынского полевого орудия, — когда командир орудия и все остальные бежали, дождались около орудия наших, подняли руки, а когда их взяли в плен, попросили разрешения ударить из своей пушки по расположению немецкой батареи, которая была в полутора километрах оттуда и местонахождение которой они отлично знали. Им разрешили, и они выпустили по немецкой батарее весь боекомплект.

Я поговорил с ними. Оба они были люди уже не первой молодости, лет под сорок, с хорошими простыми крестьянскими лицами, с вполне очевидным и явным нежеланием воевать. Мне показалось, что если разобраться психологически, то, по совести говоря, они, очевидно, стреляли из своей пушки не столько из ненависти к немцам, сколько просто из желания хоть чем-то отблагодарить наших бойцов, которые взяли их в плен, не убили и раз навсегда избавили от этой войны.

Вернувшись в Одессу, мы забрались на верхний этаж в отведенную нам комнату. Это была небольшая классная комната с четырьмя столиками, учительским столом и сваленным в углу оружием. До войны в этом доме был какой-то институт. Мы сели с Халипом за стол, по-студенчески накрыли его газетой, вытащили еще остававшиеся у нас харчи и недопитую бутылку коньяка.

Ночь была тихая. Лишь изредка то здесь, то там с интервалом в десять-пятнадцать

минут рвался дальнобойный снаряд. Выпили за Одессу и за Москву, заснули поздно, а на рассвете выехали на полуторке по направлению к Дальнику, в 25-ю дивизию.

Расстояния до передовой здесь были мизерные, и мы, не учтя этого обстоятельства, проскочили по дороге довольно далеко вперед, никак не предполагая, что оставшаяся сзади нас километрах в пяти слева от дороги большая деревня и есть тот самый Дальник, где стоит штаб 25-й дивизии. Мы ехали вперед до тех пор, пока не уперлись в огневые позиции полковой артиллерии. Командовавший там лейтенант на заданный нами между двумя залпами вопрос: где штаб дивизии, — только пожал плечами и махнул рукой назад. Здесь, на передовой, ему, наверное, казалось, что Дальник и расположенный там штаб дивизии где-то черт знает как далеко, в глубоком тылу.

Мы развернули машину, поехали обратно к Одессе и, свернув на проселок, въехали в Дальник.

Дальник оказался большим южным селом. Часть домов в нем была совершенно цела — они стояли чистенькие, беленькие, как ни в чем не бывало, а другие дома, тут же рядом, были вдребезги разбиты.

Штаб помещался на краю села. Ни командира, ни комиссара дивизии мы не застали. Нам сказали, что они уехали в полки, и порекомендовали, если мы сами тоже хотим ехать туда, поехать в полк к комиссару Балашову и командиру — татарину, фамилия которого выскочила у меня из памяти. Этот командир был вчера вечером тяжело ранен и отправлен в госпиталь, но про полк еще говорили как про его полк.

Перед отъездом нам предложили посмотреть политдонесения. Я не любил заниматься этой работой, и в нескольких случаях, когда все-таки пробовал что-то написать по политдонесениям и другим документам, у меня это плохо получалось. Видимо, для того, чтобы что-нибудь понять, мне нужно или увидеть это самому, или по крайней мере хоть услышать рассказ живого свидетеля, который я сначала записываю таким, какой он есть, а потом уже начинаю думать, как написать об этом в газете.

Я сказал, что политдонесения мы посмотрим на обратном пути, а сейчас поедем. Халип был недоволен. Он здесь, в Одессе, впервые влезал в войну и, видимо,

хотел влезать в нее, как в горячую воду — постепенно: сначала опустить одну ногу, потом — вторую. Вспоминаю это не в упрек ему — это было так естественно для первой поездки на фронт. Но у меня самого было другое желание — сначала сделать более трудное, а потом, уже на обратном пути, заниматься более легким.

Яша снял около штаба нескольких только что приведенных с передовой пленных, мы сели в полуторку и поехали в штаб полка. Он находился в поселке Красный Переселенец, лежавшем слева от шоссе, шедшего, по-моему, на Беляевку.

Едва мы отъехали километр от штаба дивизии, как за нами, там, где мы только что были, раздался сильный грохот и поднялись хорошо знакомые, похожие на черные рощи, купы взрывов. Немцы опять бомбили Дальник. Я пошутил над Яшей, что если бы мы задержались, как он хотел, то как раз попали бы под бомбежку, а теперь едем вперед и все в порядке.

Проехали еще два километра. Над дорогой прошло несколько звеньев немецких бомбардировщиков. Впереди виднелась полоса посадок. Где-то там, за этой полосой, был Красный Переселенец. Переждав, пока над дорогой летели бомбардировщики, мы решили ехать вперед, оставив те деревья, под которыми укрылись с машиной. Яша хотел еще переждать под деревьями и дальше идти пешком, потому что дорога до посадок простреливалась редким артиллерийским огнем. Я сказал, что мы быстрей проскочим на машине и у нас будет даже меньше шансов попасть под снаряд, чем если мы пойдем пешком.

Так и вышло. Мы преспокойно доехали до посадок, и пока мы ехали, не разорвалось ни одного снаряда. Укрыли в посадках машину и, оглянувшись назад, увидели, что как раз там, где мы только что останавливались, в той купе деревьев, начали одна за другой рваться бомбы. Должно быть, немцы заподозрили, что под этой купой укрывается что-то существенное. Теперь Яша поверил в нашу звезду и уже не спорил.

От посадок шел спуск в небольшую лощину. Метрах в семистах впереди, на другом скате стояли десятка три домиков. Это и был Красный Переселенец. В посадках, где мы остановились, был полковой перевязочный пункт. Впереди над Красным Переселенцем виднелись дымы минных разрывов и слышалась частая пулеметная трескотня. Мы оставили в посадках шофера с полуторкой и, забрав винтовки, двинулись к Красному Переселенцу. Сперва шли полевой дорогой, а

потом по полю, чтобы сократить путь. Едва свернули, как рядом свистнуло несколько пуль. Я впредь до выяснения обстоятельств сразу же благоразумно приземлился. Яша последовал моему примеру.

Я огляделся. Откуда стреляли, было совершенно непонятно. Очевидно, это все-таки были долетевшие откуда-то случайные пули. Мы поднялись и пошли. Свистнуло еще несколько пуль — должно быть, таких же случайных, как и первые. На этот раз мы удержали себя в вертикальном положении и, через несколько минут добравшись до хутора, отыскали штаб полка.

На хуторе было мало людей. Капитан, который только что приехал из дивизии заменить раненого командира полка, сказал, что он тут вообще остался сам-пятый; все остальные, в том числе и комиссар, ушли отбивать контратаку. Мы накоротке поговорили с капитаном и решили подождать комиссара. Тот пришел минут через тридцать. Он был без фуражки, в совершенно выгоревшей гимнастерке и пыльных рваных сапогах. Первые три минуты от него ничего нельзя было услышать, кроме сплошного мата. Было даже не понятно, кого он ругал. Кажется, кто-то в чем-то провинился и он кого-то задним числом распекал, прерывая ругань смехом.

Это был веселый и задорный человек, только что выбравшийся из многочасового боя. Немножко успокоившись и выяснив, что мы корреспонденты, он грустно вздохнул. По этому вздоху я почувствовал, что у него уже был кто-то из нашего брата. Был и, кажется, не понравился. Если так — значит, нам предстояла дополнительная задача преодолевать заведомое душевное нерасположение.

Мы представились, и я сказал ему, что мой товарищ — фотокорреспондент — кое-что снимет у них в полку, а я должен написать для «Красной звезды» об их боевых операциях за шестьдесят дней войны.

— Хорошо, — сказал комиссар. — Сейчас я вам расскажу.

Он отрекомендовался старшим политруком Балашовым, сел за стол и стал рассказывать мне в подчеркнуто быстром темпе: такого-то числа — то-то, такого-то числа — то-то, такого-то числа — то-то. Послушав минут пять, я остановил его и сказал, что мне интересно не это, я просил бы его рассказать мне, как все это происходило, о чем он думал во время боев, что чувствовал — все подробности.

— Так это же долго, — сказал он.

Я сказал, что ничего.

— Да я же буду занят.

Я сказал, что мы подождем.

— Да я, может быть, весь день буду занят.

Я сказал ему, что тогда мы здесь переночуем и он расскажет нам завтра. Его лицо прояснилось, и он сказал:

— Приезжали тут два корреспондента, говорили: давай-давай быстрей расскажи. Я им быстро все рассказал, и они через пятнадцать минут уехали. Очень торопились.

Все это было сказано с долей горечи, и я еще раз понял ту простую истину, что мы неверно поступаем, когда даже не из трусости, а порою из-за газетной торопливости приезжаем, берем то, что нам нужно, вскакиваем на машину и едем обратно — и все это за десять минут. А люди, которые месяцами не вылезают с передовой, не упрекая нас вслух, в душе бесконечно обижаются на это.

После того, как Балашов выяснил, что я не тороплюсь, оказалось, что и у него есть время, и он целых полтора часа рассказывал обо всем происходившем с их полком за два месяца войны.

На исходе второго часа на столе появилась бутылка виноградной водки, помидоры. Мы выпили по стопке и продолжали разговор, собираясь выпить по второй, как вдруг грохот разрывов, который до этого все время слышался вдали и к которому мы уже привыкли, стал приближаться и мины начали рваться совсем близко. Балашов подошел к окну, посмотрел, снова сел и налил водки. Мы выпили. Он продолжал рассказывать. Разрывы были совсем близко. Вошел кто-то из командиров и доложил, что немцы накрыли командный пункт, какие будут распоряжения?

— Да никаких, — сказал Балашов и продолжал рассказывать.

Командир стоял в дверях.

— Ну? — повернулся к нему Балашов.

— Может, в укрытие? — спросил командир.

— Идите, идите, — сказал ему Балашов и, обратившись ко мне, добавил: — Мы вот водку выпьем и тогда подумаем. Может, они к тому времени и перестанут.

Он рассказывал мне еще четыре часа, потом мы выпили еще по стопке. Он еще минут десять проговорил, а когда кончил, обстрел действительно прекратился.

— Ну вот и переждали, — сказал Балашов. — Как я говорил, так и есть.

Пока шел обстрел, он сидел очень спокойно, не подчеркивая своего спокойствия. Видимо, то, что происходило, было для него привычным и по его понятиям не составляло особенной опасности. У каждого человека на фронте есть в его представлениях какая-то особенная опасность, которой надо бояться. Но для разных людей она разная. Для меня этот близкий обстрел был особенной опасностью, а для Балашова нет. Для него особенной опасностью было ходить сегодня в атаку. И он этого не скрывал и говорил об этом именно как о пережитой им особенности. Что до меня, то хотя я боялся этого обстрела, но у меня не было желания прерывать разговор и выбегать куда-нибудь из избы. Не потому, что не хотелось показать своего страха перед Балашовым, а потому, что к этому времени у меня уже образовалось чувство, что чем меньше на войне суетиться и переходить с места на место, тем это правильнее. А вдобавок ко всему во мне еще жил остаток абсолютно гражданского ощущения относительной безопасности от присутствия крыши над головой.

Когда кончился обстрел, к Балашову являлись с докладом какие-то его подчиненные, а потом пришел и долго разговаривал с ним новый командир полка — бывший начальник разведки дивизии капитан Ковтун, немолодой, грузный, [75] немного неуклюжего вида, а на самом деле — умница и культурный человек.

Халип улегся на полу. Меня пристроили спать на какой-то похилившейся койке. Я задремал. Потом проснулся. Балашов подсел ко мне. И вдруг этот загрубевший и изматерившийся на войне человек неожиданно для меня заговорил о литературе. Он знал по встречам в Академии имени Ленина многих литераторов, встречался с ними и, помимо академии, помнил их стихи, интересовался их судьбой. Вдобавок ко всему оказалось, что он еще по финскому фронту хорошо знаком с Долматовским.

Мне уже доводилось встречать и командиров, и политработников, которые вдруг в разговоре с тобой спешили показать и свой интерес к литературе, и свои познания

в ней. Иногда им хотелось блеснуть этим в разговоре с писателем, точно так же, как мне иногда хотелось блеснуть в разговоре с военными своими познаниями, полученными на курсах при Академии Фрунзе и Академии Ленина. Все это естественно. Но что касается Балашова, то в нем не было и тени этого. Просто он с такой же горячностью, с какой, очевидно, делал все в своей жизни, жадно интересовался литературой и литературными делами. Ему казалось срочно необходимым вот тут же, сейчас же, на этом хуторе под Одессой, узнать, что там с Долматовским, Вишневским, Уткиным, Вашенцевым и еще и еще с кем-то — уже не помню с кем.

Мы говорили с ним до поздней ночи, а потом я все-таки заснул, условившись, что с утра мы вместе поедем в минометную роту. Мне надо было сделать для «Звезды» статью о минометчиках, а Халипу — снять их.

Мы проснулись очень рано. Было серое, сырое, дождливое утро. Балашов сказал нам, что сейчас приготовят его танк и мы поедем на передний край — в минометную роту. Слово «танк» обрадовало нас с Халипом. Яше портило настроение то, что утро было такое серое. Он ныл, что в такое утро он, скорей всего, ничего путного не снимет, а если даже и снимет этих минометчиков на их огневой позиции, то получится обыкновенный скучный снимок и ни одна душа на божьем свете не узнает по такому снимку, снято ли это на переднем крае или где-нибудь в Сталинграде при тренировке запасных частей.

Впоследствии выяснилось, что он был прав. Снимок получился серый и скучный, и, по-моему, напечатали его в «Красной звезде» только потому, что он был сделан на переднем крае с риском для жизни.

Мы вышли на улицу вместе с Балашовым и у стены соседней хаты обнаружили то, что он гордо именовал своим танком. Это был маленький тягач «комсомолец» с двумя слегка бронированными местами для водителя и стрелка и с открытой линейкой сзади для всех прочих. Но Балашов без улыбки называл эту штуку танком, и мы сели на его «танк» и поехали к переднему краю.

Когда мы ехали к переднему краю, на правый фланг батальона, Балашов посадил нас с Халипом на правую сторону линейки — дальнюю от противника, а двух своих командиров — на левую сторону. Потом, когда мы ехали обратно, пересадил нас всех наоборот. Он, разумеется, знал, что мины могут разорваться с

одинаковым успехом как слева, так и справа от нашего «комсомольца», но, очевидно, рассадил нас так ради большего спокойствия штатских людей, которым всегда в глубине души все-таки хочется быть на полметра подальше от неприятеля. Что касается самого Балашова, то он ехал на месте стрелка, но не сидя, а стоя, по грудь высунувшись из-за броневого прикрытия.

Мы пересекли длинное поле и свернули к посадкам. Там были нарыты щели, а кое-где и маленькие блиндажики с символическим покрытием в одну доску и на вершок земли сверху. Здесь, в посадках, мы познакомились с командиром батальона и, оставив наш «танк», пошли вперед уже пешком.

Полоса посадок поворачивала к позициям. Мы сначала шли вдоль них, а потом выбрались на совершенно открытое место. Впереди лежало боевое охранение, а сзади него, в ямках, стояли четыре легких миномета. Это и считалось минометной ротой.

Когда мы подошли, румыны дали несколько минометных залпов. Явно не по нам — один куда-то влево, другой вправо, но все-таки довольно близко.

Халип, посмотрев в абсолютно серое небо, довольно спокойно сказал, что из снимка все равно ничего хорошего не выйдет, но раз это непременно надо к моей корреспонденции — ну что ж, он будет снимать, недаром же, в конце концов, мы шли сюда. Он вынул под дождем свой аппарат и стал примериваться к минометчикам. Они в это время вели ответный огонь по немцам. То один, то другой миномет хлопал в нескольких шагах от нас с таким же точно глухим треском, с каким это происходило три месяца назад, в начале июня, под Москвой на полигоне в Кубинке, где я тогда обучался на курсах военных корреспондентов.

Румыны снова начали бить из минометов. Наше положение было довольно глупое. Минометчики сидели в окопах, и снимать их приходилось сверху, стоя на абсолютно открытом месте. Однако делать было нечего, и Яша, ворча, стал снимать, переходя с места на место.

Мне хотелось или лечь на землю, или забраться в окоп к минометчикам. Думаю, что в эти минуты такое желание было и у Балашова, несмотря на весь его боевой опыт. Но сделать это, оставив на поверхности одного занятого своей работой Халипа, ни Балашов, ни я не могли. В ответ на ворчание Яши, что при такой погоде вообще не известно, какая нужна выдержка, я довольно нервно — потому

что мне было не по себе — сказал ему, чтобы он снимал на тик-так.

Но после этого откровенного признания Яша продолжал отвратительно долго и тщательно, с разных позиций, снимать минометчиков, несмотря на свои дрожащие руки.

— Молодец, — сказал мне Балашов, слышавший этот разговор.

Я сначала подумал, что он иронизирует, но оказалось, что это не так.

— Молодец, — повторил он. — Вот ведь как боится, а все-таки снимает. Так и все мы. В этом все дело на войне. А больше ничего особенного на войне и нет.

Наконец Халип сфотографировал все, что требовалось, и мы вернулись к посадкам. Едва мы дошли до них, как румыны стали кругом гвоздить из минометов. Поневоле настоявшись под огнем там, у минометчиков, во время фотографирования, здесь я немедленно лег на землю при первом же близком разрыве. Халип последовал моему примеру. Балашов не ложился. Только когда мина свистела близко, приседал, готовый тоже лечь, если это будет необходимо.

Учитывая свой последующий опыт, имею основания думать, что, будь у меня этот опыт тогда, я бы тоже не ложился. Нам казалось, что вот-вот мины разорвутся рядом, а на самом деле они рвались довольно далеко от нас и ложиться, в сущности, не было нужды. Балашов не ложился потому, что у него был опыт, а не потому, что он бравировал перед нами.

Командир минометной роты вернулся вместе с нами на командный пункт батальона. В окопе я записал несколько его соображений об использовании минометов. Он говорил о необходимости сдваивать их и быстро перевозить с места на место на закрепленном за каждым минометным взводом грузовике и утверждал, что именно так и делают немцы, поэтому и создается впечатление о их преимуществе в минометах даже тогда, когда у них нет реального превосходства. Потом, вернувшись из Одессы, я изложил это в маленькой статье, напечатанной в «Красной звезде» без моей подписи.

Пока мы разговаривали с командиром роты, румыны продолжали минометный обстрел. Клали мины аккуратно, в шахматном порядке, но все они, пройдя над нашими головами, ложились за посадками, в поле, на пустом месте.

Закончив свои дела и переждав обстрел, мы снова сели на «танк» Балашова и

вернулись с ним на командный пункт полка. Там мы простились с Ковтуном и Балашовым. К тому времени, когда мы встретились с Балашовым, он был уже три раза легко ранен. Положение под Одессой было тяжелое, и, честно говоря, я не думал, что еще когда-нибудь встречу его живым и здоровым. [76] Однако вышло по-другому, и я снова встретил его в декабре за тысячу километров от Одессы, под Богородицком, в штабе 10-й армии в дни нашего наступления под Москвой.

Мы пешком добрались от Красного Переселенца до посадок, в которых стояла наша машина. Шофер был жив и здоров, а машина в полном порядке, хотя кругом, в посадках, и в этот день и накануне немецким артиллерийским огнем убило и ранило много людей и лошадей и изуродовало несколько машин.

Мы поехали обратно в Дальник в надежде хотя бы на обратном пути застать генерала Петрова.

Мы сидели в Дальнике около маленькой белой мазанки и ждали Петрова. Он все еще не возвращался, был где-то на передовой, а мы сидели и ждали его, сокрушая один за другим мелкие недозрелые арбузы.

Потом я зашел ненадолго в особый отдел дивизии, а когда вернулся, взволнованный Халип сказал мне, что только что передали по радио: наши и английские войска перешли иранскую границу и вступили в Иран. Не успел он мне это сказать, как началась бомбежка. Мы вместе с несколькими штабниками спустились по крутой каменной лестнице в какой-то прохладный и глубокий подвал, очевидно, служивший раньше винным погребом.

На улице к этому времени погода уже разгулялась и стояла жара, а в подвале было так хорошо и прохладно, что оттуда не хотелось выходить даже после того, как немцы отбомбились. Сидя там, в подвале, Яша предложил мне немедленно возвратиться в Севастополь, оттуда — морем в Батум — и таким образом первыми из всех военных корреспондентов оказаться в Иране.

Идея мне понравилась, но было еще неясно, происходят ли в Иране военные действия, или, может быть, все это сводится к мирной оккупации. А если так, то отъезд туда с фронта мог оказаться, мягко говоря, неправильным. Я предложил добраться до Севастополя и оттуда соединиться с редакцией — как она решит.

Мы вылезли из подвала и еще с полчаса прождали Петрова. Наконец он приехал. Одна рука у него после ранения плохо действовала и была в перчатке. В другой

он держал хлыстик. На нем была солдатская бумажная летняя гимнастерка, с неаккуратно пришитыми, прямо на ворот, зелеными полевыми генеральскими звездочками, и замызганная зеленая фуражка. Это был высокий рыжеватый человек с умным усталым лицом и резкими, быстрыми движениями.

Он выслушал нас, постукивая хлыстиком по сапогу.

— Не могу говорить с вами.

— Почему, товарищ генерал?

— Не могу. Должен для пользы дела поспать.

— А через сколько же вы сможете с нами поговорить?

— Через сорок минут.

Такое начало не обещало ничего хорошего, и мы приготовились сидеть и ждать по крайней мере три часа, пока генерал выспится.

Петров ушел в свою мазанку, а мы стали ждать. Ровно через сорок минут нас позвал адъютант Петрова. Петров уже сидел за столом одетый, видимо, готовый куда-то ехать. Там же с ним за столом сидел бригадный комиссар, которого Петров представил нам как комиссара дивизии. В самом же начале разговора Петров сказал, что он может уделить нам двадцать минут, так как потом должен ехать в полк. Я объяснил ему, что меня интересует история организации Первой Одесской кавалерийской дивизии ветеранов и бои, в которых он с ней участвовал.

Петров быстро, четко, почти не упоминая о себе, но в пределах отведенного времени, давая краткие характеристики своих подчиненных, рассказал нам все, что считал нужным, об этой организованной им дивизии, потом встал и спросил, есть ли вопросы. Мы сказали, что нет. Он пожал нам руки и сказал комиссару, назвав его по имени и отечеству:

— Надеюсь, с товарищами все будет в порядке.

С этими словами он уехал.

Он был четок, немногословен, корректен, умен. Мне показалось тогда по первому впечатлению, что это, наверно, хороший генерал. [77] Так оно впоследствии и оказалось. И во время командования 25-й дивизией, и потом, когда Петров командовал обороной Одессы, и теперь, когда он командует обороной

Севастополя.

Что касается того «порядка», о котором Петров сказал комиссару дивизии, прощаясь с нами, то выяснилось, что имелся в виду обед. Во время этого обеда за нас взялся бригадный комиссар. По каким-то почти неуловимым признакам во время краткого обмена репликами между ним и генералом я почувствовал, что Петров относится к нему неуважительно, а может быть, даже неприязненно. Во всяком случае между ними был холодок.

Из дальнейшего разговора с комиссаром дивизии мне стала понятна причина этого холодка. Наш собеседник за обедом долго рассказывал о себе, хотя мы его отнюдь не расспрашивали. Рассказывал самодовольно и со многими, никому не нужными подробностями. Насколько я понял, он до своего недавнего назначения сюда сидел на тыловой работе. Может быть, это было и не так, но все его рассказы о боевых делах почему-то сводились к тому, как он принимал пополнение. Он рассказывал нам о своей системе приема пополнения. Что он говорит пополнению, как он это говорит, при каких обстоятельствах, какую при этом стремится создать обстановку, какие проникновенные слова находит и как это неотразимо действует.

По его словам выходило, что пополнение, принятое им лично, могло сразу же идти в бой и с успехом выполнять все поставленные задачи, независимо от предварительной выучки.

Я, может быть, несколько утрирую, вспоминая сейчас об этом, но по сути дела разговор был именно таким. Я ничего не прибавил к нему. Я никогда больше не видал этого человека, но после этого единственного свидания расстался с ним в убеждении, что он болтун, а возможно, и трус. Я не запомнил и не записал его фамилии, хотя ему совершенно явно хотелось, чтобы я написал в «Красную звезду» статью о том, как он великолепно принимает пополнение.

В Одессу мы вернулись вечером. Я пошел на узел связи узнать, какие есть возможности для передачи материалов в Москву. У меня было твердое ощущение — и впоследствии выяснилось, что я не ошибся, — что большинство читателей газеты после известий о сдаче Кировограда и Первомайска думало, что Одесса тоже сдана, в сводках она не фигурировала, ни в одной корреспонденции не упоминалась. И это толкало меня на то, чтобы любыми средствами немедленно отправить материал об Одессе в Москву.

На узле связи мне, к сожалению, подтвердили то, о чем предварительно говорил нам еще бригадный комиссар Кузнецов, а именно — что передавать из Одессы материал можно только по радио и только шифром, не свыше тридцати групп, то есть не больше самой короткой заметки.

Это никак не устраивало меня. Оставалась другая возможность — отправлять материалы с попутным кораблем до Севастополя с тем, чтобы кто-то брал его в Севастополе, вез на машине в Симферополь и оттуда отправлял с попутным самолетом в Москву, а там его с аэродрома доставляли бы в редакцию. Теоретически это было возможно, но практически я знал, что ни одна корреспонденция таким сложным способом своевременно не дойдет. Тем более что ни в Севастополе, ни в Симферополе не было ни одного корреспондента «Красной звезды». Оставался один выход: если мы хотим быстро передать в Москву материалы — значит, мы сами должны отправить их из Симферополя.

Это было вторым соображением после мысли об Иране, которое окончательно толкнуло меня на то, чтобы, собрав первые материалы, выехать из Одессы в Крым, с тем чтобы потом вновь вернуться в нее.

С этим решением мы пошли к Кузнецову, а когда его не оказалось — к начальнику политотдела армии Бочарову.

Когда я объяснил ему, что нам придется поехать в Крым, чтобы передать оттуда материалы, а кроме того, согласовать по телефону с редакцией вопрос об Иране, он сразу поглядел на нас с заметной неприязнью. Я понял, что он считает нас людьми, испугавшимися тяжелого положения в Одессе и решившими «отдать концы».

Спорить было бесполезно, тем более что Бочаров прямо этого не сказал, а только стал говорить об Иране, что едва ли там будет что-нибудь интересное, и отдаленно намекать, что наш отъезд туда из Одессы будет некрасиво выглядеть [78].

Я сказал, что мы подумаем, но, независимо от Ирана, нам все равно нужно будет ехать с материалами в Севастополь, а потом мы непременно вернемся в Одессу. Он сказал, что мы совершенно свободно можем пересылать отсюда свои материалы кораблями. Наверно, он искренне считал так.

Я был убежден в обратном.

В итоге мы условились, что займемся еще некоторыми делами в Одессе, а через сутки зайдем к нему со своим решением.

Я вышел от него злым. Видимо, это был толковый и стоящий человек, но меня разозлило, что он подозревает нас в трусости и явно недоволен тем, что мы — корреспонденты — не спрашиваем его согласия, а только советуемся с ним.

Полчаса спустя я встретил одного из моряков, который сказал, что по части отправки в Севастополь следует обратиться к члену Военного Совета обороны Одессы — бригадному комиссару Азарову. Я спросил, давно ли он здесь. Оказалось, всего три дня. И я понял, что это, наверно, тот Азаров, с которым мы виделись недавно в штабе Черноморского флота.

Перед тем как идти к Азарову, мы наскоро поужинали в штабной столовой в подвале. За ужином вместе с нами за одним большим столом оказалось несколько молодых ребят. Некоторые из них были в гимнастерках без знаков различия, другие в форме НКВД. Ребята, вытащив из-под стола бутыль с вином, стали радушно угощать нас.

Возможно, это были хорошие парни, участвовавшие в смелых операциях, но здесь, подвыпив и познакомившись с нами, они наскоро стали выдавать мне и Яше, несмотря на полное наше нежелание, различные государственные тайны: что они оттуда-то и оттуда-то, что они на секретной работе и делают то-то и то-то, чтобы мы к ним заходили, и они расскажут нам то, чего еще никто не знает. Через полчаса, переполненные государственными тайнами, мы насилу расстались с ними и отправились к Азарову.

Азаров оказался именно тем самым бригадным комиссаром, с которым я встречался в Севастополе. Он только что прибыл сюда, в Одессу, но, как потом рассказывали мне люди, оказался, вместе с Петровым, душой Одесской обороны. Мягкий, вежливый и, видимо, где-то внутри твердый человек.

Он выслушал наши севастопольские и иранские планы и, сказав, что послезавтра, наверно, что-нибудь пойдет, написал нам записку контр-адмиралу, начальнику Одесской военно-морской базы. Потом он начал рассказывать нам о том, что успел увидеть в Одессе — как перевели население на военное снабжение, как все, что осталось в неэвакуированных цехах, работает теперь на оборону, делая минометы и ремонтируя и переоборудуя подбитые танки. Он советовал нам съездить в

Январские мастерские, а в заключение сказал, что завтра утром будет встречать теплоход «Грузия», который доставит сюда два батальона моряков.

Ночь мы провели все в той же классной комнате. По-прежнему из-за лиманов изредка била дальнобойная немецкая артиллерия и где-то далеко ухали разрывы.

Утром, когда мы подъехали к причалам, «Грузия» уже подошла и разгружалась. Борт теплохода был черен от морских бушлатов. [79] Моряки с гранатами у пояса, с полуавтоматическими винтовками через плечо, с пулеметами, дисками, иногда — с пулеметными лентами, в бушлатах и в касках молча спускались по трапам. Кое-где среди этого вооружения вдруг бросалась в глаза сунутая под мышку гитара или повешенный на плечо баян.

Халип закричал и начал кому-то махать пилоткой. Среди людей, находившихся там на борту, оказались кинооператоры Коган и Трояновский.

Моряки построились на причалах и двинулись в город. Это зрелище идущих через город моряков напоминало мне гражданскую войну — такую, какой она была по моим представлениям.

Из разговора на причалах я понял, что положение настолько тяжелое, что моряков через два или три часа уже бросят на фронт. И сейчас главной заботой было как можно быстрей переобмундировать их. Хотя их черные бушлаты производили заметное моральное впечатление на противника, но в смысле демаскировки они были, конечно, безумием.

Мы поднялись в город. В одно из зданий уже втягивалась рота моряков. Там, внутри, ее должны были переобмундировать. Другие моряки в ожидании толпились на улице. Из домов выбегали женщины, были и слезы и поцелуи. Какой-то морячок отпрашивался у командира сбегать домой, говоря, что он живет на соседней улице. Но тем временем уже действовала одесская почта, и пока он отпросился, его мать уже прибежала сюда и целовала его посреди улицы. Все это было очень трогательно. Моряки, как это всегда бывает с мужчинами, когда они собираются толпой и когда у них есть свободная минута, возились с детьми, цацкались с ними, поднимали их на руки. Играла гармошка, и кто-то плясал «Яблочко», и все, став в круг, подпевали. И над всем этим было чувство, что через два часа эти моряки, только что сошедшие с теплохода, уйдут в бой.

Они приехали спасать Одессу — это было написано на их лицах. Они хотели быть

героями, и женщины верили в то, что они будут героями, и от этого на улице было такое нервное, скоротечное, щемящее душу веселье.

Мы подвезли Трояновского и Когана в штаб и устроили в своей комнате, а сами поехали в Январские мастерские, где ремонтировались танки.

Основное оборудование, как и на других одесских предприятиях, здесь было эвакуировано, но довольно много рабочих осталось. В большинстве это были старики, коренные одесситы, не желавшие до конца расставаться со своей Одессой. В цехах оставалось кое-какое оборудование — старые горны, самые маленькие из паровых молотов, старые станки в механических цехах.

Мы обошли цеха вместе с начальником производства. Рабочей силы не хватало, и танки чинили все вместе — и рабочие, и танковые экипажи, два-три дня назад вышедшие из боя. Танки, в основном, были БТ-5 и БТ-7. У них, как обнаружилось на этой войне, была слишком легко пробиваемая броня, и в мастерских решили: раз чинить, так чинить — и наклепывали на башни танков дополнительные листы брони. Это несколько утяжеляло танки, не соответствовало техническим расчетам, но в бою, как говорили, оправдывало себя.

Цеха были старые, прокопченные и напоминали мне цеха заводов «Универсаль» и «Двигатель революции» в Саратове, где я когда-то проходил практику, мальчишкой. Люди в цехах работали по несколько суток подряд, не выходя. Рабочее время определялось не количеством часов и не числом бессонных ночей, а единственно тем, когда будет готов танк: «Вот как кончим, так и пойду спать».

Мы познакомились с тремя братьями-стариками. Они работали в мастерских с 1899 года. [80] Было им троим за шестьдесят. Все они были крепко сколоченные, угрюмые люди, с сильными руками, изборожденными морщинами и трещинами. Халип снял их втроем.

Не обошлось без глупостей. К нам привязался военный уполномоченный; пристал, что БТ-5 снимать можно, а танк Т-26 нельзя. Этот старый танк представлялся ему чуть ли не секретной машиной последней конструкции. Напрасно я пытался ему объяснить, что этому танку уже много лет, что множество таких разбитых танков Т-26 осталось на территории, занятой немцами. Ничего не действовало, и он мешал Халипу снимать. Разозлившись, я поговорил с ним на басах, и оказалось, что это нужно было сделать с самого начала. Он сразу стал обходителен и,

очевидно, решив, что я откуда-нибудь из особого отдела, завел меня в заводскую контору и стал мне плести какую-то длинную кляузу насчет начальника цеха и еще кого-то, что кто-то там соответствует, а кто-то не соответствует, и так далее и тому подобное. Чувствовалось, что этот маленький нудный человек даже сейчас, здесь, на заводе, где люди не спали ночей и работали как дай бог всем, все-таки ухитрялся держать в памяти какие-то старые препирательства и клеветы мирного времени. Я отвязался от него, и мы уехали.

С завода мы решили заехать в госпиталь, где, как нам говорили, лежал татарин-подполковник, командир балашовского полка. [81] Оставив машину у госпитального двора, мы вошли внутрь. Въезд во двор преграждали большие ворота. В них было прорезано окошечко, через которое выдавали пропуска. Перед воротами толпилось много народу. В Одессе одни части формировались, а другие пополнялись за счет местного населения, и родственники узнавали о том, что ранен муж или брат, обычно в тот же день, когда это происходило, или в крайнем случае на следующий день. Фронт был так близко, что раненых привозили в Одессу через час-два после ранения. Словом, все было так наглядно, как нигде.

Шли жестокие бои. Во двор один за другим въезжали грузовики; их сгружали и тут же нагружали ранеными, которых надо было эвакуировать дальше морем. В ожидании погрузки на госпитальном дворе в скверике лежали носилки с ранеными.

Мы долго искали подполковника по разным палатам. Всюду было битком набито. Сестры и санитары сбивались с ног. Все койки до одной были заняты, и между ними на полу лежали тюфяки или носилки. Каждый метр в госпитале был накрыт чем-то белым, на чем стонали, а иногда кричали.

Подполковника так и не нашли. Его уже эвакуировали.

Из госпиталя мы заехали к себе. Выяснилось, что вечером должен уходить в Севастополь эсминец, и я пошел на морскую базу с запиской Азарова, а Яша тем временем взял нашу полуторку и поехал на станцию Раздельная снять построенный одесскими рабочими бронепоезд.

На базе меня встретил контр-адмирал, высокий, бородатый, в морских брюках, заправленных в сапоги. [82] Он написал резолюцию на записке Азарова. И в ту же минуту все кругом зазвонило и загудело. Началась очередная воздушная

тревога, которую здесь с одесским юмором успели прозвать «УБ» — «Уже бомбили».

Я вышел от адмирала и пошел обратно в штаб пешком. Надо было идти километра четыре. Была тревога, трамваи не ходили. Я шел пешком через солнечный, раскаленный за день жарой южный город. На улицах, через которые я проходил, было мало следов бомбежки, и если бы не безлюдье и не погромыхивающие выстрелы зениток, могло бы показаться, что никакой войны в Одессе нет.

Добрался незадолго до того, как уже надо было отправляться на эсминец. Бочарова не было на месте, и я оставил ему в политотделе записку, что мы уезжаем в Севастополь, чтобы передать оттуда первые материалы, и, очевидно, через несколько дней снова вернемся в Одессу.

Халил вернулся из Раздельной в последнюю минуту, и мы поехали в порт.

Последнее воспоминание об Одессе. По трапу эсминца ведут под руки двух людей с мешками на головах. Как потом оказалось, это были наши старые знакомые — румынский майор и румынский капитан, которых мы видели в лагере военнопленных и которых теперь отправляли на Большую землю.

Эсминец отшвартовался уже в темноте, [83] и через несколько минут Одесса скрылась из виду.

Ночью мы сидели в кают-компании. Моряки расспрашивали о Западном фронте. Я начал рассказывать и вдруг почувствовал огромную усталость. Еще продолжал говорить, а потом вдруг ничего не помню. Проснулся, сидя за столом. Кругом никого, а за иллюминаторами уже светло.

В одиннадцать часов дня без всяких приключений мы оказались в Севастополе. Надо было связываться с Москвой. Я решил, что, поскольку транспортные самолеты все равно идут из Симферополя, есть смысл ехать прямо туда и звонить в Москву оттуда.

Мы быстро нашли Демьянова, сели в машину и, не заходя в штаб, махнули в Симферополь. Во второй половине дня мы были уже там и, по газетной традиции, заехали первым делом на несколько минут в редакцию «Красного Крыма». Заведующий военным отделом газеты Муцит — милый и расторопный парень — обещал, что если никакое начальство не поможет мне связаться с «Красной

звездой», то он попробует устроить это сам.

Из редакции мы пошли в штаб недавно сформированной в Крыму на правах фронта 51-й особой армии.

В коридорах штаба меня поразило обилие генералов. Мимо нас прошел по коридору высокий генерал-полковник, которого мы почему-то приняли за Апанасенко, оказалось, что это был командующий армией Кузнецов.

В Военном Совете армии мы познакомились с его секретарем Василием Васильевичем Рощиным — большим умницей; я потом не раз имел случай убедиться в этом. Это был спокойный, деловой, точный, иронический человек, всегда немножко грустноватый от сознания, что слишком многое делается не так , [84] как это нужно.

Рощин представил нас члену Военного Совета армии, бригадному комиссару Малышеву. Если не ошибаюсь, это был один из только что посланных в армию работников ЦК. Мы спросили Малышева об обстановке, которая складывалась вокруг Крыма. Мы уже слышали, что немцы в эти дни упорно пытались форсировать Днепр у Каховки. [85] Малышев подтвердил нам это и обещал помочь связаться по-телефону с редакцией. Но через час оказалось, что по армейской линии это не выходит, телефонной связи нет.

Мы пошли в Крымский обком партии, попытались связаться оттуда. Оказалось, что и там нет связи. Говорили о каком-то повреждении на линии. Тогда я зашел за Муцитом, и мы двинулись с ним прямо на телефонную станцию. На мое счастье, здесь, в Симферополе, только что прошла премьера «Парень из нашего города», и когда Муцит вызвал из недр телефонной станции старшую и познакомил меня с ней, сказав, что я автор «Парня», то девушка — дай бог ей счастья — ушла к себе, обещав помочь.

Мы отправились в какой-то санпропускник. Муцит устроил нас спать в кабинете директора, где стоял телефон. Часа в три ночи девушка, очевидно, с невероятными мытарствами — прямая линия через Харьков действительно не работала, — соединила меня с Москвой через Керчь — Краснодар — Воронеж. Я услышал далекий голос Ортенберга. Он спросил, откуда я звоню. Я сказал, что из Симферополя и что мы только сегодня вернулись из Одессы.

— Есть ли материалы?

— Есть на четыре или на пять подвалов.

— А снимки?

— Есть и снимки.

Я сказал ему, что послезавтра первым самолетом отправим ему и то и другое. Потом спросил его об Иране. Он ответил, что я поздно об этом говорю. Если бы я раньше имел возможность махнуть туда прямо из Одессы, это имело бы смысл. А сегодня там уже кончились всякие военные действия, и он будет отзывать даже тех, кого послал.

В заключение разговора он сказал, чтобы я зашел к его старому знакомому, корпусному комиссару Николаеву, члену Военного Совета 51-й армии.

На рассвете Халип сел проявлять пленки. У него набралось их шестнадцать штук. А я пошел в редакцию и с десяти утра до двух часов ночи диктовал, замучив трех машинисток. Я продиктовал один за другим пять очерков, и, пожалуй, за исключением одного, это были самые плохие очерки из всех, когда-нибудь мною написанных. Но что было делать? Самолет в Москву уходил утром, а первые материалы об Одессе надо было дать во что бы то ни стало. Из этих материалов один был напечатан «Красной звездой» целиком, три — в изрезанном виде, а один так и не пошел.

Кроме всего прочего, я вложил в пакет с очерками великолепный дневник одного румынского офицера, человека культурного, видимо, неглупого, еще очень молодого и по-человечески потрясенного ужасами войны.

«Дуглас», с экипажем которого мы должны были отправить в Москву свои материалы, должен был лететь завтра в час дня. Мы заснули глубокой ночью, безумно усталые, а утром, когда я стал перечитывать и поправлять очерки, а Халип возился со своей еще не досушившейся пленкой и собирался разрезать ее и делать к ней текстовки, вдруг позвонили из ВВС, что «Дуглас» летит не в час дня, а сию минуту.

Я позвонил на аэродром. Мне сказали оттуда, что действительно «дуглас» летит сейчас, что на аэродроме гости и самолет не может ждать. «Что значит гости? — подумал я. — Может, это условное обозначение налета немецкой авиации?» Но все-таки упросил, чтобы нас подождали десять минут.

Что было делать? Пленки были не готовы, но я уговорил Халипа завернуть все, что у него было, в газетные листы, пихнул его в машину, сунул ему за пазуху пакет с моими корреспонденциями, и мы понеслись на аэродром. Свой план я объяснил Халипу только по дороге. Делать нечего, текстовки сочинять некогда, он должен сам садиться на этот самолет и лететь в Москву.

Неожиданность решения так ошеломила его, что он сначала заспорил, а потом взял с меня клятву, что я никуда не уеду без него. Через два дня он должен был вернуться обратно.

На аэродроме на нас наорал дежурный. Самолет ждал вылета, а гости, о которых он говорил по телефону, были не условным обозначением немецких самолетов, а действительно гостями. С этим «дугласом» летели из Севастополя в Москву полтора десятка английских офицеров? [86] Вдобавок ко всему выяснилось, что у меня нет разрешения на полет Халипа. Я вытащил, как во всех решительных случаях, бумагу Мехлиса и все-таки уломал дежурного, обещав, что завезу разрешение от Военного Совета потом, после отправки самолета.

Несколько наших пассажиров и ожидавшие отлета англичане с любопытством смотрели на нас, когда мы с Халипом вылезали из машины: вот кого, оказывается, ждал самолет. Я еще имел более или менее приличный вид и мог сойти за какого-нибудь порученца, но Халип выглядел достаточно странно. Он вообще имел привычку носить ремень ниже живота, как беременная женщина, и подвешенный к поясу наган болтался у него сейчас как раз посредине живота. Пилотка, которую он несколько раз ронял то в проявитель, то в закрепитель, была покрыта тигровыми пятнами, а кроме того, в спешке одета звездой назад. Он шел к самолету, прижимая к груди огромный ком старых газет. На глазах удивленного экипажа и пассажиров я впихнул Халипа в самолет, дверцы захлопнули, он ошалелыми глазами посмотрел на меня через окно, слабо помахал рукой — и самолет улетел.

Вернувшись в Симферополь, я узнал, что сегодня утром корреспонденты «Известий» Виленский и Зельма поехали в Севастополь с намерением добраться до Одессы и сделать о ней полосу. Я поехал к Рощину и дал по военному проводу телеграмму в «Красную звезду»: «Выслал таким-то самолетом пять материалов Халипа со снимками. Не замедлите печатанием. „Известия" выехали Одессу делать

полосу».

Вечером самолетом пришел вчерашний номер «Красной звезды». Взяв его в руки, я с удивлением обнаружил на первой полосе шестьдесят строчек с заголовком «В Одессе» и с подписью: «От нашего спец. корреспондента К. Симонова». В первые минуты я ничего не понял. Я не передавал ни строчки, и всего несколько часов назад проводил Халипа. Только потом я сообразил, как это было сделало. Узнав позавчера глубокой ночью, что я вернулся из Одессы, Ортенберг, очевидно, в последний момент тиснул мою подпись под заметкой, составленной по материалам сводок. Подкопаться под это было нельзя. В Одессе я был, то, о чем писалось в заметке, видел, а на следующий день в редакции должны были появиться мои собственные материалы.

Я прождал Халипа в Симферополе двое лишних суток. В эти дни я написал для газеты стихотворение «Слово моряка» и передал его по телеграфу. А потом одно за другим написал несколько лирических стихотворений. На исходе четвертых суток, оставив в редакции «Красного Крыма» записку, что я уезжаю в Одессу, я в последний раз поехал на аэродром встречать Халипа, решив, если он не прилетит и с этим самолетом, прямо с аэродрома ехать в Севастополь, а оттуда — в Одессу. Пусть догоняет. В Крыму было абсолютно нечего делать. Казалось стыдным сидеть здесь. [87] Но Халип прилетел этим самолетом, и мы сразу отправились с ним в Севастополь.

По дороге Халип рассказал мне, что в Москве уже напечатано два моих материала и пошел ряд его снимков, что Ортенберг просил мне передать благодарность и что, по его словам, Мехлис доволен нашей работой. Ортенберг считает, что мы правильно сделали, что быстро съездили и вернулись, теперь нам нужно снова ехать в Одессу, но перед этим есть одно задание — отправить статью со снимками об одной из отличившихся подводных лодок. Надо до отъезда в Одессу сходить на подводную лодку и сделать это.

Я подумал, что с чужих слов у меня ничего путного не получится, и решил попробовать сходить на подводной лодке сам. Вечером, приехав в Севастополь, я пошел к начальнику штаба флота контр-адмиралу Елисееву и сказал ему о своем намерении. Он ответил, что один не может это решить, должен доложить командующему флотом вице-адмиралу Октябрьскому. Вышел на пять минут и

сказал, что вице-адмирал разрешает.

У Халипа было кислое выражение лица: ему не хотелось со мной расставаться. Но он молчал. Елисеев сказал, чтобы я завтра пришел один для дальнейшего уточнения, но чтобы я заранее учел, что подводное плавание будет длиться суток двадцать пять. Халип яростно пихнул меня под столом ногой, но отступать было уже некуда, хотя я, честно говоря, когда затевал все это, почему-то думал, что плавание будет длиться суток двое, от силы — трое. Но взялся за гуж — не говори, что не дюж. И я с некоторой запинкой сказал: «Ну что ж, двадцать пять так двадцать пять».

Мы вышли от Елисеева. Халип угрюмо молчал. Мы в этот вечер сидели и пили чай вместе с братьями — писателями из «Красного черноморца» Сашиным, Длигачом, Ивичем, Гайдовским в круглом садике Севастопольского ДПП. Потом к нам присоединился еще один наш коллега и, сидя с нами на скамейке под звездами в эту прекрасную южную ночь, начал рассказывать бесконечные боевые эпизоды. Как он воевал, как его обстреливали, как он обстреливал, как падали бомбы, как ему показалось, что его бросили, как потом оказалось — все в порядке, как они отступали, как стреляли пулеметы и били пушки. Все это было бесконечно длинно и ужасно. Я ненавидел его лютой ненавистью. Ночь была такая чудная; было так тепло и здорово, а он тут все жужжал и жужжал над ухом про свои боевые эпизоды, выедая всем нам печенку.

Оторвавшись от него, мы с Халипом ушли. И тут, оставшись наедине со мной, Яша устроил мне целую истерику за то, что я хочу пойти на двадцать пять суток в море. Он кричал, что это безобразие, что нас послали вместе и что я не имею права от него отделяться. Если бы на пять дней — ладно, но на двадцать пять! Газета будет целых двадцать пять дней сидеть без материала с этого фронта.

Последнее было, в общем-то, справедливо, и я в конце концов сказал ему, что когда пойду утром к Елисееву, то попрошу, если это будет возможно, устроить меня в какое-нибудь более короткое плавание. Утром у Елисеева я с запинкой сказал, что у нас на этом участке фронта больше нет ни одного корреспондента, что в крайнем случае я пойду на подводной лодке и на двадцать пять суток, но нет ли у них в виду какого-нибудь более короткого похода.

— Более короткого? — переспросил Елисеев. — Есть более короткий, но…

Была длинная пауза, из которой я понял, что более короткий поход есть, но адмирал по каким-то своим соображениям не особенно склонен отправлять меня именно в этот поход. Он попросил меня подождать, куда-то вышел и, вернувшись, сказал, что есть поход на шесть-восемь дней, но он бы все-таки советовал мне, если у меня есть возможность, пойти в двадцатидневное плавание.

Я ответил, что рад бы, но газета…

— Хорошо, — сказал он. — Пойдете на семь дней.

И послал меня к одному из своих помощников, который сообщит мне час и место, куда я должен явиться.

— Рекомендую вам, даже в вашей среде, не сообщать, что вы идете на подводной лодке. И когда — тем более, — прощаясь, сказал мне Елисеев.

Я зашел к комиссару штаба и договорился с ним, что Халипа возьмут на первое; же судно, уходящее завтра в Одессу. С Халипом мы договорились, что он отправится в Одессу дней на шесть и вернется примерно к тому же времени, что и я. А потом, когда мы передадим материалы, мы снова поедем вместе, смотря по обстановке — или еще раз в Одессу, или на Южный фронт, под Каховку.

Я просил Яшу вести в Одессе кое-какие записи, чтобы, когда он вернется, мы смогли вместе сделать по этим записям один-два очерка. Использовав таким образом все свои возможности, дав в газету и из Одессы, и с подводной лодки и текст и снимки, условились также о том, чтобы не говорить никому ни звука о том, что я пойду на подводой лодке, и сделать вид, что мы оба завтра отправляемся в Одессу.

Оставалось ждать завтрашнего дня. Вместе с ребятами из флотского театра мы пошли купаться. Море было теплое, с небольшой волной. Художественный руководитель театра Лифшиц — большой, красивый, еще молодой парень, — сидя на берегу, развивал мне свои идеи о синтетическом театре, [88] с которыми он носился уже много лет и где-то в провинции проводил в жизнь. Кажется, он был одним из учеников Охлопкова, а идея заключалась в том, что публика должна активно участвовать в зрелище, действовать вместе с актерами и что вообще все это должно быть своего рода тонкой, умно подготовленной народной игрой. Лифшиц говорил, что театр в тех трех измерениях, в которых он был, отмирает, что его так или иначе все равно заменит кино и единственная форма театра,

которая останется, это синтетический театр-зрелище.

Меня в тот вечер раздражал этот разговор. Отчасти потому, что я сам любил честную актерскую игру, в честных трех театральных стенах, но главное все же было не в этом, а в том, что мне казались нелепыми все эти разговоры о синтетическом театре, об отмирании или выживании театра и вообще споры об искусстве. Он говорил обо всем этом искренне, увлеченно, почти как одержимый, и я чувствовал, что у него, как и у многих других людей, все его интересы, помыслы, чаяния — все осталось там, за пределами войны. До войны ему, в сущности, нет никакого дела. У него только одна мысль — чтобы она поскорее кончилась и он мог опять заниматься своим синтетическим театром. Он еще не ощутил войну как бедствие: она ему просто мешала. Спорить с ним мне казалось бесполезным. Даже не хотелось возражать ему. Я молчал, а он долго говорил на эту тему.

На следующий день в девять утра мы переправились через Севастопольскую бухту и высадились на базе подплава. У пирса, рядом с другими, стояла и та лодка, на которой я должен был идти в поход.

Это была большая лодка крейсерского типа. [89] Командир дивизиона подводных лодок представил меня командиру лодки капитан-лейтенанту Полякову и его помощнику старшему лейтенанту Стршельницкому, под опеку которого я поступил.

Мы прибыли на базу в девять утра, а отплыли лишь в середине дня. Все это время было занято последними приготовлениями к походу. Лодку тщательно подготавливали, ибо плаванье предстояло довольно длительное, серьезное и дальнее.

— Пойдем к румынам, — не уточняя подробностей, сказал мне Стршельницкий. [90]

Халип за два часа успел сфотографировать всех, кого ему было нужно, начиная от командира и кончая наводчиком зенитного пулемета. Я же тем временем тихо сидел на мостике, наслаждаясь дневным светом, и смотрел на севастопольскую бухту, необычайно оживленную, с беспрерывно сновавшими по ней катерами и кораблями. В тот день, помню, Севастополь показался мне красивым, как никогда, быть может, потому что меня охватывала тревога перед предстоящим походом и с

непривычки было страшно.

Наконец часа через три нас обоих пригласили спуститься в лодку, зазвонил колокол, означавший сигнал срочного погружения, и лодка примерно на полчаса погрузилась в воду. Как нам объяснили, ее проверяли. Через полчаса мы снова всплыли.

До окончательного отплытия оставались считанные минуты.

К борту причалил катер с командиром бригады подводных лодок. Командир принял рапорт от Полякова о готовности лодки выйти в поход, пожал ему руку, пожелал доброго пути и спустился по трапу в катер. Яша, обняв меня, тоже слез по трапу, и катер отчалил. Халип долго еще, пока я его видел, махал мне рукой, и я почувствовал, что, расставаясь, он волнуется не меньше, а может быть, больше, чем я сам. В последнюю минуту он все-таки спросил у командира бригады, нельзя ли и ему отправиться в поход. Но тот быстро и категорически отказал, заявил, что и одного лишнего человека не полагается брать на лодку, а о двух не приходится и говорить.

Едва успел скрыться катер, как мы тоже двинулись к выходу из гавани. Буксир открыл перед нами первую боновую сеть, преграждавшую ход в бухту вражеским подводным лодкам, потом закрыл ее за нами и только после этого открыл вторую боновую сеть, и мы очутились вне пределов Севастопольской гавани. Вскоре Севастополь стал скрываться из виду.

В первые же два часа моего плавания на подводной лодке выяснилось, что у подводников своя система ознакомления вновь прибывшего с устройством лодки. Хотя мы шли на большой лодке типа «Л», но мне казалось, что на ней очень тесно. Бесконечное количество приборов, труб, каких-то медных шлангов, клапанов, рычагов. Наконец, узкие люки, ведущие из отсека в отсек. Все это без привычки делало лодку почти непроходимой.

Система моего знакомства с ней заключалась в следующем простом способе. Когда я ударялся обо что-нибудь головой, плечом, носом, ногой или какой-нибудь другой частью тела, ближайший подводник с невозмутимым лицом говорил: «А это, товарищ Симонов, привод вертикального руля глубины». «А это — клапан вентиляции». А когда я, не заметив, что люк открыт, шагнул и провалился до пояса в аккумуляторное отделение, то старший помощник Стршельницкий сначала

сказал мне: «А это аккумуляторное отделение» — и только потом протянул мне руку, чтобы я мог вылезти из этого отныне знакомого мне отделения.

Явился я на лодку в полном морском обмундировании — в кителе и суконных штанах. Эти штаны продержались на мне до обеда. Лодка шла полным ходом, и в ней было дико жарко. Дисциплина на лодке строжайшая. Но это дисциплина по существу. А формальной дисциплины в плавании не придерживаются.

На вахте почти все стоят в штанах на голое тело, в майках или в холщовых открытых комбинезонах. Сесть за командирский стол в расстегнутом френче, или без френча, или в комбинезоне за грех не считается. И в самом деле, застегиваться на все пуговицы и крахмалиться здесь просто невозможно физически.

Я сначала снял ботинки, потом — брюки и, наконец, — китель и проводил большую часть времени в трусах. Стршельницкий, смеясь, советовал мне нашить на них соответствующие моему званию нашивки.

На лодке все наоборот: самые рабочие часы — ночные, когда она всплывает на поверхность и оказывается наиболее уязвимой, — часы зарядки аккумуляторов. Поэтому в распорядке дня во время плавания все перевернуто; завтрак — в шесть часов вечера, обед — в полночь, ужин — в шесть утра.

Я пошел на лодке, потому что мне было интересно принять участие в плаванье. Но когда я уже оказался на ней, то мне с самого начала захотелось, чтобы плаванье поскорее кончилось. Я готов был пройти через все, что положено проходить в таких случаях, пережить все то, что переживают люди, идущие в поход, но при этом непременно хотелось остаться в живых и чтобы все положенное на поход время миновало как можно скорее.

Некоторые книги о подводниках воспитывают специфический страх перед этой профессией. У меня этого специфического страха не было. Мне не казалось, что погибнуть, задохнувшись в подводной лодке, — это как-то особенно страшно, страшнее всего другого. Мне лично самой страшной всегда казалась одинокая смерть пехотинца на поле боя. И особенно остро чувство этого страха я испытал уже позже, во время нашего зимнего наступления на Керченском полуострове. Тут этого страха одинокой смерти у меня не было. Наоборот, кругом меня были хорошие люди, настоящие мужчины; их всех связывало между собой чувство

большой общности — уже хотя бы по одному тому, что всем им предстояло или вместе выжить, или вместе погибнуть — и никаких других «или». Лодка пересекала море в седьмой раз за войну. Только здесь, уже в пути, я узнал от Стршельницкого, что мы идем не на дежурство в квадрате, а на значительно более опасную операцию. Нам предстояло минирование одной из румынских военных гаваней. Как мне популярно объяснили, опасность этой операции состояла в том, что нам нужно было войти в самую бухту и поставить мины почти на виду у немцев.

Насколько я понял, это была одна из тех невидных, но опасных и важных работ, которую на суше, наверное, можно сравнить с работой саперов, идущих впереди танков. Когда Стршельницкий рассказал мне об этом их боевом задании, я подумал о том, что, в сущности, это еще интереснее, чем дежурство в квадрате, хотя внешне и менее эффектно, чем то, о чем мы обычно читаем, чем потопление какого-нибудь корабля. Кроме того, мне стало ясно, что в данный момент это задание сугубо секретное и даже если лодка выполнит его самым блестящим образом, я не смогу написать об этом в «Красной звезде». С точки зрения редакции, мой поход на лодке окажется почти бесцельным, если нам не повезет по пути и мы походя не наткнемся на какой-нибудь корабль и не потопим его.

Я захватил с собой на лодку несколько книжек, но читал мало.

Лодку покачивало, а качка всегда усыпляет меня. Кроме того, я, как видно, все эти первые месяцы войны незаметно для себя здорово недосыпал и устал. На лодке меня все время клонило ко сну. К концу суток, когда нужно было подниматься на поверхность заряжать аккумуляторы, воздух в лодке становился тяжелым, сдавленным. Было не только душно, но чувствовалась какая-то тяжесть в движениях, в разговорах, даже, я бы сказал, в мыслях. Наверно, это было у меня с непривычки.

На вторые сутки похода меня подбили рассказать экипажу о событиях на Западном фронте. В одном из отсеков собралась в это самое спокойное время дневного подводного хода свободная от вахты часть команды. Моряки лежали и сидели на подвесных брезентовых койках. Мне дали тоже брезентовый раскладной табурет. Из двух соседних отсеков высовывались головы еще нескольких человек. Но входить сюда они не имели права. На случай боевой

тревоги ни в одном отсеке не должно находиться больше людей, чем положено.

Я, когда приходится что-нибудь рассказывать, обычно рассказываю спокойно. Но тут я почему-то вдруг стал говорить не похоже на себя — прерывисто, задыхаясь. Оттого, что я начал задыхаться, я стал волноваться, а оттого, что разволновался, стал еще сильнее задыхаться. В общем, говорить было очень трудно, и я даже не мог понять, в чем дело. Только потом я сообразил, что мне было просто физически трудно говорить: не хватало воздуху — мы были под водой уже двадцать часов.

Я рассказывал подводникам о Западном фронте, конечно, о многом умалчивая и приводя те примеры мужества, которые я видел и на которые мы опирались в своей газетной работе. Рассказывая, я заметил одну интересную психологическую подробность. Подводники были боевые люди, уже много раз рисковавшие жизнью, но когда я им говорил о других людях и других условиях, у слушавших было чувство, что самое настоящее не тут, где они, а там, где воевали те люди, о которых рассказывал я. У них было ощущение, что они сами как-то в стороне от самого главного, самого опасного и самого героического.

И потом, когда судьба забрасывала меня на разные фронты, и мне приходилось рассказывать людям на одном фронте о том, что происходит на другом, люди слушали и им всегда казалось, что самое настоящее и сильное происходит не там. где они. Это, видимо, свойственно русскому человеку вообще.

Когда Стршельницкий был свободен от вахты, мы подолгу разговаривали с ним. До войны он работал в нашем военном представительстве в Соединенных Штатах [91] и много рассказывал мне об этой стране. С командиром лодки Поляковым мы говорили реже, и в первую половину плавания, пока мы не выполнили задания и не пошли обратно, он показался мне человеком неразговорчивым и даже угрюмым. Роль командира на подводной лодке напоминает роль пилота, только здесь, на лодке, власть еще безграничнее и страшнее, чем на самолете. Командир — это единственный зрячий на лодке. Только он в решительные секунды смотрит в перископ, следовательно, только он может принять в эти секунды решение, и зачастую никто не может помочь ему советом, если бы он даже этого и хотел. Даже в момент наивысшего напряжения боя, когда, скажем, торпедируется неприятельское судно, цель видит только он — командир. Но даже и он не видит результата, самого мгновенья потопления. Это на подводной лодке не видят, а

слышат, потому что, торпедировав, она тотчас же уходит под воду, на большую глубину, чем перископная. Это та корректива, которую в современной войне внесла в работу подводных лодок авиация и глубинные бомбы.

В конце третьих суток мне дали в центральном посту посмотреть в перископ, и я увидел очень близко берег, каменистые горы, похожие на крымские, маленькие домики на горах. Все это было очень ясно видно. Но когда я стал поворачивать перископ, чтобы посмотреть, что находится слева и справа, то мне по-прежнему все время был виден берег. И лишь когда я повернул его почти на 180 градусов, в перископе показалась полоса воды. Мне объяснили, что мы находимся в одной из румынских военных гаваней. Очевидно, наступало время выполнять наше главное задание. Это было заметно по настроению на лодке. Все были напряжены.

Не желая задавать никчемные вопросы и вообще путаться под ногами, я улегся на свой диван в кают-компании, чувствуя, что лодка стопорит ход и производит какие-то эволюции. [92] Потом в каюту ввалился усталый Поляков, сел, положил руки на стол, а голову на руки, потом залпом выпил два стакана компота, потом стакан чая, потом расстегнул китель и с облегчением сказал, что «готово — заминировали» — и, чуть не задремав тут же, за столом, пошел спать.

Штурман лодки Быков, совсем молодой парень с круглым розовым лицом, сидя в своей штурманской кабине, вычислял обратный курс. [93] Я с облегчением думал о том, что теперь нам остается только вернуться в Севастополь. Но вскоре подошел Стршельницкий и сказал мне, что неожиданно получена шифрованная радиограмма, чтобы мы задержались еще на сутки у этих берегов. Грешным делом, меня это не особенно обрадовало.

Я могу вспомнить по дням почти всю свою жизнь на фронте, но когда я возвращаюсь к плаванью на подводной лодке, то дни и ночи были там так перепутаны, что вспоминается все вместе. Я ел, спал, получал информацию о ходе нашего плаванья и в один из дней сочинил для «Боевого листка» стихи о нашей «Л-4».

Стршельницкий в свободное от вахты время написал мне ответные шуточные стихи, в которых проезжался на мой счет. Дело в том, что я во время плаванья как-то сварил на камбузе огромную кастрюлю кофе по собственному рецепту, бухнув туда, кроме большого количества сахара, еще почти целую бутылку

коньяка, прихваченного мной на лодку. Я уверял при этом, основываясь на собственном опыте, что от черного кофе с коньяком вылетает из головы сон. После этого, в одну из ночей разрешив мне подняться наверх, на мостик, Поляков показал мне на круглое стекло телеграфа, наклоняясь над которым стоят командиры на вахте. Это стекло все полопалось: в него ударил осколок снаряда во время предыдущего плаванья. Но Поляков с абсолютной серьезностью уверял меня, что трещины на стекле образовались от того, что он после моего кофе всю вахту клевал носом. Над этой историей и подтрунивал Стршельницкий в своих стихах.

Прошли еще сутки. Не знаю, где точно мы находились в это время. Шли, кажется, каким-то ломаным курсом и теперь были в открытом море. Было ясное утро, прекрасная видимость. Лодка всплыла и шла в надводном положении. Вдруг матрос, стоявший у зенитного пулемета, повернулся к Полякову и сказал:

— Корабль!

Поляков взял бинокль и долго смотрел. Потом крикнул резким голосом:

— Срочное погружение! — и щелкнул ручкой телеграфа.

Я, скользя по поручням, ссыпался вниз, в люк, а вслед за мной и другие. Через пятьдесят секунд лодки уже не было на поверхности.

Мне разрешили остаться в центральном посту, рядом с перископом, к которому буквально прилип Поляков. Закинув руку за поручень перископа, так, как закидывают ее, когда плывут кролем, и, наваливаясь плечом, он поворачивал перископ то влево, то вправо. Одна за другой следовали команды: «Прибавить ход! Еще! Еще!» Корабль еще оставался в пределах видимости, но вскоре выяснилось, что, то ли заметив нас, то ли по случайному совпадению, он идет не встречным и не пересекающимся курсом, а прямо от нас. Постепенно его становилось все хуже и хуже видно в перископ. Должно быть, его надводный ход был больше нашего подводного.

— Товарищ командир! — вдруг азартно сказал Стршельницкий Полякову. — Я ведь все-таки бывший флагманский артиллерист бригады. Давайте всплывем.

Немножко поднагоним их и распатроним из артиллерии.

Поляков кивнул и отдал приказ к всплытию.

Когда лодка всплыла и мы поднялись на мостик, кругом была только вода. Неприятельский корабль исчез. Было только известно, каким курсом идти. Лодка стала развивать предельную скорость. Наконец в бинокль снова стал виден дымок на горизонте. Я спросил Стршельницкого, какая между нами дистанция. Он сказал, что миль семь.

Мы продолжали идти вслед за кораблем, но нагоняли его очень медленно. Погоня продолжалась уже около двух часов, а мы сблизились всего на полторы мили.

— Мы его так и до Румынии не догоним, — сказал Стршельницкий. — Товарищ командир, может, стрельнем, а?

— Далеко, — сказал Поляков. — Не попадем. Но давайте попробуем, все равно не догоним.

Стршельницкий звонким голосом подал расчету команду:

— К орудию!

Расчет занял свои места.

На горизонте теперь был виден уже не только дымок, но и удлиненная вверх черная точка — возвышавшийся над водой корпус судна. Стршельницкий произвел расчеты и каким-то особенным, торжественным, мальчишески задорным голосом крикнул:

— Прицел четыре. По вражескому судну — огонь!

Раздался выстрел, и впереди мостика все заволокло дымом. Когда дым рассеялся, на горизонте по-прежнему была видна дымящаяся черная точка. Потом, примерно через полминуты, немного левее нее, над морем поднялся высокий водяной столб.

— Два вправо. Огонь! — скомандовал Стршельницкий.

Снова выстрел, снова рассеивающийся перед мостиком дым. Но проходит пять секунд, десять, пятнадцать, тридцать, сорок, а на горизонте нет ничего, кроме все той же дымящейся черной точки. Неужели снаряд не разорвался? Стршельницкий смущенно смотрит в бинокль и теперь уже злым голосом командует:

— Прицел тот же. Огонь!

Третий выстрел. Когда дым рассеивается в третий раз, мы все с удивлением видим, что на горизонте ничего нет. Ровным счетом ничего — ни дыма, ни черной

точки. Это похоже на колдовство. Третий снаряд еще не мог долететь, не мог произвести никакого действия, а преследуемого нами судна уже не было.

Прошло еще несколько секунд, и впереди, примерно там же, где был первый водяной столб, появился новый — от третьего выстрела. Вдруг Стршельницкого осенила догадка: «Не может же в самом деле исчезнуть судно. Очевидно, наш второй снаряд попал прямо в него и вызвал взрыв, который совпал с моментом нашего третьего выстрела».

Хотя это объяснение Стршельницкого казалось неожиданным, но какое-нибудь другое трудно было найти. Конечно, попасть на таком расстоянии в движущееся судно почти без пристрелки, со второго снаряда — артиллерийский феномен, почти чудо. Но исчезновение корабля, если в него не попал наш снаряд, было бы еще большим чудом. Все, кто был на мостике, остановились на объяснении Стршельницкого. Однако добросовестный Поляков решил, что все-таки надо проверить, и отдал приказание идти полным ходом к месту, где, по нашим предположениям, должны были находиться обломки корабля, а может быть, и люди. Мы шли туда примерно три четверти часа, но когда дошли, не обнаружили на воде ничего — ни людей, ни обломков, — ничего, кроме огромных стай чаек, круживших над водой. Если наш снаряд попал в цель, то, очевидно, на судне был взрыв такой силы, что корабль буквально разнесло. Других объяснений случившемуся никто из нас не находил.

Впоследствии, когда мы уже вернулись на базу, выяснилось, что как раз в этот день и как раз в этом квадрате моря был потоплен, как это установила агентурная разведка, военный вспомогательный корабль малого тоннажа, груженный боеприпасами. [94]

Мы немного порыскали кругом, все еще надеясь найти хоть какое-нибудь доказательство потопления, потом Поляков приказал развернуться и идти обратным курсом. И погоня, и поиски обломков — все это было рискованно в том случае, если с погибшего судна успели дать радио, что их преследует подводная лодка.

Мы уже минут двадцать шли обратным курсом, когда краснофлотец, дежуривший у зенитного пулемета, повернулся к капитану и тихо сказал:

— Самолеты.

Поляков вскинул к глазам бинокль и дал сигнал срочного погружения. Мы опять посыпались в люк один на другого. Лодка скрылась под водой. На этот раз нам грозили глубинные бомбы, и мы продолжали погружение. Стрелка глубиномера показывала все больше и больше — пять, десять, пятнадцать, двадцать, двадцать пять метров. На глубине тридцати метров мы прекратили дальнейшее погружение и пошли продольным подводным ходом.

В принципе считается, что на глубине свыше тридцати метров даже в прозрачной воде самолет с трудом обнаруживает лодку. Так или иначе, мы прислушивались, задержав дыхание. Очевидно, самолеты были вызваны по радио, и теперь они будут крутиться над нами, поджидая, не попробуем ли мы всплыть, и бросая вокруг нас наугад по площади глубинные бомбы.

Все напряженно ждали. Глубинная бомба, сброшенная даже на некотором расстоянии от лодки, все равно может искалечить ее страшной силой удара распираемой взрывом воды.

Примерно через четверть часа до нас донеслись глухие взрывы.

— Бросает, — сказал Стршельницкий. — Бросает глубинные, но далеко. Очевидно, уйдем.

Мы шли под водой еще два часа. Потом Поляков, рассчитав примерный запас горючего, которым могли располагать кружившиеся над нами самолеты, решил всплывать. Когда мы поднялись на поверхность, уже вечерело, и вскоре наступила черная южная ночь.

Люк, выводящий из лодки наружу, наверх, проходит через маленькую, расположенную в ее верхней части рубку. При этом люк устроен не как прямой колодец, проходящий насквозь через два отделения, а эксцентрически, на манер коленчатого вала. В рубке, где специально для этой цели лежат каски, люди сидят и курят, видя над головой небо. Курят вдвоем, по две — по три минуты. У них есть время только на то, чтобы несколько раз затянуться и уйти, потому что внизу ждут своей очереди другие, а больше, чем по двое, здесь, в рубке, находиться нельзя. Я, как и другие, тоже сидел там на каске и через люк смотрел на черное южное небо со звездами. Потом по предложению Полякова выбрался наверх, на мостик.

Ночь была великолепная, море гладкое и слегка фосфоресцирующее. Небо темнее моря, и на нем много звезд. Мы вместе со Стршельницким бегло оглядели ночной

небосвод и заметили блестевшую отдельно от всех других звезд зеленую Венеру. Я полушутя, здесь же, на мостике, начал писать о ней стихи: «Над черным носом нашей субмарины взошла Венера — странная звезда» — и кончил их уже на следующее утро, когда мы подходили к своим берегам.

Я проторчал на мостике всю ночь — так там было хорошо. После недельного плаванья я чувствовал нехватку свежего воздуха и глотал его, как человек с пересохшим горлом пьет воду.

Обратно мы шли довольно долго, сложным маршрутом, минуя минные поля и всякие другие каверзы.

В Севастополь входили со стороны Ялты. Странно было видеть этот город, в котором я так много времени провел за последние три года и знал в нем каждую улицу и каждый дом. Странно было впервые видеть его с моря, да еще с подводной лодки.

Перед Севастополем появились встречавшие нас катера, а потом мимо нас прошла другая лодка для выполнения такого же задания, с которого мы возвращались. Сигнальщики с мостиков обменялись приветствиями:

— С благополучным возвращением, — просигналили нам.

— Желаем счастливого похода, — ответили мы.

К вечеру мы были в Севастополе. Пришвартовались у стенки подплава, последний раз пообедали на лодке, выпили по паре стопок водки, которую во время плаванья Поляков распорядился заменить вином, и я отправился в город.

Халип еще не вернулся из Одессы. Я немного побродил один по Приморскому бульвару и как убитый заснул в Доме Морского флота, в кабинете начальника на жестком канцелярском диване.

Я прожил два дня в Севастополе, ожидая возвращения Халипа и Демьянова из Одессы. Демьянов не захотел еще раз оставаться тут, в Севастополе, один с машиной и по собственному желанию отправился с Халипом в Одессу.

Сведения из Одессы в эти дни были тревожные, [95] и я беспокоился за товарищей. Впрочем, на то, чтобы особенно много думать, не было времени. Два дня я писал очерк о походе на подводной лодке. Он вышел довольно длинным и впоследствии в сокращенном виде появился в «Красной звезде» под заголовком

«У берегов Румынии». Закончив очерк, я отнес его на согласование в штаб флота, а со вторым экземпляром пошел к ребятам на подплав. Мы купались там со штурманом Быковым прямо с подводной лодки, ныряли в глубокую черную воду. Был уже вечер, и снизу, из воды, нагромождения серых прибрежных скал и таких же серых корабельных башен казались какой-то величественной путаницей.

После купания я прочел Полякову и Стршельницкому свой очерк. Кажется, он им понравился. Оказалось всего две технических погрешности. Я уже уходил от них, когда произошла забавная история. Поляков, видимо, недолюбливал корреспондентов и с моим присутствием на лодке примирился только к середине плаванья. [96] А когда я уже прощался с ним и со Стршельницким, вдруг подошли двое корреспондентов «Красного флота» и «Красного черноморца» и с ходу стали просить Полякова рассказать им подробности похода.

— Рассказывать трудно. Надо своими глазами видеть, — сказал Поляков.

Ребята ответили, что ничего, они по его рассказу представят себе всю картину.

— Я рассказчик плохой, — сказал Поляков. — Лучше вот спросите Симонова. Он с нами ходил. Он вам все очень интересно расскажет, может быть, даже интереснее, чем было. Все-таки писатель…

На следующий день мне вернули из штаба очерк с одной или двумя пометками. Я отправил его в Москву, а к вечеру вернулись из Одессы Халип и Демьянов.

В ту ночь мы долго сидели с Халипом на Приморском бульваре. Он рассказывал мне о положении в Одессе. В эти дни оно стало очень тяжелым. Город беспрерывно бомбили, штаб ушел в катакомбы. Словом, как я понял, Халипу пришлось туго. Он оказался молодцом и, кроме снимков, привез в блокноте материал для одной или двух корреспонденций. Я его просил об этом, чтобы мое плаванье на подводной лодке не отразилось на нашей информации об Одессе.

Халип привез из Одессы одну тяжелую для меня новость. После того как в «Красной звезде» появился мой очерк «Все на защиту Одессы», в котором я рассказывал, как одесситы своими руками ремонтируют танки, а в «Известиях» напечатали корреспонденцию о том, что в Одессе производят минометы и фанаты, немцы усиленно бомбили различные городские предприятия. Потом, здраво рассуждая, я пришел к выводу, что это было простое совпадение. Ни в моей, ни в другой статье не было указано, где именно все это делается, а немцы, как раз в

эти дни начав ожесточенно бомбить город, естественно, прежде всего обрушились на промышленные предприятия. Так подсказывал здравый смысл. Я не нес моральной ответственности за эту статью хотя бы потому, что на завод, где ремонтировались танки, меня направил член Военного Совета для того, чтобы я написал об этом корреспонденцию. Но в страшно напряженной, нервной обстановке осады все это воспринималось иначе, и Яша, рассказывая об этом, говорил, что в политотделе армии были сердиты и на меня и на Виленского и просто не могут слышать наших имен. Было тяжело на душе оттого, что пусть несправедливо, но все-таки впервые за войну какие-то люди, оказывается, проклинают твою работу.

Утром мы поехали в Симферополь. Первый день целиком ушел на то, чтобы разобраться в записях Халипа и сделать по ним две небольшие корреспонденции из Одессы. Одна из них не пошла, а вторая, «Батарея под Одессой», была напечатана в «Красной звезде» с двумя подписями — Халипа и моей. В этой корреспонденции среди прочего шла речь о командире морской батареи майоре Деннинбурге, который с первого дня войны ничего не знал о своей семье, остававшейся в Николаеве, и я втиснул в корреспонденцию несколько слов майора, обращенных к жене Таисье Федоровне и сыну Алексею. Это было сделано с таким расчетом, чтобы его семья, если она успела эвакуироваться из Николаева, прочла в газете, что майор жив и здоров.

Тогда я сделал это впервые, а потом несколько раз повторял этот прием, стараясь связать хотя бы через газету героев моих очерков с их семьями, особенно когда они с начала войны ничего не знали об этих семьях.

На другой день утром я пошел к члену Военного Совета 51-й армии корпусному комиссару Николаеву. Я хорошо запомнил этот день, потому что Андрей Семенович Николаев — человек, очень не схожий со мной и по возрасту, и по судьбе, и по многим взглядам, да и, в сущности, очень недолго мне знакомый, — заставил меня потом вспоминать о себе как об одном из моих близких друзей, как о человеке, которого я бесконечно хочу увидеть снова живым и здоровым.

Николаев был небольшой, плотный, я бы даже сказал, грузноватый мужчина, на вид лет сорока-сорока пяти. Узнав, что я явился к нему по приказанию Ортенберга, он встретил меня радушно и стал рассказывать, что хорошо знает

Ортенберга, что они вместе участвовали в боях в Финляндии. Я сказал ему, что мне бы надо поговорить с Ортенбергом, но я пока что не могу добиться этого. Он сказал, что попробует связаться с «Красной звездой» и вызовет меня.

Едва я вышел от Николаева, как меня снова позвали к нему. Он уже разговаривал с Ортенбергом. Смысл их разговора, кроме дружеских восклицаний, кажется, сводился к тому, чтобы я остался здесь, у Николаева, в армии на длительное время. Видимо, Ортенберг отвечал утвердительно. Потом трубку взял я. Ортенберг откуда-то очень издалека кричал, чтобы я держал тесную связь с Николаевым и бывал попеременно то здесь, в Крыму, то в Одессе.

— Но когда будешь ездить с Николаевым — осторожнее! — кричал он. — Он тебя угробит, имей в виду.

После этого разговора по телефону Николаев обратился ко мне уже как к своему человеку и сказал, что мы с ним тут все объездим.

— Отведем вам жилье, телефон поставим, чтобы была с вами связь, и будем вместе с вами ездить.

Кажется, у него сложилось впечатление, что меня к нему прикомандировали на веки вечные, и я понял, что он, хотя и воевал вместе с моим редактором, не знает до конца его беспокойного характера.

Я спросил у Николаева, какое положение в Крыму. Он сказал, что пока все спокойно, но немцы уже почти всюду, начиная с Геническа и кончая Перекопом, подошли вплотную к нашим укрепленным позициям и со дня на день можно ожидать столкновений. Это было для меня новостью. Я уже знал, что наш фронт по Днепру четвертого числа прорван у Каховки, но не предполагал, что немцы так быстро преодолеют большое расстояние и выйдут непосредственно к Перекопу.

Для нас, военных корреспондентов, в этой обстановке возникали дополнительные сложности. По сводкам, немцами еще не был взят Херсон и ничего не сообщалось о форсировании ими Днепра, а нам отсюда уже не сегодня-завтра придется начать писать о боях на подступах к Крыму. [97] Как это можно будет делать, оставалось совершенно неясным.

Николаев убежденно сказал, что ему приказано удержать Крым во что бы то ни стало, и лично он, пока жив, будет выполнять этот приказ. Потом Крым был

все-таки отдан, а Николаев остался жив. Но в этом его трудно винить. То, что этот человек не погиб, на мой взгляд, чистое чудо. Как мне потом рассказывали люди, видевшие его в последние дни ухода с Керченского полуострова, он оставался там до самого конца, явно ища смерти.

Разговор с Николаевым кончился на том, что он завтра едет осматривать позиции и берет меня с собой.

Вечером нам с Халипом была отведена чья-то квартира, пустая, большая, не известно было, что с ней делать. Но, застелив откуда-то доставленные койки выданными нам простынями и подставив к столу вместо стульев два своих чемодана, мы все-таки почувствовали себя домохозяевами. Договорились с Халипом, что я двинусь завтра с Николаевым, а он съездит в Севастополь и снимет там какие-то морские сюжеты, уже не помню какие.

Утром мы выехали с Николаевым на «эмочке» через Джанкой на Чонгарский полуостров. Ехали вчетвером — Николаев, я, его адъютант Мелехов, выглядевший совсем мальчиком — ему и было всего двадцать два года, — и шофер. К середине дня приехали в штаб дивизии на Чонгар.

Штаб дивизии был расположен на совершенно открытом месте. Все было довольно глубоко закопано и с точки зрения защиты от бомбежек неплохо продумано, но с точки зрения возможности отражения вражеских атак укрепления вокруг штаба дивизии как-то не внушали мне доверия. Казалось, здесь не предполагали, что немцы могут ворваться на Чонгарский полуостров, хотя, может быть, это было только мое личное восприятие.

В штабе дивизии нас встретил генерал-майор Савинов, человек, лицо которого трудно было запомнить, хотя, кажется, оно было даже красивым. Как мне показалось, он суетился и заискивал перед Николаевым. На вопрос Николаева, что делается в дивизии, он ответил, что немцы вышли к станции Сальково и заняли ее, [98] а один из батальонов расположенного в этом районе полка остался там, за станцией. Его не успели отвести, и сегодня вечером будет предпринята операция — мы будем атаковать станцию отсюда, с перешейка, с тем чтобы застрявший на той стороне батальон мог выйти сюда.

Николаев спросил, где комиссар дивизии. Генерал сказал, что комиссар поехал вперед, в полк. Николаев простился с Савиновым, и мы тоже поехали в полк. По

дороге мы остановились перекусить у огромной копны сена. Над степью крутились немецкие разведчики, и по ним отовсюду беспорядочно стреляли из пулеметов и винтовок.

Мелехов достал чемоданчик с продуктами. Водитель, человек лет сорока, семейный, недавно мобилизованный в армию, шофер первого класса, был, как я сразу почувствовал, на ножах с адъютантом. Будучи, в сущности, хорошим парнем, Мелехов никак не мог освоиться с той властью, которая оказалась у него в руках в качестве адъютанта, и невыносимо цукал шофера. Николаев сидел в стороне, слушал и морщился. Вдруг Мелехов сказал шоферу что-то обидное. Шофер огрызнулся и при этом расстроился так, что у него задрожали губы. Я посмотрел на Николаева, мне было интересно, как он поступит.

Николаев сказал:

— Ну что ж, давайте кушать.

Шофер отошел в сторону.

— А вы? — сказал Николаев. — Идите кушать.

— Нет, спасибо, — сказал тот, с трудом сдерживая слезы обиды. — Не хочу кушать, не могу.

— Почему же вы со мной не можете кушать?

— Я с вами могу, я с ним не хочу, — показал шофер на адъютанта.

— Тут я хозяин, — сказал Николаев. — Стол мой, и раз я вас зову — давайте уж кушать.

Была в его словах какая-то простота, душевность. Видимо, он сразу решал для себя: либо его разговор с человеком есть приказание, есть разговор начальника с подчиненным, либо для него все люди — братья. Именно так, в такой вот терминологии — братья, братки. Если он не приказывал, то все люди были для него одинаковы. Ему не могло быть все равно, станет ли с ним кушать шофер. Если бы тот все-таки отказался, он бы принял это за обиду для себя. Не как начальник, а как человек.

Перекусив, мы поехали дальше и, не заезжая в штаб полка, добрались до переднего края.

Крошечная глиняная деревушка была оставлена жителями. Впереди нее тянулись двойные ряды надолбов, несколько рядов колючей проволоки, были выкопаны противотанковые рвы. За ними, очевидно, шли минные поля. Слева и справа к перешейку подходил Сиваш — Гнилое море. Вперед уходила железнодорожная насыпь. От нее до воды в обе стороны оставалось примерно по километру. Но все это было перерыто окопами и перекрыто заграждениями. Единственным свободным от заграждений и от минных полей местом для нашего предстоящего наступления оставалась эта железнодорожная насыпь и непосредственно примыкавшая к ней полоса отчуждения — кусок земли шириной метров в сорок, может быть даже тридцать. Вдали, километрах в двух с половиной, виднелась станция Сальково с высоким белым элеватором. Было хорошо видно, что на станции стоит состав платформ с грузовиками.

Кроме нас троих, с нами был еще кто-то сопровождающий из штаба полка.

Начало наступления на Сальково было назначено на шесть часов. Но в шесть часов никаких признаков наступления не замечалось. И в половине седьмого и в семь — тоже. Мы прикорнули на травке около крайнего домика деревни. Пробуя взятый с собой фотоаппарат, я сделал несколько снимков. Пошел вперед к надолбам и проволочным заграждениям, пофотографировал их в нескольких ракурсах. Выглядели они довольно внушительно.

В четверть восьмого у нас за спиной началась артиллерийская канонада, и сразу же впереди, над Сальково, вздыбилась земля и все застлало дымом. В разрывах было видно в бинокль, как по дороге, которая вела от Сальково в тыл к немцам, шли машины. Они останавливались, с них соскакивали люди. Наша артиллерия продолжала бить. Самым заметным ориентиром была башня элеватора, и вокруг нее ложилось особенно много снарядов. В конце концов снаряд попал прямо в нее. Башня загорелась. Потом в нее попал еще один снаряд, и она рухнула.

Минут через пять после начала артиллерийского огня левей нас, вдоль насыпи, стали двигаться силуэты людей. Их шло много, цепочкой. Очевидно, это и был тот батальон, которому предстояло атаковать Сальково.

Начинало заметно темнеть. Николаев ругался, что из-за опоздания с началом наступления совершенно не обстрелянных людей фактически посылают в ночной бой. И мне показалось, что вот сейчас он пойдет и отменит все это, раз он с этим

не согласен, потому что отменить это вполне в его власти. Но он вскинул на плечо карабин и, кивнув мне и Мелехову, сказал:

— Пойдем посмотрим, как там батальон будет воевать. А то люди необстрелянные, ночь на носу, как бы чего не вышло.

Мы двинулись к насыпи. Когда мы дошли до нее, почти совсем стемнело. Часть батальона впереди втянулась на насыпь, остальные шли сзади нас. В темноте уже надвигавшейся ночи со стороны Сальково начали бить многочисленные немецкие пулеметы. Пожалуй, я впервые так близко видел ночью полет трассирующих пуль и вообще весь фейерверк ночного боя. Сложность заключалась в том, что у нас почти не было свободного пространства для наступления на Сальково. Кругом и справа и слева все было загорожено и заминировано. Правда, с двух сторон насыпи были глубокие кюветы, по которым можно было почти безопасно продвигаться, но беда состояла в том, что и здесь тоже была заранее поставлена система заграждений, рассчитанная на то, чтобы помешать противнику продвигаться в нашу сторону именно таким путем, которым сейчас мы продвигались в его сторону. Проволочные заграждения, надолбы и рогатки то с одной, то с другой стороны пересекали кюветы и подходили вплотную к самой насыпи.

В этих местах — а их на том отрезке, который прошел я, было четыре — приходилось подниматься из кювета, переваливать через насыпь, спускаться в противоположный кювет и идти по нему до следующего заграждения, потом снова подниматься на насыпь, снова переваливать обратно в этот кювет и так далее.

Пройдя с полкилометра, мы остановились и прилегли в кювете. Было уже почти совсем темно. Нас догнала шедшая сзади рота. Трассы пуль протянулись прямо над головами, сзади гремела артиллерия, впереди все ревело и рвалось. Люди шли, может быть, излишне пригибаясь, но, в общем, хорошо, быстро, почти не залегая.

Вместе с мужчинами шли девушки-санинструкторы. Перед глазами так и стоит одна из них — высокая, ловко охваченная ремнем, с висящей на плече сумкой. Она идет впереди пригибающихся санитаров, идет прямо, и мне кажется, что это именно она их ведет. Может быть, их, а может быть, и всю роту.

Здесь мы встретили комиссара дивизии. Николаев спросил у него, есть ли у него

связь с командиром дивизии, со штабом и как он оценивает обстановку. Комиссар дивизии сказал, что пункт связи находится метрах в трехстах сзади. Николаев приказал ему связаться со штабом дивизии и передать командиру дивизии или начальнику штаба, что он считает, что из-за опоздания со сроками начала наступления посылать сейчас необстрелянных людей в ночной бой нецелесообразно. Получив приказание, комиссар пошел обратно, на пункт связи. Он шел как-то странно, как пьяный, подаваясь то влево, то вправо, то и дело натыкаясь на насыпь.

— Что с ним? — спросил Николаев, проследив за комиссаром глазами.

Находившийся с нами штабной командир сказал, что у комиссара какая-то болезнь, вроде куриной слепоты. Он ничего не видит в темноте, но не хочет этого показывать и сердится, когда ему об этом говорят.

— Я пойду за ним незаметно, чтобы он не сбился, — сказал командир.

Несколько минут мы лежали под насыпью. У нас на глазах люди перескакивали через нее.

— Ну что ж, — сказал Николаев, — пойдем.

Мы тоже перевалили через насыпь. Люди кругом нервничали, волновались. Но у Николаева была какая-то такая повадка, что с ним рядом становилось спокойно. Я только потом сообразил, что мы в тот вечер были в довольно опасном месте. А тогда мне казалось, что мы находимся именно там, где нужно, — так вел себя Николаев и такое чувство умел внушать окружающим.

Перевалили через насыпь. Кто-то закричал, кого-то ранило. Потом опять пошли по кювету — теперь уже по левому. Навстречу нам пронесли несколько носилок с ранеными. Потом наткнулись на убитых. Потом опять пришлось переваливать через насыпь обратно в правый кювет. Немцы, кажется, видели перескакивавшие силуэты. Едва мы успели перескочить, как сразу же красная полоса очередей пролетела над насыпью. Мы снова пошли по правому кювету. Впереди оказалось еще одно сплошное заграждение из железных рогаток. Пришлось снова перелезать и опять идти вперед.

Вскоре рядом с нами оказался командир передовой роты и комбат. Теперь была уже полная тьма. Трудно было разобраться, сколько оставалось до Сальково, но,

судя по трассам немецких пулеметов, до первых домов станции теперь было не больше трехсот метров. Из этих домов и отовсюду кругом немцы вели сплошной заградительный огонь из пулеметов и автоматов. Вскоре начали бить немецкие минометы. Но они били не по нас, а куда-то дальше, в тыл, левее и правее насыпи. Должно быть, немцы боялись, что мы будем наступать на станцию через какие-то неизвестные им проходы в заграждениях.

По настроению людей кругом нас чувствовалось, что это их первый бой, что совсем не обстрелянные люди, в сущности, не знают, что делать, хотя готовы сделать все, что им прикажут.

Было очевидно, что идти с ними сейчас на Салькоово — значит рисковать всем батальоном без всякой реальной надежды встретиться в эту глухую ночь с нашим другим батальоном, оставшимся где-то там, позади немцев, и, вообще говоря, неизвестно куда двинувшимся после этого, потому что никакой связи с ним не было: Салькоово выходило за пределы нашей системы укреплений на Чонгарском перешейке.

Я чувствовал, что Николаев хорошо понимает всю эту обстановку, но почему-то не хочет принимать решений. Как я уже потом понял из его дальнейшего поведения, он считал неправильным самому непосредственно вмешиваться в решения командования при отсутствии абсолютно критической обстановки. Так он считал с точки зрения комиссарских принципов и комиссарской этики, как он их понимал. А по складу своей души, когда было тяжело и когда ему казалось, что бойцам плохо и что они чего-то не понимают и чего-то боятся, то для себя лично он находил простое решение: быть там, где тяжело, сидеть вместе с этими бойцами или идти вместе с ними. Необходимость поступать так он относил в первую очередь к себе и во вторую — к тем командирам, которые поставили своих бойцов в то или иное трудное положение, — и считал, что командира, имеющего привычку совершать нелепости и отдавать неоправданные приказания, лучше всего лечить от этой привычки, поставив его самого в те условия, в которых находятся люди, выполняющие это его приказание.

Мы присели на корточки у железных рогаток рядом с командиром батальона и командиром роты. Докладывая Николаеву обстановку, командир батальона, по-моему, бывший в полной неуверенности насчет того, что происходит и где у

него кто находится, однако, с аффектацией отчеканивая каждое слово, говорил, что вот сейчас такая-то его рота повернет туда-то, такой-то взвод развернется там-то, тот-то будет обходить слева, тот-то справа и так далее и тому подобное. Хотя было совершенно ясно, что в такой темноте все эти заранее расписанные обходы и маневры могут окончиться только тем, что свои перестреляют своих, не нанеся ущерба немцам.

Николаев сидел рядом с командиром батальона. Он, видимо, тянул время, ожидая, что командир дивизии вот-вот пришлет приказ отменить не вовремя начатое наступление. Мне казалось, что он ждет именно этого, а если не дождется, то сам прикажет приостановить действия.

Через несколько минут к нам подполз задохнувшийся штабной командир, принесший приказ командира дивизии отменить атаку на Салькoво и отходить. Этот человек, видимо, так долго полз на корточках и перебегал, согнувшись в три погибели, что здесь, у железных рогаток, где люди спокойно сидели и стояли, он все еще пригибался и приседал. Николаев сказал ему что-то едкое и, повернувшись, пошел обратно. Теперь он считал, что ему больше нечего здесь делать.

Бой затихал. Немцы стреляли реже, только кое-где вспыхивали пулеметные трассы. Николаев для скорости, чтобы не переваливать из кювета в кювет, теперь пошел обратно по шпалам. Пришлось идти вслед за ним. Через полкилометра мы перегнали группу людей — четверо бойцов несли на шинели убитого лейтенанта. В этих четырех черных фигурах, идущих по насыпи и несущих на шинели командира, было что-то напомнившее мне «Щорса» Довженко.

Мы добрались до деревеньки, сели в машину и доехали до штаба полка, в который не заезжали по дороге сюда. Там Николаев сделал вид, что он только что приехал и еще не был впереди. Командир полка бодро доложил ему, что наступление на Салькoво продолжается. Видимо, командир дивизии передал приказ об отмене атаки, минуя командира полка, непосредственно в батальон, а командир полка еще не удосужился связаться со своим батальоном, не знал, что там происходит, сам не позаботился отправиться туда и поэтому отрапортовал начальству то, что должно было сейчас происходить по его предварительному плану.

Николаев внимательно посмотрел на него и, не повышая голоса, сказал несколько

слов со своей обычной — кажется, я наконец подобрал для нее точное выражение — грустной язвительностью, — сказал, что он только что был там, под Сальково, что все, что говорит командир полка, совершенно не соответствует действительности, а для того, чтобы командир полка выяснил, что там впереди происходит на самом деле, ему надо пойти туда, а не сидеть здесь.

В штаб дивизии мы вернулись уже за полночь. Здесь нас встретил генерал Савинов. На этот раз он поразил меня не только заискивающими интонациями перед начальством, но еще и каким-то циническим бесстыдством. Он все признавал: что не вовремя наступали, что опоздали, что не дошли, что теперь отходим обратно, — но все это в его устах звучало так, словно так оно и должно было быть, что ничего другого и не могло произойти. Зато когда он повез Николаева на ночлег в деревню, то здесь проявил величайшую организованность.

Николаев ел нехотя, морщась. Кажется, ему хотелось только одного — поскорее лечь спать, только бы не говорить ни одной лишней минуты с этим неприятным ему человеком. Наскоро перекусив, перед тем как идти спать, он спросил Савинова, как обстоят дела на Арабатской стрелке. Тот сказал, что недавно ходили слухи, что на Арабатскую стрелку якобы переправились немцы, но что по предварительным сведениям все эти слухи не соответствуют действительности, хотя в дальнейшем это надо уточнить окончательно.

Мы проспали несколько часов в какой-то халупе, и утром Савинов вторично доложил Николаеву об Арабатской стрелке — что там все в порядке, что слухи о немцах оказались ложными; туда выехала группа работников политотдела армии, а он отправил полковника, командира своего правофлангового полка. Батальон этого полка стоит на самой Стрелке, и вообще все в порядке.

Николаев посоветовал командиру дивизии поехать по направлению к Сальково посмотреть лично, что у него там делается в полку.

— А вы? — спросил Савинов.

— А я, раз у вас все в порядке, поеду на Арабатскую стрелку, посмотрю, какой у вас там порядок.

Он это сказал с той неуловимой иронией, к который я уже привык за проведенный с ним день и которая означала, что он лично ни на грош не верит в то, о чем ему только что докладывали.

Через пятнадцать минут мы выехали к переправе, которая вела на Арабатскую стрелку. Изрядно поколесив и раза два вытащив машину из солончаков, мы добрались до отлогого берега, с которого шла переправа. Отсюда на Арабатскую стрелку, до которой было километров семь, шли парусные и моторные лодки. Сейчас туда переправляли роту. Вода была уже довольно холодная, и генические рыбаки, эвакуировавшиеся сюда, в Крым, причаливали лодки к берегу, стоя по пояс в воде. Погрузкой роты распоряжался пожилой полковник. Кажется, фамилия его была Келадзе.

Когда появился Николаев, полковник, подобрав живот, вытянулся и, почему-то — я только потом понял, почему — задыхаясь и волнуясь, доложил Николаеву то же самое, что недавно докладывал Савинов: что на Арабатской стрелке все в порядке, что он отправляет туда сейчас две роты и сам едет туда же.

— А правда ли, что туда вчера переправились немцы? — спросил Николаев.

Полковник сказал, что нет, что там все укреплено, что это неправда.

— А зачем вы тогда переправляете туда еще две роты и едете сами?

— А я еду, — отвечал полковник, — для того, чтобы все было обеспечено.

— Так у вас же и так там все обеспечено, — сказал Николаев.

— Да, но я еще хочу обеспечить.

Николаев усмехнулся сердито и недоверчиво и потребовал, чтобы ему дали моторку — он поедет на тот берег сам. Мы оставили машину и влезли в моторку в сопровождении полковника. Минут через сорок мы высадились на другом, таком же пологом, как и этот, берегу.

У переправы грелись на солнышке минометчики. Тут же, чуть поодаль, отдыхал еще какой-то взвод. Вообще обстановка была совершенно мирная. Еще более мирный вид придавали ей рыбаки, перевозившие нас сюда. Здоровые, молодые ребята с закатанными по колено мокрыми штанами. По их разговору, повадкам, обращению казалось, что все это происходит на рыбалке, и трудно было, глядя на них, поверить, что эти люди всего три дня назад угнали свои лодки от немцев, неожиданно ворвавшихся в Геническ, ушли из родного города, оставив там дома жен и детей.

В этом месте Арабатская стрелка представляет собою длинную узкую косу

шириной где в полтора, а где в два километра, с большим выступом километров на семь-восемь к западу, по направлению к Чонгарскому полуострову. На этот выступ мы и переправились. Теперь, если бы мы хотели добраться до конца Стрелки, до места переправы на Геническ, нам предстояло бы сделать километров двенадцать-четырнадцать. Сначала мы пошли пешком, но километра через два появился грузовик, и мы сели на него. Этот грузовик вела чуть не раздавившая нас, выскочив нам навстречу и затормозив перед самым нашим носом, девчонка в голубом выцветшем платье и белой косынке. Я видел потом, как она действовала здесь, на Арабатской стрелке, и узнал ее историю, и она мне так запомнилась, что я потом, через несколько месяцев, когда стал писать «Русские люди», дал героине пьесы некоторые черты характера и душевных свойств этой девушки с Арабатской стрелки и даже так и оставил в пьесе ее настоящую фамилию — Анощенко.

Было еще довольно рано, но день выдался жаркий, сухой, сильно палило солнце. На Арабатской стрелке стояла тишина. Ни одного выстрела. Вообще ни одного звука. Места пустынные. По дороге встретился всего один хуторок из трех глинобитных домиков. Говорили, что где-то вправо есть еще деревни, но я их не видел.

Километров через пять, там, где выступ переходил в самую косу, мы обнаружили командный пункт батальона. Здесь-то и началась та неожиданная катавасия, которая заставила меня, наверно, на всю жизнь запомнить этот день.

Во-первых, выяснилось, к большому удивлению Николаева, да и к моему тоже, что прекрасно зарывшийся в землю штаб батальона, защищавшего Арабатскую стрелку, расположился в девяти километрах от своей передней роты и в четырех километрах позади позиций тяжелой морской артиллерии. Во-вторых, в штабе творилась какая-то несусветица, и когда Николаев потребовал к себе командира батальона, его не оказалось. Николаев спросил, где же командир батальона. Ему ответили, что командир батальона впереди.

— Что значит впереди? Где впереди? Дайте его к телефону.

Ему сказали, что связи с командиром батальона нет.

— Когда же он ушел вперед?

— Вчера вечером.

— И с тех пор нет связи?

— Да. То есть нет.

В общем, в конце концов выяснилось, что командир батальона пропал без вести, причем об этом боялись доложить.

— Где же он пропал?

Дальше, несмотря на весь трагизм ситуации, все происходило в точности по песенке «Все хорошо, прекрасная маркиза». Выяснилось, что командир батальона пропал без вести, потому что он пошел вперед, в роту. А в роту он пошел потому, что там ночью открылась стрельба. А стрельбу открыли немцы, которые высадились на косе, и говорят, что со всей первой ротой после этого случилось что-то неладное.

— А что сейчас?

— А сейчас неизвестно что.

Старший лейтенант, исполнявший обязанности начальника штаба батальона, только пожимал плечами: он оставлен тут ждать и он ждет. Он говорил все это с видом человека, которого оставили посторожить квартиру, пока не вернутся хозяева.

Николаев вдруг побледнел и спросил:

— А почему вы выбрали место для командного пункта батальона здесь? Сами выбирали?

Старший лейтенант сказал, что нет, он выбирал это место вместе с полковником Келадзе.

— А почему здесь? — спросил Николаев у Келадзе.

Тот, заикаясь, сказал, что он выбрал это место здесь, потому что отсюда есть видимость, все хорошо видно и вообще это самая ближайшая горка.

— Вот я поеду сейчас вперед, — сказал Николаев, — а когда вернусь и увижу, что ваш штаб батальона по-прежнему находится на этой ближайшей горке, то я вас расстреляю. Понимаете? — Это он сказал старшему лейтенанту. — А вы, — обратился он к Келадзе, — доложите мне, что у вас тут происходило вчера вечером, сегодня ночью и сегодня утром и почему вы до сих пор не сообщили мне

о том, что происходит? Вы сами там были?

Келадзе ответил, что он как раз туда собирается. А не сообщил он потому, что рассчитывал ликвидировать это своими силами.

— Что ликвидировать? — вдруг закричал Николаев, — Вы даже там не были! Вы даже не знаете, что там ликвидировать! Есть ли там немцы, нет ли, сколько их, живы ли у вас там люди или не живы — ничего вы не знаете!

Пытаясь сохранить остатки достоинства, Келадзе сказал, что раз есть приказ не пустить врага на крымскую землю, то он этот приказ выполнит, и какие бы там немцы ни оказались впереди, он пойдет и выгонит их.

Николаев смерил его взглядом и, помолчав, сказал:

— Хорошо, потом поговорим. Поедете со мной.

Этот ужасный разговор запомнился мне во всех подробностях. В нем, как в капле воды, отразилось страшное бедствие, которое есть у нас в армии — среди командиров существуют люди, которые боятся начальства больше чем врага и совершенно лишены чувства гражданского мужества.

Как потом выяснилось, Савинов тоже знал, что на Арабатской стрелке не все в порядке, и еще ночью потребовал, чтобы Келадзе к утру исправил там положение. При этом Савинова, очевидно, волновал не столько самый факт, что на Арабатскую стрелку попали немцы, сколько то, что Николаев может завтра утром поехать туда и узнать об этом.

Келадзе тоже готов был сейчас говорить что угодно, только бы не сказать тяжелой правды, которой, кстати, во всей ее наготе он и сам не знал. А в батальоне, очевидно, боялись сказать Келадзе все то, что они сами предполагали. Так получилась цепочка, та самая, из-за которой так часто, приезжая в штаб какой-нибудь части, начальство имеет ложную информацию и продолжает считать, что все в порядке, когда на самом деле уже случилась беда — вполне поправимая час назад и уже непоправимая часом позже.

В данном случае Келадзе — я еще расскажу об этом — оказался просто-напросто трусом. Но гораздо чаще такие люди, лишенные гражданского мужества и робеющие перед начальством, бывали в то же время лично безукоризненно храбрыми людьми и, не моргнув глазом, потом расплачивались своей жизнью

только за то, что при встрече с начальством побоялись сказать правду.

Вскоре нам встретилась только что прибывшая группа работников политотдела армии в несколько человек.

Николаев сел в кабину машины вместе с девушкой — Пашей Анощенко, а мы все сели в кузов. Когда мы уже проехали с километр, то вдруг заметили, что полковника Келадзе нет с нами. Адъютант остановил машину и сказал об этом Николаеву.

— Черт с ним, — сказал Николаев. — Поехали — И побледнел так, что я понял: полковнику теперь несдобровать.

Мы проехали еще километра три и, миновав деревню Геническая Горка, выехали на самую косу. Чтобы ясно представить себе дальнейшее, надо понять, что это за место. Панорама такая: прямо впереди, на горке, расположен Геническ; он спускается к морю террасами. Дальше, ближе к нам, — метров двести воды, через которую был мост, по тогдашним нашим предположениям — взорванный, а на самом деле только подорванный и опустившийся под воду. Еще ближе к нам — шесть километров песчаной косы, вся она гораздо ниже Геническа, так что ближайшие к Геническу три километра ее целиком просматриваются оттуда сверху, почти как с птичьего полета. Примерно в трех километрах от пролива, на нашей стороне, — десяток домов, бывший пионерский лагерь, и от него к нам в тыл идет насыпь узкоколейки. Прямо у этой насыпи в пяти километрах от пролива стоят четыре дальнобойных морских орудия на тумбах. В общем, мы — внизу; Геническ — наверху, а за пионерским лагерем — вся коса как на ладони; открытое место длиной в три и шириной в полтора километра.

Проехав деревню Геническая Горка и не доехав еще с километр до позиций морских орудий, за которыми еще дальше были ряды проволочных заграждений, надолбов, противотанковых рвов, мы увидели странную картину. Вдоль насыпи, позади своей дальнобойной батареи, наступала рота пехоты. Она наступала по всем правилам, рассредоточившись. Командиры шли впереди, люди то залегали, то вставали и перебежками катили за собой пулеметы. Все это имело такой вид, словно делается под огнем противника, до которого осталось несколько сот метров.

Между тем кругом не было слышно ни одного выстрела. Впереди стояли свои же

морские орудия, а до немцев оставалось пять-шесть километров.

Подозвав к себе командира роты, Николаев спросил:

— Что они делают?

Командир роты ответил, что они наступают.

— Куда?

— Вперед. Там немцы.

— Где немцы?

Командир наугад ткнул пальцем вперед, примерно туда, где стояли наши морские орудия.

— Немцы не там, — сказал Николаев, — там наша морская батарея. А немцы вон где, — он показал рукой на Геническ. — Там и немного ближе. Вы вот так до них и будете наступать пять километров, а?

Командир роты сказал, что ему приказано развернуться в боевые порядки и наступать. А где немцы — за пять километров или за километр, — ему не сказали. Ему только сказали, что наших впереди никого нет.

Николаев остановил роту, приказал задержать и собрать все находившиеся поблизости грузовики, посадить туда красноармейцев и везти на грузовиках до тех пор, пока немцы не начнут стрелять из Геническа. И тогда уже рассредоточиться и идти в наступление. Он приказал также ехавшим с нами политработникам, чтобы они двигались вместе с ротой, а сам опять сел в нашу полуторку, в которой были я, Мелехов, какой-то лейтенант из штаба полка и неизвестно откуда к этому времени появившийся комиссар полка. Когда он появился, Николаев повернулся к нему было с угрожающим видом, но потом вдруг махнул рукой и не сказал ни слова. Может быть, решил разговаривать сразу с обоими — и с ним, и с командиром полка.

Мы двинулись на машине вперед, не дожидаясь, пока красноармейцы погрузятся и догонят нас. Тех, что не поместятся на грузовиках, Николаев велел построить и вести строем перебежками. Никогда я еще не видел зрелища более нелепого, чем эта рота, наступавшая в боевых порядках в тылу, позади собственной артиллерии. Мне напомнило это лагерь военных корреспондентов в Кубинке, где мы были

перед войной. Проводя там двусторонние занятия в поле, мы иногда, наверно, выглядели именно так, но здесь, на войне, это представлялось совершенной несуразностью.

А между тем сами бойцы в этом нисколько не были виноваты. Через какой-нибудь час я увидел своими глазами, как они шли в настоящее наступление, и шли, в общем, хорошо. Не так уж виноват был и командир роты, которому сказали, что впереди ничего нет, и даже не позаботились предупредить его, что там стоит наша артиллерия. Он тоже через час храбро шел впереди своей роты под настоящим огнем. Словом, вся эта нелепость возникла из-за распространившихся в полку панических слухов, из-за отсутствия разведки, из-за нежелания командира полка своими глазами увидеть, что делается у него впереди.

У позиции морских артиллеристов мы на несколько минут задержались. Политрук батареи доложил Николаеву — это, кстати сказать, был первый человек за утро, четко и ясно доложивший обстановку, [99] — что вчера вечером, когда стемнело, впереди раздалась беспорядочная ружейная, пулеметная и автоматная стрельба сначала в одном месте, потом в другом, потом часа через два стрельба затихла. Куда ему бить из орудий, он не знал. Еще два часа спустя, когда уже чуть-чуть рассвело, он увидел, что немцы вошли в пионерский лагерь, заняли его и движутся дальше к его батарее. Видя, что впереди нет никакого пехотного прикрытия, он отдал распоряжение о подготовке к взрыву орудия, а сам открыл огонь прямой наводкой. Было еще темно. Результаты было видно плохо, орудия продолжали бить, часть прислуги залегла с винтовками в руках впереди орудий. Когда рассвело, выяснилось, что немцев в поле видимости батареи нет. Очевидно, они отступили.

Из рассказа политрука стало ясно, что с передовой ротой, очевидно, случилась ночью катастрофа. Есть ли немцы на косе сейчас, утром, было не известно, но ночью они были здесь, на косе. А рота, находившаяся впереди, после этой ночи не подавала никаких признаков жизни.

Политрук доложил, что немцы перебросили, очевидно, на этот берег артиллерию, потому что они стреляли по батарее из мелкокалиберных орудий.

— Переправили артиллерию? — переспросил Николаев и усмехнулся. — У тебя там были впереди орудия? — спросил он у комиссара полка.

— Были два противотанковых орудия, — с готовностью ответил комиссар.

— Вот из них немцы и стреляли, из твоих орудий, — зло и убежденно сказал Николаев. — Незачем было им, немцам, сюда свои орудия переправлять, когда на этой стороне можно наши взять.

И в этих его словах была такая яростная и горькая ирония глубоко страдающего человека, что мне стало не по себе.

Мы доехали до пионерского лагеря и вылезли из машины. По-прежнему тихо, ни одного выстрела. Дальше — совершенно открытая местность. Только в километре виднелись две какие-то халупы и несколько деревьев. Пионерлагерь был основательно разрушен предрассветным огнем нашей морской батареи. Сойдя с полуторки, мы стали осматривать это место, где, по словам политрука батареи, ночью были немцы.

Через несколько минут мы действительно наткнулись на один мотоцикл, потом на другой, потом еще на несколько разбитых мотоциклов с колясками. Тут же лежали трупы немцев, так же как и мотоциклы, сильно изуродованные крупными осколками тяжелых снарядов. Рядом валялась требуха: носильные вещи, безделушки, видимо, взятые на память о России. Все это было разворочено и рассыпано по земле. Тут же валялось и другое, уже не трофейное, а немецкое барахло, в том числе несколько номеров «Фелькише беобахтер». В одном из них я увидел фотографии Кириллова и Понеделина — тех самых, приказ об измене которых я месяц назад вез с собой из штаба Южного фронта в Одессу. У них были сытые наглые физиономии. Одетые в полную форму, они стояли среди немецких офицеров.

Мы стали осматривать дома пионерлагеря. В одном из них сени были совершенно разворочены прямым попаданием снаряда. В углу сеней стояла кадка; в ней солились большие куски свинины. Кадка была тоже разбита, и огромные розовые куски мяса были разбросаны на полу. А рядом, привалясь к обломкам кадки, полусидел мертвый обер-лейтенант. У него было совершенно целое лицо, бледное и красивое, с пепельными волосами, и совершенно распахнутые настежь живот и грудь, словно они были разрезаны ножом на вскрытии.

Оставив лагерь, мы в полной тишине проехали еще километр, отделявший нас от последней купы деревьев с двумя домиками. Здесь мы окончательно слезли с

полуторки. Анощенко просила ехать с ней и дальше, но Николаев, улыбнувшись, потому что не улыбаться, разговаривая с ней, было невозможно, приказал ей ехать обратно в пионерлагерь и ждать там нашего возвращения.

Полуторка уехала, а мы остались.

В двухстах метрах от домиков шла линия окопов, в которых, по словам комиссара полка, сидел один из взводов их передовой роты. Мы пошли к этим окопам. Голая земля с редкой травой, песчаная, осыпающаяся под ногами. Море справа — в ста метрах, слева — километрах в полутора. Хотя солнца не было, день был душный, море казалось серым и слегка шумело.

Через несколько минут мы дошли до окопов, на всякий случай взяв на изготовку винтовки, хотя мне лично казалось, что немцев на косе сейчас нет и что вообще мы идем по какой-то пустыне.

Воспоминание об этих окопах и о том, как мы их увидели, связано у меня с тяжелым чувством. Это чувство страха, которое рождается у человека, когда он попадает куда-то, где все мертвы и нет никого, кто бы мог рассказать о том, что здесь произошло. Все мертвые, все молчат — остается только догадываться.

Очевидно, в этих окопах находилось человек пятьдесят, судя по количеству разбросанных кругом противогазов, гранат и винтовок. Но трупов было гораздо меньше — около десятка. В самих окопах ни одного трупа — все на открытом месте.

Николаев стоял над окопами и внимательно разглядывал все подробности. Должно быть, ему хотелось восстановить картину боя по тому, как лежали винтовки, где лежали убитые, как были брошены противогазы и холщовые мешки с гранатами. Осмотрев все это, он молча походил по краю окопов, потом оглянулся назад. Грузовиков с красноармейцами еще не было.

Он повернулся ко мне и, показывая на мертвых, тихо сказал:

— Не вижу, чтобы хоть один дрался. Если бы дрались — были бы в окопах. Побежали! Одних перебили, как кур, а других забрали с собой в плен. Высадились, перебили и забрали, — повторил он со злобой и сжал пальцы так, что они побелели. Он был безжалостен к мертвым, и в то же время в нем жила такая горькая обида за нелепую смерть всех этих людей, что, казалось, он готов был

заплакать.

— А немцев было немного, наверно, втрое меньше, чем их. Высадились, постреляли, а наши, конечно, побежали. Кого убили, кого в плен — и все в порядке, — говорил Николаев с тем особенным раздражительным самобичеванием, которое есть в русской натуре.

Возле одного из окопов мы нашли лейтенанта. Он лежал навзничь. Карманы у него были вывернуты. Мальчишеское лицо откинуто назад, и глаза глядели прямо вверх, в небо.

— Кто это? — спросил Николаев комиссара полка. — Командир роты?

— Не знаю, — сказал комиссар.

И я лишний раз вспомнил об одной из наших больших бед — о том, что у нас часто, когда убивают командиров, никто не знает даже фамилий этих убитых.

— Мелехов, — сказал Николаев, — посмотрите, какое у него ранение, пулевое или штыком?

Мелехов нагнулся, приподнял на покойнике заскорузлую от крови рубашку, взглянул и, подняв голову, сказал:

— Штыком.

— Вот этот дрался, — сказал Николаев, еще раз поглядев на мертвого. И повторил задумчиво: — Возможно, он дрался.

Видимо, ему очень хотелось, чтобы кто-то тут прошедшей страшной ночью дрался, чтобы хоть кто-то убивал здесь немцев. Он приказал посмотреть, нет ли где-нибудь в окопах или вокруг них немецких трупов. Их не оказалось.

— Или утащили с собой, — сказал он, — или не было. Может, и так. Паника, паника. Что с нами делает паника! Сами себя люди не узнают.

Мы прошли еще сотню шагов. На песчаной отмели лежали еще три трупа. Вместе лежали двое, их признал комиссар полка, — санинструктор и политрук роты. Должно быть, санинструктор полз, таща на себе политрука, у которого были перебиты, наверно, автоматной очередью обе ноги. Так их и убили, одного на другом, когда они ползли. А рядом лежал третий труп — совершенно голый. На нем были только красноармейские ботинки. Совершенно голый и весь черный,

обугленный, кожа от жары кое-где лопнула, а в других местах натянулась, как на барабане. Первая мысль была, что немцы раздели его и сожгли, но потом я понял, что его не раздели — одежда горела на нем.

— Сними, — сказал Николаев, — Сними, как сожгли человека.

Я снял. Николаев сказал:

— Вообще они жгут, но в данном случае — не думаю. Некогда им было это ночью устраивать, скорей всего на свой же «ка-эс» упал и сгорел.

К этому времени и те бойцы, что доехали до пионерлагеря на грузовиках, и те, что добирались до него пешком, стали группками подходить к нам. Увидев, что рота подходит, Николаев послал налево одного из политработников и лейтенанта, а сам вместе с нами пошел дальше правой стороной косы.

Метров через восемьсот, все еще в полной тишине, мы обнаружили два сорокапятимиллиметровых орудия, повернутые дулами против нас. Замки у них были разбиты.

— Ваши пушки? — спросил Николаев у комиссара полка и, не дожидаясь ответа, добавил: — Вот из них немцы и стреляли. А потом отошли и взорвали.

Около пушек было отрыто несколько окопчиков в четверть человеческого роста.

— Готовили, готовили оборону, — сказал Николаев, — а окопчики лень было вырыть. Ну что ж, как, идут? — оглянулся он назад.

Рота подходила. Слева она была уже на одном уровне с нами, справа приближалась к нам. Когда первые бойцы поравнялись с нами, Николаев сказал:

— Ну, пойдем.

Мы пошли впереди бойцов. Теперь до конца Арабатской стрелки, до передних линий наших окопов, оставалось, наверно, километра полтора.

Едва мы двинулись, как немцы сразу открыли по Стрелке минометный огонь. Это так внезапно нарушило странную тишину этого утра, к которой мы уже привыкли, что мы бросились на землю не только от чувства самосохранения, но и от неожиданности. Этот первый залп был самым страшным. Мины легли совершенно точно перед нами, целой полосой, близко, так что нас обдало землей. Должно быть, немцы давно заметили нашу группу и точно прицелились, тем более что

оставшиеся в полусотне метров за нами орудия были прекрасным ориентиром.

Николаев быстро встал, отряхнулся и, не оборачиваясь, пошел вперед. Слева и справа от нас цепь тоже довольно быстро шла вперед. Все следующие восемьсот метров мы шли под минометным огнем.

Трудно даже восстановить то чувство, которое владело мной тогда. Во-первых, мне было страшно. Во-вторых, я думал, что вечером должен вернуться, и я буду уже не здесь, и уже не будет этих мин — я буду в Симферополе. Все мои мысли не шли дальше этого вечера; он казался мне ближайшей целью моего существования. А третье чувство было желание поскорей дойти до окопов, которые, как я знал, были впереди. Я не знал, есть ли там немцы или нет, но мне казалось: только бы дойти туда, перейти это открытое место!

Мысль о том, что там, в окопах, немцы и что нам придется с ними столкнуться лицом к лицу, не вселяла никакого страха. Я боялся только этих рвущихся все время мин.

Рота была в первый раз в бою, под огнем, и все больше бойцов ложились и дальше двигались только ползком или просто лежали, не вставая, прижавшись лицом к земле. Мне было так страшно, что, может быть, и я поступил бы так же, если бы не Николаев. Первый раз он лег от неожиданности на землю так же, как и все мы, но теперь безостановочно шел, не пригибаясь даже при сравнительно близких разрывах. Шел с таким видом, такой походкой, что, казалось, идти вот так же, как и он, — это единственное, что возможно сейчас делать. Он шел зигзагами вдоль цепи, то влево, то вправо, мимо упавших и прижавшихся к земле людей. Он неторопливо нагибался, толкал бойца в плечо и говорил:

— Землячок, а землячок. Землячок! — и толкал сильней.

Тот поднимал голову.

— Чего лежишь? — говорил Николаев.

— Убьют.

— Ну что ж убьют, на то и война. Вставай, вставай.

— Убьют.

— Вот я стою, ну и ты встань, не убьют. А лежать будешь — скорей убьют. На

ходу-то трудней в нас попасть.

Примерно так, с разными вариантами, говорил он то одному, то другому. Но главное было, конечно, не в словах, а в том, что рядом с прижавшимся к земле, дрожащим от страха человеком стоял другой — спокойный, неторопливый, стоял во весь рост. И тот, у кого оставалась в душе хоть крупица самолюбия и чувства стыда, не мог не подняться и не встать рядом с Николаевым. А раз уже поднявшись, теперь он был зол на тех, кто еще продолжал лежать, и, чувствуя, что сам подвергается опасности, а другие рядом лежат, сердито кричал, чтобы они вставали, что они, в самом деле, лежат.

Примерно такое же чувство испытывал и я. Если бы не Николаев, я бы, возможно, тоже лежал, прижавшись к земле, — потому что мне было страшно. Но Николаев шел во весь рост, спокойным голосом поднимал людей, и я тоже поднялся и тоже пошел, и у меня была злость на тех, кто еще лежит, и я, так же как другие поднявшиеся бойцы, орал на тех, что еще лежали, чтобы они вставали и шли. И они вставали, и шли, и орали на других. И так понемногу двигалась вся эта цепь необстрелянных людей, на ходу становившихся обстрелянными.

Впереди на косе было что-то вроде гребешка. Она немного сужалась и шла от этого гребешка к морю вправо и влево с заметным уклоном. Мы с Николаевым пошли по правой стороне. Окопы, до которых нам надо было добраться, были теперь уже метрах в двухстах или в ста пятидесяти. Вдруг минометный огонь прекратился, и треснули первые пулеметные очереди. Пули прошуршали где-то близко по земле — звук, знакомый еще по Халхин-Голу. Услышав это шуршание, я распластался на земле. Николаев тоже на секунду скорей присел, чем прилег. Я запомнил эту его позу. Он словно прислушивался к чему-то, а потом поднялся и быстро побежал вперед, к окопам. За ним побежали и мы.

Ударило еще несколько пулеметных очередей. Мне казалось, что немцы стреляют из окопов, прямо в нас, но когда мы добежали, то оказалось, что те окопы, к которым мы выскочили, были пусты. По нас стреляли откуда-то слева, из-за гребешка, и спереди и сверху — из Геническа.

— Нет тут никого, — сказал Николаев, когда мы спрыгнули в окоп, и, сняв фуражку, вытер потный лоб платком. — Посидим подождем, как там слева.

Большая часть окопов была налево за гребешком, а мы попали в крайний правый

окоп, где никого не было. Слева еще стреляли, потом сразу все стихло. Из города тоже больше не били ни минометы, ни пулеметы.

К нам через гребешок, пригибаясь, подбежал и спрыгнул в окоп командир роты. Он сказал, что все окопы взяли, и кто там был, никого теперь нет, — так он выразился о немцах.

— А наши убитые с ночи там лежат? — спросил Николаев.

— Лежат как будто, — сказал командир роты. — Сейчас разберемся. Что прикажете делать?

— Закрепиться, — сказал Николаев, — Поправьте окопы, закрепитесь и сидите. Будете здесь сидеть, а другая рота подойдет — сзади вас будет. А пока сидите, какой огонь ни будь. Сидите, и все.

Так я и не узнал ни тогда, ни потом, сколько было немцев в охранении слева от нас в тех, других, окопах, сколько их перебили и как все это произошло. Помню только, что было обидное чувство от того, что вот в этом окопе, в который вскочили мы, немцев не оказалось. Самым страшным казалось добежать до окопа, а встретиться с немцами здесь, в окопе, в последнюю секунду даже хотелось.

Очень хотелось пить. Мы выпили по глотку воды из фляги Мелехова. Было тихо. Немцы не стреляли. Николаев, присев на краю окопа, внимательно смотрел вперед на Геническ.

— Да, — сказал он, недовольно присвистнув, — отсюда ничего им не сделаешь. А оттуда они все, что хотят, могут сделать. Придется идти назад. Надо распорядиться, чтобы по всей Стрелке все в порядок привели, чтоб к темноте все в порядке было, а то опять панику устроят, как вчера.

Вдруг сзади по полю пронесся куда-то влево грузовик с прицепленным к нему полковым минометом.

— Вот хорошо, догадались.

Обратно машина проскочила уже порожняком.

Немцы пустили по ней несколько мин, но они разорвались в стороне. Как потом выяснилось, миномет отвозила все та же оставленная нами в пионерлагере Паша Анощенко.

— Ну что ж, — сказал Николаев, посидев минут пять, — придется обратно идти, порядок наводить. Вы со мной пойдете, — сказал он комиссару полка, — а вы, — обратился он к старшему политруку из политотдела армии, — останетесь здесь. Сидите до ночи, а к ночи всему начальству придется тут быть. Ну-ка, дай еще глоток воды, — встав, сказал он Мелехову.

Я был рад, что мы возвращаемся. Сейчас, когда мы добрались до окопов, я до конца почувствовал, какого натерпелся страха, и мне хотелось поскорей вернуться. Но комиссар полка вдруг, к моему удивлению, возразил:

— Товарищ корпусной комиссар, подождем здесь, пока темнеть не начнет.

— Это почему же? — спросил Николаев.

— Сейчас по нас бить начнут, как только пойдем, — ответил комиссар полка.

— Ничего не поделаешь, — сказал Николаев. — Начнут или не начнут, а нам тут сидеть нечего, надо во всем полку порядок наводить. Так что придется идти.

Он отдал последние распоряжения старшему политруку из политотдела армии и командиру роты, потом вылез из окопа, и мы быстрым шагом пошли назад. Едва мы прошли метров тридцать, как засвистели пулеметные очереди. Мы легли. Уже прижавшись к земле, я понял, что по нас стреляют сразу несколько пулеметов. Совсем рядом шуршала трава, срезаемая пулями. И так тянулось, как мне показалось, целую минуту. Как только затихло, Николаев поднялся и сказал:

— Пошли.

Мы вскочили вслед за ним и двинулись быстрым шагом. Вероятно, комиссар полка задержался, и, когда мы делали следующую перебежку, он еще продолжал лежать там, сзади. Потом снова ударили пулеметы, мы снова легли, опять переждали, вскочили, пошли, опять услышали пулеметы, опять легли. Комиссар полка отстал от нас, если можно так выразиться, на один перегон. А когда мы, лежа под следующими пулеметными очередями, обернулись, то увидели, что двое бойцов, выползшие из окопа, тащат ползком комиссара полка обратно в окоп. Очевидно, промедлив несколько секунд, он был ранен там, откуда мы успели перебежать. Потом выяснилось, что так оно и было. И ранение оказалось тяжелым — пуля попала в ногу, прошла через все тело и застряла в плече.

Еще несколько перебежек. Снова пулеметные очереди. Падать приходилось

быстро, потому что траву кругом буквально резало, а я бежал с дополнительной нагрузкой: взял для Демьянова брошенный кем-то в окопе карабин; он давно просил достать ему карабин. Теперь, когда я уже взял этот карабин, мне не хотелось его бросать среди поля. Было как-то стыдно это сделать после того, как я видел столько брошенных винтовок и осуждал за это людей. Приходилось теперь бежать, держа в левой руке полуавтомат, а в правой карабин, и так и плюхаться рыбкой, не выпуская их. Когда я в очередной раз особенно резво бросился на землю, Николаев, легший рядом со мной, повернул ко мне лицо и усмехнулся:

— Ловко падаете, — сказал он и повторил: — Ловко.

— А что?

— Да нет, ничего, правильно. Раз падать, так падать.

А немцы, словно взбесившись, лупили по нас вовсю. Уже позже, на спокойную голову, я понял, что главная опасность была на обратном пути, когда мы пошли вчетвером, и немцы били исключительно и специально по нас.

Идти было очень тяжело, перебегать с двумя винтовками — тем более. Вдобавок ко всему я нашел четыре брошенных магазина от полуавтомата и засунул их по два в карманы бриджей.

Мы еще раз легли. На этот раз очереди были особенно длинными.

Потом наступила пауза. Метров полтораста мы шли, и по нас не стреляли. И вдруг треснуло сразу из нескольких пулеметов. Мы упали. Очереди были очень длинные. Рядом фонтанчиками взлетал песок. Наверно, как я это уже потом, вспоминая, сообразил, немецкие пулеметчики заранее подготовили данные по этому рубежу и открыли огонь, когда мы подошли к нему. На этот раз стреляли долго, то один, то другой пулемет, длинными очередями. Одна из них взрыла песок под самым носом у Мелехова. Он пошарил в песке и вынул лежавшую там пулю.

— К самому носу подлетела, — сказал Мелехов, стараясь улыбнуться.

— Не обожгла? — не то всерьез, не то в шутку спросил Николаев.

— Нет.

— Тогда возьми на память.

Еще одна очередь. Меня сильно ударило в бедро. Я попробовал рукой карман бриджей и вытащил обоймы. В бриджах была дырка, одна обойма разворочена, а другая поцарапана. Не поднимая головы, я показал лежавшему бок о бок со мной Николаеву обойму.

— А не ранило ли? — спросил он.

Я потрогал ногу — она не болела. Стал смотреть, где же другая дырка в штанах? Раз пуля вошла, она должна была и выйти. Но другой дырки не было.

Наконец пулеметы замолчали. Мы снова поднялись и пошли, что-то мешало в сапоге.

— Мешает ступать, — сказал я. — Может, пуля провалилась?

— Вполне возможно, — сказал Николаев. — Вот дойдем до лагеря, переобуешься и посмотришь.

И в эту секунду — мы даже не услышали ни гула, ни свиста, это было скорей ощущение не звука даже, а самой силы удара — что-то рванулось рядом. Мы упали на землю. До сих пор не понимаю, как никого из нас не задело, просто повезло. Мина разорвалась на совершенно голом месте в каких-нибудь десяти метрах от нас. И едва она разорвалась, едва мы упали, как Николаев вскочил и крикнул:

— Скорей перебегайте, пока дым!

Мы перебежали метров сорок и легли. И сразу разорвалась следующая мина. На этот раз — подальше.

— Левей, — сказал Николаев, — левей, к воде.

Мы добежали до самой воды и пошли по берегу.

— Теперь что слева, то не страшно, — сказал Николаев, — В воду попадет — не убьет.

И, словно торопясь подтвердить его слова, слева от нас, вздымая водяные столбы, у самого берега разорвалось еще две мины. Мы присели, а Николаев даже не пригнулся.

— Это ж в воду, что вы пляшете? — сказал он.

Немцы провожали нас минометным огнем еще пятьсот метров. Разорвалось еще с десяток мин, но уже гораздо дальше от нас, чем первые две.

Наконец мы дошли до пионерлагеря. Не забуду чувства, с которым я зашел за первый дом. Из-за него не было видно Геническа. А значит, из Геническа не было видно меня. Я и сейчас помню это чувство. Дом был жиденький, мины с одинаковым успехом могли разорваться и перед ним, и за ним, но чувство, что ты уже находишься не на голой земле, что тебя не видно сейчас, после всего пережитого, давало ощущение почти полного спокойствия и отдыха. Мне казалось, что я еще никогда не чувствовал себя в такой безопасности, как сейчас, стоя за этой хибаркой.

— Ну что же, где же машина? — спросил Николаев.

Стоявший у хибарки боец сказал:

— Товарищ водитель, которая там была, велела передать вам, если приедете, что она сейчас будет. Она ящики с минами поехала отвезти вон туда, налево за бугор.

— Ну вот, теперь, значит, будем сидеть ждать ее, — сказал Николаев сердитым голосом, но по глазам его было видно, что он очень доволен тем, что «товарищ водитель» повезла мины за бугор, и готов ее подождать.

Мы ждали минут пятнадцать. Напились воды из колодца. Я переобулся. Действительно, пуля ударилась о магазин и, разворотив его, проскочила в широкий сапог. Она и мешала мне идти.

— Сохрани, — сказал Николаев. — Это удача. Эту пулю либо жене, либо мамаше, либо еще кому надо подарить.

Через четверть часа подъехала полуторка, и одновременно с ней пришел оттуда же, откуда и мы, уполномоченный особого отдела полка, рослый, красивый парень с серыми глазами. Как я потом узнал, разговорившись с ним в следующую поездку сюда, он проделал финскую кампанию шофером и только после нее перешел в особисты. Он доложил Николаеву, что комиссар полка тяжело ранен и что он думает вынести его оттуда.

— Когда думаете выносить? — спросил Николаев.

— Сейчас, — сказал уполномоченный. — Ничего, возьму с собой кого-нибудь еще и вдвоем вынесем. А то погибнет. Там врача нет.

— Хорошо, делайте, — сказал Николаев. Он ласково посмотрел на этого рослого парня, который только что сделал ту же самую дорогу, что и мы, сейчас снова проделает ее обратно, а потом будет делать ее в третий раз, вынося раненого.

— Делайте, — повторил Николаев. — Правильно.

Уполномоченный повернулся и пошел обратно. Как я потом узнал, им повезло: они благополучно вытащили комиссара полка.

Мы сели в полуторку и поехали. Когда мы проезжали обратно мимо морской батареи, туда уже прибыла рота прикрытия. И вообще как будто на Стрелке начинали наводить порядок. По дороге мы встретили начальника штаба батальона, старшего лейтенанта; он двигался вперед на новый командный пункт. На его старом командном пункте, когда мы туда добрались, мы нашли помощника командира дивизии, полковника Ульянова (он потом утонул, когда мы высаживали десант в Керчи). Тут же был и Келадзе. Увидев Николаева, он засуетился и стал поспешно объяснять, что не выехал с нашей машиной, потому что в это время побежал к телефону, а потом, когда он поговорил по телефону, наша машина уже отъехала, он нам кричал и махал руками, но мы не остановились.

Николаев выслушал его, закинул за спину руки, как мне показалось, чтобы удержаться и не ударить, и сказал Келадзе, не повышая голоса:

— Вы трус и мерзавец. Вы больше не командир полка. Я вас снимаю и отдаю под суд. Вы временно будете командиром полка, — обратился Николаев к Ульянову. — Позаботьтесь, чтоб его, — он кивнул на Келадзе, — доставили в Симферополь.

Келадзе побагровел и задрожал в буквальном смысле этого слова. Он трясся, как лист, и, заикаясь, говорил какие-то жалкие слова о том, что он виноват, но он не трус, что он готов, что он…

Николаев молча слушал его. Я стоял сзади и видел, с какой силой он сжимал сцепленные за спиной пальцы.

— Вы трус и мерзавец, — еще раз повторил он раздельно. — Я вас буду судить.

И в том, как он медленно, во второй раз повторил ту же самую фразу, чувствовалось, с каким трудом он сдерживает себя.

Сидя у стога сена с Ульяновым, Николаев тихо отдавал ему какие-то распоряжения, а я прилег поодаль на траву. Начинало вечереть. Мне вспомнились разные дни, проведенные на войне. За исключением самых первых, этот, пожалуй, был печальнее всех. Вся сумма впечатлений от той мертвой вырезанной роты, брошенного оружия, от генерала Савинова, которого я остро возненавидел, от необстрелянности людей, от общего непорядка, существовавшего к нашему приезду здесь, на Стрелке, и даже от того, что Николаев, в человеческое поведение которого я просто влюбился, все-таки, по моему смутному ощущению, делал что-то не то, что нужно было ему делать как члену Военного Совета, [100]— все это вместе взятое поразило меня, и у меня впервые мелькнула горькая мысль: неужели все-таки немцы возьмут Крым? И я не нашел тогда в себе твердого ответа: нет, не возьмут.

Мы сели в машину и уже в вечерней дымке добрались до лодки. Здесь мы простились с Пашей Анощенко. Она своим неторопливым говорком произносила какие-то ласковые слова, жалела, что ранен комиссар полка, и просила, если мы опять приедем, чтобы непременно ездили с нею. Потом мы сели в лодку, и моторка взяла ее на буксир. Оба доставлявших нас генических рыбака сидели на моторке, а на лодке остались мы втроем — Николаев, Мелехов и я. Николаев был без плаща и без шинели и ни за что не соглашался взять ни то и ни другое ни у меня, ни у Мелехова.

В Сиваше мелкой рябью колыхалась вода. Моторка шла медленно.

— Сам я виноват, — вдруг тихо и угрюмо сказал Николаев. — Сам виноват. Все позиции объездил, все до одной проверил, как укрепили, а вот на Арабатскую не поехал, на Савинова понадеялся. «Все в порядке». Сам виноват, сам виноват, — повторял он.

И по упрямому выражению его лица я понял, что он еще поедет на эту Арабатскую стрелку, что он внутренне взял на себя ответственность за эту мертвую роту, что он себе этого не простит и не успокоится, пока не облазит тут все, не проверит своими глазами каждый окоп.

На том берегу Чонгара нас ждала машина, и мы, сняв с фар маскировочные сетки, на максимальной скорости поехали в Симферополь.

Когда мы подъехали в Симферополе к зданию, Николаев прямо пошел к

командующему, а Мелехов повел меня в комнату, где остановились адъютанты.

Вскоре туда пришел Василий Васильевич Рощин, и мы с Мелеховым, перебивая друг друга, стали рассказывать ему все происшедшее. Он сидел, смотрел на нас своими умными грустными глазами. Кажется, его мало волновали наши переживания. Но то, что стояло за всем этим, то, о чем я не говорил вслух, но о чем думал и тревожился, рассказывая о всех сегодняшних безобразиях на Арабатской стрелке, видимо, глубоко расстраивало его. Наверно, он тоже думал об этом. Он грустно кивал головой, потом молча взял меня за руку, повел к себе и уложил спать на диване. Я заснул мгновенно, как в яму провалился.

На следующий день в Симферополе происходили похороны Героя Советского Союза Трубаченко. Я помнил его еще по Халхин-Голу. Он погиб во время воздушного боя, и хоронили его торжественно, с оркестром, знаменами и речами.

Почему-то, когда сейчас я думаю о том, что в Симферополе немцы, перед моими глазами возникает то утро похорон и заботливо украшенная, засыпанная цветами могила Трубаченко. Мысли о разоренной могиле почему-то рождают у меня даже более горькое чувство, чем мысль о разоренном городе.

Вернувшись с похорон, я засел на весь день в нашей пустой квартире, записывал и приводил в порядок всякие свои соображения по поводу виденного вчера.

Халип застрял в Севастополе — снимал там моряков и летчиков. Покончив со своими записями, я на следующий день собрался ехать за ним.

В это время в Симферополь явился еще один назначенный нам в помощь корреспондент. Он привез записку от Ортенберга, адресованную мне, с приказанием чередоваться в Крыму и Одессе.

Этот человек сразу произвел на меня тяжелое впечатление. Во-первых, он был очень похож на Ежова, и это одно уже было неприятно; во-вторых, войдя к нам, он сразу зыркнул по сторонам, увидел три бутылки вина на подоконнике, и я понял, что он записывает это обстоятельство в свой духовный блокнот. Затем ему не понравилось, что у нас целая квартира — он и это занес в свой духовный блокнот: «Ага, запишем, зажились в Симферополе». После этого произошел разговор об Одессе. Я собирался еще раз поехать на Арабатскую стрелку и побыть немного в Крыму и поэтому предложил ему, поскольку нам нужно чередоваться, поехать в Одессу сейчас, а я его сменю там через десять-двенадцать дней. Он ни

за что не хотел ехать один, без Халипа. Я сказал, что Халип только три дня назад вернулся из Одессы, привез все, что нужно для редакции, и пусть теперь снимает оборону Крыма. Тогда начались намеки, что вот мы хотим послать его одного, что мы боимся ехать в Одессу и т. д. и т. п. Мне все это надоело, я посадил этого товарища вместе с собой в машину и сказал ему, что раз есть приказание редактора меняться, а он только что приехал на фронт — пусть или едет в Одессу, или сам доложит редактору, что отказывается это сделать. В конце концов я привез его в Севастополь и устроил ему место на пароходе. И тут состоялось целое представление. Сначала выяснилось, что у него не то катар желудка, не то язва, не то еще что-то, — он все время хватался за живот, потом у него случился сердечный припадок, и он лежал с мокрым полотенцем на груди. Мне надоело слушать его стенания. Сказав, что все для его поездки устроено, а дальнейшее на его усмотрение, я поехал обратно в Симферополь. Как потом выяснилось, он еще дня три поволынил в Севастополе, но, видя, что никуда не денешься, все-таки поехал в Одессу.

Это был мой последний приезд в Севастополь, и он мне очень запомнился. Я ходил к севастопольскому Орлу в последний раз купаться, бродил по Графской набережной, смотрел на воду и на корабли.

Художественный руководитель театра Лифшиц снова развивал мне свои идеи о синтетическом театре, а я опять отмалчивался. Все это было так ни к чему!

В Симферополь мы вернулись среди ночи. Я на всякий случай заехал в штаб к Николаеву. Оказалось, что он завтра же утром поедет на передовые — сначала на Сиваши, а потом еще раз на Арабатскую стрелку.

Утром Халип поехал на нашей машине, кажется, куда-то к летчикам, а я с Николаевым поехал на Сиваши. Ехал и думал, как мне быть дальше. С одной стороны, я много увидел и, наверное, еще многое увижу здесь, а с другой стороны, было совершенно не понятно, как все это печатать в газете. То ли писать без обозначения места действий, без пейзажа, без моря, то ли гримировать все под Одессу, то ли уже будет можно писать о боях на подступах к Крыму. Все это надо было выяснить, и я сначала подумал, а потом и сказал об этом Николаеву, что после нашей нынешней поездки или после следующей я на два-три дня слетаю в Москву, чтобы отвезти материалы и выяснить, как же писать дальше —

что можно и что нельзя.

Весь этот день мы провели на Сивашах, которые были порядочно укреплены. Здесь все было заминировано — и земля, и отмели; проволочные заграждения шли не только по суше, но и были протянуты через мелководные лиманы. На возвышенностях стояли бетонные точки, железные колпаки, и все это соединялось довольно разветвленной системой окопов и ходов сообщения.

Немцы уже начинали активно действовать в воздухе над Крымом, и за день мы попали под две бомбежки. Но на земле все еще было тихо. На том берегу показывались мелкие группы немцев — пехота, мотоциклисты. Наша артиллерия открывала по ним огонь. Небольшие группы наших разведчиков, засланные на тот берег, вели там мелкие стычки с немцами. Было очень хорошо простым глазом видно, как наша артиллерия накрыла огнем взвод немцев, пробиравшихся вдоль отмели, как они падали, бежали, опять падали.

В общем, было предгрозье, тихий день, ничем особенно не примечательный. Халип дал мне один из своих фотоаппаратов, и я кое-что снял. Потом эти фотографии появились в «Красной звезде».

Николаев досконально обследовал позиции, ходил по окопам, спрашивал обо всем, начиная от стирки белья и кончая куревом, вникал в разные подробности быта, пробовал еду из котелков. И потому что он был человек простой и умный, все это не выглядело у него показной заботой большого начальства, а было самым настоящим необходимым и естественным делом.

Сиваши обороняла хорошая дивизия, в основном кадровая, командовал ею полковник Первушин. Впоследствии во время отступления дивизия дралась лучше всех и была выведена из Крыма в порядке после очень тяжелых боев. Первушину дали за это генерала, и он командовал потом 44-й армией. Я был у него в армии во время нашего десанта в Феодосии, но его самого не видел. Насколько я знаю, он был тяжело ранен не то 15-го, не то 16-го января там же, в Феодосии, а член Военного Совета армии был убит той же бомбой. С этого началась Феодосийская катастрофа.

Не знаю, как потом Первушин командовал армией, но здесь, на Сивашах, в роли командира дивизии он мне очень понравился. Это был волевой, сдержанный человек, очень жесткий и строгий; было видно, что он как следует подтянул свою

дивизию. Такая же подтянутость и строгость чувствовалась и у его командиров полков.

В середине дня в дивизию подъехал генерал Дашичев, командовавший корпусом. Я не мог понять, что это за человек. На груди у него было три ордена Красного Знамени за гражданскую войну; но был и какой-то такой странно равнодушный взгляд, что у меня возникло тоже странное ощущение его незаинтересованности в происходящем. Казалось, ему было лень спорить, волноваться или огорчаться, и он никому не хотел дать возможности вывести себя из того состояния спокойствия и равнодушия, в котором он пребывал.

Заехал на позиции дивизии Первушина и командующий 51-й армией Кузнецов. Он, так же как и Николаев, приехал сюда проверять систему обороны. Они были взаимно подчеркнуто вежливы, но за этим чувствовался холодок.

Мы ходили вдоль окопов, когда появились над головой немецкие самолеты. Все быстро полезли в окопы, и это, конечно, было совершенно правильно. Только Николаев торчал на бруствере окопа и, поворачивая голову, следил, откуда и как пикируют самолеты. Кузнецов, который был тут же, рядом, в окопе, сердито крикнул:

— Андрей Семеныч! Спуститесь! Вы же демаскируете.

Николаев послушно спустился в окоп, недовольно, досадливо крякнув. Мелехов сказал мне, что у корпусного комиссара с командующим прохладные отношения возникли с тех пор, как они несколько дней назад ездили вместе, и Николаев обнаружил, что командующий излишне поспешно, по его мнению, выскакивает из машины, едва заслышав гул самолетов. Впрочем, не берусь судить, насколько это соответствовало действительности.

К вечеру мы из Сивашей поехали на Чонгар. Там, как и прошлый раз, заночевали у Савинова, а утром двинулись на Арабатскую стрелку. Николаев хотел сам убедиться, какие там приняты меры. На этот раз он, не скрывая иронии, спросил у Савинова:

— Вы ведь теперь там были?

— Да, — сказал Савинов.

— Вы ведь теперь все знаете?

— Да, — сказал Савинов.

— Так вот вы меня и свозите утром, покажете принятые вами там меры.

Савинову ничего не оставалось делать, и мы утром на моторной лодке снова переправились на Арабатскую стрелку.

Там, где раньше был командный пункт батальона, теперь располагался со своим штабом Ульянов. Пока Николаев и Савинов разговаривали с ним, я отыскал Пашу Анощенко, которая теперь со своей полуторкой была прикомандирована к штабу полка. Мне хотелось при случае написать о ней. Присев рядом с ней На копне сена, я стал расспрашивать об ее жизни. Это была самая обычная простая история, рассказанная милой девичьей скороговоркой с южным хаканьем и горячей жестикуляцией. Девушка так и не успела переобмундироватъся. Ее и без того худое лицо стало совсем худеньким, на нем были видны только огромные глаза.

Рассказав, что происходило у них здесь в последние два дня, она потащила меня за руку к своей полуторке, чтобы показать, в каких местах вчера вечером, когда она вывозила раненых, пробили ее машину осколки мин. Так я ее и снял около ее пробитой полуторки — в косынке и платьице. Этот снимок потом был напечатан в «Красной звезде». [101] Поговорив с ней, я вернулся к Николаеву. Как раз в эту минуту к нему привели какую-то женщину с мешком за плечами. Она оказалась жительницей Геническа и перебралась на Арабатскую стрелку ночью по мосту, который, как теперь выяснилось, был затоплен настолько неудачно, что через него можно было перебраться по грудь в воде. Она перешла на этот берег и была задержана нашим патрулем. Патрульные, как водится, пожалели ее, отдали ей половину своих харчей, а тот из них, что вел ее в штаб, по дороге сетовал, что не может отпустить ее в деревню Геническая Горка, куда она, по ее словам, шла, потому что такой уж приказ командования, чтоб всех отводить, а то, конечно, он бы с радостью… Словом, ее доставили в штаб.

По словам особиста, который допросил женщину предварительно, она не представляла особого интереса и не внушала подозрений. Выбралась из Геническа и шла теперь на Геническую Горку, где когда-то работала, а отсюда хотела пройти к своей замужней сестре, жившей в Керчи.

Женщина была невысокая, с темным невыразительным лицом, некрасивая,

какая-то вся черная. Все было у нее черное, не только платье, но и лицо.

Николаев поглядел на нее недоверчивым взглядом и, отпустив особиста, стал допрашивать ее сам. Первое подозрение ему внушило содержание узла этой женщины. Николаев приказал развязать его. В узле было совсем не то, что может взять с собой человек, тщательно и обдуманно готовившийся идти в большую дорогу, было напихано не самое необходимое, а все, что попалось под руку, все, что можно было сунуть для вида, второпях. А женщина, по ее словам, с самого прихода немцев уже несколько дней готовилась к побегу.

Разговор был длинный и тяжелый. Она не обладала ни умом, ни хитростью, но была озлоблена и запугана. Видимо, ее научили, что она должна говорить от «а» до «б», и она упорно твердила урок, даже когда это стало явной нелепостью.

Всех подробностей допроса я не запомнил. Он длился около двух часов. Из нее приходилось выматывать слово за словом. Сначала она не признавалась ни в чем, потом призналась, что под угрозой оружия немцы заставили ее перейти сюда, чтобы она принесла им сведения. Но что она этого не хотела делать и что это было для нее только способом бежать от немцев. Потом выяснилось, что у нее был пропуск на обратный переход и что было условлено, как она перейдет обратно. В общем, вся нехитрая картина вербовки этой случайной шпионки стала полностью ясна. Женщина была одним из тех шпионов, которых немцы в большом количестве с самого начала войны то здесь, то там засылали к нам на авось: вдруг выйдет. В редких случаях они пробирались благополучно, чаще попадались. Но немцам это было наплевать: пропадут — и ладно. Зато в случае удачи они могли принести кое-какие сведения. Эта должна была узнать, какие у нас противотанковые укрепления здесь, на Арабатской стрелке, и, придя обратно, сообщить об этом. За это ей обещали десять тысяч рублей. Слова «десять тысяч рублей» она произносила почти с благоговением. Видимо, для нее это была такая цена, называя которую она как бы оправдывала свой поступок. Это были такие деньги, за которые, по ее понятию, можно было сделать все.

Она была дочерью богатого куркуля, раскулаченного здесь в тридцатом году. Она тоже ездила с семьей куда-то в ссылку, потом вернулась. Круг ее знакомых тоже был из бывших ссыльных, убежавших оттуда или вернувшихся. Ее любовник Костюков — я запомнил эту фамилию, — по ее словам, бежал из ссылки еще до

войны и не только пробрался в армию, но и в «школу командиров». Он пришел в Геническ вместе с немцами из Николаева. И именно через него она и стала шпионкой.

Ее не расстреляли, потому что была надежда, что через нее удастся выловить этого Костюкова. Она тут же дала понять, что для спасения своей жизни готова продать своего любовника.

И вдруг, когда кончился этот допрос, в блиндаж, где он происходил, вошла Паша Анощенко. Они встретились глазами, эти две женщины, и Паша, повернувшись к Николаеву и дернув его за рукав — она не имела никакого представления о чинах, званиях и тому подобном, — сказала:

— Товарищ начальник, когда же поедем? Машина готовая, ждет. Только я с вами на самые передовые. Чтобы вы меня теперь не оставляли. А, товарищ начальник?

Я вышел из блиндажа вслед за Пашей.

— Товарищ начальник, — сказала она, теперь дергая за рукав меня так же, как до этого дергала Николаева. — Что вы на нее глядите? Я бы убила ее, и все. Ведь вы не отпустите ее, нет?

— Не отпустим, — сказал я.

Через четверть часа мы сели в Пашину полуторку и двинулись на передовую.

На этот раз с нами поехал Савинов.

Сначала мы побывали у артиллеристов, потом поехали дальше. Оставив машину там же, где в прошлый раз, мы дошли до окопов, где два дня назад увидели первых наших убитых. Теперь там сидела морская пехота. Моряки тщательно окапывались. Точно так же основательно окапывались и пехотинцы, стоявшие сзади них и непосредственно прикрывающие батарею. Батарея была морская, и командир роты моряков попросил Николаева, нельзя ли сделать так, чтобы всех их, моряков, соединить вместе, чтобы они сами прикрывали свою батарею? Такую же просьбу высказывал раньше и командир батареи, кода мы через нее проезжали. Там, на батарее, Николаев согласился, а здесь, к моему удивлению, вдруг сказал:

— Нет-нет. Здесь стоять будете. Здесь и окапывайтесь.

Мы немножко побыли у моряков. Было сравнительно тихо, немцы вели редкий беспокоящий минометный огонь каждые пять-шесть минут по одной мине.

От моряков мы возвращались уже в сумерки. Я обратился к Николаеву:

— Товарищ корпусный комиссар, ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос.

— Да.

— Почему вы командиру морской батареи сказали, что переведете к нему моряков, а морякам сказали, что оставите их на месте?

Николаев усмехнулся:

— Почему, почему! Конечно, переведем. Пехоту перебросим вперед, а их — назад, к батарее. А им не сказал… Вы русского человека знаете?

Я сказал, что да.

— Нет, не знаете. Если этим сказать, что перебросим их назад, они для других не будут заканчивать свои окопы. А так — они всю ночь будут трудиться, копать. Устроят все для себя по-хорошему, а потом утром мы их перебросим. Погорюют, что, по их мнению, зря потрудились, но окопы уже будут в полный профиль. Вот так! — Он рассмеялся.

На обратном пути я снял батарею — эти снимки потом появились в газете, — и на берег лимана приехали совсем поздно. Была совершенно черная южная ночь. Мы немножко проплутали, ища причал, где стояла моторка. Во время этих поисков Савинов что-то беспрерывно говорил Николаеву заискивающим тоном. Николаев молчал — он был недоволен. Дело в том, что, как он и ожидал, Савинов без него не ездил никуда дальше командного пункта Ульянова, хотя и говорил ему, что все осмотрел. Как только мы пошли вперед от командного пункта полка, ему сразу же стало ясно, что Савинов нигде впереди не был.

Николаев ничего не сказал ему прямо, но дал почувствовать, что хорошо все понял. Именно поэтому Савинов теперь разговаривал с ним таким заискивающим тоном.

На лодку мы уселись уже ночью. Была холодная вода, вся в барашках от сильного ветра, но главное — было абсолютно темно. Только на горизонте виднелось зарево Геническа.

Везли нас двое рыбаков, сидевших впереди на моторке, а мы были на простой лодке, на буксире. Темно было так, что я с трудом различал лицо Николаева, сидевшего против меня. Мы тихо переговаривались. Рыбаки могли бы в такую ночь завезти нас куда угодно, если бы они польстились на немецкую награду, которая, наверное, была бы немалой за генерала и корпусного комиссара сразу. [102] Мы лавировали по волнам, причем геническое зарево оказывалось то слева, то справа от нас, и скоро мы потеряли всякую ориентировку по отношению к берегам. Завезти нас куда угодно, ссадить на тот берег не составляло никакого труда.

Переправлялись мы часа полтора. Наконец лодка уткнулась в мелководье, и мы вылезли прямо в воду, набрав ее в сапоги. Оказалось, что, несмотря на полную тьму, рыбаки привезли нас точно на то самое место, откуда мы переправлялись утром. Неподалеку ждала машина. Совершенно продрогшие, мы влезли в нее и, простившись с Савиновым, поехали в Симферополь. Гнали вовсю, с полным светом. Патрули на дороге страшно кричали, когда мы проскакивали мимо них, и я все время ждал, что нам всадят пулю в спину.

Мы добрались до Симферополя глухой ночью 23 сентября. Николаев сказал, чтобы я явился к нему в девять утра — поедем завтра на Перекоп. Но когда я на следующий день в девять утра пришел к нему, он сказал, что поездка откладывается еще на день или на два.

Я спросил его об обстановке. Он сказал, что пока тихо. [103] Тогда, не желая сидеть без дела эти два дня, я сказал ему, что раз поездка откладывается, то я слетаю в Москву не после этой поездки, как собирался, а перед ней.

Николаев спросил, на сколько дней я полечу?

Я сказал, что на три.

Он рассмеялся и сказал, что раньше первого он меня обратно не ждет, но я должен дать ему слово, что к первому буду.

Я дал слово.

Простившись с Николаевым, я заехал за Халипом, и мы вместе с ним махнули на аэродром. Я не стал брать с собой ни шинель, ни чемодан, вообще ничего, кроме полевой сумки, — не видел смысла все это таскать с собой, рассчитывая

вернуться через три дня. Шинель, винтовка, чемодан — словом, все имущество — все осталось там, в Симферополе, и ничего этого я так уже и не увидел.

На аэродроме пришлось довольно долго ждать. На Ростов должны были идти два ТБ-3, но оба улетали только через несколько часов. Было безразлично, в какой садиться — можно было и в тот, и в другой. Я сел в левый. Он взлетел первым. Когда мы поднимались, Халип махал мне с земли пилоткой. Мы должны были до наступления темноты быть в Ростове, но нам это не удалось: прогорели патрубки, из них начало вытекать сильное, хорошо видное в темноте пламя. В конце концов сели, не долетев до Ростова шестьдесят километров, заночевали, а утром снова вылетели.

В Ростове оказалось, что самолет на Москву уже улетел, а других не предвидится до завтра или даже до послезавтра. Решив, что так или иначе надо улететь, я засел у диспетчера и стал дожидаться какого-нибудь летчика. Наконец, я увидел в окно садящийся СБ. Я спросил, откуда он и куда полетит. Мне сказали, что полетит он в Москву, но этот самолет фельдсвязи и на него никого не возьмут. Я дождался летчика и пристал к нему. Это был старый летчик гражданского флота, и он, махнув рукой, сказал, что возьмет меня. Диспетчер, должно быть, озлившись на мое упрямство, сказал, что на СБ по инструкции нельзя без парашюта лететь, а на меня нет парашюта. Летчик подмигнул мне и сказал диспетчеру, что у него как раз в Ростове высадился пассажир и есть один лишний парашют. Мы взяли с ним в буфете по решету винограда, залезли в самолет и поднялись в воздух.

Через четыре часа СБ сел на аэродроме фельдсвязи в Мячиково, под Москвой. Я летел в одной гимнастерке, и у меня всю дорогу не попадал зуб на зуб. Какой-то ехавший из Мячиково в Москву полковник подвез меня на своей машине до Москвы.

Я слез на Трубной, рядом с квартирой матери, зашел к ней и позвонил оттуда в редакцию. Оказалось, что редакция уже не на старом месте, а, укрываясь от бомбежек, перебралась в подвальные этажи театра Красной Армии. В семь часов вечера я уже сидел там перед редактором и докладывал ему о поездке.

Он сразу же засадил меня за работу, и я этот день до ночи и следующие дни писал свои крымские очерки. Два пошли в газету целиком, а третий был разрублен надвое. Одна половина пошла, а вторая половина — нет.

В печати все еще ничего не говорилось ни о том, что взят Херсон, ни о том, что немцы переправились через Днепр, поэтому пришлось, пользуясь тем, что я перед этим побывал в Одессе, подгонять очерки под одесский колорит. Так их многие и восприняли, как написанное в Одессе.

В эти дни мне пришлось пережить несколько неприятных минут. Товарищи спрашивали у меня, где я был последнее время. Я отвечал, что в Крыму. «Сколько там пробыл?» — «Две недели». У них в глазах было удивление и даже неодобрение — чего это я две недели сидел там на курорте? Не осведомленные о действительном положении вещей, люди в Москве были далеки от мысли, что немцы уже подошли к Перекопу и Чонгару. Но объяснить им это в то время я не имел права. Вообще надо сказать, что в нашей корреспондентской работе самое тяжелое время было с июня по октябрь сорок первого года. Это было время, когда официальные сводки настолько резко не согласовывались с тем, что реально происходило на фронте, что писать было очень трудно, а рассказывать все, что видел, просто невозможно.

Двадцать седьмого сентября, сдав последний очерк, я зашел к Ортенбергу. Как раз в это время ему принесли сообщение ТАСС о том, что в боях на Мурманском участке фронта принимают участие английские летчики. Он сейчас же загорелся и сказал, что туда надо немедленно послать человека, а поскольку именно я находился в этот момент у него в кабинете, то, естественно, продолжением его мысли оказалось — послать меня. Я сказал, что готов ехать, но Николаев ждет меня в Крыму.

— Ничего, подлетишь в Мурманск на недельку, вернешься — и опять поедешь к себе в Крым, [104]— сказал Ортенберг, и сразу начались звонки по телефону, добывание самолета, приказы заготовить мне предписание.

В самый канун наступления немцев под Москвой я вылетел в Заполярье с того же аэродрома фельдсвязи в Мячиково, куда мы прилетели из Крыма.

Комментарии

1 «…меня вызвали в Радиокомитет и предложили написать две антифашистские песни»

Здесь, так же как и много раз в дальнейшем, приводя те или иные строки из текста записок, я буду комментировать не столько их, сколько стоящий за ними гораздо более широкий круг событий и проблем.

В данном случае я хочу сейчас, через двадцать пять лет, ответить себе на вопрос, с которым связано все начало моих записок: в какой мере война была неожиданностью для меня и для других моих сверстников? Для того чтобы попробовать на это ответить, надо вернуться из 1941 года еще на несколько лет назад.

Между процессом Димитрова и заключением пакта с фашистской Германией у меня не было никаких сомнений в том, что война с фашистами непременно будет. Больше того, мыслями о неизбежности этой войны для меня лично определялось все, что я делал в те годы как начинающий литератор. Именно этой неизбежностью объяснялись для меня и многие трудности нашей жизни, и та стремительная и напряженная индустриализация страны, свидетелями и участниками которой мы были. В этой же неизбежности войны мы искали объяснения репрессиям 1937–1938 годов.

Во всяком случае, когда весной 1937 года я узнал о суде над Тухачевским, Якиром и другими нашими военачальниками, я, мальчиком, в двадцатые годы несколько раз видевший Тухачевского, хотя и содрогнулся, но поверил, что прочитанное мною — правда, что действительно существовал какой-то военный заговор и люди, участвовавшие в нем, были связаны с Германией и хотели устроить у нас фашистский переворот. Других объяснений происшедшему у меня тогда не было.

Я не хочу сказать, что у меня не вызывало мучительных сомнений все последовавшее за этим. Конечно, я, как и другие, не мог знать того, что германскими или японскими шпионами и врагами народа, если говорить только об армии, объявлены были в течение двух лет все командующие и все члены Военных Советов округов, все командиры корпусов, большинство командиров дивизий и бригад, половина командиров и треть комиссаров полков. Если глазам кого-нибудь из нас могла бы предстать вся эта картина в целом, то я не сомневаюсь, что наши тяжелые сомнения превратились бы в прямую уверенность, что это неправда, что этого не может быть.

Кстати сказать, размышляя об этом сейчас, я не могу понять людей, которые и

теперь, перед лицом неопровержимых и опубликованных в нашей печати фактов, продолжают объяснять все тем, что Сталин был болезненно подозрителен, верил Ежову и не ведал, что творится. Ведь Сталин-то знал тогда все эти цифры в полном объеме, он видел всю картину в целом и не мог, разумеется, верить, что все командующие округами, все члены Военных Советов, все командиры корпусов по всей стране, от Белоруссии до Приморья и от Мурманска до Закавказья, были предателями. Я не могу допустить возможности такого безумия.

К. М. Симонов и П. А. Трошкин. Западный фронт, июль 1941 г. (фото из архива писателя)

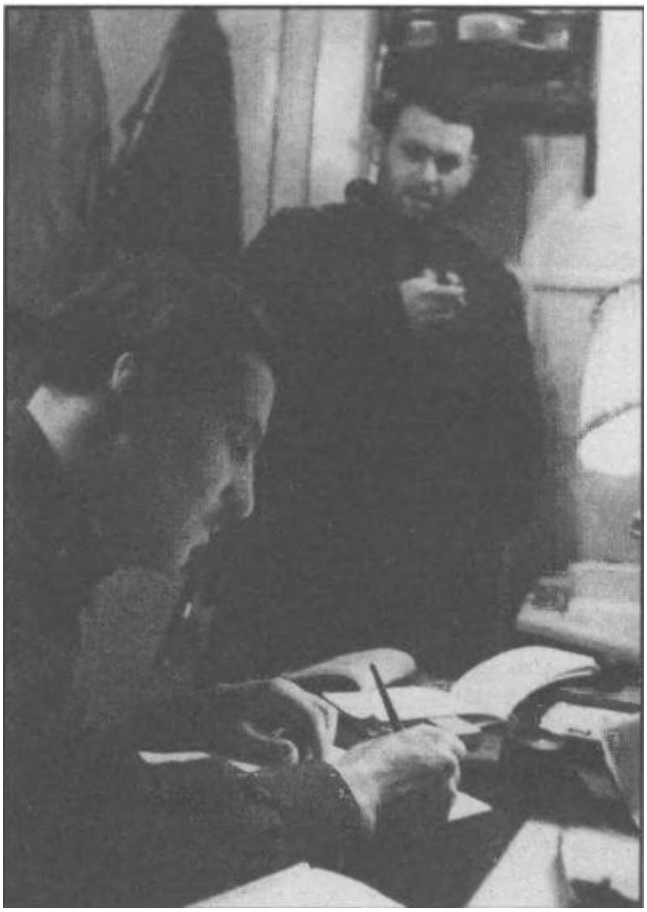
Западный фронт, июль 1941 г.

Слева направо: П. И. Боровков (водитель), П. И. Белявский, К. М. Симонов, Е. Т.

Кригер (фото П. А. Трошкина)

К. М. Симонов. Одесса, июль 1941 г. (фото из архива писателя)

В районе Смоленска. Западный фронт. К. Симонов (в центре) с Л. Сурковым, О. Кургановым, Е. Кригером и П. Трошкиным (фото из архива писателя)



К. Симонов и фотокорреспондент М. Беренштейн. Белое море, ноябрь 1941 года (фото из архива писателя)

Допрос пленных немецких летчиков. Лето 1941 г. (фото из архива писателя)

На Севере, п-ов Средний, 1941 г. (фото из архива писателя)

Разумеется, когда речь идет об аресте командиров и комиссаров дивизий, бригад и полков, это шире понятия «верхушка армии». И нет оснований полагать, что каждый из таких арестов осуществлялся с прямой санкции Сталина, но зато справедливо будет сказать, что все это было результатом страшной цепной реакции.

Ежегодные служебные аттестации, незадолго до своего ареста написанные «врагами народа» на обширный круг своих подчиненных, сплошь и рядом ставили под подозрение этих последних. Со следами этого сталкивался всякий, кому приходилось работать над личными делами того времени. И чаще всего нельзя сказать даже, по какому принципу одни остались служить в армии, а другие оказались на несколько лет изъятыми из нее или погибли.

Тем не менее, несмотря на масштабы постигшей армию катастрофы 1937–1938 годов, тяжелая атмосфера недоверия все-таки с меньшей силой повлияла бы на моральные и боевые качества военных кадров к началу и в начале войны, если бы происшедшая к этому времени реабилитация более чем четверти арестованных военных сопровождалась признанием огромности совершенных ошибок. Такое признание было бы воспринято хотя бы как частичная гарантия невозможности их повторения.

Но об этом не было и речи.

Я хорошо помню, с каким вздохом облегчения было воспринято исчезновение в начале тридцать девятого года с политического горизонта зловещей фигуры Ежова, и так же хорошо помню, как тогда, на первых порах, с именем его не менее зловещего преемника Берии у несведущих людей связывались даже добрые чувства. Именно ему тогда зачастую приписывали освобождение многих вернувшихся на свободу людей. Как ни чудовищно выглядит это в свете всего последующего, но тогда ощущение было именно такое.

А в общем, к началу войны в смысле оценки событий 1937–1938 годов в глазах многих из нас дело выглядело так: были известные перегибы, исправленные товарищем Сталиным. Появилось довольно много освобожденных людей, исчез без публичного объяснения причин Ежов, а в целом страна и, в частности, армия очистились и окрепли после уничтожения «пятой колонны», которая предала и погубила бы нас во время войны, если бы она не была своевременно ликвидирована.

Сейчас особенно очевидно, насколько подобный взгляд на вещи не совпадал с тем определением «ежовщины», которым просто и коротко заклеймил события тех лет народ. И сделал это не после смерти Сталина, а еще перед войной.

И все-таки в те тяжелые годы именно всеобщая уверенность в том, что нам

придется скоро не на жизнь, а на смерть воевать с фашистской Германией, а может быть, одновременно и с Японией, в какой-то мере отвлекала людей от более критической оценки происшедшего, толкала их на то, чтобы в напряженной обстановке в той или иной мере искать оправдание обостренной подозрительности, доходившей порой до того, что в невинных крестиках какого-нибудь текстильного орнамента находили коварно замаскированные фашистские свастики.

О моральной готовности народа вступить, если понадобится, в вооруженную борьбу с фашизмом говорили и глубокий отклик в сердцах, вызванный процессом Димитрова, и решимость молодежи в любую минуту ехать добровольцами в Испанию, и всеобщее одобрение, которое в 1938 году вызвала готовность Советского правительства прийти на помощь Чехословакии, и такое же единодушное возмущение Мюнхеном. Во всяком случае, в той рабочей и студенческой среде, в которой я жил в те годы, не помню ни одного разговора, даже с глазу на глаз, в котором кто-нибудь из моих сверстников проявил бы равнодушие к судьбам Испании или высказался в том смысле, что «наша хата с краю» и зачем нам ввязываться из-за чехов в войну с немцами.

Война справедливо рисовалась нам тогда как нечто неизбежное, хотя и вынужденное. Ее начало представлялось как нападение на нас фашистской Германии, или Японии, или обеих вместе, за этим следовал их разгром в результате наших ответных действий. История в конце концов подтвердила правильность этого предчувствия, хотя по дороге к победе нас ожидали такие страшные и неожиданные испытания, возможность которых в те годы просто-напросто не приходила, нам в голову. Мы не ожидали их потому, что неверно оценивали обстановку в стране и начавшее обнаруживаться уже к 1939 году отставание и в области организации армии, и в области ее оснащения современной военной техникой. Воспитанные в глубокой любви к Красной Армии и в конце концов, несмотря ни на что, не ошибавшиеся в своем ощущении ее потенциальной мощи, мы, конечно, и отдаленно не представляли себе меру ее неподготовленности к войне.

В написанном в 1937 году эпилоге поэмы «Ледовое побоище» я, выражая свои тогдашние чувства, писал о будущей войне так:

Когда-нибудь, сойдясь с друзьями,

Мы вспомним через много лет,

Что в землю врезан был краями

Жестокий гусеничный след.

Что мял хлеба сапог солдата,

Что нам навстречу шла война,

Что к западу от нас когда-то

Была фашистская страна.

Концепция этих строк была сходна с концепцией многих стихов, писавшихся тогда о будущей войне, — сначала война шла нам навстречу, потом, защищая свою страну, мы вооруженной рукой ставили крест на германском фашизме. Примерно тем же самым я закончил через год свои стихи «Однополчане»:

Под Кенигсбергом на рассвете

Мы будем ранены вдвоем,

Отбудем месяц в лазарете

И выживем, и в бой пойдем.

Святая ярость наступленья,

Боев жестокая страда

Завяжут наше поколенье

В железный узел навсегда.

Правда, даже и тогда и мне, и целому ряду моих товарищей по профессии, в отличие от других литераторов, писавших в шапкозакидательском духе, война все-таки представлялась «жестокой страдой». Но предположить, что в начале этой войны мне придется слышать гул орудий на окраинах Москвы и видеть бои на улицах Сталинграда, я, конечно, не мог. Кстати, тогда, в 1938 году, в редакции в слове «Кенигсберг» изменили одну букву, написав «Ренигсберг», очевидно, во избежание дипломатических осложнений.

Немалое место в наших мыслях о ходе будущей войны, выраженных и в прозе и в

стихах, в том числе и в моих, занимала надежда на то, что в ходе этой войны народ Германии выступит против фашизма. Эта вера была частью нас самих, и хотя того, что мы ждали, не произошло, но сила и чистота нашей тогдашней веры и сейчас не вызывают у меня чувства раскаяния.

В августе 1939 года, когда был заключен пакт с Гитлером, я был на Халхин Голе. Как раз в эти дни наша действовавшая вместе с монголами армейская группа, которой командовал Г. К. Жуков (тогда комкор), в жестоких боях добивала окруженную на территории Монголии 6-ю армейскую группу японцев. Не знаю, может быть, окажись я в то время в Москве, я отнесся бы к этому пакту с большими душевными сомнениями. Там, в Монголии, в разгар боев, я воспринял это известие как неожиданное, даже ошеломляющее, но, в общем, благоприятное. Не хочу распространять это мое восприятие на других людей, в таких случаях надо говорить о себе. Несмотря на то, что до полного уничтожения окруженных японских дивизий оставались считанные дни, я, так же как и многие на Халхин-Голе, вполне допускал, что японцы не примирятся со своим разгромом в Монголии, и уже стоивший им несколько десятков тысяч жизней вооруженный конфликт может развернуться в большую войну на всем Дальнем Востоке. В этих условиях оттуда, из Монголии, пакт с Германией воспринимался как благо, как нечто такое, после чего там, у тебя за спиной, на Западе, по крайней мере в ближайшее время ничего не начнется.

Потом, когда разразилась война на Западе и когда политики, ответственные за Мюнхен и за срыв переговоров с нами, толкнули Польшу, а вслед за ней и Францию навстречу происшедшей трагедии, мое отношение к пакту стало более сложным и противоречивым, в особенности после падения Франции.

В меру своего разумения я по-прежнему считал, что после неудавшихся по вине Англии и Франции наших переговоров с ними о взаимных гарантиях против германской агрессии пакт был единственным возможным для нашей страны выходом из создавшегося положения. Но чем дальше фашисты шагали по Европе, чем больше стран они подчиняли себе, тем большее чувство внутренней душевной стесненности вызывали у меня наши внешне лояльные отношения с этими завоевывавшими Европу людьми. Они оставались теми же, кем были — фашистами, — но мы уже не имели возможности писать и говорить о них вслух то, что мы о них думаем.

Государственная целесообразность пакта для меня по-прежнему не подвергалась сомнению, но чувство душевной потрясенности нарастало.

Молниеносное поражение Франции не только потрясло душу, но и вселило чувство горечи. Существовавшее у меня с самого начала европейской войны желание, чтобы у немцев не выходило так, как им хотелось, все больше обострялось по мере их новых успехов.

Вдруг промелькнувшее в газете сообщение ТАСС о противовоздушной обороне Лондона, в котором прозвучала нота сочувствия к оборонявшим свою столицу англичанам, было воспринято с обостренной радостью. Я говорю не только о себе. Хорошо помню, что это было общее чувство.

Конечно, все это было связано не только с неприязнью к Германии, неприязнью именно потому, что она была фашистской страной, но и с возраставшей тревогой за собственную судьбу: что же будет дальше, когда они завоюют всю Европу? Кто же их разобьет в конце концов? Очевидно, это все-таки придется делать нам, больше некому.

Все более оглушительные успехи немцев вызывали у меня не только все возраставшее сочувствие к тем, кому они наносили поражение за поражением, но и все усиливающуюся тревогу за будущее. Повторяю: армия казалась мне несравненно более готовой к войне с немцами, чем это было на самом деле. Но время постепенно вносило коррективы в это представление. И главные коррективы внесла финская война.

Я не был на ней, но там были многие мои близкие друзья, достаточно откровенно рассказавшие мне обо всем, что они видели.

Из этой войны делались весьма серьезные выводы, проходили совещания Главного Военного Совета, К. Е. Ворошилова сменил на посту наркома С. К. Тимошенко, произошла резкая перемена к лучшему во всей системе обучения армии.

В литературе куда сильней, чем раньше, зазвучали ноты, напоминавшие, что настоящая война нечто совсем иное, чем те облегченные до нелепости детские проекты ее, которые еще недавно можно было увидеть в таких фильмах, как «Если завтра война», «Эскадрилья номер пять», или прочесть в таких книгах, как «Первый удар» или «На Востоке».

В печати появился цикл стихов прошедшего финскую войну Суркова, в которых говорилось о неимоверной тяжести войны, о крови, жертвах, лишениях, о том, что войну не выиграешь за двенадцать часов, как в романе «Первый удар», а ее надо «вытерпеть» и «выдюжить». Сейчас все это само собой разумеется, но тогда такие стихи были важным событием в литературе, да и вообще в нашей духовной жизни.

Для большей очевидности этого скажу, что когда примерно за год до появления стихов Суркова я закончил одно из своих халхин-голских стихотворений строкой: «Да, враг был храбр, тем больше наша слава», то сначала мне пришлось долго отстаивать ее, а потом я неожиданно услышал ее по радио в таком виде: «Да, враг коварен был, тем больше наша слава».

Кто-то счел, что уж во всяком случае по радио недопустимо превозносить врага, высказывая предположение, что он, видите ли, может быть храбрым!

Вспоминаю, какой тяжелый для меня спор вышел из-за этого же стихотворения «Танк» с В. П. Ставским после нашего возвращения с Халхин-Гола.

В этом стихотворении я предлагал на месте так называемого Баин-Цаганского побоища, в котором наши танкисты, разбив японцев, сами понесли жесточайшие потери, поставить в качестве памятника один из наших продырявленных в этом бою танков, — сейчас мысль естественная, даже не дискуссионная.

Но тогда Владимир Петрович Ставский, сам участник этого Баин-Цаганского побоища, видевший все своими глазами, прочитав это стихотворение, рассвирепел:

— Нашел, что придумать: поставить вместо памятника дырявый танк! Разбитый, никуда не годный! Что это за символ победы?.. Что, мы не можем новый танк поставить или мраморный?..

В первую минуту я опешил от его натиска. То, что говорил мне Ставский, никак не вязалось у меня ни с его собственным мужественным обликом, ни с его биографией солдата (которую он потом достойно продолжил на финской и Великой Отечественной войне). Я не сразу понял, что в полном противоречии со всем тем, что он сам же видел и пережил на Баин-Цагане, Ставским продолжает владеть страшная инерция нашей пропаганды, вещавшей о победе малой кровью и умалчивавшей о трудностях и жертвах, которыми покупается победа.

Мы так ни до чего и не договорились и расстались в ссоре, а в следующий раз я увидел Ставского прихрамывающего, вернувшегося после финской войны с тяжелым ранением. Да, бывало тогда и так, что сама жизнь человека, пережитое и виденное им собственными глазами жестоко расходилось с тем, что он искренне считал нужным писать обо всем этом. И я бы не вспоминал этого случая, если бы в нем не отразились существенные черты того времени.

Я не был на финской войне, а на Халхин-Голе оказался лишь в конце событий, когда японцы на моих глазах действительно, без всяких преувеличений, были разбиты наголову. Своими глазами я видел разгром японцев. Но на Халхин-Голе я общался с людьми, находившимися там с самого начала событий, и для меня не было секретом ни то, что наши броневики горели как свечи, ни то, что наши быстроходные легкие танки БТ-5 и БТ-7 неожиданно оказались очень уязвимыми для артиллерийского огня, ни то, что наши истребители, как выяснилось, несколько отставали в скорости от японских. Мне приходилось также слышать, что поначалу японцы били в воздухе наших неопытных, совершавших первые боевые вылеты летчиков, и перелом в воздушных боях создался, только когда на Халхин-Гол прилетела большая группа наших лучших истребителей, уже отличившихся в Испании.

В разговорах там, в Монголии, не делалось особого секрета из того, что одна из наших стрелковых дивизий оказалась очень плохо обученной, при первых столкновениях с японцами побежала и лишь через месяц, постепенно втянувшись в бои, начала неплохо воевать. А кроме того — это я уже видел своими глазами, — японская пехота дралась отчаянно, защищала каждую сопку до последнего человека, умирала, но не сдавалась, нанося нам чувствительные потери. Словом — «враг был храбр». И, вспоминая о японцах, я допускал, что этого можно ждать и от немцев…

Я говорил о стихах Суркова, о споре со Ставским, о разных точках зрения на то, как писать о враге: «храбр» или «коварен». Все это только частности тех споров, которые в открытом, а чаще в скрытом виде существовали в духовной жизни страны, и того постепенного осознания меры опасности, с которой нам придется столкнуться в случае войны с немцами.

Этот процесс, встречавший жестокое противодействие в силу сложившихся за

предшествующие годы ложных представлений, хотя и ускорился под влиянием тяжелых для нас уроков финской войны, но так и не успел завершиться и дать существенные результаты к началу войны с немцами. Тем не менее он происходил, и мне хочется процитировать в доказательство отрывки из двух архивных документов, относящихся к преддверию войны, к февралю 1941 года.

В обоих из них говорится о готовившемся тогда в издательстве «Молодая гвардия» сборнике «Этих дней не смолкнет слава».

В первом из документов сказано так:

«…Сборник исходит из принципиально неверной установки о том, что „наша страна — страна героев", пропагандирует вредную теорию „легкой победы" и тем самым неправильно ориентирует молодежь, воспитывает ее в духе зазнайства и шапкозакидательства».

Во втором документе говорится то же самое, только другими словами:

«В материалах много ненужной рисовки и хвалебности. Победа одерживается исключительно легко, просто… все на ура, по старинке. В таком виде воспитывать нашу молодежь мы не можем. Авторы, видно, не сделали для себя никаких выводов из той перестройки, которая происходит в Красной Армии…»

Первая цитата — из проекта письма тогдашнего начальника Главного политического управления армии А. И. Запорожца к А. А. Жданову, вторая — из письма тогдашнего наркома обороны С. К. Тимошенко к тогдашнему секретарю ЦК комсомола Н. А. Михайлову.

Видимо, если бы война началась хоть на год позже, тот с трудом происходивший поворот в умах, о котором свидетельствуют эти письма, если бы и не завершился, то во всяком случае уже принес бы некоторые плоды. Однако война началась в июне 1941 года…

В декабре 1940 года я написал пьесу «Парень из нашего города». Пьеса кончалась событиями на Халхин-Голе, но тревожные мысли о будущей войне с немцами, все больше занимавшие меня в то время, все-таки нашли в этой пьесе свое выражение, правда, максимально сдержанное, приемлемое для печати.

Герой пьесы Луконин слушал в Монголии передачу немецкого радио из только что взятого немцами Кракова, и конец этой сцены выглядел так:

«Сергей. Довольно, выключи! (Молчание.) Здорово здесь чувствуешь расстояние?.. Конечно, все эти Беки и Рыдз Смиглы — дрянь и авантюристы, но когда я Думаю о польских солдатах… Нет, незавидная участь — быть солдатом в стране, где умеют хорошо делать только дамские чулки и губную помаду! Как по-твоему, а, Севастьянов?

Севастьянов. Да, по-моему, они сейчас предпочли бы уметь делать танки.

Сергей. Поздно. За две недели этому не научишься…»

Больше сказать тогда в печати и со сцены было невозможно, и я понимал эту невозможность и не пытался переступить границу, но тем не менее стремился, как мог, выразить свое отношение к фашистам, шагавшим по Европе. Актеры Театра ленинского комсомола, игравшие эту сцену в марте 1941 года, еще ближе к войне, в дополнение к авторским вложили в эту сцену свои собственные чувства, и, как нам казалось, зритель понимал то, что мы хотели дать ему почувствовать.

За месяц до войны, 16 мая 1941 года, мне пришлось участвовать в обсуждении этой пьесы в Доме актера.

Пьеса была неровная, с большими слабостями, но на обсуждении меня больше хвалили, чем ругали, видимо, потому, что главные герои пьесы были военные, уже воевавшие и, если надо, готовые снова идти сражаться люди. Появление таких людей на сцене тогда встречалось с особым сочувствием, и в этом тоже сказывалась тревожная атмосфера времени, ожидание вот-вот готовой разразиться войны, о которой, как мне вспоминается, тогда много думали, хотя и не часто говорили вслух.

Что касается меня, то на этот раз после обсуждения моей пьесы я сказал, отвечая выступавшим: «Что бы вы ни писали, не надо забывать о том, что если не в этом году, так в будущем нам предстоит воевать. Так я и писал эту во многом еще плохую пьесу… Нам скоро воевать! А перед этим отступают на задний план все мелочи. И из-за того, что пьеса… при всех ее недостатках, написана с тем чувством, что если не сегодня, так завтра нам предстоит воевать, мне прощаются многие недостатки. Я это учитываю».

Мысль выражена несколько коряво, но мне не хотелось задним числом править эту довоенную стенограмму.

Во многих воспоминаниях о первом периоде войны я читал о заявлении ТАСС от 14 июня 1941 года и о том дезориентирующем влиянии, которое оно имело.

Так оно и вышло на деле. Хотя сейчас, перечитывая это заявление ТАСС, я думаю, что его можно рассматривать как документ, который, при других сопутствующих обстоятельствах, мог бы не только успокоить, но и насторожить.

Думается, что Сталин хотел этим документом, во-первых, еще раз подчеркнуть, что мы не хотим войны с Германией и не собираемся вступать в нее по своей инициативе, во-вторых, что мы хорошо осведомлены о концентрации германских войск у наших границ и, очевидно, принимаем в связи с этим свои меры, а в-третьих, мне лично кажется несомненным, что это официальное заявление государственного телеграфного агентства имело целью попробовать вынудить Гитлера в той или иной форме подтвердить свои предыдущие заявления о миролюбивых намерениях по отношению к нам и этим в какой-то мере дополнительно связать себя.

Мне кажется, что разоружающее значение этого заявления ТАСС состояло не в самом факте его публикации, а в другом: если с дипломатической точки зрения появление такого документа считалось необходимым, то внутри страны ему должны были сопутствовать меры, совершенно обратные тем, которые последовали. Если бы одновременно с появлением этого документа войска пограничных округов были приведены в боевую готовность, то он, даже без особых дополнительных разъяснений, был бы воспринят в армии как документ дипломатический, а не руководящий, как адресованный вовне, а не вовнутрь.

А между тем были приняты как раз обратные меры. Буквально все попытки на местах, в пограничных округах, усилить боевую готовность войск наталкивались на жестокое сопротивление сверху, за которым, несомненно, стояла твердая воля Сталина.

Не только тяжело, а душевно непереносимо читать сейчас главы мемуаров, посвященных этому периоду. Соответствующие цитаты заняли бы десятки страниц. Сошлюсь лишь на нескольких лиц, занимавших перед войной самые разные должности — от начальника ПВО страны и до командиров дивизий. Упоминания о строгом запрете сверху принимать в пограничных округах какие-либо меры к приведению войск в боевую готовность проходят через

мемуары Воронова, Баграмяна, Сандалова, Бирюзова, Лобачева, Болдина, Кузнецова, Попеля и многих других участников войны.

И, конечно, уж вовсе трагическое впечатление производит висящая на стене в музее Брестской крепости красноармейская газета 4-й армии «Часовой родины», вышедшая утром 22 июня 1941 года с передовой «Летнему спорту — широкий размах».

В таких условиях заявление ТАСС, разумеется, могло иметь и имело только одно — разоружающее значение.

Надо попробовать представить себе психологическое состояние людей, которые знают об угрожающем сосредоточении германских войск у наших границ, ежедневно получают донесения на этот счет, сами доносят об этом своим старшим начальникам и в Москву, предлагают принять соответствующие меры, но ответом на все это оказывается или молчание, или прямые окрики: «Не сметь!»

Мне вовсе не кажется удивительным, что сочетание этой реальности, этой очевидности угрозы, которую чувствовали люди, находившиеся в пограничных округах, с твердостью отпора сверху, из Москвы, по отношению ко всем предложениям о приведении войск в боевую готовность у многих рождало ощущение, что, должно быть, есть какая-то иная очевидность, иная реальность, о которой хорошо осведомлен такой высший и непогрешимый авторитет, каким был тогда для нас Сталин.

Думаю, что именно это и могло рождать такие ответы, как ответ командующего войсками Западного особого округа Павлова своему встревоженному заместителю Болдину: «Иван Васильевич, пойми меня: в Москве лучше нас с тобой знают военно-политическую обстановку и наши отношения с Германией».

То, что, несмотря на явные признаки готовящегося нападения, Сталин, очевидно, до самого последнего момента еще верил, что ему удастся оттянуть начало войны, уже доказано нашими историками на основании анализа огромного количества неопровержимых фактов. В своем коллективном труде «Великая Отечественная война» они пришли к выводам, что неподготовленность пограничных военных округов к отпору врагу явилась прежде всего следствием ошибочных представлений Сталина о перспективах войны с фашистской Германией в ближайшее время и переоценки им значения советско-германского договора.

Я полностью разделяю эти выводы, но меня как писателя дополнительно интересует еще одно: за суховато-точной формулировкой историков о неподготовленности пограничных военных округов к этой, при всех обстоятельствах неизбежной войне стоит множество лишних жертв, понесенных нами на войне вследствие этих ошибочных представлений Сталина, не говоря уже об оккупации и опустошении немцами огромной территории, на которой потом все своим горбом заново отстраивал народ. Спрашивается, в силу чего психологически сложились у Сталина эти так дорого нам стоившие «ошибочные представления»?

Мне кажется, что во время и особенно после финской войны Сталин субъективно стремился сделать все, что от него зависело, чтобы страна вступила в войну с фашистской Германией как можно позже. По его представлениям, мы были бы готовы встретить войну во всеоружии к 1942–1943 году. Судя по многим высказываниям наших компетентных в этом вопросе военных деятелей, эти предположения были бы близки к действительности с точки зрения реорганизации и перевооружения армии и освоения новой техники. Другой вопрос, что нам и к этому времени не удалось бы восполнить огромные потери в командных кадрах, которые мы понесли в тридцать седьмом — тридцать восьмом годах, а большой боевой опыт германской армии, даже если бы война началась на год или два позже, в первый период все равно оставался бы фактором, усиливавшим нашего противника.

Но при всем том оттянуть надвигавшуюся войну хотя бы на год нам было нужно буквально до зарезу. Это было прямой государственной необходимостью, и то упорство, с которым стремился к этому Сталин, вполне понятно. Непонятно другое: как он мог не считаться с тем, что будущее может оказаться совсем иным, чем он хочет, что события могут пойти вразрез с его планированием. А ведь после неожиданного для нас всех разгрома Франции летом 1940 года, после того, как на Западе освободилась основная часть германской армии, были все основания предполагать возможность резкого изменения хода событий. И в том, что Сталин не пожелал посчитаться с этими изменившимися обстоятельствами, сказалось, как мне кажется, разлагающее личность влияние неограниченной власти. Этот психологический комплекс был связан с постепенно сложившимся у него, особенно в тридцатые годы, ощущением отсутствия непреодолимых препятствий

для выполнения всего задуманного и намеченного им. Он мнил себя способным планировать историю, не считаясь или недостаточно считаясь с теми грозными диссонансами, которые вносил в его субъективные планы сам объективный исторический процесс…

Заглядывая вперед, хочу добавить, что в ходе войны, после первых и страшных ее уроков, вся сила характера Сталина проявилась именно тогда, когда ему пришлось столкнуться с беспощадным противодействием противника и ломать это сопротивление, исходя из реальных возможностей борьбы, а не из предвзятых представлений о своем всесилии и всевластии.

Мне хочется высказать также и некоторые психологические догадки, связанные с переоценкой Сталиным значения советско-германского договора. Хочешь-не хочешь, а из многих действий Сталина перед самой войной складывается ощущение, что, при всем его неприятии фашизма, при всей его убежденности, что фашизм есть и остается нашим идеологическим врагом, с которым нам рано или поздно придется столкнуться на поле битвы, у Сталина в то время был некий субъективный момент. В Гитлере было нечто, вселявшее в Сталина уверенность, что после заключения пакта Гитлер не захочет терять лица, сочтет несовместимым со своим престижем нарушить торжественно данные им обязательства. Казалось бы, все прошлое Гитлера говорило об обратном, но я допускаю, что Сталин считал, что с ним, с исторической фигурой такого масштаба, Гитлер не посмеет решиться на то, на что он решался раньше с другими.

Я с интересом прочел одно высказывание по этому поводу, принадлежащее Густаву Хильгеру — ближайшему сотруднику последнего перед войною посла Германии в Москве графа Шуленбурга. Исходя из наблюдений тех лет, Хильгер пишет, что Сталин, решив «не допустить столкновения с Германией и использовать для этого, если потребуется, весь свой личный авторитет… переоценил как политический кругозор Гитлера, так и его чувство реальности».

В ряде работ наших военных историков справедливо замечается, что нельзя сводить все причины наших неудач первого периода войны только к субъективным ошибкам Сталина в непосредственно предшествовавшее ей время. Причиной наших неудач была целая сумма не только субъективных, но и объективных факторов, включающих в себя и моменты доставшейся нам в

наследство от царской России и все еще не преодоленной к концу тридцатых годов экономической отсталости, и масштабы военно-промышленного потенциала Германии, не только самой Германии, но и покоренной ею к тому времени Европы, и отмобилизованность и боевой опыт ее армии, и многое другое. Однако если говорить о внезапности и о масштабе связанных с нею первых поражений, то как раз здесь все с самого низу — начиная с донесений разведчиков и докладов пограничников, через сводки и сообщения округов, через доклады Наркомата обороны и Генерального штаба, — все в конечном итоге сходится персонально к Сталину и упирается в него, в его твердую уверенность, что именно ему и именно такими мерами, какие он считает нужными, удастся предотвратить надвигавшееся на страну бедствие. И в обратном порядке — именно от него, через Наркомат обороны, через Генеральный штаб, через штабы округов и до самого низу — идет весь тот нажим, все то административное и моральное давление, которое в итоге сделало войну куда более внезапной, чем она могла быть при других обстоятельствах.

Думая о том времени, нельзя не пытаться найти хотя бы частичную разгадку поведения той исторической личности, в государственные решения которой упирается вопрос о мере неожиданности для нас всего, что произошло 22 июня 1941 года.

До конца объяснить психологические причины ошибочных предвоенных представлений Сталина о перспективах войны, очевидно, невозможно. Чем больше я думаю об этом, чем больше знакомлюсь со связанными с этим материалами, тем более острое чувство недоумения испытываю.

Когда 5 мая 1941 года в последний раз перед войной состоялся в Кремле традиционный прием выпускников военных академий, на котором выступил Сталин, то на следующий день в конце посвященной этому событию передовой «Правды» стояла обращающая на себя внимание фраза: «В нынешней сложной международной обстановке мы должны быть готовы ко всяким неожиданностям». Не приходится сомневаться, что содержание передовой было прямо связано с духом того, что говорил на приеме Сталин. Но 3 июля 1941 года, словно забыв об этом, он, объясняя причины наших неудач, говорил, что «немалое значение имело здесь и то обстоятельство, что фашистская Германия неожиданно и вероломно нарушила пакт», говорил так, словно это нарушение не было именно той самой

главной неожиданностью, к которой мы должны были быть готовы. А потом, в своей майской речи 1942 года, подводя некоторые итоги, он же говорил: «Исчезли благодушие и беспечность в отношении врага, которые имели место среди бойцов в первые месяцы Отечественной войны». Так вот, оказывается, кто, по его мнению, в начале войны был беспечен и благодушен, кого война научила, — бойцы!

Конечно, и бойцов она многому научила, а вернее, тех из них, кто тогда, в первые дни, не погиб, — но, по совести говоря, стоило бы все таки, если уж заводить такой разговор, начинать его не с бойцов, а с себя. С упоминания о собственной ответственности.

Говоря о начале войны, невозможно уклониться от оценки масштабов той огромной личной ответственности, которую нес Сталин за все происшедшее. На одной и той же карте не может существовать различных масштабов. Масштабы ответственности соответствуют масштабам власти. Обширность одного прямо связана с обширностью второго.

Другой вопрос, что даже в самых сложных условиях существует еще и ответственность общества, когда оно по ходу своей истории вручает слишком обширную власть в руки одного человека. И, не снимая с этого человека ни единой доли ответственности за все его деяния, праведные и неправедные перед лицом истории, нельзя забывать и об ответственности общества, о нашей собственной ответственности за то положение, которое занял этот человек.

Как все это постепенно произошло в нашем обществе — особый и трудный вопрос, может быть, самый трудный в нашей истории. Но он существует и не перестанет существовать, независимо от того, как бы мы ни относились к Сталину и будем ли называть его в своих сочинениях Ставкой или собственным именем.

В тот вечер, когда поэтов вызвали в Радиокомитет писать антифашистские песни, произошло такое экстраординарное событие, как переход к нам через юго-западную границу перебежчика Альфреда Лискофа, сообщившего час нападения немцев. Происходили и более рядовые события — получение очередных разведдонесений от штабов пограничных округов. В последнем предвоенном разведдонесении, посланном в Москву из Прибалтийского особого военного округа 21 июня в 21 час 40 минут, в частности, сообщалось, что по

данным, заслуживающим доверия, продолжается сосредоточение немецких войск в Восточной Пруссии. Вслед за этим в донесении подробно излагалась дислокация немцев на Шауляйском и Каунасско-Вильнюсском направлениях. Были указаны номера немецких корпусов и дивизий и количество танков. Далее сообщалось, что на аэродромах Тильзита, Кенигсберга, Пилау, Инстербурга отмечено до семисот самолетов. Словом, была показана обстановка непосредственного сосредоточения перед наступлением.

Но, может быть, все это было сообщено в самый последний день, когда уже поздно было что-нибудь предпринять? Нет. Об этом свидетельствуют выводы донесения, звучащие так: «1. Продолжается сосредоточение немецких войск близ границы. 2. Общая группировка войск продолжает оставаться в прежних районах. 3. Требуется установить достоверность дислокации в городе Кенигсберг штаба 3-го армейского корпуса и штаба 1-й армии».

Из выводов этого донесения с полной очевидностью явствует, что ему предшествовали другие и оно само являлось лишь очередным напоминанием о том, что уже неоднократно сообщалось.

Я привожу всего один документ, попавший мне на глаза в архиве. Существует много других документов такого же рода.

Маршал К. С. Москаленко, командовавший перед войной Первой моторизованной артиллерийской противотанковой бригадой, одним из немногих соединений такого типа, которые мы успели создать к началу войны, недавно в беседе с писателями рассказывал: «20 июня 1941 года меня вызвал к себе командующий 5-й армией Потапов и в упор задал вопрос о возможном, с моей точки зрения, начале войны с немцами. Беседа велась с глазу на глаз в четырех стенах. Мы понимали, что, если откровенный разговор на этот счет станет известным, нам несдобровать. Доложив о данных разведки, я ответил Потапову, что думаю, что война вспыхнет не сегодня, так завтра. Это чувствуется по обстановке в пограничных районах. Он полностью со мной согласился и сказал:

„Не знаю, что думают в Москве и Берлине, но разделяю твои опасения, что немцы не сегодня-завтра нападут на нас“. После этого он познакомил меня с приказанием командующего округом Кирпоноса о немедленном укрытии всей боевой техники».

Присутствуя на этой беседе с Москаленко, я вспомнил одну старую довоенную книгу и не поленился заново прочесть ее.

«…К 4 часам 19 августа судьба пограничного боя на северном участке юго-западного фронта, где немцами было намечено произвести вторжение на советскую территорию силами ударной армейской группы генерала Шверера, была решена.

Лишенные оперативного руководства и поддержки бронесил, части ударной группы Шверера отходили. У них на хребте, не давая времени опомниться, двигались танки Михальчука. Скоро отступление немцев на этом участке превратилось в бегство. В прорыв устремились красная конница и моторизованная пехота».

Так выглядели первые двенадцать часов войны в напечатанном за два года до нее романе Шпанова «Первый удар»; на этих страницах рассказывалось о предполагаемых действиях на том самом северном участке Юго-Западного фронта, который в реальной предвоенной обстановке занимала 5-я армия генерала Потапова.

А вот как выглядели там эти первые двенадцать часов войны в действительности. Я еще раз приведу соответствующее место из беседы маршала Москаленко с писателями:

«Подъезжая к аэродрому, мы увидели, что его бомбят и самолеты горят. Генерал Лакеев, командовавший воздушными силами, не смог поднять с этого аэродрома в воздух ни одного самолета… Войска поднимались по боевой тревоге. Я вскрыл мобилизационный пакет и увидел, что в нем было предписание моей бригаде в случае объявления мобилизации идти на Львовское направление на Раву-Русскую. Я доложил командующему армией, что должен уйти от него, из его подчинения, на другое направление, на Львов.

— Как же ты можешь так поступить, — сказал Потапов, — когда немцы уже выходят к Владимиру-Волынскому и сейчас его возьмут…

Я ответил Потапову, что тем не менее я обязан выйти из его подчинения и могу выполнить его противоречащий мобилизационному пакету приказ, только если этот приказ подтвердит Москва или Киев.

Он позвонил мне снова через несколько минут — у него не было связи ни с Москвой, ни с Киевом, она была прервана, и никакого руководства ни по радио, ни по телефону оттуда в первые часы у нас не было.

Тогда в сложившейся обстановке я решил подчиниться приказу командующего и пошел на Владимир-Волынский».

Хорошо известно не только по нашим, но и по немецким источникам, что в дальнейшем 5-я армия под командованием генерала Потапова была одной из тех, которые на протяжении первых месяцев войны оказали наиболее ожесточенное и успешное сопротивление наступавшим немцам. Рассказ маршала Москаленко свидетельствует о том, в какой тяжелейшей обстановке начала действовать эта армия в первые часы войны.

Навстречу примерно такой же обстановке и таким же событиям, обернувшимся на Западном фронте еще более тяжелыми результатами, выехал я в дачном вагоне из Москвы в Минск, имея в кармане командировочное предписание: «Интенданту 2-го ранга товарищу Симонову К. М. Приказом начальника Главного управления политпропаганды Красной Армии № 0045 от 24 июня 1941 года Вы назначены литератором редакции газеты „Боевое знамя", предлагаю отбыть в распоряжение начальника Управления политической пропаганды Западного особого военного округа. Срок выезда 24 июня 1941 г. Маршрут — Москва — Минск. О выезде донести».

Мое странное для писателя интендантское звание объяснялось тем, что для присвоения строевых званий оконченные нами перед войной курсы военных корреспондентов достаточных оснований не давали. Звание же политработника тем из нас, кто не был членом партии, присвоено быть не могло, а я только накануне отъезда на фронт получил в Краснопресненском райкоме кандидатскую карточку. В таких же, как и я, интендантских званиях уехало тогда на фронт множество писателей, которые, кстати сказать, никогда не возражали, если их потом, там, на фронте, по ошибке или из деликатности именовали не интендантами, а майорами или батальонными комиссарами.

2 «В эту ночь — с 23-го на 24-е — была первая воздушная тревога, как потом оказалось — учебная»

На самом деле эта тревога не была учебной. Вот как выглядела в

соответствующем донесении подлинная история этой первой московской воздушной тревоги:

«…На подступах… появились неопознанные самолеты. 2.40. Командиром корпуса частям корпуса объявлена тревога. По указанию командира 6-го авиакорпуса полковника товарища Климова наша истребительная авиация поднята в воздух для патрулирования на разных высотах от 2 тысяч до 7 тысяч метров. Всего поднято в воздух было 178 самолетов.

Противник обнаружен не был, но 4 самолета под управлением младших лейтенантов Бочарова, Федорова, Хазаинова и Зверева обстреляли самолеты ДС-3 под управлением летчиков гражданского воздушного флота товарищей Смирнова, Горщукова и Синберт, посадили их на аэродром Алферьево, и при осмотре в самолетах обнаружены пробоины в бензобаке, в хвостовом оперении и рации.

После телефонного разговора генерал-майора артиллерии товарища Журавлева с начальником ВВС, выяснив, что неопознанные самолеты являются нашими, полковнику Климову свою истребительную авиацию посадить, оставив только патрулирование.

В 3.08 командир зоны ПВО генерал-майор товарищ Громадин приказал вести огонь. Все батареи огонь открыли.

В 4.14 генерал-майор товарищ Громадин приказал дать отбой…»

3 «Были сведения, что пути до Минска разбомблены и в каком-то месте перехвачены десантом»

Эти сведения, которые нам сообщили в Борисове утром 26 июня, когда поезд не пошел дальше и нам пришлось выгрузиться, на поверку оказались неточными. Хотя, вообще говоря, слухи о десантах имели свои основания. В «Журнале боевых действий войск Западного фронта» есть несколько сообщений о десантах уже за первый день войны: десант в десять человек, в двадцать человек, в пятьдесят человек, около ста человек, и, наконец, в 17 часов 10 минут донесение о высадке авиадесанта в тысячу человек с пометкой: «Данные непроверенные».

В том же «Журнале» за 24 июня записано, что «в ночь на 24-е противник выбросил авиадесанты в районах Радешковичи — Олехновичи до тысячи человек (данные не подтвердились). В районе Ратомка — не установленной численности. У

железнодорожного моста Жлобин — не установленной численности. На участке Осиповичи — Березина авиадесант с шестью танками (данные не проверены)».

Я привожу эту цитату из «Журнала боевых действий», чтобы показать, какое широкое хождение имели в те дни слухи о десантах. Одни из них подтверждались, другие нет, но слухи все больше ширились.

Однако данных о высадке немецкого десанта между Минском и Борисовом я ни в каких документах не обнаружил. Что касается продвижения наземных войск, то в «Журнале боевых действий войск Западного фронта» указывается, что немцы достигли автострады Минск — Москва своими подвижными частями только 28 июня. Сведения, возможно, запоздалые; судя по трофейной карте немецкого генерального штаба, 7-я танковая дивизия немцев перерезала Минское шоссе в районе Смолевичи на полдороге между Минском и Борисовом уже к вечеру 27 июня.

Но даже если и так, все равно слухи, о которых я упомянул в записках, опередили действительные события на сутки, и когда мы 26 июня ездили заправляться бензином из Борисова по направлению к Минску, моя тревога была неоправданной. У страха глаза велики.

Со странным чувством разглядывал я в архиве пожелтевшие трофейные карты германского генерального штаба за первые дни войны. Смотрел на них, на эти уверенные, все глубже врезавшиеся в нашу землю стрелы и думал о людях, когда-то наносивших на эти отчетные карты обстановку по первым торжествующим донесениям с Восточного фронта.

Недавно я был в Польше, в районе так называемого Вольфшанце — Волчьего логова, где перед началом войны размещалась ставка Гитлера. В глухом сыром лесу — циклопическое нагромождение взорванных и опрокинутых многометровых бетонных плит. Все это немцы взорвали своими руками осенью 1944 года, накануне нашего вторжения в Восточную Пруссию. Но именно отсюда, из этих нынешних развалин, Гитлер тогда, в июне 1941 года, руководил войной на Востоке. Именно здесь клали перед ним на стол эти карты с последней, наилучшим образом складывавшейся обстановкой, те самые карты, которые сейчас одну за другой приносит мне для ознакомления тихая девушка в тихом городке, который едва не был взят немцами тогда, в 1941 году…

4 «Несколько полковников, в той числе и тот полковник-танкист Лизюков, с которым я ехал в одном вагоне, наводили в лесу порядок»

Полковник Лизюков, на моих глазах наводивший порядок под Борисовом, погиб через тринадцать месяцев после этого, в июле 1942 года, в районе Большой Верейки, в сорока километрах северо-западнее Воронежа, в должности командующего только что сформированной танковой армии. Он погиб в тяжелых и неудачных для нас боях, пытаясь ударом во фланг остановить наступление немцев и облегчить наше положение на Воронежском направлении.

Его гибель носит на себе трагический отпечаток и произошла при обстоятельствах, не до конца известных. Вот что сказано в отправленной уже после войны в штаб бронетанковых сил СССР записке людей, выяснявших обстоятельства его гибели:

«В тот день, не имея сведений от прорвавшегося в район Русско-Гвоздевских высот 89-го танкового батальона 148-й танковой бригады, генерал Лизюков и полковой комиссар Ассоров на танке КВ… выехали в направлении рощи, что западнее высоты 188,5, и в часть не возвратились. Из показаний бывшего заместителя командира 89-й танковой бригады… гвардии полковника Давиденко Никиты Васильевича известно, что при действии бригады в этом районе был обнаружен подбитый танк КВ, на броне которого находился труп полкового комиссара Ассорова, и примерно в ста метрах от танка находился неизвестный труп в комбинезоне, с раздавленной головой. В комбинезоне была обнаружена вещевая книжка генерала Лизюкова. По приказанию гвардии полковника Давиденко указанный труп был доставлен на его НП и похоронен около рощи, что западнее высоты 188,5. Вскоре бригада из этого района была вынуждена отойти. Других данных о месте гибели и погребения генерала Лизюкова не имеется».

Так погиб Александр Ильич Лизюков. Но до своей трагической гибели он немало успел сделать на войне. Под Борисовом он, как мне теперь известно, воевал до 8 июля 1941 года. О том, что он там делал, пожалуй, лучше всего расскажет выписка из соответствующего наградного листа.

«Фамилия — Лизюков Александр Ильич.

Звание — полковник.

Год рождения — 1900.

Краткое содержание подвига. — С 26 июня по 8 июля 1941 года работал начальником штаба группы войск по обороне города Борисова. Несмотря на то, что штаб пришлось сформировать из командиров, отставших от своих частей, в момент беспорядочного отхода подразделений от города Минск товарищ Лизюков проявил максимум энергии, настойчивости, инициативы. Буквально под непрерывной бомбежкой со стороны противника, не имея средств управления, товарищ Лизюков своей настойчивой работой обеспечил управление частями, лично проявил мужество и храбрость. Достоин представления к правительственной награде орденом Красного Знамени».

Лизюков оказался одним из первых командиров, награжденных в начале войны на Западном фронте.

В книге мемуаров полкового комиссара Гуляева «Человек в броне», в главе, повествующей о тяжелой обстановке в конце июля 1941 года на Днепре у Соловьевской переправы, упоминается о полковнике-танкисте, решительно наводившем там порядок. «Как я потом узнал, то был полковник А. И. Лизюков… своим мужеством и распорядительностью спасший тогда много техники и людей. Позднее ему было присвоено звание Героя Советского Союза».

Звание Героя Советского Союза Лизюков получил уже под Москвой, командуя Первой мотострелковой дивизией, которой именно в этот период было присвоено звание гвардейской.

Потом Лизюков участвовал в боях, командуя 2-м танковым корпусом, и наконец, как я уже сказал, в критические дни июля 1942 года был назначен командующим спешно сформированной 5-й танковой армией.

В его личном деле, касающемся довоенных времен, указано, что осенью 1935 года он около месяца был во Франции членом нашей военной делегации на маневрах французской армии. Потом командовал танковым полком и бригадой. Потом увольнялся из рядов армии, но, к счастью, через несколько месяцев вернулся в нее. Перед войной Лизюков был заместителем командира 36-й танковой дивизии, в которую, видимо, и ехал, когда мы встретились с ним в вагоне.

После этого я виделся с ним еще два раза: один раз в Москве, когда его вызывали для назначения на корпус, и второй раз накануне его гибели, на Брянском фронте, в какой-то деревне, не помню ее названия, где размещалась тогда

оперативная группа заместителя командующего фронтом генерала Чибисова. Я столкнулся с Лизюковым накоротке у хаты оперативного отдела; я шел туда, чтобы узнать, как проехать в действовавшую на этом участке фронта Башкирскую кавалерийскую дивизию.

— Что вы здесь делаете? - коротко спросил меня Лизюков.

Я ответил.

— Давайте сперва съездим ко мне, — сказал он. — У меня тут на полчаса дел, через полчаса будьте у моей машины.

Он показал рукой, где именно, за пятой или шестой хатой отсюда, стояла его машина.

Через двадцать пять минут я был там, но Лизюкова уже не было. Он уехал несколько минут назад. Меня тогда это удивило, тем более что он сам предложил мне ехать с ним. Лишь через несколько дней, вернувшись из Башкирской дивизии и узнав о гибели Лизюкова, я вспомнил его хмурое, расстроенное лицо в короткую минуту нашей последней встречи. А впрочем, допускаю, что все это мне только показалось. Когда мы вспоминаем о последних встречах с вдруг ушедшими от нас людьми, нам часто задним числом кажется, что на их лицах уже лежала в те минуты печать предчувствия своей гибели.

5 «Мы вскочили, довольные, что наконец-то появились наши самолеты. Но они полили нас хорошей порцией свинца»

Рассказ о вытащенном из кабины нашего истребителя полусгоревшем трупе немецкого летчика сейчас кажется мне маловероятным, хотя сообщения о схожих случаях можно разыскать в архивных документах того времени, например, в приказе начальника штаба 21-й армии от 13 июля 1941 года: «Противник использует захваченные у нас самолеты для действия по нашим частям, бомбардируя и обстреливая с бреющего полета».

Тогда я думал, что немцы могли захватить эту тройку наших И-15 и наскоро научить летать на них своих летчиков. Но вряд ли это правда. Немецкие истребители в те дни хозяйничали в воздухе, и посылать немецких летчиков в воздух на самом отсталом типе наших истребителей — И-15 — значило подвергать их совершенно реальной опасности быть тут же сбитыми собственными

«мессершмиттами».

То, что рассказывали мне люди, вытащившие из кабины полуобгорелый труп якобы немецкого летчика, — просто-напросто отвечало их душевной потребности. Они не могли примириться с тем, что первые увиденные ими за день наши самолеты по ошибке нас же и расстреливали с воздуха. Поверить в это было нестерпимо тяжело — отсюда, наверно, и родилась версия о трупе немецкого летчика.

Что касается истребителей И-15, то они по своим данным считались отсталыми машинами еще в 1939 году на Халхин-Голе. В начале халхин-голского конфликта их особенно часто сбивали японцы, и вскоре был отдан специальный приказ выпускать их в воздушные бои только вместе с другими, по тому времени более совершенными нашими истребителями.

Когда на Халхин-Гол прибыла группа наших летчиков-«испанцев» на новых истребителях И-153, похожих очертаниями на И-15, но с убирающимися шасси и с большей скоростью, то в первом же воздушном бою было сразу сбито больше десятка японских истребителей, ошибочно посчитавших, что они встретились один на один с И-15, и нарвавшихся на неожиданный для себя отпор.

Чтобы сравнить возможности, которыми располагали в 1941 году для боя с «мессершмиттами» эти взятые нами на вооружение еще в 1935 году И-15, стоит привести несколько красноречивых цифр.

И-15 располагал скоростью 367 километров, «мессершмитт-109», принятый немцами на вооружение в 1938–1939 годах, располагал скоростью 540 километров; потолок был соответственно 9000 и 11700 метров; мощность моторов — 750 и 1050 лошадиных сил; калибр пулеметов — 7,62 миллиметра и 20 миллиметров.

Естественно, что при таком превосходстве «мессершмитты» имели все возможности для того, чтобы расправляться с устарелыми по всем показателям самолетами.

По другим типам наших истребителей — И-16 и И-153, которые были на Халхин-Голе еще новинкой, — соотношение данных по сравнению с «мессершмиттами» в 1941 году складывалось не столь разительное, но тоже достаточно тяжелое для нас: разница в потолке около двух тысяч метров и в

скорости около ста километров. А все эти вместе взятые устарелые машины, к нашему несчастью, все еще составляли к началу войны восемьдесят девять процентов нашей истребительной авиации.

6 «Я сказал, что мне надо явиться в штаб фронта, в политуправление. Он покачал головой. Он не знал, где штаб фронта…»

В записках наряду с недоумением перед всем, что делалось кругом, тогда, 26 и 27 июня, еще оставалась вера, что все это случайность, что все это вот-вот будет поправлено. Это чувство мне и теперь, издали, хорошо понятно. Основанная на всем нашем воспитании страстная вера, что так не может, не имеет права быть, толкала нас в первые дни на поиски более легких объяснений происходившего на наших глазах, чем те, которые содержала в себе действительность. Мы не хотели верить своим глазам и, в сущности, ждали чуда. Но чуда в те дни произойти уже не могло, тем более на нашем Западном фронте, где немцы наносили свой главный удар и где и обстановка, и соотношение сил оказались наиболее невыгодными для нас. Чуда произойти не могло. Об этом говорят записи в «Журнале боевых действий войск Западного фронта» за эти дни — 26–27 июня.

Двадцать шестого в 4.00 в штаб фронта поступили данные о прорыве танков противника в направлении Заславль — Минск. Штаб отдельными группами выехал в Бобруйск. Часть групп в пути, а часть уже в Бобруйске получила новое приказание — штаб фронта перемещался в район Могилева. Управление войсками в этот день фактически отсутствовало. Данных о положении войск 3-й армии в штабе не было. 10-я армия продолжала отходить. Но положение ее частей было неизвестно. 4-я армия продолжала отходить на Бобруйск. И только в донесении из 13-й армии был ободряющий пункт о том, что 24-й стрелковой дивизии удалось временно задержать противника и нанести ему значительные потери.

Двадцать седьмого июня штаб фронта занял командный пункт в лесу, в десяти километрах северо-восточнее Могилева; узла связи на КП не было. Связь с Москвой поддерживалась через могилевский телеграф. Связь с войсками — преимущественно через делегатов. В этот день данных о положении 3-й и 10-й армий по-прежнему не было.

Таким образом, корпусной комиссар Сусайков, у которого я имел наивность спрашивать посреди леса, где мне искать редакцию газеты, действительно еще не

знал и не мог знать тогда, где находится штаб и политуправление фронта. Он узнал об этом лишь на следующий день из приказания, направленного ему штабом фронта уже из Могилева.

В «Журнале боевых действий войск Западного фронта» за 28 июня есть текст этого распоряжения корпусному комиссару Сусайкову, согласно которому на него, как на начальника Борисовского танкового училища, была возложена оборона района Борисова.

«Командующий войсками приказал тщательно организовать разведку и не допустить захвата противником переправ через реку Березина. Со всеми неповинующимися, подрывающими дисциплину расправляться со всей строгостью. То же относится ко всем сеющим панику…»

Распоряжение было подписано начальником штаба фронта генералом Климовских.

Корпусной комиссар Иван Захарович Сусайков, которому было поручено оборонять район Борисова, прежде чем стать политработником, был начальником штаба отдельного танкового батальона Московской Пролетарской дивизии и в 1937 году в звании капитана окончил Бронетанковую академию с аттестацией: «Целесообразно использовать на должности командира танкового батальона».

Однако судьба решила иначе и отправила его на политработу, правда, тоже в танковую часть. Как и многие в то время, стремительно повышаясь в званиях, он за два-три года стал из батальонного комиссара корпусным, членом Военного Совета округа, но перед войной вдруг вновь попал на строевую должность — начальником Борисовского танкового училища.

Встретив там войну, он вместе с Лизюковым, который стал у него начальником штаба, оборонял Борисов.

В документах штаба Западного фронта я обнаружил такую телеграмму:

«2. VII-41. Приказание. Штаб Западного фронта, Могилев. Товарищам Сусайкову и Юшкевичу: „Примите все меры уничтожения прорвавшегося на Борисов противника и удержания за собою мостов. При невозможности удержания мосты взрывать. Еременко, Фоминых, Маландин“».

(К этому времени бывший командующий фронтом Павлов и бывший начальник штаба фронта Климовских были уже сняты.)

Группе под командованием Сусайкова и частям 44-го корпуса, которым в те дни командовал Юшкевич, удержать Борисов не удалось, но, оставив Борисов, они в последующие дни продолжали вести в этом районе тяжелые бои с немцами, ожесточенно сопротивляясь и переходя в контратаки. В «Журнале боевых действий 44-го корпуса», у которого в оперативном подчинении находилась группа Сусайкова, есть несколько упоминаний об активных действиях этой группы:

«6. VII. 11.00. Группа товарища Сусайкова пошла в наступление, оттеснив противника, и вышла к реке Бобр».

«7. VII. 8.00. В результате контратаки 5-го механизированного корпуса, Первой мотострелковой дивизии и Борисовского отряда (которым командовал Сусайков. — К. С.) наши части взяли обратно Толочин».

За этот же день в «Журнале» появляется еще одна запись: «7.VII. 11.30. Связь с группой тов. Сусайкова была нарушена».

Начинавший войну в жесточайших боях в районе Борисова в качестве начальника танкового училища и командира той наспех сколоченной группы войск, первый день формирования которой я видел 27 июня, Сусайков в дальнейшем, после ранения под Борисовом, вернулся на политработу и кончил войну генерал-полковником танковых войск, членом Военного Совета Второго Украинского фронта и председателем Союзной контрольной комиссии в Румынии.

7 «…полковник-пограничник вдруг сказал, что сегодня убили одного писателя. Я спросил — где

— А там, в лесочке, где мы стояли. Это наш писатель-пограничник»

Хочу восстановить эту фамилию, не названную в моих записках. В архивных документах с помощью белорусских товарищей удалось разыскать упоминание о том, что на Западном фронте 26 июня 1941 года при воздушной бомбардировке погиб писатель-пограничник, батальонный комиссар Иван Евдокимович Шаповалов.

8 «Когда мы доехали до поворота на Оршу и повернули, то впервые увидели войска. Не движущиеся вразброд, а стоявшие на позициях…»

Стоявшие вдоль шоссе вечером 27 июня войска, виду которых я так обрадовался

тогда, были частями группы резервных армий, созданных по решению Ставки еще 25 июня.

К 28 июня эти войска должны были уже полностью занять рубеж Витебск — Орша — Могилев.

Создание группы резервных армий было результатом того, что в Москве уже пришли к выводу, что наш дезорганизованный и ослабленный большими потерями Западный фронт не сможет один остановить продвижения немцев. Надо было выиграть время, и ради этого принимались все меры. В частности, действовавшей впереди на Минском шоссе Борисовской группе приказывалось во что бы то ни стало оборонять Борисов и возможно дольше задерживать немцев на Березине.

9 «…сказал нам, что штаб Западного фронта находится в восемнадцати километрах от Могилева»

На самом деле штаб фронта находился ближе, примерно в десяти километрах от Могилева. Допускаю, что комендант был вполне точен, а я не разобрал закорючки в собственном блокноте…

Вообще надо сказать, что сейчас, когда я многое проверил по архивным документам и мемуарам, да и просто заново объехал и обошел все эти места, я понял, что именно с этими самыми первыми днями войны в моих записках связано наибольшее количество неточностей и неясностей. В том наиболее тяжелом за всю войну душевном состоянии, в котором я был в те дни, я очень мало записывал. Не было сил, да и, наверно, казалось, что вовек ничего из этого не забуду. Но в марте — апреле 1942 года, когда я, диктуя записки, мысленно восстанавливал те дни, при огромном количестве подробностей, которые действительно навсегда запали в память, сами дни уже путались, переходили один в другой, и, как теперь выясняется, я не всегда с абсолютной точностью помнил, что вслед за чем было.

Вот почему, комментируя эти дни, я в нескольких случаях изложу события не в той последовательности, в какой я их записывал весной 1942 года, а в той, которая представляется мне более достоверной согласно лежащим сейчас передо мной документам.

10 «Лестев вытянулся и начал рапортовать:

— Товарищ маршал…»

Дивизионный комиссар Дмитрий Александрович Лестев, начальник политуправления, а впоследствии член Военного Совета Западного фронта, решивший мою судьбу, приказав мне работать в газете Западного фронта «Красноармейская правда», был одним из тех людей, о которых в противоречивой обстановке войны так и не сложилось разных мнений. Я видел его всего раз в жизни, тогда, 28 июня, под Могилевом. Но все, с кем мне довелось говорить о нем и во время войны, и после нее — самые разные люди, — неизменно вспоминали о нем как об очень справедливом, храбром, прямом и честном человеке и, характеризуя при этом его качества политработника, часто употребляли слова: «Это был настоящий комиссар», хотя в строгом смысле слова он по своей должности никогда не был комиссаром. Эти слова были просто данью уважения к нему, данью его высоким политическим и человеческим качествам.

Уже с середины войны, когда введенный в критические дни июля 1941 года институт военных комиссаров был упразднен, я вообще много раз замечал, что особенно хороших замполитов часто называли этим словом — «комиссар». И в этом слове обычно содержалась оценка личности человека, оценка его поведения и образа жизни на войне.

Лестев был убит в ноябре 1941 года в дни боев за Москву осколком бомбы в висок.

Когда я увидел выходящих из машины Ворошилова и Шапошникова, мне показалось, что они только что приехали в штаб Западного фронта. На самом деле это было не так или не совсем так. Во всяком случае, если говорить о Ворошилове, в «Журнале боевых действий войск Западного фронта» еще накануне, за 27 июня, есть запись: «На КП прибыл маршал Советского Союза Ворошилов».

11 «Все кругом было полно слухами о диверсантах, парашютистах, останавливавших машины под предлогом контроля»

Опасения, которые я испытывал, возвращаясь из штаба фронта в Могилев, не были такими уж неосновательными, а готовность в случае чего стрелять первым в той обстановке, пожалуй, была благоразумной.

Я упомянул в записках только об одном случае нелепой гибели товарища из нашей редакции. Но сейчас, разбираясь в документах того времени, наткнулся на

множество случаев таких нелепых смертей в самых неожиданных обстоятельствах. Приведу несколько выдержек из этих документов:

«Неизвестный командир остановил автомашину с командным составом штаба, заявив им, что они шпионы, и пытаясь расстрелять…»

«Младшим политкомандиром 141-го стрелкового полка из зенитного пулемета была расстреляна группа работников Управления государственной безопасности в количестве шести человек».

«В ночь на 25-е начальник 3-го отделения отдела продснабжения штаба фронта, интендант 2-го ранга Тимофеев В. В. в городе Минске встретил патруль, который вел задержанного слушателя Академии имени Жуковского военинженера 1-го ранга. Фамилия не установлена, т. к. все документы уничтожены, которого заподозрил в шпионаже и приказал расстрелять, что и было сделано». Преступник арестован и предан суду.

«26 июня 1941 г. в 23 ч. 15 м. по дороге в Борисов на автомашину, следовавшую с мобилизационными документами Слуцкого и Старо-Дорожского райвоенкоматов, напала диверсионная банда. Имеются убитые… Прошу вашего распоряжения о командировании отряда для ликвидации банды… В ту же ночь в деревне южнее Старых Дорог обстрелян из пулемета воинский обоз».

В датированном 13 июля, очень спокойном и трезвом по тону документе, составленном начальником разведотдела штаба 21-й армии и озаглавленном «Краткие сведения по тактике германской армии. Из опыта войны», дается первая попытка обобщения складывавшегося опыта:

«Отдельные диверсионно-десантные группы одеваются в красноармейскую форму, форму командиров Красной Армии и НКВД… проникая в район расположения наших частей. Они имеют задачу создавать панику и вести разведку».

Сказанное в этом документе подтверждается немецкими данными о действиях подразделений особого полка «Бранденбург»; в частности, мост у Даугавпилса был захвачен диверсантами из этого полка, переодетыми в красноармейскую форму.

А в общем, оглядываясь на те дни, надо прийти к выводу, что было и то и другое.

В одних случаях действовали немецкие диверсанты, а в других — в обстановке тяжелого отступления и широко распространившихся слухов об обилии немецких диверсантов — свои задерживали и даже расстреливали своих. В тяжелой неразберихе разные люди вели себя по-разному.

В том же самом политдонесении, где сообщается о расстреле прямо на улице Минска военного инженера 1-го ранга работником отдела продснабжения, рассказывается и о том, как заместитель начальника воинского склада № 846 батальонный комиссар Фаустов, добиравшийся после объявления войны с курорта в горящий Минск, увидев, что его склад покинут, организовал вокруг себя командиров-отпускников и отставших от разных частей красноармейцев, вооружил их брошенным оружием и с боями вывел из окружения отряд общим числом ни много ни мало — в 2757 человек.

Когда роешься во всех этих архивных документах, невольно думаешь о том, как много еще предстоит нам разбираться в самых разных — и героических, и постыдных — событиях тех дней. И без анализа и той и другой стороны дела невозможно восстановить во всей их совокупности ни подлинной атмосферы того времени, ни хода последующих событий.

12 «Это был фельдфебель с железным крестом — первый немец, которого я видел на войне»

Мне не удалось найти подтверждения того, что этого летчика действительно допрашивал один из маршалов. Но я обнаружил протокол допроса, очевидно, этого самого летчика. И, пожалуй, сопоставление этого документа с непосредственным впечатлением, сложившимся у меня тогда, представит известный интерес.

Летчик был допрошен в разведотделе фронта не 29 июня, как об этом можно судить по моим запискам, а 28-го. Видимо, я спутал дни, ибо целый ряд совпадений почти не оставляет сомнений, что речь идет об одном и том же человеке. Вот этот документ с сокращениями некоторых не представляющих интереса подробностей:

«Опрашиваемый — Хартле, 1919 года рождения, служил четыре года в германских ВВС, в последней должности — в качестве радиста на борту бомбардировщика и дальнего разведчика „хейнкель-111“, который был подбит 23.VI-41 зенитной

артиллерией под Слонимом во время первого полета над советской территорией.

Экипаж самолета, состоявший из командира машины капитана Хиршауэра, старшего фельдфебеля Потт, старшего фельдфебеля Индрес, фельдфебеля Функе и самого опрашиваемого Хартле — пять человек, — выполнял задачу по разрушению коммуникаций в тылу за линией фронта.

Самолет получил серьезное повреждение мотора от огня зенитной артиллерии при первом полете над территорией СССР, имея полную бомбовую нагрузку. Не выполнив задачи, самолет сбросил бомбы в открытое поле и совершил посадку с катастрофой, при которой легко раненным оказался допрашиваемый Хартле…

Экипаж самолета принадлежал 217-й эскадрилье, прибывшей из Франции… Опрашиваемый Хартле не является членом национал-социалистской партии, так как, по его словам, солдатам и унтер-офицерам приказано заниматься военными, а не политическими делами. Не принадлежит он также к союзу гитлеровской молодежи. Социальное положение — крестьянин. Образование — 10 лет, вначале 7 лет нормальной народной школы. Данные о самолете „хейнкель-111" дать отказался по двум мотивам: как преданный солдат Германии, не желает терять совесть перед родиной. На вопрос, идет ли речь о чести или страхе, ответил, что только честь не позволяет ему открывать военные тайны. Второе: самолеты „хейнкель-111" передавались Советскому Союзу и поэтому не представляют никакого секрета для русского командования. Поэтому было бы оскорблением требовать от него потери чести без всякого повода.

О летных и других качествах прочих германских самолетов ничего не знает, так как летал только на „хейнкель-111". Участвовал в боях в Польше, Франции и Англии. За боевые заслуги во Франции награжден орденом железного креста…

На вопрос о политико-моральном состоянии германской армии ответил, что настроение солдат и офицеров хорошее, боевое…

Перспективы войны с СССР рассматривает как полную победу Германии, и что такого же мнения все солдаты в армии Германии. Офицеры разъясняют солдатам, что Германия не имела территориальных претензий к России, что все в Германии встретили с неожиданностью и даже с ошеломлением войну между Германией и Россией. Солдатам и офицерам разъясняли только одно, что отражено в приказе Гитлера, — это факт сосредоточения Россией 160 дивизий против Германии с

целью напасть на нее сзади. Германский народ не имеет ненависти к Сталину. Возможно, и русский народ не имеет ненависти к Гитлеру, какую разжигают русские радиостанции против Гитлера. В Германии все уважают Гитлера, его гений.

На вопрос, как встретит германский народ Советскую Армию, если она через некоторое время вступит на германскую территорию, отвечает, что народ Германии хорошо встретит народ России, так как из опыта войны в Польше и во Франции ему известно, что после поражения этих стран народы быстро сдружились, дружат и солдаты. Если воюют между собой государства и правительства, то, по его мнению, это не дает оснований к вражде между народами.

Вопрос: Почему же ваши офицеры истребляют мирное население при вступлении на русскую землю, а летчики бомбардируют население городов, разрушая мирные дома?

Ответ: Мне неизвестно об этом. Сам я не бомбил мирного населения ни в одной из воевавших с Германией стран и считаю целесообразным разрушать военные объекты, а не тратить бомбы на мирное население.

О применении парашютистов ему ничего не известно. О заброске по воздуху диверсантов в форме советских командиров ему ничего не известно. Сам он их не сбрасывал, так как его самолет не приспособлен к этому.

Далее он заявил, что Германия хотела всегда жить в мире с Россией, и эта война явилась и для него и для солдат неожиданностью.

На вопрос, что ему известно о рассуждениях Гитлера в — книге „Майн кампф" об Украине, ответил, что он такой книги не читал. Далее добавил, что, несмотря на войну, книги Сталина продаются в Германии для всех. На требование о прекращении этой наглой лжи он ответил, что лично сам видел эти книги…

На вопрос, почему он убежден и думает, что все солдаты убеждены в победе Германии, он ответил, что такое убеждение, очевидно, есть и в русской армий, но немцы не считают русскую армию слабой и считаются с ней. Данные о количестве самолетов на Варшавском аэродроме и количестве известных ему аэродромов дать отказался категорически…

Опрашивали: военный переводчик разведотдела штаба Западного фронта интендант 2-го ранга (подпись неразборчива), младший лейтенант (подпись неразборчива)».

Прочитав сейчас, через двадцать пять лет, этот протокол, я заново вспомнил свое тогдашнее ощущение от допроса этого первого на моей памяти пленного и от того сплава храбрости, нахальства и чувства воинского долга, который чувствовался в его ответах. Мне было интересно прочесть в протоколе допроса не запомнившееся тогда место о том, как встретит германский народ Советскую Армию, если она через некоторое время вступит на германскую территорию. В данном случае уклончивый характер ответа психологически понятен. Вопрос, очевидно, абсолютно не задел самолюбия пленного и в обстановке всего происходившего тогда на фронте показался ему просто-напросто нелепым. В его голове в те дни не могло возникнуть даже слабого подобия сколько-нибудь реальной мысли о том, что Советская Армия через какое бы то ни было время может действительно вступить на их германскую территорию.

И его нельзя осуждать за недальновидность. Не только он, но и наступавшие тогда по сорок-шестьдесят километров в сутки генералы Гудериан и Гот, и уже вышедший передовыми частями к Березине командующий 4-й армией фельдмаршал Клюге, и главнокомандующий сухопутными войсками Браухич, и начальник генерального штаба Гальдер — что бы там некоторые из них ни писали потом, после войны, — никто из них тогда не допускал, разумеется, и мысли, что эта «полностью разгромленная» ими на Восточном фронте Советская Армия когда-нибудь вступит на территорию Германии.

О Гитлере не приходится и говорить. Всего через неделю после того, как пленный фельдфебель разговаривал с нами под Могилевом, Гитлер в одной из своих неофициальных бесед, записанных с его разрешения Борманом, думал уже не о Могилеве, и не о Смоленске, и даже, в конце концов, не о Москве, — Москва была теперь в его мыслях лишь промежуточным пунктом, который «как центр доктрины должен исчезнуть с лица земли». На четырнадцатый день войны Гитлер заглядывал уже гораздо дальше: «Когда я говорю: „По эту сторону Урала“, то я имею в виду линию двести-триста километров восточнее Урала… Мы сможем держать это восточное пространство под контролем».

Чего уж тут спрашивать с фельдфебеля? Честно заявив до этого, что он, как все солдаты, убежден в победе Германии, он в ответ на явно нелепый, по его мнению, вопрос, связанный с возможностью появления Советской Армии на германской территории, ответил чисто риторически. В силу своего положения пленного он не желал обострять разговор там, где речь шла не о выдаче военной тайны, а о каких-то мифических проблемах.

Читая протокол, я подумал и о другом: а почему же все-таки наши разведчики задали немцу этот вопрос, показавшийся ему таким нелепым: «Что будет, если через некоторое время Советская Армия вступит на территорию Германии…» Каким представлялось им тогда, в той обстановке, это «некоторое время»? Видимо, молодые офицеры разведотдела, несмотря на все неудачи, обрушившиеся на наш Западный фронт, все-таки продолжали верить, что через некоторое, не столь уж продолжительное время дело повернется к лучшему. Если бы они этого не думали, у них не было бы ни внутренней потребности, ни нравственной силы задать этот странно прозвучавший тогда вопрос.

И второе, что меня заинтересовало, когда я сравнивал этот документ со своими записками: откуда появилась в записках подробность, что немец, будучи сбит и имея компас, пошел не на запад, а на восток? Действительно ли он говорил, что немцы по плану должны были к 28 июня взять Смоленск, а если говорил, то почему это не попало в протокол допроса? Сейчас, задним числом, думаю, что вряд ли он говорил это. Просто был факт: от места катастрофы немец пошел по компасу не на запад, а на восток. И, очевидно, после допроса, обсуждая этот факт, кто-то из наших сам предположил, что летчик шел на восток, потому что немцы, по их плану, уже должны были занять Смоленск.

В те дни, после первых неудач, потрясших душу своей неожиданностью, было много разговоров на эту тему. В них мы искали тогда хоть какую-то отдушину. Хотелось поверить, что, несмотря на все наши неудачи и на всю быстроту продвижения немцев, они рассчитывали на еще большее и у них не все выходит так, как они запланировали.

Впоследствии эта вера начала оправдываться. Чем дальше, тем чаще немцы встречались с не запланированной ими силой сопротивления, вносившего все большие изменения в их планы. Но в те дни, о которых идет речь в записках, на

Западном фронте такого положения еще не было.

За первые девять дней боев немцам не удалось целиком решить поставленные перед собой задачи на Юго-Западном направлении и в известной мере на Северо-Западном. Но как раз здесь, на Западном фронте, где наносила удары главная группировка немцев, они точно вышли на намеченные ими по плану рубежи.

И надо отдать должное нашим военным — они поняли: для того, чтобы строить реальные планы дальнейших действий, необходимо, как это ни горько, трезво оценить масштабы поражений, понесенных нами на Западном фронте.

В «Журнале боевых действий войск Западного фронта» можно познакомиться с теми первыми выводами, которые сделал штаб фронта после девяти дней боев.

Вот как выглядят эти выводы, подписанные генерал-лейтенантом Маландиным:

«В итоге девятидневных упорных боев противнику удалось вторгнуться на нашу территорию на глубину 350–400 километров и достигнуть рубежа реки Березина. Главные и лучшие войска Западного фронта, понеся большие потери в личном составе и материальной части, оказались в окружении в районе Гродно, Гайновка, бывшая госграница… Все части требовали переформирования и доукомплектования.

Характерной особенностью немецких ударов было стремительное продвижение вперед, не обращая внимания на свои фланги и тылы. Танковые и моторизованные соединения двигались до полного расхода горючего.

Непосредственное окружение наших частей создавалось противником сравнительно небольшими силами, выделяемыми от главных сил, наносивших удар в направлениях Алитус — Вильно — Минск и Брест — Слуцк — Бобруйск.

Второй характерной особенностью являются активные и ожесточенные действия авиации, небольших десантных отрядов по глубоким тылам и коммуникациям с целью парализации управления и снабжения наших войск… На направлениях главных ударов противник сосредоточивал почти все свои имеющиеся силы, ограничиваясь на остальных направлениях незначительными частями или даже вовсе не имея там сил, а лишь ведя разведку».

История потом внесла ряд поправок в эти первые выводы. В последующие недели

и месяцы из окружения пробились с оружием в руках или просочились мелкими группами десятки тысяч людей, считавшихся погибшими. Некоторым из этих людей потом еще довелось брать и Кенигсберг, и Берлин. А другие десятки тысяч людей тоже оказались не в плену у немцев, а три года воевали в партизанских отрядах Белоруссии и в 1944 году сказали свое последнее слово, содействуя разгрому в Минском и Бобруйском котлах той самой немецкой группы армий «Центр», которая в июне 1941 года брала Минск и Бобруйск.

Думая об этих поправках, внесенных историей, можно лишь гордиться мужеством своих соотечественников. Но, оставляя в стороне эмоции, надо сказать, что только такие, шедшие вразрез со многими предвоенными настроениями, жестокие и трезвые выводы, как выводы Маландина, могли тогда, через девять дней после начала войны, стать предпосылкой наших последующих частных, а затем и более весомых успехов на Западном фронте.

Я привел лишь один документ, но решимость сказать обнаружившуюся правду проходит через множество документов того времени и дивизионного, и корпусного, и армейского, и фронтового масштабов. Отдавая должное людям, ставившим свою подпись под этими документами, не надо забывать два осложнявших дело обстоятельства: во-первых, масштабы несоответствия между тем, чего мы ожидали, и тем, что с нами произошло, и, во-вторых, еще свежую память о всей силе того отрицательного давления, которое вплоть до последнего предвоенного дня прямо или косвенно оказывалось на людей, стремившихся обрисовать истинное положение и воззвать к благоразумию и предусмотрительности. Эта память была еще сильна и обострялась воспоминаниями о целом ряде новых арестов в предвоенные месяцы. Память была свежа, но, к чести людей, о которых я говорю, тревога за судьбу своей родины и связанная с этим прямая необходимость сказать полную правду о сложившемся положении вещей оказалась для них в этот, пользуясь более поздней терминологией самого Сталина, «момент отчаянного положения» выше всех других привходящих соображений.

13 «…я вызвался ехать под Бобруйск с газетами…»

В двух местах моих записок упоминаются две разные даты нашей поездки под Бобруйск. И обе неточные.

На самом деле мы ездили под Бобруйск 30 июня. Я убедился в этом, прочитав целый ряд архивных документов, и прежде всего связанных с особо тяжелыми потерями наших ночных тяжелых бомбардировщиков именно в этот день — 30 июня, и именно в районе Бобруйска.

Для того чтобы объяснить ту картину, которую мы увидели 30 июня на шоссе Могилев — Бобруйск, надо, обратившись к документам, вернуться на несколько дней назад.

Захват Бобруйска и переправа через Березину были связаны с быстрым продвижением правого фланга группы Гудериана. Переправившись через Березину у Бобруйска, немецкие танковые и механизированные части не пошли на северо-восток, на Могилев, а рванулись в обход его, прямо на восток, к Днепру, на Рогачев, и с ходу захватили его.

В дневном сообщении Информбюро за 1 июля впервые упоминается о Бобруйском направлении, где «всю ночь наши войска вели бои с подвижными частями противника, противодействуя их попыткам прорваться на Восток. В бою участвовала пехота, артиллерия, танки и авиация». Сводки Информбюро в тот период, как правило, значительно отставали от молниеносно развертывающихся событий. Но в данном случае «Бобруйское направление» появилось в сводке всего через три дня после того, как оно действительно возникло. Скажу попутно, что сам термин «направление», по поводу расширительности и неопределенности которого мы тогда говорили с маскировавшей душевную боль горькой иронией, сейчас, по зрелому размышлению, мне кажется для того времени, в общем, психологически оправданным.

Слова «Бобруйское направление», к примеру, давали общее географическое представление о глубине нанесенного нам удара, в то же время уводя от конкретного перечисления всех отданных немцам пунктов. Если бы избрать тогда иную терминологию, то все наши сводки в любой из дней состояли бы из доводящего до отчаяния мартиролога десятков потерянных городов и тысяч населенных пунктов.

Все случившееся в начале войны было такой огромной силы психологическим ударом, что до известной степени можно понять наше тогдашнее нежелание вдаваться в устрашающую детализацию и без того грозных сообщений.

Термин «Бобруйское направление», появившись 1-го, продержался в сообщениях Информбюро до 19 июля, когда немцы на этом участке фронта уже достигли передовыми частями Ельни, то есть прошли от — Бобруйска на восток больше трехсот километров по прямой.

Что касается армейских и фронтовых сводок, то происходившие на Бобруйском направлении события с самого начала излагались, в общем, точно, если учесть некоторые пробелы, связанные с обрывами связи и недостаточной информацией.

В «Журнале боевых действий войск Западного фронта» слово «Бобруйск» упоминается впервые 26 июня: «4-я армия продолжала отходить на Бобруйск». В связи с получением этих данных, видимо, и приняли решение — сам штаб фронта, уже направившийся было в район Бобруйска, на ходу передислоцировать в Могилев.

Следующее упоминание о Бобруйске в «Журнале» появляется 28 июня: «Противник, развивая наступление передовыми подвижными частями… на левом фланге овладел Бобруйском и готовил форсирование Березины».

В «Журнале» приводится сводка штаба 4-й армии: «4-я армия, отойдя за реку Березина, организовала оборону по ее восточному берегу… При поддержке бомбардировочной авиации в 14.00 противник пытался форсировать р. Березина… Благодаря противодействию нашей авиации форсирование Березины противнику не удалось. Сводный отряд… под командованием командира 47-го стрелкового корпуса успешно отражал попытки противника форсировать Березину в районе Бобруйск».

Что представлял из себя этот сводный отряд, которому была поставлена задача не допустить переправы немецких танковых частей через Березину, дает представление донесение его командира генерала Поветкина. Вечером 28 июня отряд состоял из сводного полка — 900 человек, автотракторного училища — 440 человек, 246-го стрелкового батальона — 300 человек, 273-го батальона связи — 300 человек и 21-го дорожно-эксплуатационного полка — 800 человек. А всего около двух с половиной тысяч человек из пяти разрозненных частей. Кстати сказать, сам генерал Поветкин, дважды раненный и контуженный в бою еще 29 июня, продолжал командовать сводным отрядом до конца его действий — до 3 июля.

О дальнейших событиях, происходивших 30 июня, дают представление оперативные сводки и «Журнал боевых действий 4-й армии» за 30 июня и 1 июля. В сводке за 30 июня говорится, что ночью с 29-го на 30-е немцам не удалось переправиться через Березину, их попытки переправиться были отбиты.

Утром 30-го немцы продолжают попытки форсировать Березину, и в 8 часов утра их первые три танка оказываются на этом берегу. С 10 утра до 11.30 немцы бомбят наш сводный отряд и обстреливают его огнем артиллерии.

Дальше в «Журнале боевых действий 4-й армии» появляются драматические слова: «Нечем поддерживать пехоту. Осталось три противотанковых орудия ПТО и две 76-мм пушки. Части сводного отряда начали отход».

После этого рассказывается о том, как командующий 4-й армией генерал-майор Коробков, выбросив на помощь отряду один батальон 42-й стрелковой дивизии, сам с группой командиров выехал на передовую.

Дальше в «Журнале» записано, что под руководством командарма был организован сводный батальон из отходящих людей, расставлены противотанковые орудия и приостановлено отступление.

В 7 часов вечера, как указывается в «Журнале», атака противника была отбита на рубеже реки Ола.

В записи за 1 июля дополнительно указывается, что немецкие танки 30 июня повели наступление, но уже на этом берегу Березины. Сначала потеснили сводный отряд, а потом, к 8 часам вечера, окружили его.

«4-я армия. В течение дня части отражали попытки противника форсировать реку Березина у Бобруйска. В 4.00 противник, наведя понтонные переправы, переправил на восточный берег до 18 танков. Попытка переправить вслед за танками пехоту утром была отбита. После ожесточенного боя к 19.30 30 июня противнику удалось переправить до 93 танков и бронемашин и несколько десятков мотоциклистов. Большое количество переправившихся танков направилось в северном направлении на Могилев». Так выглядел этот же день — 30 июня — в «Журнале боевых действий войск Западного фронта».

О входившем в сводный отряд Бобруйском тракторном училище (которое я в записках по ошибке назвал «танковым») упоминается в том же донесении

политуправления Западного фронта в Москву, в котором впервые сообщается о подвиге Гастелло. В нем говорится, что курсанты училища ведут разведку в уже захваченном немцами Бобруйске, и о том, как в одной из этих разведок курсант Иванов, получив во время разведки четыре ранения, истекая кровью, все-таки переплыл обратно реку и доложил полученные им данные. Об училище сказано, что за 29 июня оно отбило шесть атак противника.

В некоторых документах, между прочим, упоминается, что какая-то часть немецких танков форсировала Березину под водой. Отрывочные сведения об этом я читал и в других документах, относящихся к другим неожиданным переправам немцев.

Березину форсировал 24-й немецкий танковый корпус. В авангарде его шла 3-я танковая дивизия генерал-лейтенанта Модели.

По отчетной карте немецкого генштаба, на которой нанесена утренняя обстановка 30 июня 1941 года, видно, что 3-я дивизия Моделя, к этому времени переправившись через Березину у Бобруйска и перехватив перекрестки трех шоссе — на Могилев, Рогачев и Жлобин, — двигалась к реке Ола.

Три года спустя, 28 июня 1944 года, именно этот генерал Модель, уже в чине фельдмаршала, вновь прибыл в этот же район, сменив на посту командующего группой армий «Центр» фельдмаршала Буша.

В той главе своей истории войны, которая называется «Крах немецкой группы армий „Центр“», Типпельскирх повествует о событиях, происходивших ровно через три года в этих же самых местах, когда главные силы 9-й германской армии были окружены как раз в районе Бобруйска.

Но до всего этого тогда, 30 июня 1941 года, было еще безмерно далеко, и в трагическом положении находились не немцы, а мы.

Из документов за 30 июня 1941 года общая картина происходившего в тот день под Бобруйском кажется более или менее ясной. После двух дней оборонительных боев подвергавшийся бомбежкам и артиллерийскому обстрелу, а сам состоявший из разрозненных частей и почти не имевший артиллерии сводный отряд генерала Поветкина был смят переправившимися через Березину немецкими танками. Какие-то части еще продолжали драться, другие выходили лесами из окружения — одни на Могилев, другие на Рогачев. Командующий 4-й армией генерал

Коробков со своими командирами штаба и одним батальоном предпринимал попытки задержать немцев еще раз на рубеже небольшой речки Ола, пересекающей все три идущие от Бобруйска шоссе: на Могилев, на Рогачев и на Жлобин.

Большинство переправившихся через Березину немецких танков, как это показывают дальнейшие события, повернуло после переправы на восток — на Рогачев и Жлобин. Но их разведка, очевидно, выскакивала и на северо-восток, на Могилевское шоссе, хотя дальше на Могилев не пошла, это не входило в тот момент в задачу немцев.

14 «— Какие немцы?

— Танки и пехота

— Где?

— В четырехстах метрах отсюда»

В записках сказано, что мы были уже почти у Березины, когда нашу машину остановили выскочившие из лесу бойцы. Недавно заново проехав эту дорогу, я понимаю, что все было не совсем так, как мне тогда сгоряча показалось. В середине дня 30 июня мы не могли оказаться в километре от Березины, там в это время были уже немцы. В действительности мы совсем немного не доехали до реки, но не до Березины, а, как я теперь понимаю, до той маленькой речки Ола, на которой, на другой переправе через нее, километрах в десяти юго-восточнее, как раз в это время пытался задержать немцев генерал Коробков. И не в двух километрах от Бобруйска, а примерно в двадцати у этой речки Ола, через которую, наверно, переправилось несколько немецких танков с десантами, вела бой та группа бойцов, остатки которой остановили нас на шоссе.

И кто знает: сами ли они спутали Березину с Олой или просто кричали нам о немецких танках и пехоте, только что переправившихся через реку, а мы, держа в уме Березину, решили, что речь идет о ней?

А теперь о самом главном, о чем мне хочется рассказать в связи с этими страницами записок, — о том сплаве героического и трагического, который характерен в эти дни для действий нашей авиации.

Вполне понятно, что первое же известие о том, что немцы начали переправу у

Бобруйска, грозившую тяжкими последствиями для всего южного крыла нашего Западного фронта, вызвало в штабе фронта острую тревогу. В момент, когда, по существу, это направление оставалось открытым, когда его защищали только остатки разбитой в боях 4-й армии, штаб фронта связывал свои последние надежды на выигрыш времени и задержку переправы с действиями нашей авиации. Очевидно, этими соображениями продиктована та короткая тревожная телеграмма, которую я обнаружил среди других документов тех дней. Судя по всему, она была дана утром 30 июня.

«Ответственного дежурного зовите. Всем соединениям ВВС Западного фронта. Немедленно. Всеми силами эшелонированно группами уничтожить танки и переправы в районе Бобруйск».

Телеграмма подписана командующим фронтом Павловым и Таюрским, вступившим в командование воздушными силами Западного фронта после гибели застрелившегося в первые дни войны генерала Копец.

Среди этих же бумаг подшита другая телеграмма, прямо связанная с первой:

«Немедленно передать приказ командирам 42-й, 52-й, 47-й (очевидно, авиадивизий. — К. С.), 3-му корпусу дальнего действия, 1-му и 3-му тяжелым авиаполкам».

Далее в ленте переговоров следует вопрос:

«— Это входит в задачу 42-й, 52-й дивизий?

— Кто спрашивает?

— Оперативный дежурный 42-й.

— Всем частям, которые размещаются на аэродромах… (Далее в документе идет длинное перечисление аэродромов. — К. С.). Немедленно передайте всем. Исполнение доложите сюда.

— Кому и куда?

— Передано. Все. Выполняйте. О вылетах докладывать немедленно. Все. Ясно?

— Ясно. Передаю».

На бланке переговоров помечено: «30, 12.50».

Речь, несомненно, идет о передаче телеграммы Павлова и Таюрского.

Надо думать, что по этой категорической телеграмме штаба фронта было поднято в воздух и брошено на Бобруйск все или почти все, чем располагала к тому моменту бомбардировочная авиация Западного фронта и приданный ей Ставкой 3-й дальний бомбардировочный корпус.

Я не располагаю полными сведениями о том, сколько бомбардировщиков ТБ-3, о которых идет речь в записках, действовало на Западном фронте к утру 30 июня. Но всего за сутки до этого их было 85, а через двадцать дней после этого их осталось в строю только 35.

Из целого ряда донесений видно, что эти мощные, с большим радиусом действия тяжелые бомбардировщики, которые когда-то успешно высаживали на Северный полюс Папанина, а уже в 1939 году на Халхин-Голе из-за своей тихоходности (180 километров в час) использовались только ночью, здесь, на Западном фронте, входили если не исключительно, то главный образом в состав 1-го и 3-го отдельных тяжелых авиаполков, подчинявшихся командиру 3-го дальне-бомбардировочного авиакорпуса.

Тридцатого июня, как видно из донесений, по переправам, немецким танковым колоннам и тылам в районе Бобруйска наносили удар не только ТБ-3, а и другие бомбардировщики, в том числе СБ и Пе-2.

В сводке о потерях материальной части авиацией Западного фронта говорится, что за 30 июня нами было потеряно на Западном фронте 88 самолетов, в том числе 24 сбиты в боях, 18 — зенитной артиллерией и 40 не вернулись с выполнения боевых заданий. В той же сводке сказано, что 30 июня 3-м авиакорпусом, в составе которого действовали оба полка ТБ-3, была потеряна 21 машина. Из них 5 сбиты в воздушных боях и 16 не вернулись с боевых заданий.

В число этих потерь за 30-е, очевидно, входят и те восемь ТБ-3, гибель которых я своими глазами видел над шоссе Могилев — Бобруйск.

Относительно более современные самолеты, в том числе СБ, использовались для бомбежки переправы и немецких танков в районе Бобруйска еще в предыдущие дни. В сводке за 29 июня сказано, что утром этого дня двадцать девять СБ вылетели для бомбардировки немецких танков в район Бобруйска, а в середине того же дня СБ сделали еще пятьдесят девять самолето-вылетов тоже в район

Бобруйска для уничтожения переправ через Березину.

Очевидно, тяжелые потери, понесенные летавшими на бомбежку СБ в предыдущие дни, и опасное положение, создавшееся после переправы немцев через Березину, заставили 30-го утром командование фронта принять то отчаянное решение, которое содержится в его телеграмме, звучащей буквально как «SOS», — поднять в воздух и тут же, немедленно, днем бросить в район Бобруйска на немцев все, что было под рукой, в том числе и тихоходные ночные бомбардировщики ТБ-3.

Не берусь оправдывать это решение, но хочу обрисовать обстановку, в которой оно было принято.

Целый ряд документов говорит о том, что 30 июня наша авиация, в том числе и ТБ-3, нанесла немцам под Бобруйском чувствительные удары и по крайней мере частично выполнила свою задачу. В донесениях летчиков говорится о бомбежке скоплений немецких танковых частей на переправе и в лесу севернее Бобруйска, о бомбежке Бобруйского аэродрома, о том, что выполнено задание зажечь лес в районе другой переправы, южнее Бобруйска, говорится о том, что в Бобруйске пожары, а мост через Березину взорван, о бомбежке механизированных частей немцев юго-западнее Бобруйска и немецких тылов на дорогах Глуша — Бобруйск.

Эти донесения летчиков подтверждаются рядом донесений с земли. В одном из них указывается, что начатая немцами через Березину переправа прервана налетом нашей авиации, в другом сообщается, что семь наших бомбардировщиков бомбят переправу противника… Есть и другие донесения такого же характера.

Таким образом, летчики сделали все, чтобы выполнить задачу, поставленную перед ними категорической телеграммой штаба фронта. Другой вопрос, чего это стоило в условиях, когда немецкая истребительная авиация безраздельно господствовала в воздухе.

В ряде сообщений, следовавших одно за другим, авиаторы доносят, что во время выполнения заданий непрерывно подвергаются атакам немецких истребителей, что на Бобруйском аэродроме находится около двадцати «мессершмиттов-109», что немцы посадили на ряде других ближайших аэродромов много «мессершмиттов-109». Все это дополняется целым рядом донесений об ожесточенном огне немецкой зенитной артиллерии, действия которой в дневных

условиях были особенно сокрушительны по тихоходным ТБ-3.

Трудно сказать, гибель каких именно ТБ-3 я видел тогда, 30-го в середине дня, над Бобруйским шоссе. По донесениям, в этот день сюда ходили и понесли потери 1-й и 3-й тяжелые бомбардировочные полки, летавшие на ТБ-3.

Входивший в тот же 3-й авиакорпус 212-й бомбардировочный полк, судя по донесениям, примерно в это же время — с 15.30 до 16.30 — бомбил немецкие мехчасти юго-западнее Бобруйска и переправу через Березину.

Из этого полета из двадцати шести машин не вернулось на аэродром девять, причем два экипажа с погибших машин, как впоследствии выяснилось, спаслись.

Таким образом, то, что я видел тогда, двадцать пять лет назад, было лишь частью общей трагической картины, которая развернулась в этот день в небе над Бобруйском.

Приведу несколько отрывков из документов, дающих представление о разных подробностях этой картины.

«Из четырех кораблей, не вернувшихся с боевого задания 30-го, прибыл вчера зам. командира эскадрильи старший лейтенант Пожидаев, который официально доложил следующее:

а) корабль Пожидаева произвел взлет с аэродрома Шайковка в 16.18. Задание выполнено. Время бомбометания 18.05. с высоты 1000 м. В районе цели корабль был атакован истребителями типа „мессершмитт-109“. Корабль сгорел. Командир корабля Пожидаев выпрыгнул на парашюте, получив ранение в ногу и ожог лица. Остальной состав экипажа погиб.

По докладу командира корабля Пожидаева, второй ведомый корабль был также сбит истребителями. Корабль сгорел. Четыре человека из экипажа выпрыгнули на парашютах. Последствия неизвестны. Остальной состав экипажа погиб.

О двух последних кораблях, не вернувшихся с задания, никаких сведений нет».

«…30.VI лейтенант Тырин получил боевое задание разрушить речную переправу у города Бобруйск. Вылетев на боевое задание днем, экипаж встретил в районе цели сильный огонь артиллерии. Несмотря на это, командир корабля упорно шел на выполнение задачи. Получив сильное повреждение, экипаж все же боевую задачу выполнил… Капитан Прыгунов, несмотря на сильный огонь зенитной

артиллерии и преследование истребителей противника, вывел горящий самолет на свою территорию и посадил его. И этим спас жизнь всему экипажу».

Кто знает, может быть, какой-то из этих документов составлен на основе доклада одного из тех летчиков, которых мы везли на своей полуторке в Могилев? Не берусь утверждать, что это так, но похоже. Во всяком случае, у капитана Прыгунова, как это видно из его боевой характеристики, тоже был орден Красного Знамени за финскую войну, как и у того летчика-капитана, которого мы везли…

В донесениях бомбардировочных авиаполков, действовавших над районом Бобруйска, встречается несколько упоминаний о сбитых «мессершмиттах». Как ни велико было неравенство в силах между «мессершмиттами», имеющими скорость 540, и ТБ-3, имеющими скорость 180 километров, все-таки в этой разыгравшейся в воздухе трагедии не все немецкие истребители остались безнаказанными. Очевидно, это следует объяснить мужеством хвостовых стрелков на наших бомбардировщиках: даже в безнадежном положении, с горящих самолетов, они продолжали вести огонь и иногда сбивали тех немцев, которые, рассчитывая на полную безнаказанность, приближались вплотную к подбитым, дымящимся бомбардировщикам.

В некоторых донесениях указывается, что часть экипажей самолетов выбросилась и вернулась на аэродромы, а стрелки этих же самолетов были убиты в воздухе. Во всяком случае, я своими глазами видел два сбитых «мессершмитта». Да и тот немецкий бомбардировщик, из которого, по словам Котова, выбросились на парашютах два человека, скорей всего был тоже не бомбардировщик, а двухместный истребитель «мессершмитт-110».

Упоминаний о действиях нашей собственной истребительной авиации в районе Бобруйска за этот день — 30 июня — нет ни в одном из донесений вернувшихся на аэродромы бомбардировочных экипажей. Очевидно, наши истребители или вообще не летали в тот день в район Бобруйска, или их было очень мало.

Потери нашей авиации на Западном фронте были с самого начала тяжелыми. По данным, которые тогда, сразу, очевидно, не могли быть еще полными, она только за первый день войны потеряла 738 самолетов, из них 528 на земле. При этом в документах указано, что «потери падают главным образом на дивизии, оснащенные новейшими машинами». В следующие дни в «Журнале боевых

действий войск Западного фронта» стоят не такие оглушительные цифры, но все равно тяжелые. 23 июня — 125 самолетов, 24-го — 71, 26-го — 89. Каждый день первой недели войны приносил тяжелейшие потери.

Но трагедия, которая произошла в районе Бобруйска 30 июня с нашими пошедшими на дневную бомбежку ТБ-3, видимо, обратила на себя внимание даже на общем тяжелом фоне. Об этом свидетельствует телеграмма, посланная на следующий день, 1 июля, командиром 3-го дальнего бомбардировочного корпуса полковником Скрипко (впоследствии маршал авиации):

«Вручить немедленно командующему ВВС фронта. Могилев… Чрезмерно большое количество потерь 30 июня дальней бомбардировочной авиации происходило из-за отсутствия наших истребителей над целью и неподавления огня зенитной артиллерии… Для действий дальней бомбардировочной авиации прошу указать, когда можно иметь обеспечение истребителями и штурмовые действия по зенитной артиллерии. Прошу подтвердить возможность посадки… истребителей прикрытия. Полковник Скрипко».

На этой телеграмме стоит карандашная резолюция командующего ВВС: «Все истребители летают в районе цели. Таюрский».

Можно допустить, что резолюция в той или иной мере отвечала действительности. Другой вопрос, что это значило — «все истребители». Сколько их было в наличии и каких? Я вернусь к этому чуть позже.

Вслед за телеграммой последовала еще одна записка полковника Скрипко, который не мог смириться с происшедшей накануне трагедией:

«Повторно прошу для обеспечения удара дальних бомбардировщиков прикрыть истребителями. Действия дальних бомбардировщиков в районе Бобруйск в период с 12.00 до 15.00», то есть опять-таки днем.

Еще одна записка, очевидно, посланная в тот же день: «Командующему ВВС Западного фронта. Полковник Скрипко ждет ответа на свою записку об обеспечении истребителями. Майор Детищенко».

В ответ на эти призывы из штаба ВВС пошла телеграмма, датированная тем же 1 июля командиру 43-й авиационной дивизии: «Прикрыть действия 3-го авиакорпуса по Бобруйску с 12.00 до 15.00».

Какими силами было осуществлено это прикрытие, проверить по документам не удалось. Но, видимо, с истребителями дело обстояло по-прежнему тяжело. Об этом свидетельствует одно из последующих донесений:

«При действии дальней бомбардировочной авиации днем в хороших условиях погоды по наземным целям, как правило, несем большие потери от зенитной артиллерии и истребительной авиации. За все время работы частей авиакорпуса по вашему заданию прикрывались истребителями только 4 раза… Скрипко».

И уже совсем в заключение — выдержка еще из одного документа за июль 1941 года: «Начальнику штаба ВВС Западного фронта. Убедительно прошу давать задания на боевые вылеты не позже 18–19 часов, иначе ежедневно приходится выпускать по тревоге. Мне известно, что Ворошилов нехорошо отозвался о тех, кто днем пускает ТБ-3… За полеты в светлое время мы уже имеем большие потери. Состояние материальной части 3-го полка очень плохое… Осталось всего 12 кораблей…» Документ свидетельствует о том, что экипажам ТБ-3 приходилось и в дальнейшем ходить на смертельные для них дневные задания. Не берусь судить сейчас, в какой мере это была вина начальства и в какой мере результат ужасной необходимости. Во всяком случае следует учесть, что на 21 июля 1941 года на всем Западном фронте у нас было только двадцать семь вполне современных по тому времени дневных бомбардировщиков Пе-2.

Конечно, не чья-то злая воля была причиной трагедии, которую я видел над Бобруйском. Наверно, тут сыграли свою роль и просчеты, и нераспорядительность, и отсутствие надежной связи — словом, все то, что имело место в первые дни войны везде и всюду. Но все же главной причиной, думается, было просто-напросто то, что после огромных потерь, понесенных ею на аэродромах в первые же часы войны, наша истребительная авиация Западного фронта физически не могла прикрывать большую часть вылетов бомбардировочной авиации.

Маршал А. И. Еременко в своих воспоминаниях «На Западном направлении» указывает, что при вступлении его в командование Западным фронтом, по его тогдашним сведениям, там оставалось всего шестьдесят самолетов. «На другой день 1 июля нам доставили еще 30. Из 90 самолетов 29 были истребители…»

Даже если эти цифры по каким-либо причинам неполны, они все равно очень

характерны.

Я не разыскал цифры наличия авиации на Западном фронте к началу июля, но думаю, что об этом может дать известное представление более поздняя сводка ВВС Западного фронта — за 21 июля 1941 года. Судя по этой сводке, на тридцатый день войны на всем Западном фронте у нас осталось (очевидно, с учетом поступивших за эти дни пополнений) всего семьдесят восемь истребителей. Причем из них только пятнадцать были современными, двенадцать МиГов и три ЛаГа. А все остальные были устарелые И-16, И-153 и И-15. Последних, самых беззащитных, оставалось после месяца войны всего два.

Вот и все, что у нас было в наличии на Западном фронте, и в этом и состояло главное объяснение многих тогдашних трагедий, в том числе той бобруйской трагедии в воздухе, о которой мне до сих пор трудно вспоминать.

Человеку, думающему об истоках этой трагедии, прежде всего, конечно, приходит в голову обратиться к первому утру войны, когда, по первым неполным данным, только на одном Западном фронте и только на земле было уничтожено пятьсот двадцать восемь наших самолетов, в том числе почти все современные истребители, которые в связи с переоборудованием ряда аэродромов были нелепо скучены на нескольких площадках, расположенных впритык к границе и досконально разведанных немцами.

В «Журнале боевых действий войск Западного фронта» стоят комментирующие этот факт строки:

«Командующий ВВС Западного фронта генерал-майор авиации Копец, главный виновник гибели самолетов, по-видимому, желая избежать кары, получив еще неполные данные о потерях, в тот же вечер 22 июня застрелился. Остальные виновники получили по заслугам позднее».

То, что один из блестящих летчиков-истребителей, герой испанской войны Копец, к двадцати девяти годам, за три года из капитанов ставший командующим авиацией крупнейшего округа, мог застрелиться, наверное, не столько из боязни кары, сколько под гнетом легшей на его плечи ужасной ответственности, — психологически вполне понятно.

То, что люди, на которых и в самом деле лежала часть ответственности за происшедшее, были признаны Сталиным главными, если не единственными,

виновниками и очень скоро понесли кару и в своем большинстве погибли — тоже не тайна. Число этих людей, признанных основными виновниками всего случившегося с нашей авиацией, достаточно велико. За последствия того страшного удара, который нанесли по нашей авиации немцы, ответил жизнью целый ряд авиационных генералов, из которых многие еще совсем недавно были всего-навсего капитанами и лейтенантами, командирами эскадрилий или просто летчиками.

Но, видимо, все же, по справедливости, начало всей этой трагедии с нашей авиацией следует отнести не к 22 июня 1941 года, а на несколько лет раньше, и главного виновника надо искать не среди этих капитанов и лейтенантов, в слишком короткий срок сделавшихся генералами.

Есть и вторая причина случившегося — общее резкое отставание находившейся у нас на вооружении авиационной техники от немецкой. Его еще не существовало в конце 1936 года. Но накануне войны и уже за полтора-два года до нее это отставание стало настолько явным, что в нормальной обстановке, лишенной атмосферы шапкозакидательства, на такой факт было бы абсолютно невозможно закрывать глаза или преуменьшать его значение.

15 «Кажется, его фамилия была Ищенко»

Старшего лейтенанта, штурмана, который запомнился мне под фамилией Ищенко, я встретил уже после войны в поезде где-то между Читой и Владивостоком. Меня направили в капитулировавшую Японию корреспондентом «Красной звезды» при штабе генерала Макартура. В коридоре вагона я встретился и разминулся с авиационным полковником. Пройдя мимо меня, он вдруг повернулся и снова подошел ко мне с совершенно неожиданным вопросом: не встречались ли мы с ним под Бобруйском. Из дальнейшего разговора выяснилось, что это тот самый бывший старший лейтенант.

Со времени этой второй мимолетной встречи тоже минуло двадцать лет. Сейчас, роясь в архивах, я нашел отрывочные сведения о личном составе того 3-го тяжелого авиационного полка, трагическую гибель кораблей которого я, очевидно, видел под Бобруйском. В документах было упоминание о подполковнике Ищенко. Но вряд ли я даже в драматической обстановке 30 июня 1941 года мог спутать подполковника со старшим лейтенантом — три кубика на

петлицах с тремя шпалами…

Потом я наткнулся на другую похожую фамилию: Иршенко. Здесь данные как будто совпадали. В личном деле было записано: «Иван Степанович Иршенко, старший лейтенант, штурман отряда 3-го тяжелого бомбардировочного авиаполка. Родился 21 июля 1912 года в деревне Большие Крынки Полтавской области. Воевал в Финляндии, стал штурманом отряда в мае 1941 г.». Но дальше шла запись, как будто опровергавшая возможность совпадения: «25 июля 1941 года погиб при выполнении боевого задания».

Хотя, впрочем, нельзя сказать, что такая запись полностью исключает возможность совпадения. Множество людей, в личных делах которых появлялись такие записи, потом возвращались и продолжали сражаться до конца войны. Кто знает, может быть, когда эти строки будут напечатаны, они помогут мне разыскать человека, о котором идет речь в записках.

16 «…прочел в политотделе записанную на слух радистами речь Сталина»

Мои товарищи по фронту, военные корреспонденты, которым я показывал свои записки, расходятся в воспоминаниях в том, когда мы уехали из Могилева в Смоленск и где мы с ними встретились — то ли еще под Могилевом, то ли уже под Смоленском.

В «Журнале боевых действий войск Западного фронта» указано, что оба эшелона штаба фронта убыли в район Смоленска, в санаторий Гнездово, 2 июля. Сопоставляя сейчас все факты, думаю, что мы, группа работников «Красноармейской правды», очевидно, выехали из Могилева или 2, или 3 июля и речь Сталина в записи радистов политуправления фронта слушали уже в лесу под Смоленском. Перечитывая сейчас то место записок, где говорится о речи Сталина, я не испытываю желания спорить с самим собой. Мне и сейчас кажется, что мое тогдашнее восприятие этой речи, в общем, соответствовало ее действительному значению в тот трудный исторический момент.

В последние годы мне приходилось слышать разные объяснения того факта, что Сталин выступил с речью лишь на двенадцатый день войны, в первый день возложив это на Молотова. Среди этих объяснений приводилось и такое, что Сталин в первые дни войны совершенно растерялся, отошел от дел и не принимал участия в руководстве войной.

Не берусь судить о фактах, которых не знаю. Видимо, когда-нибудь историки выяснят всю сумму этих фактов, но психологически такое объяснение не вызывает у меня чувства доверия. Думается, что в применении к Сталину верней было бы говорить об огромности испытанного им потрясения. Это потрясение испытали все. Но огромность потрясения, испытанного им, усугублялась тем, что на его плечах лежала наибольшая доля ответственности за все случившееся. И в том, что он сознавал это, у меня нет сомнений.

Другой вопрос, что вскоре, оправившись от первого потрясения, он поспешил найти козлов отпущения и нашел их в лице Павлова и других, ответивших головой за все происшедшее. И вряд ли этому следует удивляться. Такое уже бывало. Но представить себе Сталина в первую неделю войны совершенно растерявшимся и выпустившим из рук управление страной я не могу.

И то, что он свою речь произнес лишь на двенадцатый день войны, я объясняю не тем, что он до этого никак не мог собраться с духом, чтобы произнести ее, а совершенно другим. Сознавая всю силу своего, несмотря ни на что, и в эти дни сохранившегося авторитета, Сталин не желал рисковать им. Он не желал выступать по радио, обращаясь ко всей стране и к миру раньше, чем полная страшных ежечасных неожиданностей обстановка не прояснится хотя бы в такой мере, чтобы, оценив ее и определив перспективы на будущее, не оказаться вынужденным потом брать свои слова обратно.

Был ли в этом личный момент? Наверное, был. Но, на мой взгляд, в данном случае в той обстановке этот личный момент сочетался с государственной целесообразностью.

Мне вообще кажется, что, говоря о такой сложной исторической фигуре, как Сталин, вредно поддаваться эмоциям.

Мы и до сих пор еще слишком мало знаем о нем и о многих сторонах его деятельности, в данном случае я говорю лишь о его военной, полководческой деятельности. И долг людей, в той или иной мере осведомленных о самых разных фактах этой деятельности, в том числе в первые недели войны, — рассказать о них. И долг нашей исторической науки сопоставить с этими человеческими свидетельствами все те документы, которыми она может располагать. Причем всякая избирательность фактов и документов в ту или иную сторону одинаково

недопустима.

Я принадлежу к числу людей, которым на основании того, что они уже знают, кажется, что им еще предстоит узнать о Сталине много трудного для понимания. Я знаю, что есть люди, придерживающиеся иной точки зрения, люди, которые считают, что в некоторых исторических исследованиях, да и в литературных произведениях последних лет сгущены краски и искажена в худшую сторону роль Сталина в истории войны.

Есть люди, глубоко убежденные в этом. Но раз так, то они не меньше других должны быть заинтересованы в том, чтобы наиболее полно раскрыть перед историей все стороны и все факты военной деятельности Сталина, но именно все.

Чтобы в какой-то мере восстановить ту обстановку, в которой мы услышали или прочли речь Сталина, приведу несколько выдержек из разных армейских документов тех дней.

В политдонесении отступавшей от Бреста 4-й армии Западного фронта, датированном 4 июля, говорится, что части армии «вышли в новые районы формирования для пополнения личным составом и мат. частью. 6-я стрелковая дивизия. Налицо… — 910 человек, некомплект — 12781 человек. 35-я стрелковая дивизия. Налицо 2623 человека, некомплект — 11068 человек». Даже если учесть, что потом в район формирования армии вышло из окружения еще немало людей, все же эти цифры на 4 июля говорят о масштабах поражения, понесенного в первые дни войсками нашего Западного особого военного округа.

Предыдущим числом, 3 июля, датирована найденная мною в архиве записка командира 75-й стрелковой дивизии этой же армии генерал-майора С. И. Недвигина командующему армией генералу Коробкову. В воспоминаниях бывшего начальника штаба 4-й армии генерала Сандалова несколько раз с похвалой говорится о действиях этой упорно сражавшейся в ходе отступления дивизии. Из документов видно, что к первым числам июля она сохранила в своем составе около четырех тысяч бойцов и командиров. Записка Недвигина дает представление о душевном состоянии, в котором был на двенадцатый день войны командир одной из дивизий, отступавших с боями от самой границы.

«Товарищ генерал-майор, наконец имею возможность черкнуть пару слов о делах прошедших и настоящих. Красный пакет опоздал, а отсюда и вся трагедия. Части

попали под удар разрозненными группами. Лично с 22-го по 27-е вел бой с преобладающим по силе противником. Отсутствие горючего и боеприпасов вынудило оставить все в болотах и привести для противника в негодность.

Сейчас с горсточкой людей занял и обороняю город Пинск, пока без нажима противника. Что получится из этого, сказать трудно.

Сегодня получил приказание о подчинении меня 21-й армии. Пока никого не видел и не говорил, но жду представителей.

Настроение бодрое и веселое. Сейчас занимаюсь приведением в порядок некоторых из частей. За эти бои в штабе осталось 50–60 процентов работников, а остальные перебиты.

Желаю полного успеха в работе. Вашего представителя информировал подробно.

С компривetом генерал-майор Недвигин».

Несомненно, что в этой носящей отчасти официальный, отчасти личный характер записке, особенно в словах о трагедии с красным пакетом, сквозит глубокая горечь. Но, с другой стороны, читая эту записку, нельзя не согласиться и с Гудерианом, писавшим в своей работе «Опыт войны с Россией» о русских генералах и солдатах, что «они не теряли присутствия духа даже в труднейшей обстановке 1941 года».

В том же сообщении Информбюро, в котором говорилось о первой реакции на речь Сталина, особенно настойчиво подчеркивалась сила нашего сопротивления немцам: «Повсюду противник встречается с упорным сопротивлением наших войск, губительным огнем артиллерии и сокрушительными ударами советской авиации. На поле боя остаются тысячи немецких трупов, пылающие танки и сбитые самолеты противника».

Совершенно очевидно, что эти слова далеко не всюду соответствовали действительности. Немцы встречали упорное сопротивление наших войск, но не везде. Не повсюду встречали они и «губительный огонь артиллерии», которая к этому дню, после отступления на четыреста километров, понесла колоссальные потери в материальной части.

Что касается ударов нашей авиации, то я уже приводил примеры самопожертвования наших летчиков, но при том колоссальном неравенстве сил,

которое сложилось в воздухе, не приходится, конечно, говорить, как о реальном факте тех дней, о повсеместных «сокрушительных ударах нашей авиации».

Я уже приводил слова сообщения: «На поле боя остаются тысячи немецких трупов». В такой неконкретной расширительной формулировке это звучит преувеличением. Однако не следует забывать и другого. Из немецких документов о людских потерях вермахта во Второй мировой войне явствует, что за первые шестьдесят дней войны на Восточном фронте немецкая армия лишилась стольких солдат, сколько она потеряла за предшествующие шестьсот шестьдесят дней на всех фронтах, то есть за время захвата Польши, Франции, Бельгии, Голландии. Норвегии, Дании, Югославии, Греции, включая бои за Дюнкерк и в Северной Африке. Соотношение потерь достаточно разительное — один к одиннадцати.

Говоря об этом, я не забываю об огромности наших собственных потерь. Я привожу эти цифры, просто чтобы напомнить, что хотя начальник германского генерального штаба генерал Гальдер поспешил записать 3 июля 1941 года: «Не будет преувеличением, если я скажу, что поход против России выигран за одиннадцать дней», — этот поход все-таки начался с потерь, которых фашистские армии еще никогда до этого не несли во Второй мировой войне.

17 «В дивизии были только люди, а танков не было»

Вышедшая из окружения и стоявшая под Смоленском танковая дивизия, как мне теперь ясно из документов, была 30-я танковая 14-го механизированного корпуса, входившего в 4-ю армию.

Корпусом командовал генерал-майор С. И. Оборин. Так же как и командующий 4-й армией генерал Коробков, он 8 июля 1941 года приказом по войскам Западного фронта был предан суду Военного трибунала. Ему, как и другим, вменялось в вину, что они «не выполнили своего долга перед Родиной, не привели вверенные им части в боевую готовность для отражения нападения и решительного удара по вероломному врагу». Впоследствии, после смерти Сталина, дело Оборина было пересмотрено и предъявленное ему обвинение снято. Посмертно.

Было оно снято, тоже посмертно, и с генерала Коробкова.

В воспоминаниях людей, служивших с Коробковым в первые дни войны, говорится, что он оказался недостаточно опытным и оперативно подготовленным человеком для роли командующего армией и был выдвинут на этот пост

неосмотрительно и преждевременно. Однако те же воспоминания, да и ряд документов, которые я видел своими глазами, не оставляют сомнения в том, что Коробков во многих случаях проявлял несомненное мужество, бросался на самые опасные участки боя и делал все, что мог и умел, для того, чтобы спасти положение.

В этом же приказе по войскам Западного фронта, в котором идет речь о Коробкове и Оборине, примерно с теми же обвинениями, предается суду трибунала командир 42-й стрелковой дивизии генерал-майор Лазаренко.

Памятник Герою Советского Союза генерал-майору И. С. Лазаренко стоит сейчас на центральной площади Могилева.

Осужденный трибуналом, Лазаренко добился в 1942 году своей отправки из лагеря на фронт, честно воевал и погиб в 1944 году в боях за Могилев, который он освобождал, командуя дивизией.

Этот дальнейший воинский путь одного из генералов, 8 июля 1941 года одним и тем же приказом преданных суду Военного трибунала, невольно наводит на размышления о других людях, упомянутых в этом приказе, таких как Коробков или Оборин, чья судьба оказалась куда более горькой, чем солдатская судьба Лазаренко.

Входившей в корпус Оборина 30-й танковой дивизией, в которой я был, с первых дней войны командовал полковник С. И. Богданов. Впоследствии под командованием именно этого человека 2-я танковая армия Первого Белорусского фронта 22 апреля 1945 года, обойдя Берлин, первой ворвалась на его северо-западную окраину.

А тогда, в начале июля 1941 года, в дивизии, которой командовал будущий маршал танковых войск Богданов, было в наличии 1090 человек (из них 300 танкистов), 90 грузовиков, 3 трактора и 2 танка Т-26, один из них, как указано в документах, «неисправный». Я неверно указал в своих записках: единственный в дивизии исправный танк был не БТ-7, а Т-26.

Майор Бандурко, о котором я по рассказам его сослуживцев написал очерк в «Известия», упоминается в целом ряде документов того времени.

В политдонесении, посланном из 4-й армии в штаб Западного фронта,

упоминается, что «экипаж товарища Бандурко уничтожил 3 танка противника. Тов. Бандурко, будучи ранен, оставался на поле боя и вновь бросался навстречу врагу». Об этом же упоминается и в политдонесении дивизионного комиссара Лестева, направленном в Москву Мехлису. Правда, в этом донесении Бандурко назван не майором, а капитаном, и командиром роты, а не батальона, и не 30-й, а 22-й танковой дивизии. Но это всего-навсего одна из многочисленных неточностей, допущенных в ряде документов того времени. Речь идет все о том же подвиге и о том же человеке — о командире тяжелого танкового батальона 60-го танкового полка 30-й танковой дивизии майоре Максиме Артемьевиче Бандурко. Так значится в его личном деле. А в мемуарах Л. М. Сандалова упоминается о боях за город Пружаны, откуда в один из первых дней войны 30-я танковая дивизия на время выбила немцев, и о том, что в этих боях особенно отличился танковый батальон майора М. А. Бандурко.

Сравнивая личное дело Бандурко со своим напечатанным в июле 1941 года очерком о нем, я обнаружил, казалось бы, противоречие: по личному делу выходило, что Бандурко командовал тяжелым танковым батальоном, а в очерке у меня написано: «Подразделение легких танков, которым командовал майор, в первом же бою столкнулось с немецким полком средних танков. Положение было тяжелым». Но на самом деле противоречие это мнимое. Генерал Сандалов, вспоминая о своем пребывании в 30-й танковой дивизии во время того боя под Пружанами, в котором отличился Бандурко, говорит: «Мы располагали здесь только легкими тихоходными Т-26 с лобовой броней в 15 мм и 45-мм пушками». Вот эти-то танки Т-26 и составляли к началу войны «тяжелый» танковый батальон майора Бандурко. Очевидно, ему предстояло получить новые машины, соответствующие названию батальона, но только предстояло.

В очерке говорилось, что Бандурко, человек редкой физической силы, был отвезен в госпиталь только после трех ранений и то против его воли. Так мне рассказывали тогда его сослуживцы, и у меня не было тогда, да и нет сейчас оснований сомневаться в этом. Однако, как показывает дальнейшая судьба майора Бандурко, он, очевидно, или так и не добрался до госпиталя, или беда настигла его позже, когда он уже попал туда. Во всяком случае в его личном деле записано: «Ранен 3.VII-41… в плену с 5.VII-1941 по 10.Iv-1945».

Сначала я наткнулся в его личном деле на пометку: «Пропал без вести в 1941

году». Приказ номер такой-то.

Потом на следующую пометку: приказ номер такой-то 1943 г. отменить. «Прошел спецпроверку в 5-й запасной стрелковой дивизии». И наконец наткнулся на последнюю пометку: «Исключен из списков 377-го запасного стрелкового полка 13 ноября 1945 года… Убыл в отдел контрразведки».

Не скрою, предпринимая дальнейшие розыски, я очень хотел, чтобы любое подозрение, павшее на человека, столь героически начавшего войну, оказалось несправедливым. Однако, к несчастью, в данном случае факты оказались иными, чем я ожидал. Человек, храбро сражавшийся в первые дни войны, не выдержал потом нравственного испытания пленом и совершил деяние, несовместимое с воинским долгом и присягой, за что впоследствии был судим по закону и освобожден после отбытия наказания.

Бывало по-разному. Выходит, что бывало и так. И нет оснований умалчивать об этом.

18 «…материальная часть, которую вот-вот должны были сменить на современную, была истрепана во время весенних маневров. К первому дню войны половина танков была в ремонте…»

Я не нашел в архивах данных именно по этой танковой дивизии, но у меня под руками данные о состоянии некоторых других механизированных соединений к началу войны: они дают представление об общем положении.

В докладе генерал-майора Мостовенко, командира 11-го механизированного корпуса, также воевавшего на Западном фронте, рассказывается, что к 22 июня в корпусе было 3 КВ и 24 «тридцатьчетверки», то есть всего 27 средних и тяжелых танков и 300 легких танков Т-26 и БТ. Легкие танки были получены для укомплектования корпуса из разных других частей с уже сильно изношенными моторами и ходовой частью. Около пятнадцати процентов танков к первому дню войны было вообще неисправно. Когда корпусу на второй день войны была поставлена наступательная задача, то половина его личного состава не была взята в поход, так как не была обеспечена материальной частью и вооружением.

По плану корпус должна была прикрывать 11-я смешанная авиационная дивизия, но когда в дивизию был послан делегат связи, оказалось, что все ее самолеты уничтожены противником на аэродромах.

Тем не менее, как свидетельствуют военные историки, 11-й мехкорпус, только наполовину укомплектованный и вооруженный почти исключительно легкими танками, принял участие в активных действиях наших войск в районе Гродно, где главный контрудар наносил вооруженный «тридцатьчетверками» 6-й мехкорпус генерала Хацкилевича. Действия этих корпусов и некоторых других наших частей в первые дни войны в районе Гродно приковали к этому району шесть немецких дивизий и крупные силы авиации и до некоторой степени нарушили планы немцев.

Я упоминаю в записках, что в танковой дивизии, где я был, не чувствовалось подавленного настроения, но была отчаянная злость и желание получить новую материальную часть и отомстить.

«Журнал боевых действий 11-го механизированного корпуса» подтверждает, что и там после таких же тяжелых боев было такое же настроение. В своем докладе генерал Мостовенко пишет:

«Мне известно, что вышедшие из окружения бойцы и командиры корпуса оставлены в частях 21-й армии. Полагаю, что такое же положение имеет место и в других армиях. Считаю, что нам придется не только задерживать наступление фашистов, но и наступать и добивать их на их территории. Поэтому кадры танкистов необходимо не распылять, а изъять из стрелковых частей и приступить к формированию танковых частей… Есть опасение скоропалительных выводов о громоздкости и нецелесообразности иметь такие соединения, как механизированные корпуса. Я считаю эти выводы неверными, преждевременными. Опыт войны этого не показал. Противник против нас применяет свои танковые корпуса и танковые группы в своих обычных оперативных формах, применявшихся в Польше, Франции, и применяет их не без успеха. Почему же нам, готовящимся к разгрому противника, его преследованию и уничтожению… следует отказаться от крупных подвижных соединений?»

Так потерпевшие тяжелые поражения люди все-таки находили в себе силу верить в то, что придет время — и наши механизированные корпуса еще вторгнутся на территорию врага. История показала, что они не ошибались в своей вере в будущее, хотя их отделял от него куда больший исторический срок, чем им казалось тогда, летом 1941 года.

19 «Мы переехали дорогу и попали на опушку леса. Там стояло несколько штабных танкеток и размещался штаб 73-й Калининской дивизии»

73-я Калининская дивизия впоследствии, в августе 1941 года, воевала в районе Соловьевской переправы, а в октябре 1941 года попала в окружение. Я нашел в архиве личное дело ее бывшего командира, впоследствии генерал-майора А. И. Акимова. Некоторые моменты в этом личном деле дают представление о тех испытаниях, через которые проходили в сорок первом году многие командиры, и о том, как в дальнейшем складывались военные биографии тех из них, кто остался тогда в живых. Хотя дело это «личное», но в нем присутствуют некоторые общие черты времени.

Впервые раненный у Соловьевской переправы, но не выбывший из строя, командир 73-й дивизии в октябре 1941 года получил второе, на этот раз тяжелое, ранение и с раздробленной ногой остался в окружении. Бойцы на носилках принесли его в деревню Клин, недалеко от станции Есаково, в нескольких десятках километров от Вязьмы. Там он скрывался в доме колхозника Павла Крюченкова и, выздоровев, пошел в партизанский отряд, который в декабре соединился с войсками 33-й армии Западного фронта, имея в своем составе 780 вооруженных бойцов и командиров.

В 1943 году Акимов командует корпусом, освобождавшим город Карачев. Потом его корпус берет Каменец-Подольск, захватив там 5 тысяч немецких автомашин, и участвует во взятии Львова. Потом, командуя уже другим корпусом, он форсирует Одер, выходит на Эльбу и заканчивает войну в Чехословакии. Так выглядит одна из дальнейших судеб командиров дивизий сорок первого года.

20 «Мы решили заночевать в дивизии, а утром ехать дальше, к Борисову»

Сопоставляя время нашей поездки с Алексеем Сурковым в сторону Борисова с донесениями о боях на этом направлении, я почти убежден, что мы оказались в этом районе 6 июля.

Я пишу в записках, что наша встреча с прогнавшим нас оттуда комдивом была, кажется, за рекой Бобр. Допускаю, что все это могло быть и немного восточней, на реке Друть, тоже пересекающей в этих местах Минское шоссе.

Сурков был твердо уверен, что мы встретили там, у реки Бобр, Л. Г. Петровского, который находился в начале войны в старом звании комкора, потому что перед

этим был в заключении и уехал воевать, не успев получить нового звания. Я и сам привык к этой мысли о встрече с Петровским. Но заново перечитав сейчас свои записки, усомнился. Во-первых, в записках стоит все-таки не «комкор», а «комдив», а во-вторых, и это главное, в другом месте, в связи с событиями, происходившими неделей позже, упомянуто о поездке в одну из дивизий, входивших в 63-й корпус Петровского, действовавший гораздо южнее, в районе Рогачева. И эта запись ближе к действительности: именно там, под Рогачевом и Жлобином, и воевал корпус Петровского. Очевидно, мы встретили на Минском шоссе не Петровского, а кого-то другого.

Как мне теперь ясно из архивных материалов, 6 июля там, на Минском шоссе, мы могли встретить только одного человека в звании комдива — командира 44-го стрелкового корпуса В. А. Юшкевича. Так же, как и Петровский, и по тем же самым причинам, он не успел получить генеральского звания. Юшкевич воевал добровольцем в Испании, вернувшись, был награжден орденом Ленина, вслед за этим арестован и после освобождения уехал на фронт комдивом. В этом старом звании мы его и встретили там, на Минском шоссе. Через месяц, в августе, он получил звание генерал-майора, а еще через четыре месяца армия, которой он к этому времени командовал, освобождала один из первых отобранных нами у немцев городов — Калинин. Об этом можно прочесть, заглянув в сообщение Информбюро за 16 декабря 1941 года.

Так и не могу с полной уверенностью сказать, где мы встретили комдива Юшкевича — на Бобре или на Друти; быстрые перемены в обстановке накладывали свою печать не только на записки военных корреспондентов, но и на военные документы того времени. В «Журнале боевых действий штаба 44-го стрелкового корпуса» за 6 июля идет подряд пять записей, дающих представление об этой быстроте перемен:

«4.00 — пехота противника начала наступление против 1-й мотострелковой дивизии… Дивизия начала отход на восток.

11.00 — группа товарища Сусайкова пошла в наступление, оттеснив противника, и вышла к реке Бобр.

12.00 — до роты танков противника перерезали дорогу 6-му мехполку на восток.

15.00 — получен приказ штаба 20-й армии не допустить противника восточнее

реки Друть.

19.45 —…командиру 1-й мотострелковой дивизии и начальнику Борисовского танкового училища приказано во что бы то ни стало удержать реку Друть…».

В донесениях за один и тот же день идет речь и о боях на реке Бобр, и о боях на реке Друть… И, может быть, так оно и было в разные часы одного и того же дня, на разных участках южнее и севернее Минского шоссе.

Во всяком случае генерал армии Я. Г. Крейзер, который в 1941 году в звании полковника командовал 1-й мотострелковой (до мая 1940 года она называлась Московской Пролетарской) дивизией, вынесшей на себе главную тяжесть боев на Борисовском направлении, пишет в своих воспоминаниях, что 6 июля его дивизия занимала оборону на реке Бобр.

Я не смею утверждать, что тот полковник, которого мы встретили тогда, 6 июля, за переправой вместе с комдивом Юшкевичем, был именно Я. Г. Крейзер, но могло быть и так.

21 «Задание редакции было — найти в районе Краснополья… дивизии, которые переформировывались после выхода из окружения»

Как я теперь вижу по документам, мы были в 55-й стрелковой дивизии 4-й армии.

В мемуарах начальника штаба армии генерала Сандалова много раз упоминается о боях, которые вела эта дивизия, вступив в них 24 июня на реке Щара еще под Барановичами. Теперь она переформировывалась здесь, в районе Краснополья, за триста километров от мест, где две недели назад вступила в бои.

Я пишу в записках, что командира дивизии не было, потому что он еще выходил из окружения. На самом деле первый командир дивизии полковник Д. И. Иванюк, когда мы приехали, уже погиб. Но, наверно, в штабе дивизии тогда еще не были окончательно уверены в этом. Фамилия командовавшего дивизией в день нашего приезда «подполковника армянина» была Тер-Гаспарьян. Потом в ходе войны Геворк Андреевич Тер-Гаспарьян командовал другой — 227-й — дивизией, а позже был начальником штаба в 60-й армии у генерала Черняховского. Я был в этой армии, когда она весной 1944 года штурмовала Тарнополь, и, помнится, видел ее начальника штаба. Но та первая встреча с ним в начале войны, как видно, к сорок четвертому году не вспомнилась; генерал — начальник штаба

армии, штурмовавшей Тарнополь, — должно быть, не ассоциировался в моих мыслях с тем подполковником, который в июле 1941 года вывел остатки своей дивизии от Щары за Днепр.

И когда я был в освобожденном Калинине, в частях армии генерала Юшкевича, мне тоже не пришло в голову, что ею командует тот самый комдив, которого мы встретили в июле на Минском шоссе.

Может быть, потому, что во второй половине войны люди, форсировавшие Днепр и Днестр, Неман и Вислу, Одер и Нейсе, неохотно обращались в своих воспоминаниях к сорок первому году, в нашей корреспондентской памяти часто как бы порознь существуют люди первых месяцев сорок первого года и люди конца войны, люди Висло-Одерской, Силезской, Померанской, Берлинской, Пражской операций. А между тем гораздо чаще, чем на это можно было надеяться, на поверку оказывалось, что и те и другие — одни и те же люди.

22 «Вернулись в редакцию под Смоленск… написал статью „Части прикрытия“»

В статье описывались действия 288-го полка 55-й дивизии «на реке Ш.»: географические названия тогда зашифровывались — имелась в виду река Щара. Бой этот происходил с середины дня 24 июня до утра 25-го. В воспоминаниях Сандалова именно об этом бое сказано, что немцы были остановлены вторым эшелоном 55-й стрелковой дивизии на реке Щара и к исходу 24 июня им так и не удалось перешагнуть ее. На этом участке действовала одна из дивизий 24-го немецкого танкового корпуса. Я писал в статье, что на рубеже Ш. полку (вместе с двумя дивизионами 141-го артиллерийского полка — это я добавляю уже теперь) удалось задержать немецкую дивизию на двенадцать часов и вывести у немцев из строя около тридцати танков и восемнадцать орудий. Судя по документам, все это близко к действительности.

Полком в этом бою командовал подполковник Г. К. Чаганава. Известно, что он был ранен в этом бою. Дальнейшее неизвестно. Я нашел его личное дело, в котором сказано, что подполковник Григорий Константинович Чаганава пропал без вести в 1941 году.

В конце своей так и не опубликованной тогда статьи я написал то, в чем видел тогда главный смысл происходивших событий: «К рассвету полк оставил этот лес, изрешеченный снарядами, изрытый воронками… Мы тоже понесли серьезные

потери, но, как ни были они тяжелы, бойцы в эту ночь чувствовали себя победителями… Бойцы знали: там, сзади, развертываются главные силы, используя эти 12 часов, выигранных ими в кровавом бою».

Конечно, подлинная правда первых дней войны куда страшней и сложней. Но статья в какой-то мере отражала страстную надежду отходивших от границы и гибнувших в боях людей, что их жертвы — не даром, что каждый выигранный ими час поможет нашим главным силам изготовиться и наконец нанести тот встречный удар, неотступное ожидание которого, несмотря ни на что, не покидало людей.

Каждый выигранный час был нам действительно дорог, пусть не для нанесения ответного сокрушительного удара, на который мы еще не были способны, а для более реальной цели — создания прочной линии обороны в тылу наших отступавших армий. Это верно.

Неверно в моих тогдашних рассуждениях другое: в действиях и судьбе 288-го полка 55-й дивизии как в капле воды отражались действия и судьбы множества частей 3-й, 4-й и 10-й армий Западного фронта, сосредоточенных перед началом войны в приграничных районах. Но называть все войска, входившие в эти три армии, «частями прикрытия», разумеется, было нельзя. Это было утешительной неправдой, в которую очень хотелось верить, но которая от этого не переставала быть неправдой. Представление о том, что от границ отступают только наши части прикрытия, преуменьшало масштабы беды. Войска трех стоявших в приграничных районах армий Западного особого военного округа были не только «частями прикрытия», а значительной частью наших главных сил. И тяжесть положения усугублялась тем, что именно в этих расположенных в приграничной полосе войсках были сосредоточены и наши первые современные танки, и наши первые современные истребители, которых мы лишились в первые же дни войны.

В своей интересной работе «Факты и мысли о начальном периоде войны» генерал Коркодинов пишет: «На наш взгляд, имеется достаточно оснований, чтобы говорить о недооценке нами вероятной силы первого удара врага, а также стремительности и глубины его развития. Считалось как бы само собой разумеющимся, что Советская Армия сможет отразить нападение германской военной машины на линии новой государственной границы. Такая именно задача ставилась дислоцированным вблизи нее нашим армиям планом обороны

государственной границы… Передний край позиции почти точно совпадал с начертанием государственной границы со всеми ее извилинами буквально по лозунгу: „Ни пяди своей земли не отдадим“».

Это написано теперь, через двадцать лет после войны. Но интересно отметить, что еще до войны на совещании высшего командного состава Красной Армии тогда генерал-лейтенант, а впоследствии маршал В. Д. Соколовский высказывал самые серьезные опасения в связи с фетишизацией этого лозунга: «Ни пяди».

«Упорство боя, — говорил он, — заключается не в удержании каждой пяди земли, как говорится — каждого вершка земли… Тактическая гибкость обороны, целеустремленность ее должна сводиться не к удержанию каждой пяди земли, каждого вершка, а к нанесению максимально больших потерь противнику».

Все это было сказано ровно за полгода до начала войны, которая полностью подтвердила всю важность предостережений, прозвучавших в словах Соколовского.

Наше предвоенное решение сосредоточить вблизи линии государственной границы силы настолько крупные, что в случае их поражения это на длительный период предопределяло невыгодный для нас ход войны, и в то же время недостаточно крупные для того, чтобы при нарушении нашей границы перейти в наступление самим и с ходу глубоко вторгнуться на территорию противника, — было решением половинчатым.

Для объяснения такой половинчатости нужно признать, что решимость сохранить мир любыми средствами в реальной обстановке лета 1941 года вступала в противоречие с продолжавшей оставаться в силе концепцией вторжения на территорию противника в первые же часы и дни после нарушения им мира.

Сохранение этой концепции в ее буквальном и незыблемом виде не учитывало ряда вполне очевидных к лету 1941 года обстоятельств: масштабов и силы сосредоточенных у наших границ немецких группировок, преимуществ немцев в технике, прежде всего авиационной, в обученности и обстрелянности их войск. Не учитывалась и вероятная сила того наступательного порыва, с которым должна была действовать немецкая армия, перед этим за два года завоевавшая почти всю Европу и уже отработавшая на войне все механизмы службы штабов, связи и взаимодействия между родами войск.

А с другой стороны, недоучитывалась мера неподготовленности нашей армии к войне и мера опасности быть застигнутыми войной в разгар перевооружения и лишь недавно заново начатого формирования механизированных корпусов.

В этом в свою очередь есть странная половинчатость: с одной стороны, Сталин шел на огромный риск, делая все, что возможно, для предотвращения войны в 1941 году, и сама его решимость как будто свидетельствует о его полном понимании меры неготовности нашей армии к войне; а с другой стороны, очень многое делалось так, словно армия абсолютно готова к войне и нам нечего опасаться рокового развития событий.

Многие свидетельства подтверждают уверенность Сталина, что наша армия будет готова с успехом отразить вторжение немцев через год, к лету 1942 года. Можно допустить, что к тому времени, после переформирования, перевооружения и освоения новой техники, наша армия с теми или иными поправками на обстановку в принципе смогла бы уже в первый период войны стремиться действовать в духе своей традиционной наступательной концепции.

Но в том реальном состоянии, в котором армия находилась к лету 1941 года, она не могла в первый период войны действовать в духе этой концепции, и надо думать, что хотя бы частичное понимание этого играло немалую роль в стремлении Сталина во чтобы то ни стало оттянуть начало войны.

Но раз так, то логично было бы иметь два разных плана действий: один на тот случай, если нам удастся оттянуть начало войны до лета 1942 года, и другой на тот случай, если нам это не удастся сделать и война все-таки начнется в 1941 году.

Не знаю, что думают на этот счет специалисты, но мне кажется, что в плане войны, намеченном на тот случай, если она все-таки разразится в 1941 году, было бы правильно считаться с реальной вероятностью потери части территории, отступления наших частей прикрытия с новой границы на старую границу 1939 года и организации жесткой обороны там, на укрепленной линии вдоль старой границы, с перспективой нанесения из-за нее последующих контрударов главными силами.

В сущности, потом, в ходе войны, так оно и вышло, только с тяжелыми для нас поправками. Более или менее жесткая оборона была в конце концов создана в

тылу наших отступавших армий, но уже не на линии старой границы, которую немцы прошли с ходу почти повсюду, где ее доты оказались разоруженными, а гораздо дальше на восток, по Днепру.

Необходимость разработки такого реального плана на случай возникновения войны в 1941 году, в момент нашей неполной готовности к ней, сейчас, задним числом, кажется чем-то само собой разумеющимся.

Однако такого плана не было, и, думается, не потому, что он не мог возникнуть в умах наших военных на основе оценки реального соотношения сил, а потому, что в атмосфере, созданной Сталиным в стране, особенно после 1937–1938 годов, любые предположения о возможности, а тем более целесообразности в определенных обстоятельствах глубокого отхода наших войск с линии государственной границы рассматривались бы как проявление страха перед врагом, преклонение перед силой фашистской армии, то есть, в конечном итоге, как предательство. В этой атмосфере даже попытки мотивировать необходимость разработки подобного плана на случай начала войны в 1941 году, очевидно, были сродни самоубийству.

Надо добавить к этому, что другим фактором предвоенной атмосферы было — и внедряемое сверху, и годами складывавшееся внизу — убеждение, что там, наверху, виднее, что там всегда и во всех случаях знают, что делать. И это, думается, бывшее самым сильным и самым опасным «пережитком прошлого», сложившееся у огромного количества людей искреннее убеждение в непогрешимости Сталина и вреднейшая уверенность, что «наше дело маленькое, сверху виднее», — привело в первые дни войны к неизмеримым по тяжести последствиям.

23 «…Миронов сказал нам, что неплохо было бы съездить в 13-ю армию под Могилев…»

Сейчас, глядя на отчетные карты немецкого генерального штаба, я имею возможность реально представить себе ту обстановку, которая складывалась в районе Могилева 11 июля, в день, когда мы туда уехали. Редактор направлял нас под Могилев, имея сведения, что «где-то там высадился немецкий десант, который сейчас удачно уничтожают».

На самом деле, хотя немцы, может быть, и высаживали там десант, но 11 июля,

судя по нанесенным на карту генерального штаба донесениям действовавших в этом районе немецких частей, их 29-я моторизованная и 10-я танковая дивизии не только переправились через Днепр в районе Шклова, северней Могилева, но продвинулись после переправы на десять-двадцать километров к востоку.

Южней Могилева, в районе Быхова, судя по той же карте, немецкие 10-я моторизованная и 4-я танковая дивизии, переправившись через Днепр, уже контролировали к этому утру на его восточном берегу целый плацдарм — около сорока километров в ширину и десяти в глубину.

Сами того не ведая, мы ехали в уже создававшийся к тому времени вокруг Могилева мешок.

24 «Кто знает, где он теперь, этот гостеприимный карталинец…»

Полковник Шалва Григорьевич Кипиани, у которого мы были днем 11 июля, был командиром 467-го стрелкового полка 102-й стрелковой дивизии. В записках сказано неточно. Эта дивизия не входила в 63-й корпус Петровского, а была его соседом справа. Оперативная сводка 467-го полка за этот день вполне соответствует той обстановке затишья, которую мы застали: «…полк занял район обороны по левому берегу реки Днепр… Погода солнечная, ветер в сторону противника. Дороги полевые доступны для танков».

События в полку и в дивизии развернулись через двое суток после нашего отъезда. Корпус Петровского 13 июля, действуя на главном направлении удара нашей 21-й армии, форсировал Днепр, освободил города Рогачев и Жлобин и продолжал наступать в направлении Бобруйска. Обеспечивая это наступление с севера, в ночь с 13 на 14 июля между Ново-Быховом и Годиловичами форсировала Днепр и 102-я стрелковая дивизия, в том числе и полк, которым командовал Кипиани.

Захват Рогачева и Жлобина был одним из первых за войну наших успешных контрударов на Западном фронте. Впоследствии, в двадцатых числах июля, немцы, подбросив силы, остановили наступление нашей 21-й армии и окружили корпус Петровского. Петровский, ставший к тому времени генерал-лейтенантом, был убит в бою 17 августа 1941 года, а его корпус частью погиб, частью вырвался из окружения обратно за Днепр.

Я прочитал сейчас личное дело Петровского и целый ряд его приказов за июль,

дающих представление об обстановке и о стиле его руководства корпусом. За этими приказами стоит человек строгий и справедливый, трезво оценивающий обстановку и в моменты успеха, и в моменты тяжелого положения. Из его приказов видно, какое значение он придавал взаимодействию пехоты и артиллерии, вопросам четкой организации управления и связи, работе тыла, эвакуации раненых. Они свидетельствуют о трезвости, спокойствии, критическом отношении к недостаткам.

В одном из приказов говорится: «Полностью использовать все возможности… для борьбы с танками, для чего 45-мм пушки и полковые 75-мм орудия выдвигать вперед в качестве отдельных противотанковых орудий с задачей активной борьбы с танками. В отдельных случаях выдвигать 122 и 152-мм пушки». Петровский уже в июле 1941 года делал то, чему многие научились гораздо позже.

В приказе, отданном уже в тяжелой для корпуса обстановке, сказано: «В результате прошедших боев части корпуса понесли потери и, кроме того, значительная часть бойцов застряла в тылах. Приказываю: в течение ночи на 20.7.41 г. из всех обозов изъять излишний рядовой и младший начсостав. Обратить его на укомплектование стрелковых рот. Ездовых оставить из расчета одного человека на две подводы. Пулеметы и винтовки передать на вооружение стрелковых рот, оставив в обозе винтовки из расчета одна на пять подвод».

А в общем, несмотря на обусловленный неравенством сил трагический исход этих боев, начавшихся взятием Жлобина и Рогачева, написанная еще в феврале 1925 года характеристика на Петровского — тогда еще командира полка — была зоркой и соответствовала действительности: «Обладает сильной волей, большой энергией, решительностью. В оперативной обстановке умело разбирается. Военное дело знает и любит его. Вполне соответствует должности».

В сохранившемся «Журнале боевых действий 102-й дивизии» есть данные о судьбе 467-го полка и его командира Кипиани.

В донесении за 21 июля сказано, что полк перешел в наступление на фронте Покровский — Валяховка и взял пленных 17-го пехотного полка.

В донесении за 22 июля в штаб корпуса сообщается, что связь с 467-м полком отсутствует, что полк продолжает вести борьбу в окружении, и содержится просьба о помощи танками.

В утреннем донесении 23 июля командир дивизии приказывает вступить в командование полком командиру 2-го батальона капитану Матвейцу и посылает в штаб корпуса донесение, что 467-й полк, ведя бой в окружении и уничтожив до полутора батальонов противника, частично вышел из окружения, сосредоточился и приводит себя в порядок.

В личном деле Кипиани последняя запись предвоенная: «Вывел полк на первое место в дивизии». Никаких других записей нет. Остается предполагать, что он погиб или пропал без вести в этих июльских боях за Днепром.

Так все это сложилось потом. Но тогда ни в дивизии, ни в полку никто еще ничего не знал о предстоящем наступлении, и мы на следующий день двинулись туда, куда рекомендовал нам ехать редактор — в район Могилева.

25 «В городе ходили тревожные слухи, население покидало его»

Двенадцатого июля, когда мы уезжали из Пропойска в Могилев, эти слухи, пожалуй, нельзя было назвать преждевременными. Через два дня 4-я танковая дивизия немцев двинулась на Пропойск и 15 июля взяла его.

Кстати, современный читатель, сколько бы он ни искал, не найдет на послевоенных картах Пропойска. Однако в 1941 году город Пропойск Могилевской области существовал на картах и много раз фигурировал в донесениях и сводках. Но летом 1944 года, во время разгрома в Белоруссии немецкой группы армий «Центр», освобожденный Пропойск был переименован в Славгород. Кто знает, может быть, в этом сыграла роль установившаяся к тому времени традиция называть отличившиеся части именами освобожденных ими городов и возникшая вдруг проблема: как именовать дивизию, освободившую Пропойск?..

Моя запись, что утром 12-го нам посчастливилось проскочить по кратчайшей дороге Пропойск — Могилев за несколько часов до того, как немцы переправились через Днепр у Быхова и перерезали ее, соответствует действительности только наполовину. Немцы переправились через Днепр у Быхова еще 10-го, двумя днями раньше. Но на дорогу Пропойск — Могилев, судя по их отчетным картам, они действительно вышли только 12-го.

Выезжая из штаба фронта, мы надеялись найти штаб 13-й армии в Могилеве. Как это ясно сейчас по документам, штаб покинул Могилев и двинулся в Чаусы еще в ночь с 10 на 11 июля, то есть раньше нашего выезда из Смоленска.

26 «…из кабины одной из встречных машин высунулся человек и ошалелым голосом крикнул:

— Там немецкие танки!..»

Приведенные в записках размышления насчет того, что на шоссе Могилев — Орша по эту сторону Днепра не может оказаться немецких танков, были совершенно необоснованны. 12-го числа днем, когда мы оказались там, немцы не только, переправившись через Днепр, перерезали это шоссе у Шклова, но их 10-я танковая и 29-я моторизованная дивизии, как это показывают отчетные карты германского генерального штаба, своими передовыми частями прорвались уже на пятьдесят километров к востоку от Днепра и перерезали железную дорогу Орша — Кричев.

Другое дело, что, развивая главный удар на северо-восток к Смоленску, немцы в тот день еще не проявляли стремления поворачивать на юг, к Могилеву, вдоль Оршанского шоссе. Эпизод с немецкими танками, подходившими вдоль шоссе к штабу дивизии, где мы оказались, носил, видимо, частный характер. Немцы просто прощупывали силу нашей обороны на этом направлении и, потеряв от огня артиллерии несколько танков, отошли.

Дивизия, к штабу которой подходили эти танки, была 110-я стрелковая дивизия 13-й армии. Она входила в оборонявший Могилев 61-й стрелковый корпус генерала Бакунина, сражалась в этом районе до 26 июля, а потом прорывалась из окружения.

Встреченный нами в лесу на своем командном пункте командир 110-й дивизии Василий Андреевич Хлебцов за свои боевые действия в 1941 году получил два ордена, что было тогда большой редкостью; в 1942 году после выхода из окружения он вновь командовал дивизией, затем был заместителем командира кавалерийского корпуса. 7 мая 1942 года получил звание генерал-майора, а 25 мая погиб на Изюм-Барвенковском направлении Юго-Западного фронта.

Ничему не удивлявшийся полковник, которого мы встретили на шоссе, был Федор Трофимович Ковтунов, начальник оперативного отделения штаба 110-й дивизии. В последующие дни под Могилевом он командовал полком, был награжден орденом, до ноября оставался в окружении, вышел из него и воевал дальше, закончив войну в Восточной Пруссии генерал-майором, командиром 83-й

стрелковой Витебской дивизии.

27 «Врач, который шел с ними, оказался крошечной, худенькой женщиной»

Воспоминание об этой мимолетной встрече в лесу под Могилевом оказалось для меня впоследствии первым толчком к тому, чтобы написать «маленькую докторшу» Таню Овсянникову — одно из главных действующих лиц романов «Живые и мертвые» и «Солдатами не рождаются».

Тогда, в июле 1941 года, вернувшись из-под Могилева, я написал очерк о встрече с этой женщиной-военврачом — «Валя Тимофеева». Он был напечатан во фронтовой газете с одними купюрами, а в «Известиях» — с другими. Во фронтовой газете под моей фамилией, а в «Известиях» — под псевдонимом С. Константинов, потому что рядом шел другой мой фронтовой материал за собственной подписью.

Я считал, что эта женщина погибла. Может быть, это шло от общего ощущения тяжести обстановки под Могилевом, а может, еще и оттого, что из всех людей, с которыми я столкнулся в ту поездку, мне потом за все годы довелось встретить только одного человека.

Готовя записки к печати, я вдруг обнаружил, казалось, безнадежно потерянный старый блокнот, бывший со мной в той могилевской поездке, — а в этом блокноте свою тогдашнюю запись о встрече с женщиной-врачом. В виде исключения я полностью приведу эту запись. Она может дать известное представление о том, как вообще первоначально, во фронтовой обстановке, велись записи, на основе которых — в тех случаях, когда они сохранились, — я диктовал весной 1942 года свои записки. Вот эта запись:

«223 с. п. 53-й дивизии.

Начали нас бомбить в роще. Наши тылы полка. Справа и слева от нас были батареи.

Женщина, зубной врач, Валентина Владимировна Тимофеева, 23 года, вылезала из укрытия и доставала и перетаскивала раненых.

— У нас не было комплекта врачей, мне самому приходилось перевязывать, и я попросил, дайте хоть зубного. Вот и дали. Я сам, когда была сильная бомбежка, полз в щель, а она перевязывает на открытом месте. Говорю: „Убьют!“ — „Нет,

говорит, пока не убили, надо работать", а сама перевязывает.

— Я перевязывала раненого, а он рядом, гадина: „Тала-ла-бала" — и подползает близко. Я раненого накрыла палаткой и говорю: „Милый, лежи спокойно". Шесть ран у него. Безнадежный, худощавенький такой. Безнадежный, а перевязать все же надо. Он говорит: „Милая, все же подползи ко мне…"

Они осветили нас ракетой. Потом ракета потухла. Я поползла, кричу: „Где вы?" Но поползла неверно, он кричит: „Я здесь, здесь!"

Я поползла, говорю: „Милый, как же вас?.." А он говорит: „Я поднялся, а тут ракета — и скосили". Шесть ран. Перевязала его полотенцем. Вижу, что безнадежный, но чтобы ему легче было, перевязала грудь полотенцем. Он чувствует, что безнадежное положение, спрашивает: „Насмерть?" Я говорю: „Нет, что вы"… Тут и подполз немец. Я вынула наган и выстрелила. Он упал. Наверное, убила, потому что он потом бы меня сам застрелил. Я была на месте, и мелькали белые бинты… А потом его лежа тащу и прошу его: „Милый, ну как-нибудь, ну еще шаг"… Он говорит: „Не могу". А я все же прошу. Тяжело, сумка тяжелая, разве мне ее бросить? Все-таки дотащила.

Кружку 9-го осколком выбило из рук.

— Как приехали, всего раза три и пришлось открывать свой кабинет. Ни у кого зубы не болели. Я спрашиваю: „Что же буду делать?" Говорит начальник штаба: „Найдется". И правда, нашлось.

Рукава у гимнастерки завернуты. Правая рука натерта в кровь.

— Почему же вам форму не дали лучшую?

— А у меня своя есть, по росту, да разве на меня напасешься? Вся в крови была.

С 8 марта 1940 года в армии.

— У меня лялька была, год десять месяцев, она сейчас умерла. Только жив сын, четырех месяцев. С мамой сейчас. Мама говорит: „Воспитаю сына, только прогоните немцев". В военкомате спрашивают: „Ничего, что лялька?" Говорю: „Ничего", ну и пошла в армию.

Кончила Саратовскую зубоврачебную школу в 1936 году.

— Теперь уже едва ли придется зубы лечить, буду работать по новой профессии.

Ее дразнит капитан: „Приказано вас при наступлении не брать“. — „Это почему же?“ — „Во-первых, женщина, да, во-вторых, еще такая маленькая“.

Детское курносое лицо, как у мальчишки. Сама уроженка Аткарска, жила в Саратове.

— Я в Берлине сама хочу быть. А то что же это, вы уедете туда, а меня оставите?

— Сначала перевязывала тех, что были в тылу, а потом стали присылать по три машины из батальонов, ни одного раненого не оставила без перевязки.

Когда фотограф начинает снимать, просыпаются женские инстинкты. „Погодите, я же в беспорядке“. — „Вам не надо зеркальце?“ — „Ну, конечно же, надо!“ Очень обрадовалась.

Ласковая, спокойная, а главное — никогда не падала духом».

В блокноте оказались сведения, о которых я забыл и которые могли помочь мне найти Тимофееву, если она жива: возраст, место рождения, название учебного заведения, дата ухода в армию.

В архиве среди сотен тысяч личных дел личного дела на военврача Валентину Владимировну Тимофееву не оказалось. Тогда я обратился к своим товарищам по профессии — саратовским журналистам. Сообщил все имевшиеся у меня данные, и в неправдоподобно быстрый срок, буквально через три дня, Валентина Владимировна Тимофеева нашлась. Оказалось, что она живет в Риге со своим мужем, подполковником запаса, и с тремя детьми. Старший из них, сын Лев, которого она, уходя на войну, оставила четырехмесячным «лялькой», уже успел вернуться с действительной службы в армии.

Хочу привести часть письма, которое В. В. Тимофеева прислала в ответ на мое. Письмо лучше, чем мои слова, даст представление о последующей военной судьбе этой встреченной мною в июле 1941 года женщины, да, пожалуй, и о других схожих с нею судьбах многих других замечательных женщин, надевших в сорок первом году военную форму.

«Не буду многословной, но отвечу на Ваши вопросы. Вы правы: в 41-м году о существовании очерка я, конечно, ничего не знала, да и не могла знать, так как шесть месяцев не имела связи с большой землей (так мы называли ее тогда). Да и когда прочла, то интересовалась, жив ли С. Константинов, но так ничего и не

пришлось узнать.

Теперь о себе. После встречи с Вами наша группа соединилась с остатками 110-й стрелковой дивизии. Командовал этой дивизией полковник Хлебцов В. А. В общем, Вы правы, когда назвали это кашей, там действительно была каша.

В составе 110-й стрелковой дивизии пробовали прорвать кольцо окружения, но безуспешно. Полковник Хлебцов организовал около себя партизанский отряд и возглавил его. В составе этого отряда была и я в качестве врача-бойца. Отряд рос из остатков разрозненных частей и местных работников. У нас была задача простая и в то же время важная: не давать спокойно жить врагу на нашей земле и продвигаться на восток, что мы и делали. Трудно вспомнить мне те места, где были бои или стычки у нас с врагом.

Снабжались мы за счет местного населения и в основном за счет немцев. То отобьем обоз немецкий, то машину подобьем. Вот так и жили. Однажды огнем из пулеметов ребята подбили низко летевший самолет. Немецкий летчик приземлился на парашюте, его взяли, разоружили, допросили, узнали необходимые для нас сведения и расстреляли, так как тыла у нас не было. А из парашюта я пошила ребятам рубашки, и они этим были очень довольны, ведь у нас не было смены белья, приходилось и об этом думать. В отряде больных не было, т. к. за этим я строго следила, при первой возможности старались просушить, постирать белье и верхнюю одежду, следила, чтоб в отряде не было паразитов, — для этого часто ребят осматривала и обязательно устраивала банные дни.

Местное население ненавидело врага и во всем нам помогало, и мы не чувствовали себя, что мы в тылу врага, мы были дома.

Люди рисковали своей жизнью, помогая нам, но как говорят: „в семье не без урода“, так и у нас были случаи, когда староста пытался предупредить немцев и навести их на наш след — расправа была одна: собаке — собачья смерть.

В одном таком бою меня ранило — пулевое ранение правой ноги. Я вынуждена была жить в деревне, как будто бы Князевка, Смоленской области, у крестьянина. Очень хорошая семья, не помню даже, как их звать, но им сердечно благодарна. Ребята из отряда меня навещали, а когда я поправилась, меня взяли в отряд. Продвигался наш отряд ночью и редко днем лесом. Вооружены были немецкими

автоматами, были немецкие ручные пулеметы и даже был один наш пулемет „максим".

Это позволяло нашему отряду осуществлять ряд удачных операций. Как-то мы узнали, что немцы собираются перегонять пленных из деревни на станцию. Ребята устроили засаду и, когда колонна втянулась в этот район, открыли огонь по конвою, а пленные бросились врассыпную — часть пошла к нам в отряд, а более слабых посадили на подводы и отвезли в более глухие места — куда немец боялся вообще показываться. В этом бою потерь мы не имели, но не всегда проходило так гладко. Были случаи, что из разведки или с задания люди не возвращались, их находили или убитыми, или повешенными.

Однажды я пошла на связь в село, зашла к жене партизана, местного учителя (он был у нас в отряде и принес радиоприемник с питанием, что дало возможность слушать Москву). В это время в село въехало две машины с карателями. Всех жителей выгнали на улицу, в том числе и меня.

Построили в один ряд, и немец отсчитывал каждого десятого и убивал. Десятыми были не только взрослые, но и дети. Картина была жуткая: слезы, крики, проклятья, но ни одного слова о пощаде — убивали как заложников за действия партизан. Я была шестая.

Наши, узнав о таком зверстве, перекрыли дороги из деревни и всех немцев уничтожили, не дали возможности даже слезть с машин.

В начале зимы я простудилась и некоторое время не могла участвовать в жизни отряда — жила в деревне, ребята достали у местного населения шкурки, и я пошила им партизанские папахи и рукавицы. 7 ноября мы слушали речь Сталина на Красной площади, а позже нам население передало сброшенную с самолета газету, где была речь тов. Сталина, Да, велика была вера у советских людей в этого человека!

Сплошной линии фронта не было — и наш отряд удачно вышел в район г. Тулы с небольшой разведывательной перестрелкой на соединение с нашими частями.

Нас так же построили, как Вы описываете в книге „Живые и мертвые", разоружили, сказали нам красивые слова и отправили в тыл, но вот как наши добрались, я не знаю. Меня как медработника направили в резерв медсостава в г. Тулу.

Я впервые за шесть месяцев увидела электрический свет, и это так на меня подействовало, что это была для меня самая счастливая минута — я жива, опять по-прежнему — жизнь идет!

В г. Тула — первое, что я сделала, это послала домой письмо — с первой полевой почтой, ведь у нас почты не было. Можно понять мое состояние. Я писала домой, что жива, здорова, очень о всех соскучилась, как растет сынка? А вот обратного адреса у меня еще нет.

В резерве медсостава Западного фронта получила назначение в группу для эвакуации раненых с поля боя в районе Тургенева за г. Истра — проезжала его ночью: город — трубы, ни одного дома.

Но на дорогах уже были регулировщицы, чувствовался порядок движения, это уже было не то, что у нас. Здесь я видела разрушенные здания, в них раненые, но они были накормлены и как-то согреты. Я брала их в машину и перевозила в эвакогоспиталь. В одной из поездок меня контузило — не помню, то ли артобстрел, не то бомбили с самолета. Около месяца провалялась в госпитале, не помню, где он находился и как назывался. После госпиталя меня направили в резерв, и оттуда я получила направление в эвакогоспиталь Владимирской области — станция Камешки, где работала зубным врачом, потом госпиталь перешел в ведение Наркомздрава, меня, как кадрового командира, откомандировали в резерв, а там, когда узнали, что у меня есть полуторагодичный сын, направили в Москву, а оттуда в Приволжский военный округ, там мне не нашли должности, и меня демобилизовали. И так я приехала в Аткарск, где жил с мамой мой сын Лева.

В Аткарске я встретилась с мужем, который ранее прибыл с частью из Смоленска. Я устроилась работать в госпитале».

Валентина Владимировна Тимофеева вспоминает в своем письме о командире 110-й дивизии полковнике Хлебцове. О его дальнейшей судьбе я уже сказал. Но, дополнительно роясь в архиве, я обнаружил, что полковник Хлебцов в свою очередь вспоминал о враче Тимофеевой. В своей записке «О действиях в тылу фашистских оккупантов», написанной после соединения его отряда с нашими частями, он рассказывал, как, тяжело заболев в дни окружения, пролежал трое суток на чердаке какого-то дома в деревне Черевицах, и как его лечила женщина-врач Тимофеева, и как потом они переправились с политруком

Макаровым и врачом Тимофеевой через реку Сож.

Вскоре после этого встретившись с заместителем председателя Ершичского райисполкома Смоленской области Рыковым и председателем Сухомлянского сельсовета Федосовым и несколькими другими местными коммунистами, Хлебцов принял участие в создании партизанского отряда и взял на себя командование им. 12 октября в отряде было тридцать шесть человек, к 1 ноября — сто восемьдесят.

Дальше в своей записке Хлебцов перечисляет, что было сделано их отрядом: произведено крушение четырех эшелонов в районах Орши, Кричева и Рославля, взорван железнодорожный мост на 34-м километре линии Рославль — Орша, пятьдесят девять раз обрезана связь, в селе Кузьмичи сожжен самолет, захвачено три орудия с расчетами, уничтожена одна дрезина, 37 автомашин и 13 мотоциклистов.

В своей записке Хлебцов считает, что его отрядом за три месяца действий было убито 208 немцев, не считая погибших при крушении эшелонов.

Хлебцов пишет, что он вывел 161 человека, из них — 102 рядовых и младших командиров, 47 средних и старших командиров и политруков и 13 гражданских лиц. Видимо, недостающий 162-й — сам Хлебцов.

Судя по списку сданного вооружения, отряд Хлебцова вышел хорошо вооруженным: только пулеметов в отряде было 18.

Я привожу эти данные из записки Хлебцова, составленной в присущем старому строевому командиру сухом, лаконичном стиле, чтобы на этом частном примере напомнить, какой урон наносили немцам в их тылу люди из тех окруженных дивизий, которые, по немецким штабным документам, считались уже несуществующими.

Заговорив о судьбе Вали Тимофеевой, хочу остановиться на некоторых чертах истории той 53-й дивизии, в которой она служила. Думается, эта история характерна для целого ряда частей, вступивших в бои в начале войны. В этой истории были разные страницы, в том числе тяжелые, и о них тоже необходимо сказать.

Я встретил Тимофееву в тот момент, когда их группа вышла из окружения в расположение другой дивизии. К этому времени 53-я дивизия была разбита

немцами. Я нашел в архивных документах направленный непосредственно командующему Западным фронтом доклад временно исполняющего обязанности командира дивизии майора Зузолина, датированный как раз этим днем — 13 июля. Приведу несколько выдержек из этого доклада, в котором, видимо, не считаясь с возможными последствиями, майор Зузолин честно рассказывает о том, как все произошло. Во-первых, из доклада явствует, что к началу войны в этой дивизии кадрового состава было лишь немногим больше половины, остальные были приписной состав, причем до полных штатов военного времени дивизии не хватало 4 тысячи человек. Во-вторых, в докладе сообщается, что при переброске из одной армии в другую, еще до начала боев, из нее выбыли: один из трех стрелковых полков, артиллерийский полк, зенитный дивизион и все полковые школы всех стрелковых полков, а в общем дивизия вступила в бои, имея в своем составе 6477 человек из 14708 человек, положенных по штату. Правда, в последние дни боев ей были наспех приданы два стрелковых батальона, один артиллерийский полк и один дивизион из других частей, но все это лишь частично могло заменить отобранное.

За первые восемь дней боев дивизия трижды переподчинялась трем разным армиям. Черный для дивизии день наступил 11 июля. Вот как выглядит этот день в докладе майора Зузолина:

«До утра 11 июля дивизия успешно сдерживала натиск врага, не допуская перехода на восточный берег Днепра. Всю ночь… и до полудня 11 июля противник ураганным артиллерийским огнем вперемежку с бомбардировкой авиацией и пулеметной стрельбой с самолетов бил по нашим частям. Предпринятая утром 11 июля попытка… форсировать р. Днепр была отбита нашей артиллерией, понтонный мост противника через Днепр был разбит. После этого противник перенес главную силу своего удара… на нашу артиллерию. Совершенно не защищенная с воздуха, она была выбита с огневых позиций и с большими потерями начала отходить. Пехота начала отступать. По своему характеру это вылилось в форму панического отступления, так как не встречавшая отпора авиация противника буквально засыпала огнем наши части.

Вечером 11 июля дивизия вынуждена была оставить все свои позиции. Командный пункт командира дивизии был окружен противником. Под пулеметным огнем противника, по приказанию командира дивизии, штабное имущество (документы)

были вывезены с командного пункта. Командир дивизии со штабом, отделом политпропаганды и охраной остался в окружении. Удалось ли им выйти из этого окружения, установить не удалось. Преследуемые авиацией и танками противника, части дивизии к утру 12 июля дошли до гор. Горки, откуда в основном разошлись по двум направлениям: на Смоленск и на Мстиславль. Судьба Смоленской группы (до 1000 чел.) для меня неизвестна. Мстиславльскую группу в количестве, указанном в прилагаемом расчете, я объединил в одну колонну и вывел на автомашинах на шоссе Смоленск — Рославль…

Временно исполняющий обязанности командира 53-й стрелковой дивизии майор Зузолин. 13.VII-41 г.».

В тот же день, когда майор Зузолин писал свой доклад командующему Западным фронтом, начальник штаба 13-й армии Петрушевский говорил по прямому проводу с заместителем начальника штаба Западного фронта Семеновым. Телеграфная лента этих переговоров сохранилась; она подтверждает правдивость доклада Зузолина и характеризует не только все происшедшее с 53-й дивизией, но и вообще тяжесть обстановки тех дней.

«— Комбриг Петрушевский у аппарата.

— Говорит генерал Семенов. Товарищ Петрушевский, скажите, где 53-я дивизия и что делается?

— 53-я дивизия понесла очень большие потери, и только остатки ее имеются в составе 61-го корпуса. Сейчас много машин ее ушло на восток… Я думаю, что часть ее доберется.

— Где же все-таки, по-вашему, может быть основная часть боевого состава дивизии? Где командир дивизии? Командиры полков?

— Часть есть в 110-й дивизии, часть, вероятно, осталась отброшенной на север, а часть была рассеяна».

Продолжение этого разговора можно найти в записке, направленной Петрушевским в штаб фронта несколько позже.

«В дополнение к последней оперативной сводке доношу, что при прорыве танков у Шклова рассеяна 53-я стрелковая дивизия. Остатки ее сведены в корпусе в небольшую группу. Ни командира дивизии, ни командиров полков нет. Почти вся

дивизионная артиллерия уничтожена. Полк усиления пострадал также очень сильно. Петрушевский».

Сопоставляя все эти документы с немецкими отчетными картами за 11–12 июля, видно, что 53-я дивизия оказалась как раз на главном направлении наносимого в этом районе немцами удара через Днепр на город Горки, который на карте за 12 июля показан уже захваченным частями 10-й танковой и 29-й моторизованной немецких дивизий.

Имевшая меньше половины штата военного времени, не располагавшая танками и не прикрытая авиацией дивизия попала под сильный удар авиации, артиллерии и танков и была разбита — частично окружена, а главным образом рассеяна. Такое нередко случалось в 1941 году, и случалось со многими хорошо дравшимися впоследствии дивизиями, хотя об этом в них, конечно, не любили потом вспоминать. Не любили вспоминать об этом и в 53-й дивизии. В ее истории, написанной после войны, в марте 1946 года, о боях 11 июля 1941 года рядом сказана и правда, и неправда. Сказана правда, что дивизия приняла первый удар немцев, имея в своем составе только два стрелковых полка, что ей пришлось вести на Днепре чрезвычайно тяжелые бои, так как противник имел большое преимущество в силах, особенно в авиации и танках. Но сказана неправда о том, что дивизия «11 июля 1941 года прочно удерживала свои позиции и только после того, как противнику удалось справа и слева прорвать фронт соседних армий, по приказу высшего командования отошла».

Как мы знаем, дело обстояло не так. 11 июля, как ни горько вспоминать об этом, дивизия отступила без приказа, была разбита, рассеяна и с трудом после этого собрана, хотя есть все основания считать, что в ней и тогда не было недостатка в людях, обладающих личным мужеством. Об этом говорят их последующие военные биографии.

Дивизия прошла после этого большой боевой путь, дралась, защищая Москву, во время нашего контрнаступления брала Тарутино, участвовала во взятии Малоярославца и Медыни, потом, переброшенная на юг, форсировала Днепр и Буг, воевала в Румынии в период ликвидации ясско-кишиневской группировки немцев, потом форсировала Тиссу и Дунай и, взяв город Дьер, пошла дальше, на Вену. Один из полков дивизии к концу войны был наименован Венским, а сама

она была награждена орденами Красного Знамени и Суворова.

Так выглядит история дивизии, если брать ее всю целиком, от начала до конца. От первых дней, когда в отчаянном положении были мы, и до последних, когда в безнадежном положении оказалась вся сражавшаяся на Восточном фронте германская армия.

Если же проявить некоторую долю злопамятства, то следует добавить, что 10-я танковая и 29-я моторизованная дивизии немцев, нанесшие тогда, в июле сорок первого года, на Днепре такой сокрушительный удар нашей 53-й дивизии, закончили свое существование при следующих обстоятельствах: 29-я моторизованная дивизия была разбита и взята нами в плен под Сталинградом зимой 1943 года, а 10-я танковая воевала на Восточном фронте до 1942 года, после тяжелых потерь была выведена на переформирование в Южную Францию, потом переброшена в Африку и в мае 1943 года сложила оружие перед англичанами.

28 «…встретили комиссара корпуса, немолодого, спокойного…»

Комиссаром 61-го стрелкового корпуса был бригадный комиссар Иван Васильевич Воронов. Из его личного дела не видно, при каких обстоятельствах он погиб, есть только указание, что он пропал без вести в декабре 1941 года на Западном фронте. На самом деле Воронов погиб 30 июля 1941 года под бомбежкой где-то между Могилевом и Чаусами, во время одной из попыток прорыва из окружения. О его гибели доложил в Москву командир корпуса генерал-майор Бакунин, которому удалось прорваться к своим во главе группы в сто сорок человек только в конце ноября. Но, видимо, этот доклад не нашел отражения в личном деле Воронова.

В последних числах июля погиб при выходе из окружения под Могилевом и заместитель Воронова — полковой комиссар Турбинин, о котором я упоминаю в записках, не называя его фамилии.

Я допускаю в записках маленькое смещение во времени, называя комиссарами Воронова и некоторых других людей, тогда, в первой половине июля, еще не носивших комиссарских званий. Институт комиссаров был введен несколькими днями позже — 16 июля 1941 года. А в те дни, когда я видел Воронова, он числился еще по-старому — заместителем командира корпуса по политчасти и начальником отдела политической пропаганды.

Смотрю на его фотографию в личном деле, спокойное лицо кажется знакомым. Тогда, во время войны, я писал об этом человеке «немолодой». Так мне казалось в мои двадцать пять лет. Сейчас мне это уже не кажется: бригадному комиссару Воронову, когда он дрался под Могилевом и погиб там, было всего-навсего тридцать девять лет.

Командир 61-го корпуса генерал-майор Федор Алексеевич Бакунин в записках не упоминается. Я с ним не встречался. Но считаю своим долгом хотя бы здесь, в примечаниях, сказать об этом человеке. Ведь именно войска его корпуса, оказавшись в окружении, так долго и упорно дрались с немцами в районе Могилева.

Ф. А. Бакунин — в молодости шахтер, в Первую мировую войну унтер-офицер лейб-гвардии Семеновского полка, участник Октябрьской революции и гражданской войны, — до 1938 года семь лет прослужив командиром полка, был потом, как и многие другие, стремительно выдвинут и в течение года стал командиром корпуса.

Иван Васильевич Болдин, в начале войны заместитель командующего Западным фронтом, один из людей, с именами которых связаны наиболее героические страницы сорок первого года, в свое время командуя Калининским военным округом, дал Бакунину, как молодому командиру корпуса, хорошую аттестацию.

Читая в личном деле Бакунина эту аттестацию, я натолкнулся на документы, дающие представление, под какой угрозой в тот страшный для армии период порой оказывались и человек, получавший хорошую аттестацию, и человек, подписавший ее. Оказывается, и судьба Бакунина, и судьба Болдина висели тогда на волоске. В связи с хорошей аттестацией Бакунину, данной Болдиным, запрашивались сведения о самом Болдине, а по этим сведениям выходило, что, «по показаниям арестованных и осужденных участников военно-фашистского заговора…» (в данном случае не буду упоминать фамилии людей, чьи славные в истории нашей армии имена давно уже посмертно восстановлены), Болдин «проходит как участник заговора».

Итак, оказывается, генерал Болдин, который в сорок первом году с июня до августа во главе нескольких тысяч людей три месяца дрался в немецких тылах и с боем прорвался к своим, в 1938 году тоже «проходил как участник». И то, что он

остался цел тогда, — дело случая, так же как дело случая и то, что остался цёл его командир корпуса, которому этот «участник заговора» дал хорошую служебную характеристику.

К началу войны Бакунин командовал своим 61-м корпусом уже больше двух лет и в первое лето войны вместе со своими подчиненными до дна испил несладкую чашу боев в окружении.

Вот как он сам в письме, присланном в ответ на мою просьбу, говорит о начале всех этих событий:

«14 и 15 июля войска 61-го стрелкового корпуса остались в окружении. 16 июля наши войска оставили Кричев, Смоленск. Таким образом корпус оказался в глубоком тылу врага.

16 июля я получил короткую радиограмму, содержание которой: Бакунину. Приказ Верховного Главнокомандующего — Могилев сделать неприступной крепостью.

Бой в окружении — самый тяжелый бой. Окруженные войска должны или сдаваться на милость победителя, или драться до последнего.

Я понял приказ так: надо возможно дольше на этом рубеже сдерживать вражеские войска с тем, чтобы дать возможность нашим войскам сосредоточить свои силы для решительного перехода в наступление».

К тому, как в свете именно такого понимания приказа Сталина ожесточенно, до последней возможности сражались под Могилевом части 61-го корпуса, я буду еще не раз возвращаться в своих комментариях в связи с различными людскими судьбами.

А здесь — только несколько слов о последующей судьбе самого командира корпуса. После выхода из окружения Бакунин был назначен начальником курса Академии имени Фрунзе и в октябре 1943 года с трудом выпросился обратно на фронт. Принимал участие в форсировании Сиваша и штурме Сапун-горы в Севастополе, а после освобождения Крыма командовал 63-м стрелковым корпусом в Прибалтике.

29 «…штаб этой 172-й дивизии стоял здесь, на восточной стороне Днепра, километрах в трех от Могилева»

172-я стрелковая дивизия обороняла непосредственно Могилев и, судя по многим документам, вынесла на себе главную тяжесть боев за этот город.

Комиссар дивизии Леонтий Константинович Черниченко находился в Могилеве до последних дней его обороны, был ранен и прошел много тяжелых испытаний. Но я думаю, что о боях, в которых он участвовал, о том, что он видел и переживал, лучше, чем я, расскажет он сам: им написаны воспоминания, которые, очевидно, будут опубликованы.

Командира дивизии Михаила Тимофеевича Романова, непосредственно руководившего обороной Могилева, в те дни, которые я описываю, мне встретить не удалось. Судя по его личному делу, сохранившемуся в архиве, это был превосходно подготовленный командир дивизии, медленно, но верно поднимавшийся к этой должности по долгой служебной лестнице и имевший отличные аттестации за все годы своей службы. В боях за Могилев он с лихвой подтвердил все довоенные аттестации. Об этом можно судить буквально по всем воспоминаниям о нем. Тех, кто заинтересовался этой незаурядной фигурой, могу адресовать к напечатанным в июне 1963 года в «Красной звезде» статьям маршала Еременко и напечатанной в том же году в «Военно-историческом журнале» статье оставшегося в живых комиссара одного из полков 172-й дивизии майора Кузнецова.

Обстоятельства гибели генерала Романова не до конца ясны. В личном деле его написано, что он пропал без вести. Черниченко в беседе с маршалом Еременко рассказывал, что в декабре сорок первого года в немецком плену он видел немецкий журнал со снимком Романова в гражданской одежде и надписью: «Генерал-майор Романов, командир 172-й стрелковой дивизии, как руководитель партизанского движения в Белоруссии задержан в городе Борисове и повешен». Роясь в архивах, я пытался найти хоть какие-нибудь новые данные о судьбе Романова, и одно время казалось, наткнулся на них. В личном деле М. Т. Романова нашелся документ, из которого явствовало, что в конце 1941 года он около месяца воевал на Северо-Западном фронте в должности начальника штаба одной из армий. Это было написано черным по белому, и у меня возникло предположение, что, может быть, все предыдущие сведения о Романове неверны, что он не погиб, а вышел из окружения, был направлен начальником штаба армии на Северо-Западный фронт и погиб позже и не там, где предполагалось. Целую

неделю работники архива разыскивали документы, которые могли бы пролить свет на этот вопрос, но в конце концов после долгих поисков выяснили, что документ, подложенный в личное дело Романова, много лет назад попал туда по ошибке и относился к судьбе другого генерала, его однофамильца.

Так или иначе, остаются несомненными два факта: что Романов во главе своей дивизии до конца оборонял Могилев и что во время попытки прорыва из окружения он был тяжело ранен и после этого погиб в окружении или в плену.

Когда я был в прошлом году в Могилеве и видел там в центре города в сквере памятник генералу Лазаренко, погибшему при освобождении Могилева в 1944 году, я подумал, что рядом с этим памятником не хватает другого — генералу Романову, павшему в 1941 году после того, как он сделал все, что было в человеческих силах, для того, чтобы не отдать город в руки немцев. Не сомневаюсь, что в конце концов так оно и будет.

30 «Он рассказал нам, что лучше всего у них в дивизии дерется полк Кутепова…»

К командиру 388-го стрелкового полка 172-й дивизии полковнику Кутепову мы приехали вечером 13 июля и уехали из его полка на следующий день, 14-го. Срок небольшой, меньше суток. Но это пребывание в полку Кутепова по многим причинам запомнилось мне на всю жизнь, и мне хочется здесь рассказать и о Кутепове, и о других людях его полка то немногое, что удалось дополнительно узнать.

Пишу эти примечания, а передо мной лежат переснятые из их личных дел старые предвоенные фотографии командира полка Семена Федоровича Кутепова, комиссара Василия Николаевича Зобнина, начальника штаба Сергея Евгеньевича Плотникова, командира батальона Дмитрия Степановича Гаврюшина, командира роты Михаила Васильевича Хоршева…

Самому старшему из них — Кутепову — было тогда, в сорок первом году, сорок пять лет, а всем остальным гораздо меньше. Гаврюшину — тридцать шесть, Плотникову — тридцать один, Зобнину — двадцать восемь, Хоршеву — двадцать три.

Смотрю на их предвоенные фотографии и думаю о том, что, по-видимому, никого из этих людей нет в живых. Хотелось бы ошибиться, но во всех исторических работах и статьях об обороне Могилева мне еще ни разу не попалось ни одного

упоминания об оставшихся в живых людях из этого 388-го полка.

Смотрю на их фотографии в новых гимнастерках, без орденов и медалей, и думаю о том, что многие из этих людей были награждены за оборону Могилева, но так и не успели об этом узнать: указ о награждении был напечатан в «Известиях» 10 августа, а они погибли еще в июле.

31 «—…что бы там кругом ни было, кто бы там ни отступал, а мы стоим вот тут, у Могилева, и будем стоять, пока живы»

Тогда, в 1941 году, на меня произвела сильное впечатление решимость Кутепова стоять насмерть на тех позициях, которые он занял и укрепил, стоять, что бы там ни происходило слева и справа от него. Прав ли я был в своем глубоком внутреннем одобрении такого взгляда на вещи?

Вопрос этот сложней, чем кажется с первого взгляда. Речь идет не о том — выполнить или не выполнить приказ. Это не являлось для Кутепова предметом размышлений. Речь о другом — о сложившемся у меня чувстве, что этот человек внутренне не желал получить никакого иного приказа, кроме приказа насмерть стоять здесь, у Могилева, где он хорошо укрепился, уже нанес немцам тяжелые потери и если не сдвинется с места, то снова нанесет их при любых новых попытках наступать на его полк.

Немецкие генералы в своих исторических трудах настойчиво пишут о том, что, оставаясь в устраиваемых ими «клещах» и «мешках», не выводя с достаточной поспешностью своих войск из-под угрозы намечавшихся окружений, мы в 1941 году часто шли навстречу их желаниям: не выпустить наши войска, нанести нам невосполнимые людские потери.

В тех же трудах немцы самокритически по отношению к себе и одобрительно по отношению к нашему командованию отзываются о тех случаях, когда нам удавалось в 1941 году своевременно вытащить свои войска из намечавшихся окружений и тем сохранить живую силу для последующих сражений.

В этих немецких суждениях есть своя логика. И все-таки, если брать конкретную обстановку начала войны, думается, немецкие генералы правы только отчасти.

Следовало ли нам стремиться в начале войны поспешно выводить свои войска из всех намечавшихся окружений? С одной стороны, как будто да. Но если так, то

можно ли было в первые же дни войны отдать приказ о своевременном общем отступлении всех трех пограничных армий Западного фронта? На мой взгляд, такой приказ в эти первые дни было невозможно отдать не только технически, из-за отсутствия связи, но и психологически. Лев Толстой в своем дневнике 1854 года писал: «Необстрелянные войска не могут отступать, они бегут». Замечание глубоко верное: организованное отступление — самый трудный вид боевых действий, тем более для необстрелянных войск, какими в своем подавляющем большинстве были наши войска к началу войны. Такое всеобщее отступление по приказу на практике, в той заранее не предусмотренной никакими нашими предвоенными планами обстановке, могло превратиться под ударами немцев в повальное бегство. В 1941 году мы и так нередко бежали. Причем бежали те самые необстрелянные части, которые впоследствии научились и стойко обороняться, и решительно наступать. Но в том же сорок первом году многие наши части, перед которыми с первых дней была поставлена задача контратаковывать и жестко обороняться, выполняли эту задачу в самых тяжелейших условиях, и именно в этих боях, а потом при прорывах из окружения, приобрели первый, хотя и бесконечно дорого обошедшийся им боевой опыт.

Стоит добавить к этому, что наша армия и вообще, а тем более после огромных потерь в технике, понесенных в первые дни войны, по уровню моторизации летом 1941 года не шла в сравнение с немецкой. Поэтому оторваться без боя от моторизованных немецких частей, двигаясь пешком и на конной тяге, часто означало, стронувшись с места, потерять свою боевую силу и организованность и все равно не успеть при этом вырваться из подвижного кольца немцев.

Если бы мы в первые дни и недели войны, избегая угрозы окружений, повсюду лишь поспешно отступали и нигде не контратаковывали и не стояли насмерть, то, очевидно, темп наступления немцев, и без того высокий, был бы еще выше. И еще вопрос, где бы нам удалось в таком случае остановиться.

Я вовсе не хочу оправдывать сейчас многие опрометчивые решения, принимавшиеся у нас в то время, в том числе и ряд явно запоздалых решений на отход или, в других случаях, противную здравому смыслу боязнь сократить, спрямить фронт обороны только из-за фетишистского предвоенного лозунга: «Не отдать ни пяди», который, при всей его внешней притягательности, был безграмотен с военной точки зрения. Однако думается, что реальный ход войны в

первый ее период сложился на равнодействующей нескольких факторов. Сочетание наших отступлений, своевременных и запоздалых, с нашими оборонами, подвижными и жесткими, кровавыми и героическими, в том числе и длительными, уже в окружениях, определило и реальные темпы наступления немцев, и то психологически трудное, но все-таки не лишившее ее боеспособности состояние духа нашей армии, в котором она оказалась после первых недель боев.

Мера нашей неподготовленности к войне была так велика, что, как ни горько, мы не можем при воспоминаниях о тех днях освободить свой лексикон и от такого тяжелого слова, как «бегство», или, употребляя солдатское выражение того времени, — «драп». Однако при всем этом согласиться с концепцией, что в сложившейся тогда обстановке наилучшим для нас выходом было везде и всюду как можно поспешнее отступать, невозможно.

И сейчас, при самой трезвой оценке всего, что происходило в тот трагический период, мы должны снимать шапки перед памятью тех, кто до конца стоял в жестких оборонах и насмерть дрался в окружениях, обеспечивая тем самым возможность отрыва от немцев, выхода из мешков и котлов другим армиям, частям и соединениям и огромной массе людей, группами и в одиночку прорывавшихся через немцев к своим.

Героизм тех, кто стоял насмерть, вне сомнений. Несомненны и его плоды. Другой вопрос, что при иной мере внезапности войны и при иной мере нашей готовности к ней та же мера героизма принесла бы несравнимо большие результаты.

32 «И железная дорога, и шоссе шли перпендикулярно позициям полка. Впереди, на ржаном поле, виднелись окопчики…»

Места, где ты был двадцать пять лет назад, иногда совершенно не узнаешь, а иногда узнаешь сразу. Приехав в прошлом году в Могилев и бродя по этим местам, я совершенно точно вспоминал, где что было. Узнал участок обороны между железной дорогой и шоссе, который занимал батальон Гаврюшина, узнал поле, на котором стояли разбитые немецкие танки, узнал и то место, где мы сидели с Хоршевым и где теперь стоит у полотна не та, прежняя, разбитая снарядами, а другая, и уже не новая железнодорожная будка.

Неподалеку от этого места при дороге стоит теперь обелиск с надписью,

говорящей о том, как 388-й стрелковый полк в июле 1941 года отбил здесь атаки немецких танков. Имен погибших на обелиске нет, да в данном случае — вряд ли и возможно было написать их: судя по всему, 388-й полк погиб здесь, в Могилеве, почти целиком.

Но я хочу и, больше того, даже считаю своим долгом назвать в комментариях хотя бы некоторые имена людей из 388-го и сражавшегося вместе с ним 340-го артиллерийского полка, не упомянутые в записках, но сохранившиеся в моем фронтовом блокноте.

Вот их фамилии и должности, а в некоторых случаях и имена:

388-й стрелковый полк

Смирнов — сержант

Иван Дмитриевич Грошев — красноармеец

Семин — красноармеец

Бондарь — связист, красноармеец

Громов — связист

Медников — старший лейтенант, старший адъютант командира батальона

Орешин — младший политрук

Степанов — младший сержант

Сушков — младший сержант

Тарасевич Савва Михайлович — сержант

Давыдов — капитан

340-й артиллерийский полк

Пашун — заместитель политрука

Прохоров — младший политрук

Аксенов — лейтенант, командир 45-мм орудия

Капустин — младший лейтенант

Орлов Борис Михайлович — капитан, начальник связи полка

Котов, Котиков — связисты

Козловский — сержант, радист

Слепков — радист

Антоневич Петр Сергеевич — капитан, начальник штаба полка

Возгрин М. Г. — лейтенант, командир батареи

Гришин И. Г. — старший сержант, командир орудия

Само упоминание в блокноте всех этих фамилий говорит, что каждый из этих людей совершил тогда в боях под Могилевом нечто такое, что, по мнению их прямых начальников, заслуживало быть отмеченным в печати.

Кто знает, может быть, кто-то из них отзовется. Это одна из тех надежд, которые, то загораясь, то снова потухая, неотступно сопровождают мою работу.

Я не упоминаю в записках о встрече с командиром 340-го артиллерийского полка полковником Иваном Сергеевичем Мазаловым, но в блокноте есть короткая запись разговора с ним:

«Пока есть снаряды, немцам в Могилеве не быть. Пехота довольна. Заявки пехоты выполняем, за редким исключением, как, например, вчера: идут два танка и два взвода пехоты. Я говорю: по двум танкам портить снаряды не буду. Если и прорвутся — не будет беды, бутылками забросаем. А по пехоте дадим. И дали — шрапнелью».

Я разыскал личное дело полковника Мазапова, но в нем, как и во многих других личных делах, лишь довоенные записи. Видимо, он погиб. Во всяком случае в недавно опубликованной работе В. Николаева и И. Мосткова «Днепровская твердыня» есть краткое упоминание о гибели Мазалова в последний день боев за Могилев во время прорыва из окружения. В личном деле Мазалова обращает на себя внимание фраза, записанная в одной из аттестаций: «К службе относится с исключительной добросовестностью, обладает огромной силой воли». Для суховатого стиля аттестаций фраза редкая.

33 «…капитан Гаврюшин был человек лет тридцати, уже два или три дня небритый, с усталыми глазами…»

Только одного из этих людей, чьи лица я вижу сейчас на старых фотографиях, я

встретил еще раз потом, после войны.

В июне 1945 года, вернувшись из армии в Москву, я нашел пришедшее без меня еще зимой, во время войны, письмо:

«…Ответ хочу получить для того, чтобы после, если останусь в живых, увидеться с вами и дать материал как писателю и вспомнить тех героев тяжелых июльских дней, которые всю тяжесть первых ударов выносили на своих плечах. Это ваши слова. А их надо вспомнить, они это перед родиной заслужили. Пишет вам тот командир батальона, у которого вы с Трошкиным были в гостях на поле боя у Могилева — июль 1941 года. Я за это время участников этих боев не встречал никого. Да и я случайно остался в живых. Пришлось много пережить. Когда встретимся, то расскажу. Все же я не теряю надежды с вами увидеться. В настоящее время я на фронте, но состояние здоровья не дает возможности быть здесь. Хотят откомандировать, так что ответ на это письмо пришлите домой, и при первой возможности я вас проведаю. Привет Трошкину, если он в живых.

17.1.45.

С компривetом капитан Гаврюшин».

Передавать привет Трошкину было поздно — он погиб в 1944 году; я написал об этом Гаврюшину, приглашая его приехать. Но увидеться нам удалось не сразу: вернувшись с войны, он долго лежал по госпиталям, и я встретил его только в 1947 году тяжело больным, с трудом державшим себя в руках человеком.

Гаврюшин горько переживал свою безнадежную инвалидность, думая при этом не столько о себе, сколько о тех, кому приходилось о нем заботиться. Именно об этом он писал мне в своем последнем письме:

«…Жалею, почему меня не убило. Лежал бы спокойно, не заставлял бы людей думать обо мне. А лежал бы под словами:

Не плачьте над трупами павших бойцов,

Не скверните их доблесть слезами,

А встаньте и произнесите:

„Тише, листья, не шумите,

Наших товарищей не будите.

Спите спокойным сном —

Мы за вас отомстим…"

Больше писем не было. Не было ответа и на мои письма…

Готовясь к публикации записок, я после долгого перерыва еще раз написал по сохранившемуся у меня старому адресу, но письмо снова осталось без ответа. Пришлось обратиться к розыскам в архиве и там, найдя личное дело Гаврюшина, я увидел в нем последнюю запись: „Умер 7 мая 1953 года".

В личном деле есть много подробностей, рисующих и облик и судьбу этого человека. Москвич, сын рабочего, Гаврюшин рос без отца, убитого в 1905 году во время стачки. Тринадцатилетним мальчиком, оказавшись вместе с матерью в Бессарабии, он вступил в отряд Котовского и был контужен во время боев под Бендерами. В 1924 году вступил в комсомол, в 1930-м — в партию. В 1928 году пошел в армию. Кончил Киевскую пехотную школу и с октября 1939 года находился в той должности, в какой я его застал на фронте — командиром батальона 388-го стрелкового полка. „В обстановке разбирается быстро и верно. Волевой, требовательный командир", — писал в своей аттестации о нем в октябре 1940 года командир полка Кутепов и добавлял: „Физически здоров, но нуждается в лечении по поводу невроза". Очевидно» невроз был последствием той давней контузии в детстве, она напоминала о себе.

В деле подшита записка Гаврюшина, рассказывающая о том, как он воевал и выходил из окружения. Приведу некоторые места из нее: «Участвовал… в обороне города Могилева. Ведя 14 суток беспрерывного боя, я был контужен, но остался в строю, после чего был ранен в руку и ногу. 24 июля положен в госпиталь в Могилев. 26 июля город был взят фашистами и госпиталь не эвакуирован, потому что были в окружении. 28 июля я с бойцами своего батальона из госпиталя бежал. Переодевшись у одной из жительниц города, мы тронулись в путь к нашим войскам. Шли мы под видом заключенных — якобы работали на аэродроме и при бомбежке нас поранило. На пятые сутки на линии фронта… фашисты нас задержали. Продержав трое суток, отправили в Смоленск в один из госпиталей, также не эвакуированный… Пробыв там трое суток, сделав соответствующую разведку, бежали из этого госпиталя и дней через 15 опять достигли линии фронта в районе Шмаково, где нас опять задержали. Продержав 5 суток

голодными, посадили на машины и повезли в направлении Смоленска. Догнав группу наших пленных, сбросили нас с машины, присоединили к колонне и погнали. Голод и боли в ранах не давали мне возможности идти наравне со здоровыми, и я отставал, фашистский патруль все время подгонял меня прикладами в спину… Переночевав, собравшись с силами, под утро мы бежали. Прошло несколько суток. Пришли в поселок Стодолище и наткнулись на нашего врача. Попросили его сделать перевязки. Он вскрыл наши раны — раны уже загноились и черви завелись…» Дальше Гаврюшин рассказывает о том, как он лечился, скрываясь в этом поселке Стодолище, и как один из жителей, «некто Жуков», подал на него заявление в фашистскую комендатуру, что он коммунист и командир. Но Гаврюшина предупредили, и ему пришлось срочно уходить. «При помощи местных жителей я оделся, потому что был наг, а на дворе — октябрь, и решил попытаться еще раз пройти к своим, что мне и удалось. 6 ноября 41 г. я пришел в город Ефремов Тульской области на фронт 3-й армии, которой командовал Герой Советского Союза генерал-лейтенант Крейзер, мой бывший командир дивизии. Из Ефремова меня направили на лечение…»

Дальше в деле в заполненном рукой Гаврюшина личном листке значится:

«1941 год, 6 ноября — по 1942 г. февраль. В госпитале на излечении от ранений.

1942 г., февраль — 1942, октябрь. Проходил спецпроверку (сидел в тюрьме).

1942 г., октябрь — ноябрь 1942 — в резерве Московского военного округа».

К этому личному листку, заполненному Гаврюшиным в 1942 году, надо добавить, что, получив вторую степень годности, он все же добился отправки на фронт и служил там офицером связи в 63-м стрелковом корпусе. Но довоевать до конца войны ему не удалось. В декабре 1944 года сказались ранения и контузии, он тяжело нервно заболел и был отправлен в резерв по состоянию здоровья.

Так сложилась судьба капитана Гаврюшина.

Во всех других разысканных мною личных делах, кроме дела Гаврюшина, все записи одинаково обрываются на 1941 году, на последних довоенных служебных характеристиках…

Довоенная служебная характеристика начальника штаба 388-го полка капитана Сергея Евгеньевича Плотникова: «Работает начальником штаба батальона. С

работой справляется хорошо. Штабную работу знает хорошо и любит ее. Командир полка полковник Крейзер».

Документ, подписанный 6 июня 1941 года: «Направляется в Ваше распоряжение батальонный комиссар Зобнин Василий Николаевич на должность заместителя командира 388-го стрелкового полка по политической части. К месту нового назначения прибыть 10 июня сего года. Об исполнении донести».

34 «Хоршев был… такой молодой, что было странно, что вчера он тут дрался до последнего патрона…»

Личное дело лейтенанта Хоршева. На фотографии — бритоголовый молоденький курсантик. Коротенькое личное дело, в котором только и указывается «нет», «нет», «не был», «не состоял», «не проживал»… 23 февраля 1939 года приносил военную присягу. И дальше одна-единственная характеристика: «Требователен, дисциплинирован, по тактической подготовке „хорошо", по огневой подготовке „хорошо". Может быть использован командиром взвода с присвоением военного звания лейтенант». Вот и все, что есть в деле лейтенанта Хоршева Михаила Васильевича. А дальше была война, Могилев, бои, в которых он, как и другие его сослуживцы, оправдал свою предвоенную аттестацию. Оправдал и погиб. Очевидно, так.

35 «…прощаясь, устало шутил и, пожимая мне руку, говорил: „До следующей встречи"»

Личное дело командира 388-го стрелкового полка Семена Федоровича Кутепова. Большое, на многих листах…

86

Недолгая встреча с Кутеповым для меня лично была одной из самых значительных за годы войны. В моей памяти Кутепов — человек, который, останься он жив там, под Могилевом, был бы способен потом на очень многое.

Семен Федорович Кутепов, происходивший из крестьян Тульской губернии, окончил в 1915 году коммерческое училище, был призван в царскую армию, окончил Александровское военное училище, воевал с немцами на Юго-Западном фронте в чине подпоручика. В 1918 году добровольно вступил в Красную Армию, воевал с белополяками и с различными бандами, командовал взводом и ротой,

был ранен. Окончил курсы усовершенствования штабных командиров и с отличием заочный факультет Академии Фрунзе. Изучил немецкий язык. Четыре года прослужил начальником строевого отдела штаба дивизии, два года командиром батальона, три года начальником штаба полка, четыре года помощником командира полка и два года командиром полка. В этой должности встретил войну. В справке об аттестации Кутепова за самые разные годы его службы удивительное единодушие в самых высоких оценках: 1928 — «Способный штабной работник». «Хорошо знает дело». «Точен. Аккуратен. Дисциплинирован». 1931 — «В намеченной идее упорен до конца. В трудные минуты умеет провести свою волю… Подлежит продвижению во внеочередном порядке». 1932 — «Энергичен, инициативен, с твердой волей командира. Военное дело любит и знает». 1936 — «В обстановке разбирается быстро и умело принимает решения». 1937 — «Энергичный, работоспособный командир. Развит во всех отношениях». 1941 — «Командуя полком, показал себя энергичным, волевым, культурным командиром. Личным примером показывает образцы настойчивости, дисциплинированности. Полк по боевой и политической подготовке занимает первое место среди частей корпуса, что неоднократно отмечалось при проверках».

Эта последняя характеристика подписана Бакуниным, командиром 61-го корпуса, в составе которого Кутепову предстояло подвергнуться той самой строгой из всех проверок, которая называется войной.

Читая личные дела полковника Кутепова, генерала Романова, да и некоторых других военных, превосходным образом проявивших себя в самые тяжелые дни 1941 года, я иногда испытывал чувство недоумения: почему многие из этих людей так медленно, по сравнению с другими, продвигались перед войной по служебной лестнице? Задним числом, с точки зрения всего совершенного ими на войне, мне даже начинало казаться, что в их медленном предвоенном продвижении было что-то неправильное. Но потом, поразмыслив, я пришел к обратному выводу: это медленное продвижение с полным и всесторонним освоением, или, как говорят военные, «отработкой», каждой ступеньки как раз и было правильным. Именно такое продвижение, видимо, и привело к тому, что эти люди в тягчайшей обстановке первого периода войны все-таки оказались на высоте занимаемого ими к началу боев положения, именно такое продвижение и должно было быть в

армии нормой. И такой нормой оно и было до 1936 года. А перестало быть начиная с 1937 года. И это привело в первый период войны к тяжелым последствиям.

Когда в 1937–1938 годах было изъято из армии подавляющее большинство высшего и половина старшего командного состава, за этим неизбежно последовало характерное для тех лет массовое перепрыгивание через одну, две, а то и три важнейшие ступени военной лестницы.

Нелепо было бы ставить это в вину людям, которых так стремительно и безжалостно повышали. Это было не их виной, а их бедой. А от тех из них, кто не погиб в начале войны, потребовалось очень много труда и воли, огромные нравственные усилия для того, чтобы в условиях войны все-таки постепенно оказаться на своем месте, восполнив в себе все те неизбежные пробелы, которые образуются у человека при перепрыгивании через необходимые ступеньки военной службы.

Надо ли еще раз повторять, что не будь у нас 1937–1938 годов, то в армии с первых же дней войны на своих местах оказалось бы куда больше таких людей, как командир полка Кутепов или командир дивизии Романов.

36 «У него был вид человека, чем-то удрученного, может быть и хотевшего сказать нам об этом, но не имевшего права»

Во второй половине дня 14 июля, когда под Могилевом происходил этот разговор с комиссаром 61-го корпуса, 29-я мотодивизия немцев уже подошла передовыми частями к Смоленску, а их 10-я танковая дивизия, повернув после прорыва северней Могилева на юго-восток, была не только в тылу штаба корпуса, но уже глубоко, километров на сорок, обошла штаб нашей 13-й армии, находившейся в Чаусах.

Немецкие части, прорвавшиеся южнее Могилева, тоже шли в это время на Чаусы и Кричев, и прямая дорога Могилев — Чаусы была уже перехвачена частями 3-й танковой дивизии немцев.

Полной ясности, что происходит в этом районе, не было не только у нас, но и у немцев. Во всяком случае, на отчетной карте немецкого генерального штаба с вечерней обстановкой за 13 июля Могилев показан уже захваченным немцами. То есть в тот вечер, когда мы приехали в Могилев и остались ночевать в полку

Кутепова, в немецкой ставке считали, что с Могилевом покончено.

В наших переговорных лентах за тот же день — 13 июля — сохранился текст такого сообщения, полученного штабом фронта: «Район Могилев. Положение не совсем ясное, делегат еще не прибыл… Могилев в наших руках…»

За 14 июля в делах штаба фронта подшита рукописная телеграмма, переданная начальником оперативного отдела 4-й армии. (Видимо, не имея сведений о 13-й армии, штаб фронта запросил о ней у соседа.) «Весь день идут бои с противником, стремящимся прорваться из Пропойска на Кричев. Бои идут в районе Чериков. В наш район сосредоточивается штаб Петрушевского (то есть 13-й армии. — К. С.). У нас были представители второго эшелона и сам генерал Герасименко. Конкретно что-либо о положении на фронте их армии они сказать не смогли… Все».

В сохранившейся оперативной сводке штаба 13-й армии за 14-е число сказано: «Армия продолжала упорные бои на Шкловском — Быховском направлении по уничтожению противника и восстановлению положения на восточном берегу реки Днепр. 53-я стрелковая дивизия, приняв на себя удар массы прорвавшихся танков в направлении Горки, рассеяна, связи с ней нет… 61-й корпус продолжает бой…»

В «Журнале боевых действий войск Западного фронта», где, очевидно, уже позже были сведены воедино все поступившие донесения, указано, что 14 июля 172-я стрелковая дивизия продолжает удерживать Могилев.

В немецкой сводке группы армий «Центр» за то же 14-е число указывается, что в то время как «29-я дивизия в 10.00 достигла западной окраины Смоленска», «24-й армейский корпус продолжает бои с упорно сопротивляющимся противником в районе Могилев».

Очень показательна одна фраза в этой же сводке: «Упадка боевого духа в русской армии пока еще не наблюдается».

37 «Они сказали нам, что немцы высадили впереди десант с двумя танкетками…»

Наше ощущение вечером того дня, что произошло что-то еще неизвестное нам, большое и труднопоправимое, было верным. Речь шла не о «десантах с танкетками», а о вышедших глубоко в наши тылы танковых и моторизованных колоннах немцев.

38 «…до моста оставалось метров триста, когда… мы увидели, что по двум

дорогам… сходившимся к мосту, — что по ним обеим движутся танки»

Если местность под Могилевом, где мы были в полку Кутепова, запомнилась мне во всех подробностях и я точно восстановил в памяти, где что было, — не могу сказать этого о Чаусах. Попав в эти места теперь, я долго не мог разобраться — откуда мы тогда, в сорок первом, приехали в Чаусы. С той стороны, с какой мне это по памяти казалось, не было никакого моста через реку, а с той стороны Чаус, где был мост, мы вроде бы не могли приехать, уж слишком кружной путь получался! Впрочем, вполне возможно, что именно так оно и было; по дороге из Могилева мы от деревни до деревни забирали все больше в объезд и в конце концов подъехали к Чаусам не со стороны Могилева, а совсем с другой стороны.

По архивным документам видно, что немецкие танки неожиданно подошли к Чаусам и к штабу армии 15-го в 5 часов вечера. В одном из донесений, поступивших в штаб Западного фронта, указано, что еще 14-го в 17.00 колонна из тридцати немецких танков находилась на реке Реста с движением на Чаусы. В описании боевых действий 13-й армии записано, что к 18 часам 15 июля «противник танковыми группами проник в район Чаусы».

В документах штаба Западного фронта есть записка, посланная из 13-й армии: «На подступах к Чаусы завязался бой с танками 17 часов 15.VII с. г. Связь с корпусом прервана. Начальник штаба Петрушевский».

Примерно в это самое время или чуть раньше я и прибежал, запыхавшись, на командный пункт 13-й армии и доложил о том, что видел, генерал-лейтенанту Герасименко, который лишь накануне вступил в командование армией. Надо сказать, что 13-й армии в эти дни вообще не везло: 8 июля, возвращаясь к себе из штаба фронта, командующий 13-й армией генерал-лейтенант Филатов был обстрелян на дороге «мессершмиттами» и смертельно ранен. В командование армией вступил генерал-лейтенант Ремезов. Выехав вперед в войска, он по дороге наскочил на прорвавшихся немцев, тоже был тяжело раней, и 14 июля его сменил Герасименко. В разгар немецкого наступления и беспрерывно сменявших друг друга драматических событий он оказался третьим командующим за неделю.

На следующий день, утром 16 июля, когда штаб 13-й армии перешел из Чаус в район Кричева, Герасименко направил боевое донесение в штаб Западного фронта. Оно характеризует положение, в котором оказались части 13-й армии.

Приведу некоторые его пункты:

«Докладываю о большом и ответственном решении, принятом мной 15.VII об отводе частей армии с рубежа реки Днепр сначала на промежуточный рубеж реки Проня, а затем на основной рубеж реки Сож». Далее в документе приводятся обстоятельства, вынудившие принять такое решение: «Оба фланга армии были обойдены, причем внутри армии был ряд частных прорывов. В эти образовавшиеся прорывы и было направлено большое количество танков и мотопехоты противника. Противнику удалось нанести большие потери нашей артиллерии, пехоте, органам управления и нарушить систему подвоза… В 16.30 15.VII связь армии с корпусами была совершенно прервана, так как многочисленные отряды танков, мотопехоты, мотоциклистов действовали по тылам и управлениям… Связь со штабом фронта прекратилась в 16.00. Получить разрешение на отход от штаба фронта было невозможно. Таким образом, мы стояли перед следующим: или сохранить войска и матчасть и планомерно, пока не поздно, отвести их на новый рубеж обороны, или, оставаясь на этом рубеже несколько дней, допустить, чтобы противник окружил части армии по отдельности… Докладывая обо всем случившемся, прошу утвердить мое решение или разрешить мне создать новый рубеж на реке Проня… Командующий 13-й армией генерал-лейтенант Герасименко, член Военного Совета бригадный комиссар Фурт, начальник штаба комбриг Петрушевский».

Так выглядела утром 16 июля обстановка глазами командующего 13-й армией. Офицер связи добрался до штаба фронта, и разрешение на отход было дано, но одновременно ставилась задача во что бы то ни стало оборонять Могилев. Положение продолжало оставаться трудным. В следующие два дня — 17 и 18 июля — в «Журнале боевых действий войск Западного фронта» стоят тревожные пометки. За 17-е: «По 13-й армии данных из-за отсутствия связи со штабом армии не поступало, о положении частей армии ничего не известно». За 18-е: «13-я армия — данных из-за отсутствия связи не было».

И только 19-го в «Журнале» появляется первое более или менее успокоительное сообщение с Могилевского направления: «Дальнейшее продвижение частей противника в составе танковой группы Гудериана (3-й и 4-й танковых дивизий), 10-й мотодивизии, 11-й и 30-й дивизии СС в течение 19.VII приостановлено… Атаки противника в районах Кричев, Пропойск… — были отбиты».

Прежде чем комментировать последующие страницы записок, хочу кратко сказать о судьбах некоторых участников событий тех дней в районе Могилева и Чаус.

Генерал-лейтенант Федор Николаевич Ремезов, который еще командовал 13-й армией, когда мы ехали в нее, и уже был ранен, когда мы приехали, вышел из госпиталя, не успев долечиться после тяжелых ранений, и принял войска Северо-Кавказского военного округа. С его именем связано одно из первых наших сообщений «В последний час» за 28 ноября 1941 года. В нем было сказано, что «части Ростовского фронта наших войск под командованием генерала Ремезова, переправившись через Дон, ворвались на южную окраину Ростова». Это было первое известие о нашем первом зимнем контрударе под Ростовом.

Интересное совпадение: генерал-лейтенант Василий Филиппович Герасименко, сменивший тогда, в июле сорок первого года, раненого Ремезова на посту командующего 13-й армией, тоже упоминается в сводках Информбюро в связи с освобождением нами Ростова, но уже в 1943 году: «Сегодня, 14 февраля, сломав упорное сопротивление противника, наши войска овладели городом Ростов-на-Дону. В боях за Ростов отличились войска генерал-лейтенанта товарища Герасименко В. Ф.».

Александр Васильевич Петрушевский был по-прежнему начальником штаба 13-й армии в июле 1943 года, в те дни, когда она, воюя в составе войск Центрального фронта, сыграла главную роль в отражении удара немцев на северном фасе Курской дуги под Понырями и Малоархангельском. К тому времени ею уже командовал генерал-полковник Николай Павлович Пухов. Под его командованием она и закончила войну 9 мая 1945 года, вместе с танкистами Рыбалко и Лелюшенко ворвавшись в Прагу.

Член Военного Совета 13-й армии бригадный комиссар Порфирий Сергеевич Фурт, с которым мы встретились в лесу под Чаусами, впоследствии, когда был отменен институт комиссаров, перешел на строевую работу и воевал, командуя сначала 112-й, а затем 4-й стрелковой дивизией. Приводя в записках жестокий разговор Фурта с полковым комиссаром, потерявшим свою дивизию, я ошибочно упоминаю, что это был комиссар 55-й дивизии. 55-я дивизия действовала не здесь, а южнее в составе соседней 21-й армии, и, по многим документальным свидетельствам, действовала неплохо, а ее комиссар никак не мог оказаться в тот день в Чаусах.

Очевидно, упомянутый мною человек был из какой-то другой дивизии, но, откровенно говоря, в данном случае у меня не возникло особого желания уточнять, из какой именно.

39 «…но представить себе, что немцы в Смоленске… мы не могли»

Немцы овладели Смоленском именно в тот день, 16 июля, когда мы пробовали добраться туда из Рославля.

В донесении Западного фронта, посланном в Ставку на следующий день, 17-го, говорилось: «Противник за 16–17.VII развивает энергичные действия по завершению своего выхода основными группировками к Смоленску… Армии Западного фронта, не успев сосредоточиться, ведут тяжелые бои, отбивая попытки противника овладеть городом Смоленск». В «Журнале боевых действий войск Западного фронта» за этот же день, 17 июля, записано:

«Государственный комитет обороны отметил своим специальным приказом, что командный состав частей Западного фронта проникнут эвакуационным настроением и легко относится к вопросу об отходе войск от Смоленска и сдаче его врагу. Если эти настроения соответствуют действительности, то подобные настроения среди командного состава Государственный комитет обороны считает преступлением, граничащим с прямой изменой родине.

Государственный комитет обороны приказал:

а) пресечь железной рукой подобные настроения, порочащие знамя Красной Армии;

б) город Смоленск ни в коем случае не сдавать врагу.

Приказываю: командующему 16-й армии генералу Лукину, используя все силы и средства в районе Смоленска… упорной круговой обороной Смоленска не допустить захвата его противником».

На самом деле оба документа уже на сутки отставали от событий. Немцы были в Смоленске и начинали продвигаться за Смоленск, и 16-я армия генерала М. Ф. Лукина только после ожесточенных боев выбила противника из северной части города. Бои в черте города продолжались до 28 июля, когда под сильными фланговыми ударами немцев частям 16-й армии и действовавшей вместе с ней 20-й армии пришлось прекратить контрнаступление на Смоленск и с тяжелыми

боями вырываться из окружения.

Шестнадцатое июля было только началом всех этих крупных по масштабу и драматических по характеру событии.

40 «…неужели они придут сюда?»

Мы думали об этом по дороге из Рославля на Юхнов. Под влиянием всего пережитого за предыдущие дни нам казалось, что это может вот-вот случиться. На самом деле это случилось далеко не так скоро. Прошла еще неделя, а Рославль не только оставался в наших руках, но наши войска даже нанесли оттуда сильный контрудар по немцам в направлении Смоленска. И это тоже было частью развернувшегося Смоленского сражения.

41 «— Ребята, а ведь выбрались, а?»

Поездка под Могилев была моим последним совместным фронтовым путешествием с водителем нашего «пикапа» Павлом Ивановичем Боровковым. Пожалуй, в записках я был не совсем справедлив к нему. По молодости лет мне тогда больше бросались в глаза его недостатки — некоторая опасливость при движении по неизвестной дороге, особенно в сторону противника, и порой излишняя быстрота реакций даже при отдаленном гуле самолетов. В общем, Павел Иванович, несомненно, был человеком более осмотрительным и осторожным, чем некоторые из нас, и это казалось мне тогда его большим грехом. Но я не написал в записках о другой, куда более важной стороне характера нашего водителя. Он нервничал при бомбежках и обстрелах, но был непоколебим в своем отношении к вверенной ему машине. Он считал, что раз он за рулем, машина должна нас вывезти откуда угодно. И хотя в последние дни машина ломалась, скрипела и корежилась, хотя ему пришлось подпирать сосновым колом готовый вывалиться мотор, он ни на минуту не допускал мысли, что можно оставить где-то эту еле дышавшую машину и добираться пешком. Он был великолепным шофером, непоколебимо верившим в себя и в доверенную ему технику, и кто знает, может быть, именно это в конце концов и дало возможность Трошкину сказать: «Ребята, а ведь выбрались, а?».

Я недавно видел Павла Ивановича Боровкова, сейчас уже немолодого и больного человека — война не дешево досталась ему и сделала его полуинвалидом. В разговоре со мной он вспоминал о гибели своего тезки Павла Трошкина, нашего попутчика по могилевской поездке. Трошкин погиб в 1944 году, отстреливаясь из

автомата от окруживших его машину бандеровцев. В машине что-то заело; Трошкин вылез из нее и отстреливался, лежа рядом с ней на шоссе. Об этом потом рассказывал один его спутник, убежавший в лес и спасшийся. И когда Боровков вспоминал о гибели Трошкина и словно искал при этом, что можно было бы сделать, чтобы Трошкин тогда не погиб, то я чувствовал за всем этим явно подуманное, хотя и не высказанное словами: «Со мной бы ехал — не заело бы…»

42 «…наши полевые сумки были набиты несколькими десятками писем…»

У меня не сохранилось командировочного удостоверения, которое мне выдал тогда для поездки в Москву полковой комиссар Миронов. Но в старом блокноте, в том же, где все записи о Могилеве, есть написанный моей рукой черновик: «Тов. Симонов К. М. и тов. Трошкин П. А. командируются в Москву для выполнения срочного задания редакции „Красноармейская правда“. Срок командировки с 18 по 20 июля 1941 г.». И еще черновик другой бумаги: «Редакция фронтовой газеты „Красноармейская правда“ поручает т. Симонову К. М. доставку поступающей в распоряжение редакции автомашины №… из Москвы в адрес редакции „Красноармейская правда“».

В этом же блокноте на последней странице — обрывочные записи, свидетельствующие о количестве поручений, которые я должен был выполнить в Москве:

«Все в порядке. Пусть сообщат Нине и передадут мне, как и что».

«Алеша был болен, сейчас здоров».

«Писем пока не будет. Переходит в другую газету».

«Вручить письмо и чтобы дали адрес семьи. Если есть связь с женой, переслать ей побольше денег».

«Едем в Калугу, а дальше не знаю куда».

«Марк жив. Все в порядке».

«Рассказать происшедшую историю, пусть передадут письма».

«Узнать по всем отделам, нет ли корреспонденции… такому-то… и такому-то…».

«Такому-то — папиросы».

«Такому-то — табак».

«Такому-то — тоже табак».

«Такому-то — привезти конверты и марки».

«Такому-то — заверить доверенность».

«Зайти в партком и сказать о таком-то…»

В блокноте — фамилии, имена и отчества, адреса, телефоны, десятки телефонов. Может быть, покажется странным, что я вдруг решил напомнить об этих записях, но в них тоже частица времени. Я ведь первым из всех моих товарищей ехал в Москву. Письма на фронт не шли. Полевая почта еще не работала…

43 «…нам выпала трудная задача — отвечать на десятки вопросов, на которые мы иногда не знали, что ответить, а иногда знали, но не имели права, потому что здесь все-таки совсем не представляли себе того, что делалось на фронте…»

Чтобы лучше понять и настроение людей, и наше с Трошкиным психологическое состояние тогда в Москве, пожалуй, будет полезно прокомментировать поподробней события тех дней: как они выглядели в печати и в действительности, в документах и в мыслях и надеждах людей.

Судя по запискам, выходит, что мы с Трошкиным приехали в Москву 19-го и уехали обратно в Вязьму 20 июля. Всюду, где это возможно, восстанавливая по документам даты, я вижу, что это было не так. Наш приезд в Москву и возвращение в Вязьму на самом деле в точности совпадает с тем черновиком командировочного предписания, который я нашел в своем блокноте: «С 18 по 20 июля». Сэкономив еще полсуток, мы выехали из Вязьмы с этой командировкой на руках в ночь с 17-го на 18-е. 18-го утром мы уже были в Москве и, проведя там два дня, вернулись в Вязьму 20-го.

Не знаю, почему эти двое суток, проведенные в Москве, превратились в записках в одни. Очевидно, все это было так скоротечно, что уже через полгода показалось всего-навсего одними сутками.

Приехав 18-го, я в тот же день отредактировал и сдал в «Известия» две корреспонденции, начерно написанные накануне в Касне. Одна называлась «Две фотографии» и была подписана моей фамилией, другую — «Валя Тимофеева» — я подписал: «С. Константинов». Обе появились в «Известиях» 19 июля вместе со снимками Трошкина. В тот же день в «Красной звезде» был опубликован еще один

снимок Трошкина — два наших бойца на башне немецкого танка. В снимках разбитой немецкой техники в те дни была великая нужда: они почти отсутствовали. Не будь так, Ортенберг не позаимствовал бы этот снимок в «Известиях».

Очевидно, в «Красную звезду» к Ортенбергу я пришел не в первый вечер своего приезда в Москву, а на второй, уже когда он напечатал этот снимок Трошкина, а в «Известиях» появились две мои корреспонденции. Наверное, это и подогрело его решимость забрать меня в «Красную звезду».

Свою третью корреспонденцию, «Горячий день», я писал уже в Москве 19-го, и она появилась в «Известиях» 20-го, в день нашего возвращения на фронт. Под первыми двумя стояло: «Действующая армия, 18 июля»; под третьей: «Действующая армия, 19 июля», — хотя на самом деле, как это видно из записок, события, описанные в этих корреспонденциях, происходили 13 и 14 июля. Но в то время такая максимально приближенная к дню публикации датировка была общим явлением. Я проверил это, прочитав номера почти всех центральных газет за 19 июля 1941 года. Буквально всюду под всеми корреспонденциями из действующей армии стоит дата: 18 июля. Можно понять положение редакций в те дни: материалы поступали скупо, доставлялись с великим трудом, связь работала плохо, а газеты обязаны были выглядеть в глазах читателя оперативными.

Добавлю, что сам характер материалов с пометкой «Действующая армия», как правило, был таков, что смещение дат не играло особой роли. В них не было попыток изображения общего хода событий или рассказов о боях, связанных с конкретными географическими пунктами. Наоборот, при публикации из корреспонденций изымалось все, что хоть ненароком могло бы дать представление о том, где что происходило. В моей корреспонденции «Горячий день», к примеру, было сказано, что «полк, которым командует полковник Кутепов, уже много дней обороняет город Д».

Перечитывая сейчас корреспонденцию, я вижу, что ни одна деталь не указывала в ней на то, что речь идет о боях за Могилев. По большинству корреспонденций вообще нельзя было составить представления о том, на каком из фронтов и направлений все это происходит.

Опубликованное в тот же день в «Красной звезде» «Письмо с фронта»,

присланное корреспондентами «Красной звезды» писателями Борисом Лапиным и Захаром Хацревиным, называлось «На N-ском направлении», и в нем не было и намека на то, что речь идет об одной из наших контратак на дальних подступах к Киеву.

Проанализировав все материалы с пометкой «Действующая армия», опубликованные в наших газетах за 19 июля 1941 года, с точки зрения той общей картины, которую они создавали у читателя, следует признать, что эта картина была одновременно и близка к истине, и далека от нее.

Из корреспонденций было видно, что мы на всех фронтах обороняемся, что оборона носит упорный характер и сопровождается контратаками. Естественное в ту тяжелую пору стремление корреспондентов не пропустить ни одной нашей попытки контрудара, когда на газетных листах все это сходилось вместе, создавало у читателей ощущение куда большей повсеместности наносимых нами контрударов, чем это было на деле. И все же в этих материалах содержалась та объективная истина, что, несмотря на понесенные нами неимоверно тяжелые потери, активность нашей обороны вопреки ожиданиям немцев не падает, а растет.

В «Правде» 19 июля была перепечатана опубликованная накануне в «Красной звезде» статья «Авантюристическая тактика фашистской пехоты», в которой по существу признавался успех этой тактики, которая, как писал автор статьи, «исходит не столько из возможности действительного окружения, сколько из стремления морально воздействовать на оборону, создать видимость окружения, вызывать панику в рядах обороняющихся войск. „Тактика запугивания" сулит некоторый успех только тогда, когда обороняющиеся войска лишены должного упорства и стойкости, когда даже незначительная угроза флангового обхода побуждает их отходить на новые позиции».

В статье, разумеется, была дежурная для того времени, выдержанная еще в предвоенном шапкозакидательском стиле фраза, что «попытки врага применить подобную тактику против частей Красной Армии кончаются полным провалом», но весь ход статьи, ее содержание объективно свидетельствовали о том, что эта немецкая тактика представляет для нас большую опасность и нам надо срочно вырабатывать меры для ее нейтрализации.

Наиболее далекие от истины выводы могли в те дни связываться у читателей газет с материалами, посвященными нашей авиации. Из всех родов войск наша авиация в начале войны оказалась в наиболее трагическом положении и в силу огромных потерь, и в силу отсталости большей части техники. Однако в газетах не было ничего похожего хотя бы на признание того факта, что наши истребители, когда они все-таки вырывали победу в воздушных боях, вырывали ее чаще всего лишь в силу самоотверженности и дерзости, с которой они шли в бой на своих безнадежно устарелых, по сравнению с немецкими, машинах.

Статьи и заметки в газетах, в том числе и опубликованные 19 июля, создавали у читателя ложное представление о превосходстве нашей авиации над немецкой и даже о ее господстве в воздухе.

Рассказать в Москве о том, что я видел в воздухе над Бобруйским шоссе, я не мог даже самым близким людям, даже матери, сознавая, какой силы душевное потрясение я обрушу на нее, все еще продолжавшую представлять себе воздушные бои по газетам и по довоенным представлениям о вверенной сталинским соколам лучшей в мире авиационной технике.

Для того чтобы представить себе всю трудность нашего с Трошкиным положения первых военных корреспондентов, приехавших в Москву и вынужденных отвечать на сотни вопросов, надо сопоставить некоторые документы того времени.

В сообщении Информбюро, опубликованном 19 июля, было среди прочего сказано о продолжающихся оборонительных боях на Смоленском и Бобруйском направлениях. Что касается Смоленска, то в общей форме это соответствовало истине. Наши войска именно в это время пытались отбить город у немцев.

Но в представлении тех, кто расспрашивал нас в Москве, все это выглядело совсем по-другому, чем было в действительности. И я не мог рассказать им ни того, что мы еще три дня назад не попали в Смоленск потому, что он уже был захвачен немцами, ни тем более того, что еще двадцать дней назад немцы взяли Бобруйск и переправились через Березину.

В «Журнале боевых действий войск Западного фронта» за 19 июля говорилось, что 172-я дивизия, о действиях которой я в этот день писал в Москве свой очерк, продолжает удерживать Могилев и «плацдарм западнее Могилева… ведя бои в окружении». Полковник Кутепов продолжал драться там же, где я был у него пять

дней назад. Но я не мог говорить ни о форсировании немцами верхнего течения Днепра, о котором еще и намека не было в газетах, ни о немецких танках, прорвавшихся к штабу нашей армии в пятидесяти километрах восточнее Могилева.

Почти все, чему мы были свидетелями, так или иначе еще считалось к 19 июля тайной, и трудно сказать, где тут в каждом отдельном случае была грань между разумным и неразумным, между верными и запоздалыми представлениями о том, что действительно являлось и что уже давно не являлось тайной.

Если взять для примера Смоленск, то при тех военно-исторических аналогиях, которые были связаны со Смоленском как ключом к Москве, задним числом можно понять нежелание широко публиковать сообщение о его потере в те дни, когда мы еще надеялись его вернуть. А такая надежда и в Ставке, и на Западном фронте продолжала существовать, во всяком случае до конца июля. Как свидетельствуют документы, части 16-й армии, которой тогда командовал генерал М. Ф. Лукин, только 28 июля окончательно оставили окраину Смоленска. Известие о потере нами Смоленска было опубликовано в сообщении Информбюро только 13 августа, то есть через двадцать девять дней после захвата немцами большей части города. Но следует помнить, что почти весь этот период был связан с ожесточенными боями в районе Смоленска, конец которых немецкие военные историки датируют 5–8 августа.

Не только наши, но и немецкие военные историки называют этот период «Смоленским сражением», подчеркивая его важное значение в ходе всей летней кампании 1941 года. «Журнал боевых действий войск Западного фронта» за 19 июля дает полную реальных противоречий картину того, как в этот день выглядело начавшееся несколькими сутками раньше Смоленское сражение. В нем мы видим и меру наших неудач и потерь, и меру наших упорных и яростных усилий остановить и отбросить немцев — словом, все то, о чем Сталин за день до этого, 18 июля, счел нужным написать в своем первом личном послании Черчиллю: «Может быть, не лишнее будет сообщить Вам, что положение советских войск на фронте продолжает оставаться напряженным».

Из экономии места, не прибегая в данном случае к прямому цитированию «Журнала боевых действий», я попробую дать обзор содержащихся в нем

наиболее характерных данных за 19 июля.

В «Журнале» сказано, что в районе Невеля и Великих Лук немцы ведут бои на окружение правофланговых частей нашей 22-й армии и что, успешно обороняясь на своем правом фланге, 22-я армия в центре и на левом фланге уже ведет бои в окружении, прорываясь на Невель.

О 51-м стрелковом корпусе этой армии сказано, что он ведет бой в окружении с превосходящими силами противника.

О 19-й армии сказано, что в течение дня отдельные ее части продолжают вести бои в районе Смоленска и что одновременно продолжается сбор одиночных людей и подразделений армии в районе Дорогобужа и Вязьмы.

О 20-й армии сказано, что она произвела перегруппировку и отход частей на новый оборонительный рубеж.

О 5-м механизированном корпусе, входившем в состав 20-й армии, сказано, что он отошел и сосредоточился на северном берегу Днепра.

О 13-й и 4-й армиях сказано, что они ведут бои на Могилевском направлении отдельными очагами в окружении, стремясь на некоторых участках восстановить положение.

О 45-м стрелковом корпусе 13-й армии сказано, что сохранившееся управление этого корпуса и рота охраны штаба брошены на розыск и формирование отходящих с запада частей.

Так выглядят сгруппированные вместе сведения с разных участков Западного фронта, говорящие о размерах понесенных до этого поражений, о прорывах и выходах из окружений, о розыске, сборе и формировании заново частей и о прочих невеселых вещах.

Но «Журнал боевых действий» за 19 июля состоит отнюдь не только из этого. В нем есть и другие сведения, носящие иной характер.

Остатки 179-й стрелковой дивизии западнее Великих Лук подбили пятнадцать немецких танков.

3-я и 4-я танковые дивизии Гудериана, действующие на Могилевском направлении, приостановили свое продвижение вследствие сопротивления наших

войск.

73-я немецкая танковая дивизия, понеся большие потери во время боя под Ярцевом, перешла к обороне.

18-я немецкая танковая дивизия приостановила свое продвижение, наткнувшись в районе Ельни на противотанковый район.

129-я дивизия 16-й армии в течение ночи вела бой за Смоленск и к 8 часам утра овладела северо-западной частью города и аэродромом.

3-я дивизия 20-й армии безуспешно атаковывала южную окраину Дубровки.

Была отбита атака противника в районе Кричева.

Была также отбита контратака немцев в районе Рогачева и Жлобина.

21-я армия, хотя и медленно (по словам «Журнала»: «топчась на месте»), продолжала наступать на Бобруйск.

Группа генерал-майора Рокоссовского после артподготовки атаковала немцев, занимавших сильный противотанковый район северо-западнее Ярцева. Наша атака успеха не имела, и в ней было потеряно сорок танков.

4-й воздушно-десантный корпус наступал с целью восстановить положение на реке Сож.

144-я стрелковая дивизия 20-й армии с боем овладела Рудней, но под давлением противника отошла в исходное положение.

Так группируются в том же «Журнале боевых действий» за тот же день сведения, говорящие о наших удачных и неудачных наступательных действиях, о наших и немецких контратаках, о том упорстве, с которым мы дрались на Западном фронте после стремительного прорыва немцев к Смоленску.

Наши оперативные документы, при ряде неточностей, которые в них содержались, в целом бесстрашно рисовали истинное положение на фронте. И не что-либо другое, а именно этот драматический, но честный самоотчет теперь, через двадцать пять лет, вызывает наиболее глубокое чувство уважения к стойкости нашей армии и к ее упорным усилиям остановить немцев.

Признание и этой стойкости, и масштаба этих усилий так или иначе содержится во многих послевоенных работах наших противников. Говоря о первых разногласиях

среди высшего военного руководства германской армии, Типпельскирх указывает, что «от танковых клиньев, на основании опыта войны в Европе, ожидали гораздо больших результатов. Русские держались с неожиданной твердостью и упорством, даже когда их обходили и окружали. Этим они выигрывали время и стягивали для контрударов из глубины страны все новые резервы, которые к тому же были сильнее, чем это предполагалось».

В этих послевоенных признаниях немецких генералов, конечно, играет роль и такой психологический фактор, как последующий разгром германской армии на том же Восточном фронте. Генералы той армии, которая в начале войны имела основания считать себя сильнейшей армией мира, а потом была все-таки разгромлена нами, поставили бы себя в ложное положение, не признав, в той или иной форме, силу своего будущего победителя даже в период его первых поражений.

Однако не следует объяснять эти оценки лишь психологическим фактором, появившимся после поражения германской армии. Первые такие оценки, носящие на себе печать объективной истины, относятся уже к июлю 1941 года. Если еще 8 июля Браухич и Гальдер докладывали Гитлеру, что из 164 известных им русских стрелковых соединений 89 уничтожены и только 46 боеспособны, то уже 23 июля Гитлер заявил Браухичу, что «в условиях упорного сопротивления противника и решительности его руководства от операций с постановкой отдаленных целей следует отказаться до тех пор, пока противник располагает достаточными силами для контрудара».

Между двумя приведенными цитатами, датированными 8 и 23 июля, как раз и лежит первый этап ожесточенного Смоленского сражения, ход и итоги которого породили первые разногласия в германском верховном командовании.

Если посмотреть, как в этот взятый мною для обозрения день 19 июля 1941 года писали о сражениях на Восточном фронте американские и английские газеты, мы увидим, что наиболее серьезные из них оценивали происходящие события довольно объективно.

«Нью-Йорк таймс» от 19 июля 1941 года вышла с заголовком на половину первой страницы: «Русские признают, что их вооруженные силы отступили у Смоленска, но контратакуют противника».

Со ссылкой на германские источники «Нью-Йорк таймс» сообщала, что под Смоленском «русские продолжают оказывать упорное, а в некоторых секторах почти фанатичное сопротивление, но, по мнению немцев, их (русских. — К. С.) оборона медленно рушится».

В том же номере в сообщении своего корреспондента из Берлина (мы иногда невольно смещаем события во времени и забываем, что тогда, в июле сорок первого, Америка еще не воевала с Германией) «Нью-Йорк таймс» писала, что «ввиду преобладающей силы германских резервов, брошенных с целью обеспечения захвата Смоленска, русские войска в северной части треугольника Витебск — Смоленск — Орша осуществляют упорядоченное отступление, ведя арьергардные бои…» — и добавляла, что «германские колонны, движущиеся в направлении Ленинграда, остановлены».

Лондонская «Таймс» за 19 июля вышла с заголовками: «Немцы претендуют на захват Смоленска. Тяжелые бои на дороге к Москве. Сообщение о схватках на улицах Киева».

В тексте корреспонденции указывалось, что «германские силы на главных направлениях к Ленинграду и Москве не дошли дальше секторов Псков и Смоленск, откуда сообщают о тяжелых боях… Во вчерашнем специальном сообщении германского командования утверждается, что Смоленск был захвачен в пятницу и что русские попытки отбить город не имели успеха».

Военный корреспондент «Таймс» писал об «уменьшающейся скорости немецкого наступления» и подчеркивал при этом, что «с русской стороны не видно недостатка в уверенности».

Эта же мысль проходила и через редакционную статью «Таймс». В ней говорилось, что «русские армии повсеместно оказывают сопротивление» и что в России «нет никаких признаков краха на военном или политическом фронте, на что, должно быть, рассчитывал Гитлер».

А теперь хочу несколько подробнее остановиться на ощущении, которое возникает у меня сейчас при чтении наших собственных газет двадцатипятилетней давности.

Я прочел центральные газеты за один и тот же день — 19 июля. Исключение составляет только последний к тому времени номер «Литературной газеты»,

вышедший несколькими днями раньше.

Сообщения Информбюро, опубликованные в этот день, в общей форме указывают на ожесточенность и тяжесть боев. В одном из сообщений даже стоит необычная для них фраза, которая, несомненно, привлекла тогда внимание: «Обе стороны несут большие потери». Однако конкретные цифры потерь приводятся только по авиации: наши потери — восемь самолетов, и немецкие — тридцать один самолет. Цифры очень далекие от подлинных оперативных данных на этот день, которые, к сожалению, рисуют как раз обратную картину. Чтобы уже больше не возвращаться к этому, надо сказать, что вообще на протяжении всего 1941 и 1942 годов, пока немцы в большинстве операций продолжали обладать превосходством в воздухе, сообщения Информбюро в наибольшей степени удалялись от истины именно в оценке наших и немецких потерь в воздухе.

В боевых эпизодах, составляющих основное содержание обоих сообщений за 19 июля — и утреннего и вечернего, — главное внимание было сосредоточено на отдельных подвигах партизан, летчиков, танкистов и артиллеристов; было рассказано о том, как один наш танк уничтожил восемь немецких противотанковых пушек; как командир нашего орудия уничтожил три немецких танка и одну бронемашину; как наша противотанковая артиллерийская группа уничтожила четырнадцать немецких танков; как наши истребители сожгли три «мессершмитта» и вернулись без потерь на свою базу… Словом, во всех этих сообщениях было намерение внушить читателю, что мы наносим большие потери противнику, сами не неся или почти не неся их. Намерение в столь чрезмерно подчеркнутой форме вряд ли разумное, тем более что, как я уже упоминал, из тех же самых сообщений можно было понять, что все это происходит в обстановке отступления: в одном из сообщений указывалось, что переправы через реку были удержаны до подхода наших частей, в другом — что танковый полк противника вырвался на шоссе и углубился на нашу территорию, в третьем — что мост через реку был взорван в нужный момент в ста метрах от противника… Все это указывало на оборонительный характер боев.

Напоминали об этом и корреспонденции писателей и журналистов, присланные из действующей армии. В заметке Алексея Суркова «Саперы взрывают мост» говорилось о том, как пехота переходит на новый рубеж обороны и как через мост перед взрывом перебегает последний красноармеец. Посвященная

политработникам заметка «Душа батальона» начиналась со слов: «На одном из участков фронта ожидалось наступление немцев…», а дальше рассказывалось о том, как герой этой заметки прикрывал отступление взвода. В «Красной звезде» одна из статей начиналась словами: «Противник, переправившись через реку, занял южную окраину небольшого городка». А в статье «Контратака красных кавалеристов» говорилось о боях, которые вела кавалерийская дивизия, выходя из вражеского кольца.

Перечень таких фраз, дающих представление о трудном для нас общем характере боев, можно умножить, хотя в тех же самых статьях главный упор все-таки делался на успешные для нас частные боевые эпизоды и героические поступки людей.

В корреспонденциях с фронта подчеркивалось: армия делает все, что сейчас в ее силах. В большинстве случаев так и было. Другой вопрос, что, столкнувшись с сильнейшей в мире армией, в течение двух лет завоевавшей Европу, мы в тот первый месяц только еще учили азбуку войны, учили дорогой ценой и в самой невыгодной для нас обстановке, на каждом шагу совершая стоившие нам большой крови ошибки.

Сильное впечатление сейчас, через двадцать пять лет, производят напечатанные 19 июля материалы о работе нашего тыла. Общий их тон — деловой и твердый, за ним стоит сознание тяжести сложившейся на фронте обстановки.

Передовая «Известий» — «Боевые задачи металлургов, нефтяников, угольщиков» — начинается со слов Ленина о том, что «побеждает на войне тот, у кого больше резервов, больше источников силы, больше выдержки в народной толще». В том же номере печатается заметка из Красноярска: женщины начинают совмещать профессии. — «Правда» печатает заметку о том, что жены металлургов осваивают эту тяжелую, неженскую профессию, и другую заметку — о рабочих, по полтора суток не выходивших из цеха, чтобы сдать срочный заказ, и третью — о первых группах школьников, пошедших изучать трактор, чтобы работать в поле вместо ушедших на фронт трактористов. Из Тбилиси пишут, что жены командиров пришли на производство. Заметка из Свердловска озаглавлена: «Экономить каждую крупицу металла». Заметка из Харькова: «С максимальным результатом расходовать сырье».

В нескольких газетах помещены статьи об использовании местных ресурсов и о работе местной промышленности. Эти статьи, так же как и статья об уборке хлеба на Украине, свидетельствуют о понимании серьезности положения, об учете возможности еще более неблагоприятных перспектив и в связи с этим о стремлении возместить всеми ресурсами, которые остались у нас в руках, то, что мы уже потеряли в результате наступления немцев.

Читая все это сейчас, я невольно вспомнил строки из песни, которая, едва появившись, сразу стала в сознании людей как бы вторым гимном этого трагического времени: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой…»

Так, в сущности, оно и было: вся огромная страна, постепенно осознавая всю меру нависшей над ней опасности, вставала на этот действительно смертный бой.

И, несмотря на многие оттенки неприемлемой и порой даже раздражающей нас сейчас фразеологии тех лет, на страницах газет проступало величие того времени, полную меру которого, может быть, до конца ощущаешь лишь сейчас, через четверть века.

Это величие присутствовало и в тех бесчисленных телеграммах из-за границы, которые были опубликованы на страницах наших газет только за один этот день — 19 июля.

«От имени всеобщего рабочего союза. Примите привет от испанского пролетариата. Ваше дело является нашим делом. Да здравствует Красная Армия!» — писали испанцы.

«Строительные рабочие Лондона выражают восхищение храбростью Красной Армии; Обязуемся оказать всевозможную поддержку. Настаиваем на полнейшем выполнении обещаний, сделанных нашим правительством. Уверены в полной победе над фашизмом». И рядом с этим — решение английских горняков о сборе денег для снаряжения полевого лазарета для Красной Армии в знак восхищения ее мужественным сопротивлением.

Сообщение из Нью-Йорка о том, что целый ряд местных профсоюзов выражает свои симпатии СССР и обещает оказывать ему поддержку.

Сообщение из Лондона о митинге народов Британской империи, на котором выступали представители Индии и Западной Африки, Кипра, Бирмы, Вест-Индии:

«Мы убеждены в победе советского народа, которая будет общей победой народов всего мира».

Председатель Словацкого евангелистского союза в Питтсбурге обращался к восемнадцати тысячам членов этой организации с призывом оказать всемерную поддержку СССР. Словаки, чехи и сербы, проживавшие в районе Питтсбурга, писали в своей резолюции: «Дело освобождения Югославии, Чехословакии зависит от успехов Красной Армии». Конфедерация рабочих Мексики опубликовала манифест, в котором было сказано, что «в связи со зверским нападением фашистов на СССР Конфедерация призывает мексиканский народ создать общенациональный фронт для достижения полного поражения режимов Гитлера и Муссолини».

Редактор прогрессивной итальянской газеты в Нью-Йорке призывал итальянцев, живущих в Америке, объединиться для обеспечения немедленной помощи английскому и советскому народам. А редактор греческой газеты заявлял, что девяносто пять процентов живущих в Соединенных Штатах греков высказываются за сотрудничество Соединенных Штатов, Советского Союза и Англии в войне против германского фашизма.

Конечно, к этому дню мы имели в мире не только друзей, но и врагов. Да и немало оставалось людей, просто-напросто равнодушных к тому, что происходило в тот день на окровавленных полях России. И в разных газетах мира публиковались и мнения наших врагов, и мнения равнодушных, и было бы наивно думать иначе только потому, что это не попадало и не могло попасть на страницы наших газет.

Но то, что печаталось в них, с несомненностью говорило о масштабах Потрясения, вызванного во всем мире этой небывалой по своему размаху и беспощадности войной между фашистской Германией и Советским Союзом. И это потрясение было не только взрывом сочувствия к нам, но и вспышкой веры в то, что, несмотря на все наши первые неудачи, отныне вопрос стоит не только о жизни и смерти Советского Союза, но и о жизни и смерти фашистской империи Гитлера.

Представители разных поколений русской интеллигенции — Новиков-Прибой, Федин, Эренбург, Павленко, Лидин, Михаил Ильин (я называю только часть писательских имен, появившихся в тот день в газетах) — выражали в своих статьях и понимание того, что борьба предстоит не на жизнь, а на смерть, и веру в

то, что смерть в этой борьбе все-таки ожидает не нас, а фашизм.

В последнем вышедшем к 19 июля номере «Литературной газеты» критик А. Гурвич в своей статье приводил слова Тимирязева, звучавшие как адресованное нам в эти тяжкие дни нравственное завещание великого ученого:

«Успех настолько же зависит от материальной силы и умственного превосходства по отношению к врагам, как и от нравственных качеств по отношению к своим… Общество эгоистов никогда не выдержит борьбы с обществом, руководящимся чувством нравственного долга. Это нравственное чувство является даже прямой материальной силой в открытой физической борьбе. Казалось бы, что человек, не стесняющийся никакими мягкими чувствами, дающий простор своим зверским инстинктам, должен всегда одолевать в открытой борьбе. И однако на деле выходит далеко не так».

Так выглядели наши газеты 19 июля 1941 года.

Конечно, как я уже говорил, они не отражали всех сторон происходящего. Не отражали и по объективным условиям военного времени, и по ряду субъективных причин, связанных с понятием культа личности, а точнее говоря — культа непогрешимости этой личности. Но тем не менее газеты давали представление о нравственной силе нашего общества в один из самых критических моментов его истории и о его нравственной готовности вести не просто войну одного государства с другим, а войну не на жизнь, а на смерть, войну с фашизмом, в которой на нашей стороне была несомненная моральная поддержка многих миллионов людей за рубежом. Пока еще только моральная, но и это само по себе уже было фактором большого значения не только вне страны, но и внутри нее, если учесть весь тот нравственный ущерб, который мы понесли в период существования сперва пакта о ненападении, а потом договора о дружбе с фашистской Германией.

44 «Мне оставалось подчиниться. Предписание было выписано немедленно…»

В подлиннике это предписание выглядело так: «Интенданту 2-го ранга тов. Симонову. Приказом Зам. Наркома Обороны СССР от 20.VII Вы назначены спец. корреспондентом „Красной Звезды“. Приказываю к 27 июля явиться в редакцию».

45 «Следующий день мы ездили вокруг Вязьмы, были на окрестных аэродромах…»

Пятого августа 1941 года в «Красной звезде» была напечатана моя баллада «Секрет победы» с подзаголовком: «Посвящается истребителю Николаю Терехину». В балладе описывался воздушный бой нашего истребителя с тремя «юнкерсами», в котором, насколько я понимаю, впервые за войну был осуществлен двойной таран. В записках никаких отметок об этом, кроме упоминания о посещении аэродромов вокруг Вязьмы, не осталось, и когда ко мне в 1965 году, в двадцатую годовщину Победы, обратились земляки Терехина с просьбой сообщить сохранившиеся у меня в памяти подробности о встрече с ним, я не смог этого сделать. За долгие годы подробности настолько изгладились из памяти, что я даже не был до конца уверен, видел ли я Терехина: быть может, я услышал о его подвиге из вторых уст.

И только теперь, разыскав блокнот, связанный с поездкой на Западный фронт между 20 и 27 июля 1941 года, я нашел там запись о Терехине: «Старший лейтенант Терехин. Сначала сбил одного. Вышли все патроны. Таранил второго, плоскостью, по хвосту. Поломал только консоль. В третьего ударил мотором в хвост. У него, когда выбрасывался, — рваная рана на ноге, разбил сильно лицо. Ссадины, запухшие глаза. Ему не давали летать. Семь дней отдохнул и в первый же день после болезни, отлежавшись на аэродроме, сбил еще бомбардировщик. Когда болел, не лежал, а работал помощником командира полка и летал на У-2. Скучно ему было по земле ходить. Терехин Николай Васильевич, 1916 года, из Саратовской области».

46 «…первая бомбежка Москвы. Она казалась отсюда, из Вязьмы, чем-то гораздо более грозным и страшным, чем была на самом деле»

Несколько фактических замечаний по этому поводу. В военном дневнике верховного главнокомандования вермахта за неделю до первой бомбежки, 14 июля 1941 года, стоит следующая запись: «Фюрер говорит о необходимости бомбардировки Москвы, чтобы нанести удар по центру большевистского сопротивления и воспрепятствовать организованной эвакуации русского правительственного аппарата». Как видно из этой записи, планы у Гитлера были далеко идущие. Само предположение, что бомбежками Москвы удастся воспрепятствовать организованной эвакуации из нее правительственного аппарата, означало надежду на такие сокрушительные удары с воздуха, которые способны парализовать жизнь огромного города и железнодорожного узла.

На деле первый налет немцев на Москву, так же как и последующие налеты в июле и августе, в общем, оказался малоуспешным. Вот что говорится в боевом донесении командования наших военно-воздушных сил об этом первом налете: «С 22 часов 25 минут 21.VII до 3.25 22.VII-41 авиация противника совершила налет на город Москву. Налет производился четырьмя последовательными эшелонами. Всего около 200 самолетов.

Первый эшелон на подступах к Москве расчленился для бомбометания, но, будучи встречен истребительной авиацией и зенитной артиллерией, был рассеян. Только одиночным самолетам удалось прорваться к городу.

Последующие — второй и третий эшелоны — налет производили одиночными самолетами и мелкими группами, произведя бомбардировку с пикирования, с горизонтального полета, с высоты 1000–3000 метров зажигательными и фугасными бомбами.

Бомбометание некоторых объектов производилось при помощи световых сигналов, поданных с земли.

В районе Звенигорода и Кубинки противник сбрасывал листовки.

Истребительная авиация сделала 173 самолето-вылета. По докладам летчиков, сбито два самолета противника. По докладу частей зенитной артиллерии, сбито 17 самолетов противника. Требуется дополнительное уточнение».

Таким образом, вечернее сообщение Информбюро от 22 июля, в котором говорилось, что во время массового налета на Москву «в ночь с 21 на 22 июля… уничтожено 22 немецких бомбардировщика» и что «рассеянные, деморализованные действиями нашей ночной истребительной авиации и огнем наших зенитных орудий немецкие самолеты большую часть бомб сбросили… на подступах к Москве», — в основном соответствовало действительности. А немецкие сводки и газетные сообщения, да и выпуски немецкой кинохроники, которую мне недавно, через двадцать пять лет после событий, довелось видеть, содержавшие попытку изобразить этот первый налет на Москву как нечто в высшей степени устрашающее, были грубо сфальсифицированы. Для примера стоит привести хотя бы заголовки из «Фёлькишер беобахтер» за 23 июля 1941 года: «Первый большой налет на Москву». «Мощные налеты бомбардировщиков». «У врага больше нет никакого единого руководства».

Неудачи немцев во время первого и последующих налетов объяснялись тремя причинами: во-первых, недостаточностью сил, которые были ими брошены на такой огромный объект, как Москва, во-вторых, силой противовоздушной обороны Москвы, которая оказалась тем более эффективной, что немцы не представляли себе ее масштабов, и наконец, в-третьих, тем спокойствием и решительностью, с которой население Москвы боролось с зажигательными бомбами. Эффект зажигательных бомб был прежде всего рассчитан на растерянность и панику. Но эта запланированная немцами паника так и не состоялась.

47 «А в середине дня мы выехали под Ельню, где действовала оперативная группа частей 24-й армии…»

Корреспондентов чаще всего имели обыкновение направлять туда, где, по сведениям редактора, имелся или предполагался успех. Наша поездка в 24-ю армию к генералу Ракутину, куда нас направил редактор «Красноармейской правды» полковой комиссар Тимофей Васильевич Миронов, была, очевидно, связана именно с такими сведениями.

Мы выехали под Ельню 23 июля. В документах штаба армий Резервного фронта, которым командовал тогда генерал-лейтенант Богданов, за дни, предшествовавшие нашей поездке, можно найти ряд упоминаний о боях, развернувшихся под Ельней.

В «Журнале боевых действий» за 20 июля записано, что 24-я армия «ведет бой с прорвавшимися частями противника в районе Коськово — Дорогобуж — Ельня, отражая его попытки прорваться в восточном направлении».

На отчетной карте немецкого генерального штаба за предыдущий день, 19 июля, показано, что прорвавшаяся в район Ельни 10-я немецкая танковая дивизия движется на северо-восток, на Коськово и восточнее его.

В утренней сводке штаба Резервного фронта за 22 июля сказано, что противник «продолжает удерживать район Ельни» и что командующий фронтом принял решение «окружить и уничтожить противника в Ельне…». Непосредственное руководство операцией возлагалось на командарма 24-й армии генерал-майора Ракутина.

Видимо, в то утро 22-го считалось, что мы сумеем сделать все это в ближайшие дни. Поэтому редакция и послала туда нас, корреспондентов.

48 «Я подошел к нему. Он спросил:

— Вы не видели частей Сотой дивизии?»

Судьба трижды сводила нас за эту поездку с людьми из 100-й дивизии. Сначала мы попали в ее штаб, приняв там за командира дивизии начальника штаба полковника Груздева, затем встретили командира дивизии генерала Руссиянова, а потом, под Ельней, оказались в ее 355-м стрелковом полку.

Командир 100-й дивизии генерал-майор Руссиянов окончательно выбрался из окружения только 24 июля, в то утро, когда мы его встретили.

В «Журнале боевых действий дивизии» стоит запись: «24.VII-41… Прибыл генерал-майор Руссиянов и старший батальонный комиссар Филяшкин».

На следующий день, 25 июля, генерал Глинский, начальник штаба 24-й армии, доносил в штаб Резервного фронта генералу Ляпину о приезде Руссиянова в штаб армии: «Докладываю: только что приехал командир 100-й дивизии».

Читая в архиве автобиографию генерал-лейтенанта Ивана Никитича Руссиянова, написанную после войны, которую он окончил, командуя корпусом, я наткнулся на такие строки:

«В окружении с войсками был шесть раз, в боях при отходе от Минска, 1941 г., в боях при отходе от города Лебедянь — 1942 г., в боях под Павлоградом — Кировоградом. Выходил с войсками и группами, с документами и в полной генеральской форме».

Из автобиографии видно, что Руссиянов родился 28 августа (по старому стилю) 1900 года в деревне Шупли, Кошинской волости, Смоленского уезда, что он с 1916 года работал поденным рабочим, в 1919 году был призван в Красную Армию, в ноябре 1921 года, по окончании гражданской войны, в неделю «Красного курсанта» поступил в пехотную школу комсостава, а в мае 1941 года, перед самой войной, окончил курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Академии Генерального штаба.

В этом же деле я увидел две фотографии Руссиянова. Одна — парадная, предвоенная, может быть, сделанная по случаю присвоения генеральского звания: новенькие генеральские петлицы, новенький китель, аккуратный пробор, щеголеватый, подтянутый, моложавый, моложе своих лет.

И вторая фотография, сразу со всей остротой напомнившая мне того человека в грузовике — пыльный китель, выцветшие генеральские петлицы, постаревшее не на год, а на целых десять лет, усталое, но сильное лицо. Кто его знает, может, эта фотография была сделана сразу же тогда, после выхода из окружения, первого из шести. На этой фотографии не только лицо человека, но и лицо самой войны, такой, какой она была и какой я ее помню в июле 1941 года.

Две фотографии, одна и та же форма — и два разных человека: один только еще готовящийся воевать, а другой — переживший трагедию первых дней войны, нахлебавшийся всяческого горя, сделавший все, что от него зависело… Другой, совсем другой человек…

Я хочу подробнее остановиться на судьбе 100-й дивизии, потому что история ее типична для целого ряда наших воинских частей, достойно вышедших из того тяжелейшего положения, в котором они оказались.

Вспоминая начало войны, вряд ли стоит из соображений патриотизма прибегать к тому искусственному уравниванию, которым грешат некоторые наши — в особенности написанные в более давние времена — сочинения, где отстаивался тезис о повсеместном героизме и о том, что по сути дела все наши части и все люди при всех обстоятельствах вели себя одинаково героически. Свои герои были, конечно, всюду, во всех частях. Но говорить, что все части и повсюду действовали в начале войны одинаково героически, — вряд ли правильно. Были разные дивизии, по-разному подготовленные и руководимые, и война застала их в разном состоянии и в разных обстоятельствах; да и по ходу войны они попадали в далеко не равные положения.

Скажем, 172-я дивизия, к судьбе которой я еще вернусь, почти целиком легла в боях за Могилев, сражаясь с примерной стойкостью, долго и упорно, приковав к себе значительные силы немцев и тем самым выиграв время и сослужив большую службу нашим войскам, закреплявшимся на новых рубежах обороны.

53-я дивизия, о которой я уже писал, оказавшись как раз на направлении сокрушительного главного удара немцев Шклов — Горки — Смоленск, была разбита и рассеяна, но, собрав потом большую часть своего личного состава, впоследствии сумела завоевать добрую славу и дошла до Вены.

У 100-й дивизии была третья, своя, особенная и во многих отношениях

замечательная судьба.

Перед войной дивизия дислоцировалась в Минске и на третий день войны, когда ей пришлось вступить в бой, начала свои боевые действия далеко не в полном составе. До комплекта не хватало трех тысяч человек, сорока процентов транспорта, а ее разведывательный батальон не имел ни одного танка и всего несколько бронемашин. Несмотря на это, в боях в районе Минска дивизия сначала разбила 25-й немецкий полк 7-й танковой дивизии, причем командир этого полка, полковник Ротенбург, был убит, а штабные документы полка захвачены. Потом дивизия сильно растрепала части 82-го мотострелкового полка немцев, кстати, в этих боях впервые использовав против немецких танков бутылки и стеклянные солдатские фляжки с бензином.

В течение первых четырех суток боев, упорно контратакуя немцев и даже кое-где продвинувшись вперед, дивизия начала отход только на пятый день, по приказу. Расчищая себе путь в двенадцатидневных боях, дивизия упорно вырывалась из кольца. Остатки разных ее частей были сведены в полк и именно в таком качестве с боем вышли из окружения.

Но этим история не кончилась. Другие части дивизии, отрезанные друг от друга немцами, в последующие дни тоже ‘с боями вырывались из кольца на разных участках фронта: В Итоге к утру 21 июля, на вторые сутки после того, как дивизия вышла на отдых и стада формироваться, в ее частях было, судя по документам, уже около сорока процентов рядового, около шестидесяти процентов начальствующего состава и тридцать процентов материальной части. Уже на третий день отдыха и переформирования, Как это явствует из приказа командующего 24-й армией, один из полков дивизии — 355-й — был вновь брошен в бой, а вскоре в бои вступила и вся дивизия.

В «Журнале боевых действий» 100-й дивизии за 20 июля есть любопытная запись: «Маршал Советского Союза тов. Тимошенко… в районе Дорогобужа встретил лейтенанта тов. Хабарова. Узнав от него, из какой части, сказал, что „сотая дивизия хорошо дралась, толково воюет, и если будет время — заедет посмотреть, как она сейчас устроилась. Передайте бойцам и командирам привет“». Отзыв Тимошенко отражал общее мнение о действиях 100-й дивизии, которое уже успело сложиться к тому времени на Западном фронте. Вскоре она

была отмечена в приказе Ставки и переименована в Первую Гвардейскую.

Дивизия, а потом сформированный на ее базе 1-й Гвардейский мехкорпус был в боях до самого конца войны. Дрались у Сталинграда, отвоевывали Донбасс, воевали под Будапештом, Секешфехерваром, Шопроном…

В начале войны 100-я дивизия входила во 2-й стрелковый корпус генерала Ермакова. В дополнение к уже сказанному приведу несколько страниц из «Журнала боевых действий 2-го стрелкового корпуса». Записи в этом журнале производились ежедневно с 28 июня 1941 года, то есть с первого дня вступления частей корпуса в бои; таких подлинных журналов боевых действий сохранилось за первые дни боев очень мало. Выводы и итоги, записанные в «Журнал» к концу первого месяца войны, свидетельствуют о большой правдивости и трезвости в оценке и собственных действий, и действий противника. Вот что в них сказано:

«…Бои за Минск на участке 2-го корпуса носили ожесточенный динамичный характер. Противник, пользуясь превосходством в подвижных частях, стремился наносить удары во фланг и в тыл частям корпуса. Пехота 100-й и 161-й стрелковой дивизии показала высокую стойкость. Когда танкам противника удалось прорваться через позиции нашей пехоты, последняя обрушивалась на пехоту противника, нанося ей огромнейшие потери.

Противотанковая артиллерия, не имея практики, в первый день боя с танками противника понесла значительные потери. 100-я дивизия за 27-е и 28-е потеряла до 45 орудий, главным образом противотанковых. Скорострельность противотанковой артиллерии оказалась недостаточной для борьбы с подвижными немецкими танками.

Потери от авиационных бомбардировок, пулеметного обстрела с воздуха, несмотря на низкие высоты и абсолютное господство противника, оказались очень незначительными. Однако они имели большое моральное воздействие.

Противнику в этих боях нанесены большие поражения…

100-я дивизия уничтожила 101 танк, 13 бронемашин, 61 мотоцикл, в том числе 8 взято исправных, 4 легковые машины, 20 грузовиков, 19 орудий ПТО, 4 орудия среднего калибра, минометы и другое боевое имущество.

161-й стрелковой дивизией, по неполным данным, уничтожено 36 танков, 22

мотоцикла, 15 автомашин, 1 легковая автомашина, 4 орудия, бронемашина, 2 самолета.

Корпусными частями, главным образом 151-м корпусным артполком, уничтожено 10 танков, 7 автомашин, 6 мотоциклов, 4 самолета, подбито 8 орудий среднего калибра…

Главным средством поддержки в пехотно-танковой атаке у немцев являются минометы, которые немцы хорошо используют. Наши минометы в первое время действовали неудовлетворительно, и главным образом потому, что минометчики не научены вести стрельбу.

В местах высадки десанта сама высадка производится только по получении сигнала от находящегося на земле диверсанта и после предварительного интенсивного пулеметного обстрела с самолетов. Характер действий этих десантов сводился к демонстрации окружения путем высылки на фланги и тыл нашим войскам отдельных солдат с ракетами, которые первое время создавали впечатление действительного окружения.

Самолеты обстреливают не только войска, но и беженцев. Основные пути сообщения — железные дороги, автомагистрали — не бомбятся, очевидно, в расчете использования своими войсками.

Из действий своих войск отмечаю следующие недостатки: старшие командиры за отсутствием танков и бронемашин не могли руководить боем, а легковые машины уязвимы всеми видами огня противника.

Техническая связь всех видов работала неудовлетворительно. Штабы не получили переговорных таблиц и кодов…

Отмобилизование тыловых органов проходило с большими трудностями. В значительной степени тыловые органы к началу боев созданы не были.

В вопросе подвоза и эвакуации существовала полная неразбериха. Органы тыла высших штабов подвоз и эвакуацию не только не спланировали, но даже указаний, где и что можно получить, не дали. Все шло самотеком. Раненые в значительной степени оставались на поле боя.

Зенитные армейские части в районе Минска остались без всякого управления, никому приданы не были и, расстреляв все боеприпасы, портили матчасть и

оставляли ее…

Незаконченная мобилизация и бегство мобилизационных органов создали в тылу огромные толпы военнообязанных, которые искали сборные пункты и регистрировались у всех начальников или регистраторов. На регистрационном пункте 100-й стрелковой дивизии 25.VI было зарегистрировано более 1500 командиров, возвращавшихся из командировок и отпусков. Понятно, что выделенный командованием дивизии командир не мог дать им всем правильного направления…

Следует отметить самоотверженную работу одного из секретарей Ворошиловского райкома КП(б) города Минск, который, являясь председателем комиссии сборного пункта, продолжал работать до отхода частей 2-го стрелкового корпуса, формируя и направляя команды в тыл…

Отдельные панически настроенные командиры, якобы в целях борьбы с диверсантами противника, встали на путь репрессивных мер, без всякого следствия, невзирая на положение попавших им в руки лиц… Временный командир 331-го стрелкового полка майор Моргун за два дня расстрелял трех капитанов, в том числе своего начальника штаба. Органы прокуратуры первое время растерялись, не приняли необходимых мер к поддержанию твердого государственного порядка в частях армии.

При всех этих недостатках части корпуса выдержали серьезнейшие бои и нанесли противнику ощутимые потери, сохранив полностью свою боеспособность, о чем свидетельствуют последующие бои корпуса, особенно в окружении…

…Корпус участвовал в боях беспрерывно в течение 22 дней. Части корпуса, разгромив ряд частей противника, на много дней задержали наступление одной из самых мощных группировок противника…

Части корпуса также понесли большие и притом боевые потери, так как сдачи в плен не только частей, но даже подразделений… не зарегистрировано…

Всего корпус за 22 дня потерял: людей — около 22 тысяч человек, орудий корпусных — 34, орудий дивизионных — около 100, орудий ПТО — 160, значительное число минометов, пулеметов, винтовок… А потери противника только убитыми определяются нами в 10 тысяч человек…»

Конечно, трудно настаивать на точности цифр людских и материальных потерь, нанесенных противнику, когда ты сам отступаешь и дерешься в окружении, а за ним остается поле боя и возможность восстанавливать и возвращать в строй свою поврежденную технику. Но во всяком случае по ряду документов того времени, в том числе и немецких, видно, что части 2-го стрелкового корпуса были одними из тех, которые на этом направлении давали немцам наиболее жестокий отпор и наносили им наиболее чувствительные потери.

Уже довольно давно так или иначе занимаясь историей войны, я, однако, до начала работы над этими комментариями, в сущности, всерьез не соприкасался с архивными материалами и лишь теперь, за последние два года, начал понимать, какая бездонная глубина, еще никем до конца не изведанная, ожидает тех из нас, кто решит заглянуть в эти архивы войны.

Архивы, архивы… Начинаешь искать подтверждения какой-то своей догадки и незаметно для себя погружаешься в атмосферу того времени. Одна за другой начинают выясняться самые разные подробности общей картины начала войны. Иногда поиски приводят к тому, что картина постепенно, шаг за шагом, складывается все более и более тяжелая, наконец делается совсем тяжелой, почти невыносимой… Но потом вдруг попадаются первые неожиданные радости: оказывается, кто-то, кого ты уже считал давно погибшим, вышел, вернулся, прорвался или пробился через немцев. Среди горестных начинают попадаться утешительные донесения: подбили немецкие танки, захватили пленных, взяли штабные документы, убили командира немецкого полка, сожгли немецкий самолет на аэродроме… Нет, не так уж безнаказанно они шли, не так уж безнадежно все это выглядело… Телеграфные ленты, запросы, нагоняи, требования уточнить обстановку, сообщения о первых удачах среди многих неудач, явно преувеличенные сведения о потерях врага и умолчания о своих потерях, а рядом с ними правдивейшие доклады, свидетельствующие о безбоязненной решимости во имя интересов дела рассказать все как есть, назвать вещи своими именами. Рядом с лентами телеграфных переговоров листки написанных карандашом донесений — крупным, поспешным почерком, но тем не менее коротко и внятно, по-военному излагающих происходящее… И все это вместе взятое во всех своих иногда поражающих контрастах вдруг начинает воссоздавать перед твоими глазами живую картину тех дней в их документальном выражении.

49 «Потом я был очень удивлен, когда узнал, что эта ополченческая дивизия буквально через два дня… участвовала в боях под Ельней»

В оперативной сводке штаба армий Резервного фронта (№ 12 20.VII. 22 часа) записано, что «войска армий резервного фронта вели бои с прорвавшимися группами противника в районах Щучье — Дорогобуж — Ельня — Ярцево. На остальных участках фронта продолжаются работы по укреплению оборонительного рубежа».

В этой же оперативной сводке указано, что «6-я дивизия народного ополчения отводится в район Вязьмы, а 4-я дивизия народного ополчения отводится… в район Сычевки». Очевидно, отвод дивизий народного ополчения, которые должны были заниматься работами по укреплению оборонительного рубежа, как раз и был вызван неожиданным выходом немцев к этому рубежу. Во всяком случае первоначально командование Резервного фронта, видимо, не было намерено подставлять под немецкий удар эти еще не готовые к боям дивизии.

Судя по тому, что, как сказано в записках, мы разминулись с частями ополченцев, двигаясь от Вязьмы к Ельне, скорее всего мы встретили именно части 6-й ополченческой дивизии, которой за два дня до этого было приказано двигаться в район Вязьмы.

Сформированная в Дзержинском районе Москвы, 6-я ополченческая дивизия, пройдя длинный боевой путь, впоследствии, в 1944 году, получила за освобождение Бреста наименование 160-й стрелковой Брестской и кончила войну в Восточной Пруссии.

50 «По его мнению… Ельню захватил крупный немецкий десант… Ракутин предполагал, что через день-два, максимум через три десант этот удастся уничтожить»

24 и 25 июля мы с Трошкиным оказались свидетелями первых боев за так называемый Ельнинский выступ, которые закончились только через полтора месяца взятием нашими войсками Ельни.

Сама по себе Ельня — всего-навсего маленький районный городок. Но Ельнинский выступ был в глазах немцев важным плацдармом для будущего наступления на Москву.

Захваченная немцами 10–20 июля Ельня была снова занята нами 6 сентября. В вечернем сообщении Информбюро за 8 сентября 1941 года сказано, что в боях за Ельню было разгромлено восемь немецких дивизий.

Немцы под угрозой разгрома вынуждены были отступить с крайне важного для них Ельнинского выступа. И хотя они в последний момент успели вытащить оттуда большую часть своих сильно пострадавших в боях войск и избежали окружения с той методичностью и искусством, которые потом проявляли еще не раз, вплоть до Сталинградской катастрофы, — факт остается фактом: мы заставили их сделать то, чему они всеми силами противились. И было бы антиисторично сопоставлять наш успех в ельнинских боях, скажем, с такими нашими успехами здесь же, на Западном фронте, как окружение и крах всей немецкой группы армий «Центр» в 1944 году. Масштабы этих событий несравнимы, но и время тоже несравнимо. Ликвидация Ельнинского выступа в сентябре 1941 года была первой нашей успешной наступательной операцией, имевший тогда большое принципиальное значение.

В вечернем боевом донесении штаба Резервного фронта за 20 июля говорится о боях под Ельней в районе Коськово. Упоминается, что там появилось около двадцати немецких танков и около полка пехоты, и сообщается, что командир 107-й стрелковой дивизии для ликвидации прорыва выделил два стрелковых батальона под командованием полковника Некрасова.

В донесении политотдела 107-й дивизии об этом бое сообщается, что у противника был «один батальон мотопехоты, вооруженный артиллерией, минометами, автоматическим оружием». В бой против этого немецкого батальона был брошен батальон 586-го стрелкового полка. В результате «противнику было нанесено сильное поражение. Фашисты в беспорядке бежали. На поле боя оставили убитыми трех офицеров, восемь солдат. Раненых и убитых, очень большое количество, успели подобрать. Взято в плен три солдата. Наш батальон потерял убитыми 4 и ранеными 47 человек».

Дальше рассказано о том, что роту в наступление вел сам командир полка полковник Некрасов, что он проявил мужество и упорство, «шел в наступление впереди бойцов… Своей собственной рукой в упор из пистолета застрелил двух офицеров и захватил в плен одного солдата».

Политдонесение любопытно тем, что оно отражает некоторые особенности того первого, оказавшегося успешным, боя, в который вступили части еще не обстрелянной, только что прибывшей на фронт дивизии. И не замеченное автором политдонесения противоречие между тем, что, по его словам, «фашисты в беспорядке бежали», и тем, что они при этом «успели подобрать большое количество раненых и убитых», и то обстоятельство, что в наступление впереди бойцов пошел сам командир полка, лично застреливший двух немецких офицеров и взявший в плен солдата, — все это очень характерно.

Дивизия была хорошая, кадровая, командир полка был старый, опытный военный. Но бой для него был первым, и результат боя был необыкновенно нравственно важен для последующих действий не только полка, но и всей дивизии. Особенно если учесть, что эта дивизия впервые встречалась с немцами уже после того, как они успели за двадцать девять Дней войны пройти по прямой с запада на восток 650 километров. После такого огромного и длительного отступления наших войск трудно переоценить то значение, которое имели в глазах людей их первый удачный бой, их первая, увенчавшаяся успехом контратака, во время которой было убито три немецких офицера и взято трое пленных. Соотнося этот бой с тем временем, когда он произошел, надо понимать, что тогда, в июле, для батальона и даже полка это событие было их крошечным Сталинградом.

Впоследствии, в сентябре, именно этот полк Некрасова в числе первых ворвался в Ельню и захватил большие, по понятиям того времени, трофеи.

Генерал Ракутин, говоря с нами, корреспондентами, был полон оптимизма и веры, что через день-два мы уничтожим немецкий десант и возьмем обратно Ельню.

Оценивая то, что он говорил нам тогда, надо держать в памяти, что эти первые дни боев были боевым крещением не только для командира полка, но и для командующего армией. А кроме того, надо разобраться: что имелось тогда в виду под словом «десант», из чего складывалось это понятие.

После стремительного прорыва немцев от Шклова к Смоленску, после того, как они, прорвавшись у Быхова, молниеносно оказались в тылах 13-й и 4-й армий и совершенно внезапно для армий Резервного фронта вдруг в ряде пунктов выскочили туда, где эти армии еще только-только заканчивали занятие оборонительных рубежей, обстановка была полна неожиданностей. И в этой

обстановке многочисленные глубокие прорывы мелких и даже крупных немецких танковых и моторизованных групп воспринимались именно как десанты.

Фронт назывался Резервным — само это понятие в тот период связывалось с предположением, что он стоит позади другого нашего, сплошного, Западного фронта. Тем сильнее была психологическая неожиданность появления немцев непосредственно перед позициями войск Резервного фронта. Следует добавить, что именно в этот период немцы, помимо глубоких прорывов своих подвижных частей, действительно высаживали в нашем тылу и десанты. Слухи о них иногда соответствовали действительности. Но чаще за эти десанты принимались прорвавшиеся немецкие части.

Как иллюстрацию того, насколько все наши оперсводки, разведсводки и донесения были переполнены сведениями о десантах, приведу несколько цитат из разных документов за один день — 18 июля:

«В местечке Старосслье, что юго-западнее Сафонова на 35 километров, высадилась десантная группа».

«Укрепилась группа неустановленной численности с 30-ю танкетками».

«Сегодня утром в районе Батурино высадилось 600 человек».

«О численном составе десанта сведения разноречивы. Большинство показаний подтверждает цифру 300–400 человек при трех танкетках».

«Для ликвидации авиадесанта, высаженного в районе Дедово, выслана на машинах рота с взводом конных разведчиков».

«Десант занимает оборону… имеет площадку для посадки самолетов… С площадки работают самолеты по бомбометанию. Наших истребителей нет. Идет бой по уничтожению десанта».

«В районе Дорогобуж выявился десант в составе 50 человек».

«Десант, десант, десант…» Слово это буквально сидело у всех в ушах в те дни. Причем приставка «авиа» постепенно исчезала, говорили просто «десант», и чем дальше, тем чаще под этим словом понималось нечто не установленное по своему первоначальному происхождению. В ряде случаев уже понимали, что это не авиадесанты, а прорвавшиеся немецкие части, но слово «десант» уже закрепилось и в понятиях и в документах. Сверху запрашивали: «Как там с

ликвидацией десанта, о котором вы первоначально докладывали?»; а снизу, уже не вдаваясь в объяснения того, десант это или не десант, сообщали о принятых мерах.

Вполне допускаю, что ко времени встречи с нами Ракутин уже понимал, что речь шла не о десанте (тем более что он упоминал о целой немецкой дивизии), но в разговоре еще продолжал употреблять это въедливое слово.

51 «— Вот капитан… должен у меня ехать к комбригу. — Ракутин назвал какую-то странную фамилию…»

Я восстановил теперь по документам эту странную фамилию. Комбрига звали Николай Иванович Кончиц. Ракутин назвал его «стариком»; с точки зрения гораздо более молодого Ракутина он и правда был уже не молод — ему шел тогда пятьдесят второй год.

В личном деле Кончица, которое я нашел в архиве, есть некоторые любопытные черты. Он был кадровым офицером царской армии в начале Первой мировой войны в чине поручика, командовал батальоном; под Лодзью был контужен и взят в плен немцами. В лагере военнопленных заболел туберкулезом и прямо из лазарета был взят в тюрьму за протест против того, что немецкое лазаретное начальство выстраивало больных на поверку. Вернувшись в 1919 году из плена, Кончиц добровольно вступил в Красную Армию и воевал в Туркестане против басмачей начальником штаба и командиром бригады. С 1925 до 1927 года был военным советником в Китайской революционной армии, получил орден Красного Знамени и несколько лет работал в Москве военным руководителем Коммунистического университета трудящихся китайцев. Перед войной был заместителем командира дивизии, а во время боев под Ельней, когда меня послал к нему Ракутин, командовал наспех созданной оперативной группой из 355-го полка 100-й дивизии и нескольких отдельных батальонов.

В «Журнале боевых действий 100-й дивизии» за 22 июля записано:

«355-й стрелковый полк… вступил в распоряжение комбрига Кончица, в направлении Коськово — Ельня, с задачей уничтожения авиадесантной группы противника».

Ракутин был недоволен тем, что «старик не жмет, как надо». Однако, судя по документам 100-й дивизии, дело обстояло не совсем так. В этих документах

записано, что с 24 по 30 июля 355-й стрелковый полк действовал в составе группы под командованием комбрига Кончица в направлении Ушаково; Ушаково несколько раз переходило из рук в руки, и действиями 355-го стрелкового полка было уничтожено до трех рот пехоты, шесть танков и четыре миномета противника.

В моем старом блокноте среди записей, сделанных под этой самой деревней Ушаково, есть запись, совпадающая с этими документами: «355-й стрелковый полк. Полковник Шварев Н. А., комиссар Гутник Г. А., 2-й батальон получил задачу взять деревню Ушаково. Сегодня в 11.00 началось, наступление. Второй батальон бил в лоб, первый, обходил слева. Продвижение противника было приостановлено. Противник в панике бежал к 17 часам. Предшествовала артиллерийская подготовка, работали минометы… Южная окраина деревни к 17 часам была занята нашими бойцами. В деревне остались склад боеприпасов, до сотни трупов. Застигли врасплох. Много оружия. Их ППД (то есть, видимо, немецкие автоматы. — К. С.), противотанковые орудия, броневики. В 18.30 появилась вражеская авиация. Через 30 минут появились „ястребки". Всех разогнали, одного сбили».

Дальше в этом же блокноте запись о том, что «прибывший коммунистический батальон ленинградцев дерется здорово. Продвинулись за день километров на пять».

Надо думать, что и этот батальон входил в группу комбрига Кончица. Иначе запись о нем не появилась бы на той же странице блокнота.

В дальнейшем комбриг Кончиц стал генералом, заместителем командира корпуса и закончил войну в Прибалтике, ликвидируя Земландскую группировку немцев.

52 «Все несчастье… заключалось только в том, что людям была дана неверная установка — на уничтожение небольшого высадившегося здесь немецкого десанта»

24 и 25 июля, в те дни, когда я был под Ельней, мы предпринимали первые неудачные попытки восстановить положение, окружить и уничтожить прорвавшихся немцев. Из многих документов того времени создается впечатление, что наши войска почти повсюду стремились атаковывать немцев, но сведения о них были противоречивые, неточные — силы их поначалу резко

преуменьшались, а наши действия носили хотя и активный, но разрозненный характер.

Командарм Ракутин был недоволен действиями комбрига Кончица, а в штабе Резервного фронта были недовольны действиями Ракутина.

Накануне нашего приезда к Ракутину штаб Резервного фронта, требуя от него организовать атаку, сообщал, что, «по данным Западного фронта, у Ельни действует 18-я танковая дивизия противника, ведшая тяжелые бои больше 8 суток. Других частей противника там не наблюдалось».

А через сутки тому же Ракутину из штаба Резервного фронта сообщалось, что «до ста танков противника предположительно 7-й танковой дивизии проникли через фронт группы Калинина… Ожидайте их выход к вашему фронту».

На самом деле и те и другие сведения были неверны: в районе Ельни действовали совсем другие части немцев.

Донесения штаба Резервного фронта в Генштаб носили противоречивый характер: 24-го туда доносили, что, по докладу прибывшего раненым в штаб армии полковника Бочкарева, наши части с утра повели решительное наступление и наши танки ворвались на северную и северо-восточную окраины Ельни и ведут там бой. В связи с этим командующий фронтом приказывал Ракутину выделить отряд преследования. А 25-го в Генштаб сообщалось, что 24-я армия отражает попытки противника прорваться на восток в районе Ельни.

Командующий Резервным фронтом генерал-лейтенант Богданов выражал Ракутину свое неудовольствие: «Из Вашего боевого донесения видно, что направление главного удара с севера не обеспечено необходимым количеством сил и средств. Наступление велось на всех направлениях примерно с одинаковым насыщением сил и средств. При этом танки использовались на второстепенных направлениях, действия войск направлены не на окружение и уничтожение противника, а на выталкивание его… Моего приказа не поняли и бьете противника растопыренными пальцами…»

Генштаб снова и снова запрашивал командующего Резервным фронтом: что происходит под Ельней? Вот как выглядит одна из лент переговоров по этому поводу:

«— У аппарата генерал-лейтенант Богданов.

— Слушаю вас.

— Про Ельню ничего не знаю. Из штарма 24 никаких Данных до сего времени не получил, несмотря на попытки получить их. Продолжаю добиваться сведений… Точное местонахождение Ракутина доложить не могу. Товарищ Ракутин сегодня менял свой командный пункт, и куда переехал, штарм 24 доложить не может. Сейчас еще раз запрошу штарм 24 — где находится Ракутин».

Кстати сказать, читая эти телеграфные ленты, я вспомнил то место своих записок, где меня так умилило, что при командующем армии в его полевом штабе всего три человека и что ему не сидится на месте. Личная храбрость и стремление побольше увидеть своими глазами, разумеется, привлекательные человеческие черты. Но если говорить серьезно, стиль руководства армией, с которым я столкнулся тогда у Ракутина, был, очевидно, палкой о двух концах.

В ту ночь с 24 на 25 июля, когда мы возвращались из 355-го полка к Ракутину и искали его, из штаба фронта пришло начальнику штаба армии и Ракутину сразу две гневные телеграммы:

«Комфронта категорически запретил посылать Ракутину какие-либо дополнительные части. Все, что находится в движении из района Вязьма на Ельня, вернуть в свои районы. Ракутину продолжать операцию имеющимися у него силами».

«Генералу Ракутину. Возмущен бездеятельностью войск в районе Ельня. От вас кроме просьб помощи ничего не имею. Требую уничтожить противника районе Ельня. Сил у вас для этого в большом излишке».

Все это вместе взятое отражает реальную обстановку тех дней под Ельней в одной из армий Резервного фронта, которая вдруг оказалась перед лицом прорвавшихся немцев. Войска 24-й армии состояли из недавно прибывших или еще двигавшихся к месту назначения частей, или из таких частей, как 100-я дивизия, едва начинавших переформировываться после выхода из окружения.

Появление немцев было внезапным, а оценка их сил неточной. Вдобавок командующий армией впервые руководил боевыми действиями.

Все это усугублялось общей запутанностью обстановки: немецкие танковые и

моторизованные дивизии прорвались в район, еще совсем недавно считавшийся тыловым районом Западного фронта. Еще несколько дней назад и штаб Резервного фронта, и штабы его армий целиком ориентировались на разведывательные данные стоявшего впереди Западного фронта и привыкли получать от него все сведения о противнике. Поэтому собственная разведка частей Резервного фронта в те дни, о которых идет речь в записках, работала особенно плохо, и в документах штаба Резервного фронта соседствовали самые противоречивые донесения: «По данным… 24-й армии, в районе Ельня противника обнаружено не было» и «До тысячи человек солдат мотопехоты противника… до 20 танков находятся в движении на Ельню».

Этим объясняется и такая, например, телеграмма из штаба Резервного фронта в Генштаб: «Докладываю. Насчет Ельни. Еще сегодня в 2 часа утра мне из штарма 24 докладывали, что ничего угрожающего там нет. Объяснение по поводу Ельни сейчас будет передано отдельной телеграммой. Штарм 24 не имеет технической связи с дивизиями, а отсюда — плохое управление, незнание обстановки. Следует отметить также недостаточную добросовестность работников оперативного отдела штарма». Вслед за этим на той же телеграфной ленте сохранился ответ начальника оперативного отдела штаба Резервного фронта полковника Боголюбова, данный им на запрос Генштаба: что же все-таки происходит под Ельней? «Отвечаю… У Ельни силы противника до полка и около ста танков. Два часа тому назад в этот район командирован мой помощник подполковник Виноградов и зам. прокурора для выяснения обстановки». А вслед за этим ответом идет дополнение: «Только сейчас вот доложили, что противник загнан в Ельню и в ближайшие часы с ним будет покончено».

На одной из телеграфных лент сохранился неполный текст телеграфных переговоров того самого подполковника Виноградова, о котором шла речь в предыдущей телеграфной ленте, с кем-то из работников штаба фронта, видимо с полковником Боголюбовым: «Товарищ Виноградов, теперь вам понятно, что произошло?» В ответ на этот вопрос Виноградов отвечает, очевидно, ссылаясь на свой предыдущий, правдивый доклад начальству: «Я первое время боялся этого слова, когда его выпустил (остается догадываться, что это было за слово: может быть, паника, может быть, бегство. — К. С.). Ну меня и ругнули! Это разговор между нами. За три четверти (очевидно, правды. — К. С.) тоже немного поругали.

Как вы посоветуете? Что делать в таких случаях? Говорить о „бескровном" или говорить, что есть? Понятно, что разбежались».

На этот вопрос его собеседник из штаба фронта отвечает: «Ты был прав. Хорошо. Вранье ни к чему не ведет. Лучше говорить правду. Если вас за это поругали — доложи… члену Военного Совета».

Я привел обрывок этого носившего товарищеский оттенок разговора по телеграфу, потому что он кажется мне типичным для того времени, отражающим всю силу противоречий между обстановкой, какой ее хотелось видеть сверху, и обстановкой, складывавшейся на деле, между ожидаемыми докладами и тем, что порой приходилось докладывать, не желая уклоняться от истины.

Чтобы прогнать немцев с Ельнинского выступа, оказалось необходимым серьезно подготовиться к этому, организовать наступление силами двух армий и несколько недель ожесточенно драться. И когда в одной из оперсводок штаба Резервного фронта о самом начале боев за Ельню я читаю, что «противник продолжает удерживать район Ельни» и что, несмотря на потери в пятьсот семьдесят человек, «неорганизованные слабые попытки 19-й стрелковой дивизии уничтожить противника успеха не имели», то эти невеселые данные отнюдь не дают исчерпывающего представления о потенциальных возможностях этой впопыхах брошенной под Ельню дивизии. Да, это были для нее, как и для многих других, первые дни жестокой науки войны, первые неудачи, первые уроки. Но если заглянуть, как я это делал в других случаях, в последующую историю этой же 19-й дивизии, мы увидим, что за четыре года войны она прошла путь от Подмосковья до Праги, форсировала Днепр, Буг, Днестр, Дунай, воевала в Румынии, Югославии, Венгрии, Австрии, Чехословакии, получала благодарности за взятие Констанцы и освобождение Белграда, за овладение Будапештом и Братиславой. Но долгий путь этот начинался именно под Ельней, и начинался с неудач, с первых неорганизованных попыток отбить у немцев этот маленький городок Смоленщины.

53 «— Тогда я с вами пошлю им приказание, — сказал он. — Но только срочно доставьте»

У меня в блокноте сохранилась запись, сделанная чьим-то чужим почерком: «Приказание от 25.VII-41 8.00 командующего армией получил 10.20 25 VII. Н.

О.—1. Капитан Лисин. 25.VII-41». Эта запись не может быть ничем другим, как распиской начальника оперативного отдела штаба 107-й дивизии в том, что я вручил ему пакет от Ракутина. Если добавить к этому, что в один и тот же день те же самые корреспонденты сперва отвозили приказание командующего армией в дивизию, а потом отвозили приказание командира дивизии в его разведывательный батальон, — это даст известное представление о том, как обстояло в те дни со средствами связи и с доставкой приказаний. Во всяком случае там, где мы были.

Не хочу, чтобы это прозвучало упреком. Тогда мы были горды оказанным нам доверием. Просто хочу напомнить, как было дело, как тогда, в июле еще, случалось то, что спустя несколько месяцев стало просто-напросто невозможным.

54 «Откуда, я мог знать, например, тогда, прощаясь с Ракутиным… что я его больше никогда не увижу и что во время вяземского окружения он будет ранен и, по слухам, застрелится»

Не помню, откуда до меня дошли эти слухи тогда, весной 1942 года, когда я диктовал записки. Сколько я ни рылся теперь в архивах, мне так и не удалось найти сведения о том, как именно погиб командующий 24-й армией Константин Иванович Ракутин. Известно только, что он погиб в октябре 1941 года. Ему было к этому времени тридцать девять лет, из них двадцать два года прошли на военной службе. Перед войной Ракутин был начальником пограничных войск Прибалтийского округа и в командование армией вступил уже в дни войны.

Последнее донесение от Ракутина было получено в штабе Резервного фронта 9 октября 1941 года: «Противник силой 5-й танковых дивизий… продолжал развивать наступление, стремясь к полному окружению войск 24-й армии… Части 24-й армии, ведя ожесточенные бои в полосе обороны, окружены, атакованы с фронта и с флангов… Ракутин, Иванов, Кондратьев».

Донесение поступило только 9 октября, а было отправлено Ракутиным еще 7-го. Видимо, положение армии было отчаянное. За 8 октября есть такая телеграмма штаба Резервного фронта в Генштаб: «Немедленно по прямому проводу. Шапошникову. Подать автотранспортом Ракутину снарядов, горючего, продовольствия не могу. Прошу срочного распоряжения сбросить с самолетов… Время выброски предположительно 4 часа ночи 9 октября. Буденный».

Вслед за этим в Генштаб идет телеграмма от начальника штаба Резервного фронта: «Высланные Ракутину самолетом офицеры связи установленных сигналов по прибытии не дали и самолет не вернулся. Сигналов, обозначающих место выброски огнеприпасов, горючего и продуктов, поэтому не установлено. Командующий просит намечавшуюся на 4.00 9.X выброску Ракутину грузов не производить, а перенести на 10-е. С утра 5-го планируется посылка новых командиров на самолетах. Анисов».

Следующий документ — чья-то служебная записка (подпись неразборчива) начальнику штаба Резервного фронта: «Генерал-майору Анисову. Вручить немедленно. От Ракутина никаких донесений и информаций не получили, несмотря на наши запросы…»

Еще один документ почти того же содержания: «О Ракутине никаких донесений не получили. Его радиостанция на вызов… с 14.00 8.X не отвечает. Высланные сегодня в район нахождения Ракутина на самолете У-2 радист и шифровальщик до сих пор сигнала о своем прибытии не дали».

И, наконец, последний документ: «19.00 вернулся капитан Бурцев, летавший на поиски Ракутина. В районе юго-восточнее Вязьмы самолет Бурцева был обстрелян… Бурцев ранен. Самолет поврежден… Остальные делегаты (очевидно, тоже вылетавшие на самолетах. — К. С.) к 21 часу не вернулись».

Это все, что есть о Ракутине в переговорах штаба Резервного фронта с Генштабом вплоть до 13 октября — дня ликвидации Резервного фронта и объединения его с Западным фронтом под общим командованием Жукова.

За всеми этими донесениями и телеграфными переговорами стоит страшная обстановка первой половины октября, когда из штаба фронта предпринимались последние попытки связаться с 24-й армией и хоть чем-нибудь помочь ей. Невозможно без волнения и чувства какой-то запоздалой растерянности читать все эти документы. Невольно снова и снова думаешь о том, какие величественные усилия потребовались нам, чтобы все-таки сначала остановить, а потом и разгромить немцев под Москвой.

Штабные документы так ничего и не сказали мне о судьбе Ракутина. Тогда я обратился к докладным запискам его сослуживцев, вышедших впоследствии из окружения.

Вывезенный из партизанского отряда самолетом в Москву в январе 1942 года член Военного Совета 24-й армии Николай Иванович Иванов видел Ракутина в последний раз 7 октября и пишет об этом так: «…24-я армия попала в крайне тяжелую обстановку… Штаб, в том числе я и командующий генерал-майор Ракутин отходили с ополченческой дивизией… 6.X мы вышли в район Семлева. Части дивизии, будучи уже к тому времени потрепаны, видя, что кольцо окружения замкнуто, залегли и приостановили движение вперед. Учтя такое положение, я и командующий армией тов. Ракутин пошли непосредственно в части, чтобы оказать непосредственную помощь командованию дивизии… Во второй половине дня я был ранен. Из слов товарищей видно, что после моего ранения дивизия могла сопротивляться полтора-два часа. Насколько это достоверно, утверждать не смею…»

Больше упоминаний о судьбе Ракутина в этой докладной записке нет. В дальнейшем Иванов повествует о том, как его, тяжело раненного, тащили через леса его товарищи, как, сделав все, что было в человеческих — силах, они все-таки в конце концов спасли его и доставили в партизанский отряд.

Иванов после долгого лечения был признан годным к службе только в учреждениях тыла и назначен комиссаром Академии связи, но, будучи недоволен этим, писал по начальству: «Еще раз осмеливаюсь вас просить удовлетворить мою просьбу, дать мне возможность работать в действующей армии».

Напомнив, что ему обещали, когда он окрепнет, отправить его на фронт, Иванов писал: «Теперь я уже давно окреп, вернее совсем здоров, неоднократно обращался с просьбой к вам… Продумав все, я не нашел особых погрешностей, которые могли бы быть препятствием к удовлетворению моей просьбы. Единственно, что остается, — это положение, в котором я очутился, будучи членом Военного Совета 24-й армии. Как видно, это является камнем преткновения. Если так, я просил бы мне разъяснить, в чем моя вина? Не у всякого хватило бы силы воли перенести то, что пришлось пережить мне. О моей роли в тылу врага могут подтвердить люди, указанные мною в моем объяснении. Разобраться с этим легко при желании…»

Неизвестно, какой конечный результат имело бы это достаточно резкое по тем временам письмо, может быть, и положительный, но дивизионному комиссару

Иванову на фронт попасть не довелось: он считал себя достаточно здоровым для этого, но вскоре после того, как отправил свое письмо, скоропостижно умер.

Начальник штаба 24-й армии генерал-майор Кондратьев, 18 октября с боями вышедший из окружения вместе с группой в сто восемьдесят бойцов и командиров, так же как Иванов, упоминает, что он в последний раз видел Ракутина 7 октября утром, когда Ракутин приказал ему «выехать в район Семлева с задачей привести в порядок вышедшие туда части армии и подготовить оттуда управление войсками. С той поры, т. е. с 11–12 часов 7.X, я больше ни товарища Ракутина, ни товарища Иванова не видел».

Начальник политотдела 24-й армии дивизионный комиссар Абрамов, вышедший из окружения только 16 ноября всего с шестью человеками, последний раз видел Ракутина еще раньше — 4 октября.

Упоминая об Абрамове, хочу указать на одну, очевидно, допущенную мною в записках путаницу. Я упоминаю в нем о двух встречах с Ракутиным и членом Военного Совета армии дивизионным комиссаром Абрамовым. На самом деле дивизионный комиссар Абрамов был начальником политотдела армии, а членом Военного Совета был дивизионный комиссар Иванов. Не могу утверждать этого с абсолютной точностью, но скорей всего именно с ним я и встречался, тем более что вместе с командующим армией на командных пунктах обычно находился член Военного Совета, а не начальник политотдела. А ошибиться я мог очень просто: в редакции фронтовой газеты, видимо, сказали, чтобы я в 24-й армии явился к дивизионному комиссару Абрамову, и когда я оказался у Ракутина и увидел вместе с ним дивизионного комиссара члена Военного Совета, то не стал спрашивать его фамилию, решив, что это и есть Абрамов.

Очевидно, так. С Абрамовым я впоследствии встречался на фронте, в том числе в Сталинграде, — он был членом Военного Совета 64-й армии генерала Шумилова, пленившей Паулюса. Наши первые встречи с ним под Ельней, если б они действительно были, очевидно, пришли бы мне на память. Запамятовать или спутать Константина Кириковича Абрамова с кем-нибудь другим было, по правде говоря, трудно, настолько это был самобытный человек смелого и даже необузданного характера. Во время войны он стал Героем Советского Союза, а после войны, оставив политическую работу, окончил Академию Генерального

штаба и вплоть до своей смерти командовал корпусом.

55 «Мы поговорили с двумя разведчиками, которые накануне нахально проехались по немецким тылам… я потом написал о них свою последнюю корреспонденцию в „Известиях"»

Корреспонденция была напечатана в «Известиях» 29 июля под заголовком «Разведчики». Проверив ее текст по записям в блокноте, хочу на всякий случай уточнить — вдруг эти люди еще разыщутся, — что одного из разведчиков — заместителя политрука Палаженко — звали Василием Емельяновичем, а второго — младшего лейтенанта Гришанова — Леонидом. В корреспонденции все соответствовала действительности, за исключением ее последних абзацев, где я описывал, как мы подъехали к трем захваченным нашими бойцами немецким летчикам. Я оборвал корреспонденцию именно на том, как мы подъехали к ним. Все происшедшее с нами после этого по причинам, тогда, в июле 1941 года, вполне понятным, я начисто опустил. Этот эпизод достаточно подробно рассказан в записках, и если он нуждается и комментариях, то лишь для того, чтобы дать ощутить атмосферу, в которой могла возникнуть эта нелепая история.

В донесении начальника политотдела 107-й стрелковой дивизии полкового комиссара Полякова за этот день, 25 июля, указывается, что «авиация противника в течение 25 июля на участке обороны дивизии проявляла активные действия. Днем был произведен сильный налет… участвовало 22 фашистских самолета… В 19 часов 4 фашистских бомбардировщика подвергли бомбардировке зажигательными бомбами город Дорогобуж. В результате бомбардировки центральная часть города разрушена и сожжена. Из красноармейцев 630-го стрелкового полка, стоявших на охране моста, 6 человек ранено… Есть много убитых граждан».

Дальше в донесении говорится, что наши зенитчики сбили два фашистских бомбардировщика. «Один вражеский самолет упал в городе и сгорел вместе с экипажем. Экипаж второго фашистского самолета — 3 человека — взят в плен со всеми документами и картами, и один фашист застрелился. Пленные со всеми документами направлены под конвоем в штаб армии».

О пленении двух военных корреспондентов и их водителя в политдонесении, разумеется, не указывается.

Просматривая документы за эти дни, нетрудно заметить ту вполне понятную нервозность, которая проявлялась в только что прибывших на фронт частях, вдруг увидевших, что в воздухе господствуют немцы. Эффект неожиданности был тем сильнее, что наша печать и пропаганда с каким-то особенным упорством игнорировали именно эту часть тяжелой правды первого периода войны.

В одном донесении писали, что, «невзирая на неоднократные указания о бесцельности одиночной стрельбы по самолетам противника, беспорядочная стрельба продолжается. Стреляют… из револьверов, наганов, пистолетов, стреляют на расстоянии 2–4 километров и т. д.». В другом донесении сообщали: «Нашими войсками сбит самолет, принадлежащий к штабу армии. Убит летчик и ранен летнаб. Такие явления происходят в силу панической трусости отдельных людей перед авиацией противника».

Эти документы, как мне думается, дополняют описанную в записках картину и дают представление и о мере существовавшей тогда нервозности, и о мере того возбуждения, которое могло охватить людей, впервые своими глазами увидевших, как падают сбитые немецкие самолеты.

В связи с этим эпизодом мне остается добавить несколько слов о полковом комиссаре Полякове, о котором я не очень лестно отозвался в своих записках. Я и теперь не испытал теплых чувств при воспоминании о нашей тогдашней встрече. Но сейчас я знаю то, чего не знал тогда. Начальник политотдела дивизии принадлежал к числу людей, жестоко пострадавших в тридцать седьмом году, оклеветанных и освобожденных из тюрьмы перед войной. Я имел случаи убеждаться, что такие травмы по-разному действовали на разных людей. Бывало и так, что люди после этого становились замкнутыми, сугубо формальными, даже придирчивыми, действовали так, чтобы, как говорится, комар носа не подточил. Если учесть, что уполномоченный особого отдела, разговаривая с полковым комиссаром, в своем возбуждении продолжал городить про нас всякую ересь, то можно допустить, что трудное прошлое самого полкового комиссара именно в этих обстоятельствах могло сыграть известную роль в его сугубо формальном и придирчивом отношении к нам.

56 «Мне сказали, что командир дивизии приехал, и я пошел к нему»., 107-я, впоследствии 5-я Гвардейская Краснознаменная Городокская стрелковая

дивизия, которой командовал полковник Павел Васильевич Миронов, потом, в сентябре, участвовала во взятии Ельни. Во время октябрьского наступления немцев на Москву она оборонялась под Калугой и вышла из окружения к Серпухову. Во время нашего контрнаступления под Москвой с тяжелыми боями прошла свои первые двести километров на запад, а через три с лишним года закончила войну на косе Фриш-Нерунг в Восточной Пруссии. Однако в данном случае цель моих комментариев не в том, чтобы обратить внимание на эту географию событий, которая вообще типична для многих частей Западного, а впоследствии Третьего Белорусского фронта, боевой путь которых пролег из Подмосковья в Восточную Пруссию.

История боевых действий 107-й дивизии позволяет не только проследить ее боевой путь, но и проанализировать некоторые контрасты войны, посмотреть, чем была война для нас и для немцев в начале и чем стала для нас и для них в конце.

В боях за Ельню с 8 августа по 6 сентября 1941 года дивизия уничтожила 28 танков, 65 орудий и минометов и около 750 солдат и офицеров противника и, захватив довольно большие по тому времени трофеи, сама потеряла в этих боях 4200 человек убитыми и ранеными, то есть взятие Ельни стоило ей тяжелых потерь. Очевидно, не менее тяжелые потери она понесла и потом, во время боев под Калугой и выхода из окружения. В этом не оставляют сомнений сами обстоятельства первого периода Московской битвы.

В дальнейшем дивизия больше не отступала, но в своих наступательных боях продолжала нести тяжелые потери.

В зимнем наступлении под Москвой, захватив около 50 танков и 200 немецких пушек и минометов, дивизия потеряла 2260 человек убитыми и ранеными. Потом, зимой и весной, в наступательных боях под Юхновом, предпринимавшихся с целью облегчить положение нашей попавшей в окружение 33-й армии, дивизия потеряла еще 2700 человек убитыми и ранеными.

Последующие наступательные операции 1943 года (я беру потери только во время наступлений, а к ним надо прибавить повседневные и тоже порой значительные потери в так называемые «периоды затишья»), наступление на Гомель и взятие города Городок тоже обошлись дивизии очень дорого. Захватив в обоих операциях в общей сложности 44 танка и 169 орудий и минометов, она потеряла 5150

человек убитыми и ранеными.

Решительный перелом в соотношении между потерями и результатами боев для дивизии наступает летом 1944 года. Участвуя в разгроме немецких групп армий «Центр», она продвигается на 525 километров, освобождает 600 населенных пунктов и одной из первых переходит границу Восточной Пруссии. В ходе этой операции дивизия захватывает 96 танков и 18 самолетов и берет в общей сложности в плен 9320 немецких солдат и офицеров, сама за весь этот период боев потеряв 1500 человек.

В 1945 году начинается уничтожение восточно-прусской группировки немцев. При штурме Кенигсберга, заняв 55 его кварталов, дивизия захватывает в плен 15100 немецких солдат и офицеров, сама потеряв во время штурма 186 человек убитыми и 571 человека ранеными. После этого дивизия ведет бои за порт Пилау и на косе Фриш-Нерунг и в этих последних боях захватывает огромные трофеи и берет в плен в общей сложности 8350 солдат и офицеров, сама понеся потери убитыми 122 человека и ранеными 726.

Цифры, которые я привожу, требуют душевной осторожности в обращении с ними. Говоря о том, что дивизия при штурме Кенигсберга потеряла убитыми очень мало, всего 186 человек, невозможно выбросить из памяти, что эта действительно малая в общей статистике войны цифра все равно означает почти двести осиротевших семей, целое море слез и бездну горя. Но при всем том, вспоминая историю войны, необходимо сравнивать усилия и жертвы с их результатами. В 1941 году за участие во взятии маленького городка Ельни дивизия заплатила потерями в 4200 человек убитых и раненых, а в 1945 году при взятии главной немецкой цитадели в Восточной Пруссии — Кенигсберга — отдала только 186 жизней и потеряла ранеными менее 600 человек.

В процессе четырехлетней войны между пашей и германской армиями происходили перемены большого масштаба и значения. Вся очевидность их ясна и зафиксирована не только на картах, где сначала синие стрелы подходили к Москве и втыкались в Волгу и Кавказский хребет, а потом красные стрелы пересекли Одер и Нейссе. Огромность перемен очевидна и при чтении таких скорбных документов, как списки потерь за разные годы войны. Соотношение масштабов продвижения, количества захваченного оружия и пленных с

масштабами понесенных потерь свидетельствует и об уровне технического оснащения обеих армий, и об уровне их военного опыта и воинского мастерства.

В период первых стычек 107-й дивизии с немцами под Ельней ее опыт ведения современной войны был равен нулю. Все испытания были впереди. И тот уровень воинского мастерства, который вместе с выросшим во много раз уровнем техники позволил ей в Кенигсберге захватить штурмом 55 кварталов и взять 15100 пленных, потеряв 186 человек убитыми, мог быть приобретен лишь в жестокой школе войны. Другого пути для этого не было. Хотя нельзя забывать, что в ходе этой жестокой, но неизбежной учебы было совершено много оплаченных большой кровью ошибок и что их, очевидно, могло быть меньше, чем было. Но это последнее связано с проблемами куда более широкими, чем история боевого пути одной дивизии.

57 «Самолеты так и крутились над дорогой… мы все-таки продолжали ехать… был уже вечер 26-го, а утром 27-го я должен был явиться в Москву»

Двадцать шестого июля, когда мы с Трошкиным возвращались из-под Ельни, в штабе Западного фронта были получены последние сведения о действиях 61-го корпуса и входившей в него 172-й дивизии. Там, в двухстах километрах к западу от Ельни, теперь уже в глубоком тылу у немцев, все еще продолжались бои.

Двадцать шестого июля с 5.50 утра начальник штаба 13-й армии Петрушевский в ответ на запрос о положении под Могилевом отвечал: «От Бакунина имеем следующие данные: 25-го утром он запросил о возможности отхода ввиду тяжелого положения на фронте. Товарищ Герасименко приказал ему, невзирая на окружение, оборонять Могилев. Около 20 часов 25.VII получено было донесение об отходе его на рубеж Большое Бушково — Рыжи. Ночью было получено еще донесение, подтверждающее его отход… Можно думать, что он ведет уличные бои в Могилеве. Посланный самолет в связь с Бакуниным не вошел. Также не могли войти в связь по радио».

В описании боевых действий 13-й армии о последних боях за Могилев сказано так:

«61-й стрелковый корпус продолжал бой в окружении до 26.VII, прочно удерживая Могилевский плацдарм, где на протяжении всего времени шли весьма ожесточенные бои. Противнику нанесены были большие потери, но, не имея

боеприпасов и продовольствия, 26.VII части 61-го стрелкового корпуса и 20-го мехкорпуса начали отход. Причем 172-я дивизия осталась оборонять Могилев. Судьба ее неизвестна. Попытки наладить транспортировку боеприпасов воздушным путем успеха не имели, ибо противник сумел занять аэродром… и захватил мост через реку Днепр».

Добавлю от себя, что, судя по другим документам, такие попытки действительно были. В частности, я обнаружил в архиве документ, датированный четырьмя днями раньше: «Командиру Первого тяжелого авиаполка полковнику Филиппову. В ночь с 22 на 23 июля произвести выброску грузов на военном аэродроме Могилев. Высота выброски 400 метров… Время появления над аэродромом от часу до двух… выброску произвести всеми кораблями…»

В «Журнале боевых действий войск Западного фронта» 172-я дивизия в последний раз упомянута в записи от 26 июля 1941 года: «172-я стрелковая дивизия предположительно ведет бой в Могилеве».

Десятью днями раньше, 16 июля, как об этом свидетельствуют документы, выслушав личный доклад представителя штаба 13-й армии об обстановке под Могилевом, командующий Западным фронтом маршал Тимошенко «приказал Могилев оборонять во что бы то ни стало».

Судя по сохранившимся документам и опубликованным в печати материалам, 172-я дивизия, и в ее составе 388-й полк Кутепова, на протяжении последующих десяти дней выполняла этот категорический приказ до последней возможности. О том, какую важную роль в общем, тяжелом для нас ходе событий сыграло тогда это жестокое сопротивление частей 61-го корпуса, сказано в «Истории Великой Отечественной войны». Подтверждения этому можно найти и в воспоминаниях немецких генералов, в частности Гудериана.

Капитан Гаврюшин во время нашего единственного свидания с ним после войны рассказал мне, со слов кого-то из бойцов их полка, что тот видел, как полковника Кутепова, раненного в обе ноги, вытащили из окружения, из самого Могилева, но потом уже где-то в лесу, там же под Могилевом, он умер от потери крови. Ни в какой мере не могу поручиться за точность этого переданного из вторых рук рассказа, но все-таки привожу его. Очень уж хочется верить, что при дополнительном изучении всех этих Могилевских событий мы еще узнаем

какие-то подробности о последних днях и минутах жизни таких людей, как Кутепов, до своего смертного часа выполнявших приказ: «Могилев оборонять во что бы то ни стало!»

58— «Как вы считаете, неужели они сюда дойдут, а?

— Почему сюда? — удивились мы…

— Но вот Первомайск же взяли? И Кировоград взяли, — сказал лейтенант».

Сообщение о взятии немцами Первомайска и Кировограда было дано Информбюро вечером 14 августа, накануне нашего приезда в Красноград. В нем говорилось: «На южном направлении наши войска оставили Кировоград и Первомайск». На самом деле, как явствует из «Журнала боевых действий войск Южного фронта», немцы овладели Первомайском к исходу дня 3 августа, а Кировоградом — 5 августа, на одиннадцать и на девять дней раньше сообщения Информбюро.

Что касается Красноград, то о взятии его немцами в сообщениях Информбюро вообще не упоминалось. Очевидно, я мог прочесть об этом только в одной из оперативных сводок. Красноград был сдан немцам во время их нового, сентябрьского наступления. «Красноград занят противником неустановленной численности», — указывалось в сводке штаба Южного фронта за 22 сентября.

Я не совсем точно говорю в записках, что этот городок не был важным стратегическим пунктом. Видимо, мир и тишина, которые поразили нас там в августе, заставили меня написать эти слова. На самом деле Красноград стоял на важном перекрестке дорог из Полтавы на Лозовую и из Днепропетровска на Харьков. Судьба тихого городка оказалась драматичной. Он четыре раза переходил из рук в руки. В сентябре 1941 года попал в руки немцев, был освобожден нами в феврале 1943-го, потом в марте 1943-го во время контрнаступления немцев на Харьков был снова оставлен нами и опять занят только в сентябре, на этот раз окончательно.

59 «Еще перед отъездом из Москвы… в последнюю минуту нам сказали, что штаб Южного фронта уже не в Одессе, а в Николаеве. Но все-таки мы даже отдаленно не представляли себе размеров катастрофы, разыгравшейся… на Южном фронте»

Во избежание неточностей следует сказать, что штаб Южного фронта перебазировался из Одессы в Николаев еще 4 августа, и в «Красной звезде», при

ее информированности, конечно, не могли не знать об этом. Видимо, мне просто-напросто сказали о том, что штаб фронта переехал в Николаев, только когда сочли это необходимым — в ночь перед моим отъездом.

Пятнадцатого, когда мы уже были в пути, в боевом донесении Южного фронта в Генштаб говорилось о том, что 9-я армия отходит к Херсону и что Николаев горит, верфи, заводы и коммунальное хозяйство взорваны. В этом же донесении говорилось, что «Приморской армии приказано удерживать во что бы то ни стало район Одессы».

Судя по «Журналу боевых действий 9-й армии», немцы вышли на восточные окраины Николаева 16 августа с утра, в полдень в город ворвались танки, а еще через три дня немцы заняли и Херсон. Так стремительно и трагично для нас развивались события тех дней.

60 «В середине дня мы, по нашим расчетам, подъехали близко к Днепропетровску… Чем ближе к городу, тем поток беженцев становился все гуще»

Готовя записки к публикации, я давал их читать моим товарищам по фронтовым поездкам.

— А ты помнишь, — прочитав записки, вдруг сказал мне Яков Николаевич Халип, — там, у переправы, перед Днепропетровском, того старика? Почему ты о нем не написал?

— Какого старика?

— Ну, того, которого я хотел тогда снять, а ты мне не дал. А потом я все-таки снял его через окно машины. Того старика, который тащил телегу, впрягшись в нее вместо лошади, а на телеге у него сидели дети? Ты вообще почти ничего не написал о том, как было там, под Днепропетровском. Помнишь, я стал снимать беженцев, а ты не дал, вырвал у меня аппарат и затолкал меня в машину? И орал на меня, что разве можно снимать такое горе?

Я не помнил этого. Но когда Халип заговорил — вспомнил, как все было, а было именно так, как он говорил. Вспомнил и подумал, что тогда мы были оба по-своему правы. Фотокорреспондент мог запечатлеть это горе, только сняв его, и он был прав. А я не мог видеть, как стоит на обочине дороги вылезший из военной машины военный человек и снимает этот страшный исход беженцев, снимает этого

старика, волокущего на себе телегу с детьми. Мне казалось стыдным, безнравственным, невозможным снимать все это, я бы не смог объяснить тогда этим людям, шедшим мимо нас, зачем мы снимаем их страшное горе. И я тоже по-своему был прав.

А все это вместе взятое еще один пример того, как сдвигаются во времени понятия.

Сейчас, через двадцать пять лет после трагедии сорок первого года, глядя старые кинохроники и выставки военных фотографий того времени, как часто мы, я в том числе, злимся на наших товарищей — фотокорреспондентов и фронтовых кинооператоров — за то, что они почти не снимали тогда, в тот год, страшный быт войны, картины отступлений, убитых бомбами женщин и детей, лежавших на дорогах, эвакуацию, беженцев… Словом, почти не снимали всего того, что тогда, под Днепропетровском, я сам с яростью помешал снять Халипу.

Да, поистине очень осторожно следует сейчас, задним числом, подходить к оценке своих тогдашних мыслей и поступков, не упрощая того сложного переплета чувств, который был тогда у нас в душе.

61 «Было видно, как впереди дымятся днепропетровские заводы… Не прошло и десяти дней… как мы, отходя, взорвали их»

Запись относится к 16 августа. Она близка к истине. Из донесения штаба Южного фронта в Генштаб за 28 августа следует, что «противник… в результате пятидневных ожесточенных боев овладел Днепропетровск, и на плечах наших отходящих частей, использовав плохо подорванную переправу, форсировал реку Днепр». О падении Днепропетровска было сообщено почти сразу же, в вечернем сообщении Информбюро от 28 августа.

62 «Кажется, он намекал на то, что ехать правобережьем не стоит, потому что немцы где-то близко к Днепру»

Судя по архивным документам, наши опасения тогда, 16 августа, были неосновательны. Немцы прорвались к Днепру между Днепропетровском и Запорожьем у Хортицы только через двое суток, 18-го. И в тот же самый день, 18 августа, произошло одно из событий войны, особенно больно отозвавшееся в сердцах людей, — взрыв перемычки Днепрогэса.

Мы узнали об этом позже, потому что к тому времени уже ехали из Запорожья в Мариуполь.

63 «…многострадальная редакция, кажется, уже в девятый раз за войну меняла местопребывание»

Редакция фронтовой газеты Южного фронта на самом деле меняла свое местопребывание не в девятый, а всего в шестой раз за первые пятьдесят пять дней войны. Шесть передислокаций за пятьдесят пять дней для редакции фронтовой газеты — тоже немало, и в этом, как в капле воды, отражалась общая неустойчивость положения на Южном фронте.

64 «Про остальных нам сказали, что они где-то в войсках, не то вышли, не то еще выходят из окружения»

Судьбы писателей, о которых я расспрашивал тогда, в августе 1941 года в редакции фронтовой газеты, были очень разными.

Борис Горбатов в период июльских и августовских боев в окружение не попал, продолжал всю войну работать военным корреспондентом сначала газеты Южного фронта, а потом «Правды», и ночью с 8 на 9 мая 1945 года в моем присутствии написал из Карлсхорста свою последнюю корреспонденцию о безоговорочной капитуляции германской армии.

Долматовский в 1945 году тоже оказался в Берлине и присутствовал при том, как последний начальник германского генерального штаба генерал Кребс перед тем, как застрелиться, пришел с белым флагом и пытался вести переговоры с командующим 8-й Гвардейской армией генералом Чуйковым. А тогда, в 1941 году, работая в армейской газете 6-й армии, Долматовский пережил вместе с другими трагедию этой армии, был ранен, попал в плен под Уманью, бежал из плена, долго пробирался через немцев и вышел к своим только поздней осенью 1941 года, когда его уже считали погибшим.

Крымов и Аврущенко остались в окружении и погибли.

Джек Алтаузен тогда, в 1941 году, благополучно выбрался и погиб позже, во время харьковской катастрофы в мае 1942 года.

65 «История когда-нибудь рассудит наших современников и скажет свое слово об этих днях. Но тогда трудно было что-нибудь понять»

Это недоумение относилось ко многому, но в данном случае оно было прежде всего связано с обстановкой на левом крыле Южного фронта, где действовали 9-я армия и Приморская группа войск.

С одной стороны, с точки зрения общей концепции приказов и агитационных призывов того времени: «Ни шагу назад», «Драться до последнего», — действия 9-й армии, которая, оставив в районе Одессы Приморскую группу войск, После этого быстро сдала Николаев, а затем и Херсон и Собирала свой вырвавшиеся из окружения части в районе Берислава и Каховки, как будто заслуживают осуждения. Но, с другой стороны, можно понять, как радовались в штабе Южного фронта тому, что хотя бы эта армия и ее сосед справа — 18-я армия — вырвались из приготовленного немцами мешка и, приведя себя в порядок, будут и дальше воевать в составе войск фронта.

То, что в упорно продолжавшей обороняться Одессе с яростным осуждением говорили о 9-й армии, что она сдала за два дня Николаев, в то время как Одесса держится до сих пор, — по-человечески понятно. Хотя никак нельзя считать справедливыми рассуждения о том, что Николаев было нисколько не труднее оборонять, чем Одессу. Достаточно взглянуть на карту, чтобы увидеть: Николаев стоит в пятидесяти километрах от моря, на берегу узкого, глубоко врезавшегося в сушу Бугского лимана, и его неизмеримо труднее и защищать, и снабжать с моря, чем стоящую на берегу широкого и открытого залива Одессу.

Кроме того, 11-я немецкая армия, острием своего прорыва отрезая и оставляя у себя в тылу Одессу, шла как раз на Николаев и Херсон. И этот прорыв на Николаев, где еще за несколько дней до этого находился штаб Южного фронта, был настолько стремительным, что наши войска были там куда менее готовы к обороне, чем в Одессе, подступы к которой обороняла постепенно пятившаяся в боях все ближе к городу Приморская группа войск.

Наконец, хотя именно моряки Николаевской военно-морской базы вели последние скоротечные бои за Николаев, надо сказать, что, судя по документам, оборона Николаева силами Черноморского флота не была в достаточной степени предусмотрена заранее, план действий флота не был увязан с планом действий Южного фронта, и при общем ходе событий последние лихорадочные попытки моряков удержать Николаев уже не могли иметь успеха.

Что касается дивизии, которую «утащила» с собой при отступлении 9-я армия, это тоже спорный вопрос. Приморская группа войск (впоследствии Приморская армия) была сформирована из частей 9-й армии и первоначально находилась в ее оперативном подчинении. Название «Приморская армия» скорей отражало ее роль в защите Одессы, чем ее штатный состав. Первоначально в ней числилось три дивизии, а к началу обороны Одессы осталось еще меньше. 3-я дивизия, о которой говорили в Одессе, что она «утащена с собой» 9-й армией, на самом деле была разъединена в ходе нашего отступления. Один полк остался в Одессе, а два полка и управление дивизией были отсечены, отброшены на Николаев и в итоге действительно ушли вместе с 9-й армией. И можно предполагать, что в те дни в штабе 9-й армии отнюдь не были огорчены этим обстоятельством.

Что касается точки зрения командования Приморской армией, вполне естественно, что когда Одесса вдруг оказалась в окружении с суши, то ее защитникам трудно было примириться с тем, что у них осталось в руках только две дивизии из трех, первоначально входивших в Приморскую группу.

Так выглядят чисто военные спорные вопросы тех дней. Однако, при всей их существенности, если говорить о том, в чем история должна рассудить людей сорок первого года, есть куда более трудные вопросы того времени…

66 «…Понеделин, через несколько дней так печально прославившийся своим ставшим к этому времени уже общеизвестным предательством»

Генерал Понеделин упоминается в записках еще раз на крымских страницах, где речь идет об увиденных мною номерах «Фёлькишер беобахтер» с фотографиями «Качалова и Понеделина, тех самых, приказ об измене которых я месяц назад вез с собой из штаба Южного фронта в Одессу».

В этой фразе есть описка, очевидно, вызванная некоторым сходством фамилий: генерал Качалов тут ни при чем, речь шла о фотографиях генералов Кириллова и Понеделина, находившихся вместе на Южном фронте в одной и той же 12-й армии и одновременно взятых в плен. Остается гадать: сам ли я, диктуя записки, оговорился или механически ошиблась стенографистка. Говорю «механически», потому что после приказа, о котором я упоминаю, предательство Качалова и Понеделина было у всех на устах и их имена повторяли тогда именно в том порядке, в каком они стояли в приказе: «Качалов и Понеделин».

Приказ был вручен мне 18 августа в штабе Южного фронта: наверно, наша поездка морем в Одессу считалась самой подходящей оказией для доставки его в штаб Приморской армии, другой связи с ней в тот день, должно быть, не существовало.

На следующий день, 19 августа, Приморская армия вышла из состава Южного фронта и перешла в подчинение Черноморского флота, и когда мы с Халипом доставили приказ в Одессу, это уже не имело никакого значения — он был давно получен через флотские каналы и разослан по частям. Очевидно, поэтому я и не упоминаю в записках о том, как мы сдавали этот приказ в штабе Приморской армии.

Приказ Ставки Верховного главнокомандования, о котором идет речь, отданный 16 августа 1941 года и подписанный Сталиным, Молотовым, Буденным, Ворошиловым, Тимошенко, Шапошниковым и Жуковым, был историческим документом, отражавшим и обстоятельства и дух того времени не только с его героическими, но и с его отталкивающими сейчас нас чертами.

Обстановка, сложившаяся на фронте в дни, предшествовавшие изданию этого приказа, помогает представить себе атмосферу, в которой он был издан.

На Западном фронте наши войска начали наступление на Ельню, но уже становилось ясным, что упорные попытки вернуть Смоленск нам не удались. Южнее Смоленска в начале августа немцы окружили часть наших войск, в том числе часть так называемой «группы Качалова», и, по данным Типпельскирха (возможно, преувеличенным), взяли в этом районе в плен около 38 тысяч человек. Еще южнее немцы наступали на войска Брянского фронта, оборонявшиеся в районе Гомеля и Мозыря. Успех этого удара был предпосылкой для последующего наступления на Киев.

Но особенно тяжело обстояли дела на левом фланге нашего Юго-Западного фронта, на его стыке с Южным. Здесь немцы после тяжелых боев окружили 12-ю и 6-ю армии Юго-Западного фронта, прорвались к Кировограду и Первомайску и ринулись к Днепру между Днепропетровском и Запорожьем.

Одновременно с этим 11-я немецкая армия вышла к Николаеву и Херсону. 16-го утром, в день издания приказа, пал Николаев. Немногочисленные, не пополнявшиеся с начала войны части Южного фронта под угрозой окружения

поспешно отходили к Днепру и за Днепр. В результате прорыва немцев обстановка на Юго-Западном и Южном фронтах приобретала все более трагический характер. Независимо от последующих ошибок, именно в эти дни создались первые предпосылки будущей трагедии Юго-Западного фронта под Киевом.

В самом начертании линии фронта на карте все яснее угадывался тот мешок вокруг Киева, который создался впоследствии. Но, мысленно возвращаясь к тому времени, надо отдать себе отчет в том, как страстно не хотели люди, несмотря на невыгодную конфигурацию фронта, отступать с Киевского выступа, оттуда, где они так долго держались и вели успешные бои с противником. Сколько можно отступать? Сколько можно отдавать еще и еще — городов, промышленных районов, наконец, просто территории своей страны? Сколько раз можно делать это ради очередного выравнивания фронта после очередных немецких прорывов?..

Я думаю, нельзя недоучитывать всей силы давления этих мыслей и чувств на Ставку в тех случаях, когда она слишком поздно давала разрешения на отвод войск.

Нетрудно представить себе, и какое значение в условиях следовавших одного за другом окружений имела в глазах Ставки решимость тех или иных, больших или малых, начальников не сдаваться в плен, драться до последнего, любой ценой с боями прорываться к своим. Вопрос о том, что позволено и чего не позволено делать в окружении, приобретал в этих условиях особую остроту. Сдача в плен даже в совершенно критическом положении безоговорочно осуждалась, и в этом был свой смысл — именно такая постановка вопроса должна была впредь толкать оказавшихся в окружении людей на сопротивление до конца даже в абсолютно безнадежных ситуациях. Вопрос о том, что дальнейшее сопротивление при определенных обстоятельствах могло быть признано бессмысленным, снимался с обсуждения.

Во всяком случае, таким мне представляется ход мыслей Сталина, приведший к появлению приказа от 16 августа 1941 года. В этом приказе прямо противопоставлялись вырвавшиеся из окружения во главе небольших групп войск заместитель командующего Западным фронтом генерал-лейтенант Болдин,

командующий 3-й армией генерал-лейтенант Кузнецов и армейский комиссар Бирюков, комиссар 8-го мехкорпуса Попель и полковник Новиков — другим военачальникам, оказавшимся в окружении и сдавшимся в плен немцам, — командующему 28-й армией генералу Качалову, командующему 12-й армией генералу Понеделину и командиру 13-го стрелкового корпуса генералу Кириллову.

В приказе была дана антитеза; с одной стороны, «даже те части нашей армии, которые случайно оторвались от армии, попали в окружение, сохраняя дух стойкости и мужества, не сдаются в плен, стараются нанести врагу побольше вреда и выходят из окружения», с другой стороны — «мы не можем скрыть и того, что за последнее время имели место несколько позорных фактов — сдача в плен врагу».

Трудно переоценить значение, которое в тот тяжелый момент войны имели приведенные в приказе примеры удачных прорывов через немецкие тылы. Я не только помню, как подействовало на меня это тогда, я и сейчас, через двадцать пять лет, не могу без волнения читать доклад Болдина, написанный им непосредственно после выхода с боем из окружения 12 августа 1941 года.

Предельно короткий, всего в три странички, составленный с щепетильнейшей военной точностью и честностью, этот доклад до сих пор производит глубокое впечатление. В самом деле: сформировав из остатков разгромленной в районе Белостока в первые дни войны 10-й армии сводный отряд из двух с половиной тысяч человек пехоты, с двумя танками и двенадцатью орудиями, Болдин с боями прошел по немецким тылам от Белостока до Смоленщины около шестисот километров, если считать по прямой, и прорвался на тридцать девятые сутки на фронте армии Конева к своим, выведя с собой 1664 человека, из них 103 раненых, которых он тоже не бросил при прорыве в тяжелом последнем бою. В приказе Ставки были приведены довольно крупные цифры потерь, нанесенных при этом немцам, взятые из доклада Болдина. Расходилась только одна цифра — уничтоженных немецких машин, очевидно, из за какой-то описки, перенесенная из доклада в приказ в сильно преувеличенном виде.

Доклад Болдина — один из самых гордых документов того тяжелого времени, — и, конечно, это лишь догадка, — но мне кажется, что, появившись всего за три дня

до приказа Ставки, именно он мог оказаться непосредственным толчком к тому, чтобы этот приказ принял форму прямого противопоставления.

Вслед за несколькими примерами такого действительно героического выхода из окружения, как прорыв Болдина, в приказе Ставки было приведено несколько фактов сдачи в плен врагу. В приказе так прямо и было сказано, что «отдельные генералы подали плохой пример нашим войскам», и в качестве первого из этих плохих примеров был приведен пример командующего 28-й армией генерал-лейтенанта Качалова, который, «находясь вместе с штабом группы войск в окружении, проявил трусость и сдался в плен немецким фашистам. Штаб группы Качалова из окружения вышел, пробились из окружения части группы Качалова, а генерал-лейтенант Качалов предпочел сдаться в плен, предпочел дезертировать к врагу».

Читая документы Западного направления за июль — август, я наткнулся на телеграфные переговоры за 4 августа 1941 года, в которых упоминалось имя Качалова. Разговор шел по прямому проводу, на одном конце которого был уже вступивший к тому времени в должность начальника Генерального штаба маршал Шапошников, а на другом — ушедший к этому времени с поста начальника Генерального штаба на должность командующего Резервным фронтом, оставаясь при этом членом Ставки, генерал армии Жуков. Вот эта запись:

«У аппарата Жуков. Здравствуйте, Борис Михайлович! В связи со срывом наступательных действий групп Хоменко, Калинина и Рокоссовского и неудачными действиями двадцатой и шестнадцатой армий, считаю дальнейшие действия Качалова на Смоленском направлении бесцельными, а со взятием противником Рославля положение Качалова может быть очень невыгодно. Качалов может быть окружен. Считаю необходимым левый фланг и центр Качалова немедленно оттянуть на восток…»

Этот разговор свидетельствует о том, что еще за несколько дней до происшедшей с группой Качалова катастрофы шла речь о выводе ее из-под угрозы окружения, но, видимо, наверху этому не вняли.

При чтении приказа Ставки может создаться впечатление, что из окружения вышел весь штаб Качалова и все части его группы и только генерал-лейтенант Качалов остался и сдался в плен немцам. Как на самом деле вел себя Качалов в

окружении и какие отчаянные попытки предпринимал он, чтобы исправить положение, — дают известное представление посвященные Качалову страницы последнего издания книги маршала Еременко «На Западном направлении». Во всяком случае из окружения вышел не весь штаб Качалова, а лишь часть его, и не все войска группы Качалова, а лишь часть их, да иначе и не могло быть в создавшейся обстановке. Что касается самого генерал-лейтенанта Качалова, то вопреки всему, что о нем было написано в приказе Ставки, он не сдавался в плен и не дезертировал к врагу, а погиб в бою при не установленных до конца обстоятельствах. Некоторые данные, приводимые маршалом Еременко, говорят о том, что, потеряв связь между командным пунктом и частями, Качалов сел в танк и, пытаясь прорваться через немцев к своим частям, чтобы лично руководить боем, погиб во время этой попытки.

Таким образом, к тому времени, когда его доброе имя клеймилось в приказе Ставки как имя дезертира, генерал Качалов был уже мертв. Откуда попали в Ставку сведения о дезертирстве Качалова и о сдаче его в плен — трудно сказать. Скорей всего из недобросовестных докладов мнимых очевидцев. Я хорошо помню, как тогда, в 1941 году, после приказа Ставки в армии шли разговоры о том, что генерал Качалов сел на танк и на этом танке уехал к немцам.

Кстати сказать, в послужном списке Владимира Яковлевича Качалова не было ровно ничего, что могло хотя как-то способствовать подозрениям в том, что этот человек способен сесть на танк и бежать от своих войск к немцам.

Скорей наоборот:

«Имею пять ранений:

1918 сентябрь — в бою под Варламовской.

1919 январь — в бою под Воропаново.

1919 май — в бою контузия — на реке Маныч.

1922 август — в бою с бандами в районе Ставрополь.

1923 декабрь — в бою с басмачами в Бухаре в районе Мир Шаде».

Прапорщик военного времени, командир роты в германскую войну, командир полка и дивизии — в гражданскую. Два ордена Красного Знамени на груди. Одна из довоенных аттестаций: «Боевой командир. Многократно ранен. Энергичен.

Достаточно решителен. Чрезмерно самоуверен».

Нет, что-то не похоже на то, чтоб такой человек бежал к немцам. Во всяком случае стоило бы задуматься, подождать, проверить…

В основе слухов, видимо, лежал факт — Качалов действительно пытался прорваться на танке через немцев. Но этому факту была дана совершенно противоположная и оскорбительная в своей неправоте трактовка, и ее нельзя считать случайной, ибо она в точности соответствовала тому духу подозрительности и недоверия к людям, который еще сохранился с тридцать седьмого года и в тяжелой обстановке лета сорок первого года приводил к страшным рецидивам. Что человек предатель — доказательств не требовалось. Требовались доказательства, что он не предатель.

Дух этот не выветрился и позже. Уже после Сталинграда, после того, как остались позади все самые критические дни войны, в апреле 1943 года Сталин подписал постановление, которым было установлено, что «семьи попавших в плен генералов Красной Армии обеспечиваются пенсией и единовременным пособием только в том случае, когда об этих генералах имеются данные, что они не являются предателями». В этом постановлении все было поставлено на голову самым бесчеловечным образом. Примерно так обстояло дело и с Качаловым.

Два других плохих примера были связаны с командующим 12-й армией Понеделиным и командиром корпуса этой же армии Кирилловым. В приказе было сказано о Понеделине, что он, «попав в окружение противника, имел полную возможность пробиться к своим, как это сделало подавляющее большинство частей его армии».

Попробуем разобрать это первое положение приказа, относящееся к Понеделину. Известное представление о том, чем на самом деле являлось это «подавляющее большинство частей» армии Понеделина, дает донесение командующего Южным фронтом генерала Тюленева, направленное 11 августа начальнику Генерального штаба Шапошникову и командующему Юго-Западным направлением Буденному: «Для доклада товарищу Сталину. Передаю предварительную справку о количестве вышедших из окружения людей и имущества из состава 6-й и 12-й армий в границах фронта… Вышло 10961 человек, 1015 машин, 525 винтовок, 15 пулеметов, 2 пушки. Выход людей группами и одиночками продолжается. Сколько

вышло перед Юго-Западным фронтом — не учтено».

Большая цифра — 1000 машин — очень характерна. Она говорит о том, что из окружения успели вырваться главным образом тылы, а основные боевые части остались в окружении и не вышли. Не стоит спорить о том, имел или не имел генерал Понеделин «полную возможность пробиться к своим». Быть может, один, без войск, он и имел возможность успеть выбраться из окружения на связном самолете или на танке. Но о том, что он не имел возможности пробиться к своим вместе с войсками, свидетельствует и тот факт, что почти вся 12-я армия осталась в окружении и не вышла, и целый ряд фактов, предшествовавших этому.

В «Истории Великой Отечественной войны» говорится о том, что 6-я и 12-я армии с тяжелыми арьергардными боями отходили на восток и юго-восток и что 1-й танковой группе немцев и 17-й немецкой армии удалось 2 августа перехватить коммуникации основных сил 6-й и 12-й армий и окружить их в районе Умани. Далее там же говорится, что окруженные войска вели героическую борьбу до 7 августа, а отдельные отряды — до 13 августа. «Многих бойцов и командиров постигла тяжелая участь фашистского плена». Этими словами завершается соответствующий абзац «Истории Великой Отечественной войны». В числе людей, которых постигла тяжелая участь фашистского плена, оказался и командующий 12-й армией генерал Понеделин и его подчиненный, командир 13-го корпуса генерал Кириллов.

Если прибегнуть к свидетельству наших противников, то в директиве № 33 германского верховного командования от 19 июля 1941 года было записано так: «Важнейшая задача — концентрическим наступлением западнее Днепра уничтожить 12-ю и 6-ю армии противника, не допуская отхода за реку».

На выполнение этой «важнейшей задачи» немцами были соответственно брошены крупные силы. В «Истории Второй мировой войны» Типпельскирха рассказывается о том, как части 12-й и 6-й армий сначала, собрав все силы, пытались пробиться на восток, отрезав клин наступавших немецких танковых войск: как потом, когда стали обрисовываться контуры Уманьского котла, русские войска были остановлены и 2 августа окончательно окружены, после чего еще шесть дней, до 8 августа, продолжались бои с этой окруженной группировкой в районе Первомайск — Ново-Архангельск — Умань. Непосредственно после этого Типпельскирх с

сожалением пишет, что I-й танковой группе немцев, которая лишь после этого смогла продолжить свое дальнейшее наступление на юго-восток, теперь уже не удалось полностью осуществить свой план и отрезать остальные армии Южного фронта.

А теперь попробуем обратиться к сохранившимся документам самой 12-й армии, дающим представление и о тяжести обстановки, и об упорных попытках выйти из окружения и пробиться к своим.

Сводка за 25 июля: «12-я армия ведет борьбу на два фронта. На западе — прочной обороной отражает все попытки сильного нажима противника силою свыше трех пехотных дивизий. На востоке армия развивает удар на северо-восточном направлении…»

Сводка за 27 июля: «6-я и 12-я армии, прикрываясь частями 49-го и 16-го мехкорпусов, 26.VII с наступлением темноты начали выход из боя, с целью создания крупной группы войск, фронтом на восток, для противодействия повторному окружению армий».

Сводка за 29 июля: «Армия в течение дня правым флангом переходила к обороне, отражая на своем фланге атаки противника на Иван-город. Противник силою до двух пехотных дивизий из района Ивапьки, наступая на Умань, и до трех пехотных дивизий из района Гайсин на Умань стремится завершить окружение 6-й и 12-й армий».

Сводка за 31 июля: «В течение ночи армия производила перегруппировку… с целью продолжения с утра 31-го наступления в восточном и северо-восточном направлении. Противник одновременным наступлением с севера и юга стремится завершить окружение 6-й и 12-й армий… 13-й стрелковый корпус… начал наступление и, встречая сильное огневое сопротивление из района Каменечье, в 10.00 овладел юго-западной окраиной… Соседей справа и слева нет…»

После 31 июля оперативных сводок 12-й армии я в архивах не обнаружил, но нашел один документ, дающий представление о тяжести дальнейших боев, которые вела окруженная группировка, состоявшая из остатков двух армий и к этому времени находившаяся под общим командованием генерала Понеделина. Пакет адресован: «Командующему Южного фронта». На пакете надпись: «Обнаружен в деле в запечатанном виде при разборке документов 9.VIII.41 в

12.30». В пакете содержится приказ по 6-й армии, подписанный ее командующим генералом Музыченко. В приказе говорится, что в течение 4 августа противник, «перехватив все дороги, полностью окружил части 6-й и 12-й армий. 6-я армия совместно с 12-й армией продолжают выход из окружения. Частями 16-го мехкорпуса и 37-го стрелкового корпуса армия прорывается в общем направлении на Покотилово… Справа, прикрывая выход ударной группы 12-й армии, обороняется 13-й стрелковый корпус». Далее идут распоряжения командирам частей, свидетельствующие о том, что близится момент кризиса. «Всю материальную часть, не могущую быть использованной из-за отсутствия огнеприпасов, немедленно подорвать. Весь транспорт и имущество, не берущееся с собой при выходе из окружения, уничтожить, оставив только крайне необходимое для боя и жизни частей… Все секретные дела и оперативное делопроизводство немедленно сжечь».

Надо полагать, что это был последний по времени документ, каким-то путем доставленный в штаб фронта оттуда, из окружения, и, судя по надписи на пакете, не сразу прочитанный.

Если обратиться к документам штаба Южного фронта, они тоже свидетельствуют об упорных попытках частей 6-й и 12-й армий и их командования вырваться из немецкого кольца.

В «Журнале боевых действий войск Южного фронта» за 2 августа сказано, что «противник силою до пяти пехотных дивизий, до трех танковых дивизий, до двух мехдивизий стремится завершить окружение группы Понеделина» и что выход группы на рубеж реки Синюха «сопровождался ожесточенными боями авангардов группы за овладение Ново-Архангельское, который неоднократно переходил из рук в руки. Арьергардные группы Понеделина прикрывали отход, ведя ожесточенные бои…».

В «Журнале» за 3 августа сказано, что противник овладел Первомайском и «группа Понеделина, истощенная в непрерывных боях, в тяжелых условиях ведет бои в окружении, стремясь прорваться в восточном и юго-восточном направлениях… Попытки снабжения боеприпасами по воздуху успеха не имели».

В «Журнале» за 4 августа записано: «Группа Понеделина продолжает вести бои в замкнутом кольце без снарядов и артиллерии». И указан ряд пунктов, которые

она удерживает, «отбивая непрерывные атаки противника».

В «Журнале» за 5 августа после сообщения о том, что противник овладел Кировоградом, сказано: «Группа Понеделина в течение дня продолжала вести упорные, неравные бои с атакующими превосходящими силами противника. Подготовляла ночной штурм в южном направлении с целью выхода из окружения… Данных о результатах ночной атаки не поступило…» Видимо, это последняя запись в «Журнале боевых действий войск Южного фронта», которая опиралась на сколько-нибудь достоверные данные, поступившие из группы Понеделина.

Через пять дней в «Журнале» за 10 августа сказано, что «фронт продолжал отход на новый оборонительный рубеж» и что «с группой Понеделина связь потеряна и сведений о лей нет».

Судя по документам штаба фронта, 10 августа там еще не теряли надежды что-то узнать о группе Понеделина. В одном из документов, отправленных «для немедленного вручения. Москва. Главковерху товарищу Сталину», говорилось, что штабом фронта выделено две группы специально подготовленных лиц для переброски на самолетах в район окружения. «Группы снабжены коротковолновыми радиостанциями. Люди одеты в гражданское платье. Задача групп: проникнуть в районы, занимаемые частями 6-й и 12-й армий, и немедленно донести об их положении по радио по установленному коду…»

Так выглядит по документам того времени трагическая история неудачного прорыва из окружения и гибели остатков 6-й и 12-й армий, уже в окружении названных «группой Понеделина».

Ради справедливости надо добавить к сказанному, что Южный фронт, в состав которого 6-я и 12-я армии были переданы, лишь когда они были уже отрезаны от Юго-Западного фронта и кольцо вокруг них почти замкнулось, — не мог оказать им сколько-нибудь действенной помощи встречным ударом.

Остальные части Южного фронта сами находились в тяжелом положении. В донесении, направленном Сталину еще 21 июля, командующий фронтом генерал Тюленев докладывал, что «Южный фронт при протяжении его в 550–600 километров имеет 55–60 километров на одну стрелковую дивизию». А в другом донесении писал о 18-й и 9-й армиях своего фронта, что «по существу эти армии по численности активных бойцов являются в действительности немногим больше

дивизии. В частях совершенно отсутствуют танки. Пополнения материальной частью с начала войны в войска Южного фронта совершенно не поступало».

Как бы ни оценивать действия Понеделина, какие бы ошибки он ни совершил, командуя группой в этой очень тяжелой обстановке, — сказать, что он, «попав в окружение противника, имел полную возможность пробиться к своим, как это сделало подавляющее большинство частей его армии», — значило сказать неправду.

О самом Понеделине в приказе было сказано, что, «не проявив необходимых настойчивости и воли к победе», он «поддался панике, струсил и сдался в плен врагу, дезертировал к врагу». А о командире 13-го стрелкового корпуса Кириллове, что он «дезертировал с поля боя, сдался врагу».

Из документов того времени не складывается впечатления ни о паническом состоянии командующего группой, ни о его трусости, ни о его стремлении дезертировать с поля боя. Не создается такого впечатления и о генерале Кириллове, корпус которого, судя по документам, почти все время, прикрывая отход других частей, находился в наиболее тяжелом положении.

Стараясь со всех сторон взглянуть на эту сложную проблему, я обратился к личным делам Понеделина и Кириллова.

Понеделину в 1941 году было сорок восемь лет, во время Первой мировой войны он кончил школу прапорщиков и к концу войны командовал батальоном. В Красную Армию вступил в июле 1918 года, в партию — в августе 1918 года. Был за гражданскую войну награжден орденом Красного Знамени, ранен, воевал против Колчака, Деникина, белополяков, против банд Махно и Ангела, командовал на гражданской войне полком и бригадой; окончил Академию Фрунзе, шесть лет был в ней преподавателем; был начальником штаба и командиром дивизии, начальником пехотного училища и начальником штаба корпуса, армии, округа. Весной 1941 года стал командующим 12-й армией.

С оттенком горечи читаешь содержащиеся в деле аттестации на Понеделина: «Энергичный, решительный командир… Обладает богатым опытом и хорошей способностью к штабной работе… Штаб сколочен и к выполнению боевых задач готов». С тем же оттенком горечи читаешь и приказ по Академии Фрунзе, подписанный ее начальником Шапошниковым в момент, когда Понеделин уходил

из Академии на строевую должность: «…расставаясь ныне с товарищем Понеделиным, от лица службы за его работу в Академии приношу благодарность и товарищеское пожелание полных успехов на его дальнейшем служебном пути».

Биография Кириллова многими своими чертами схожа с биографией Понеделина: к началу войны ему было сорок четыре года, он, как и Понеделин, окончил школу прапорщиков и тоже командовал в Первую мировую войну батальоном; в гражданскую войну командовал ротой и был награжден орденом Красного Знамени. За три года до войны стал командиром того самого 13-го стрелкового корпуса, с которым попал в окружение под Уманью. В его последней предвоенной аттестации сказано, что 13-й корпус к выполнению боевой задачи готов, что генерал-майор Кириллов имеет хороший опыт командования и управления корпусом, обладает хорошим оперативно-тактическим кругозором, «в обстановке ориентируется быстро и решения принимает правильно и уверенно, настойчиво проводит их в жизнь. Политически выдержан, бдителен, морально устойчив, дисциплинирован. Волевые качества развиты… Командовать корпусом в мирное и военное время может».

И вот эти два человека с такими биографиями и аттестациями после тяжелых боев в окружении и настойчивых попыток во главе войск прорваться к своим в конце концов попали в плен.

Не в пример истории с Качаловым, в данном случае пункт приказа Ставки о том, что они попали в плен, соответствовал действительности. Они попали в плен и были сфотографированы рядом со взявшими их в плен немцами, и эти снимки появились в немецкой печати.

Являлось ли это само по себе достаточным основанием для того, чтобы объявить их трусами и дезертирами, не пожелавшими прорваться к своим, «имея полную возможность»?

Имелись ли достаточные основания утверждать это, притом всего через несколько дней после того, как эти люди попали в плен?

Вряд ли! На совести этих двух людей в тот момент было только одно — в последние минуты, перед тем как оказаться в плену, они физически не смогли, не успели или не решились застрелиться. Остается допустить все три эти возможности, потому что спросить, как было на самом деле, теперь уже не у кого.

Однако ни одна из этих трех возможностей еще не давала права ставить тот знак равенства между этими людьми и предателями, дезертировавшими к врагу, который был поставлен в приказе Ставки.

Я начинал с того, что, рассматривая сейчас этот приказ Ставки, мы не вправе сбрасывать со счетов ни тяжести обстановки лета 1941 года, ни меры необходимой резкости в постановке вопроса о повышении стойкости армии. Все это так, и в этом смысле приказ Ставки сыграл в те дни свою положительную роль. Другой вопрос — была ли действительная необходимость объявлять дезертирами и предателями этих двух людей, не бросивших своих войск, не бежавших от них, спасая свою жизнь, а попавших в плен вместе с тысячами своих подчиненных. Между осуждением самого факта сдачи в плен и объявлением попавших в плен людей дезертирами и предателями была грань, которую даже в той тяжелой обстановке нельзя было переходить. А когда ее переходили, это и в то время имело свою отрицательную нравственную сторону.

Однако оставим в покое 1941 год и заглянем из него в будущее.

С августа 1941 года и до конца войны Кириллов и Понеделин пробыли в плену. В разгар войны немцы пошли на создание так называемой РОА — русской освободительной армии — во главе с предателем Власовым.

Известно, что, прежде чем поставить во главе нее Власова, немцы обращались с предложением пойти на это предательство к другим генералам Советской Армии, находившимся у них в плену, и встретили несколько категорических отказов подряд.

Среди десятков находившихся в плену наших генералов нашлось всего четыре негодяя, пошедших служить к Власову.

Ни Кириллов, ни Понеделин к их числу не принадлежали. После окончания войны они вместе с рядом других генералов оказались на территории, занятой союзниками, и пробыли там более полугода после окончания войны. И если бы они действительно являлись теми, за кого их выдавал приказ Ставки, то есть предателями, у них еще оставался презренный, но реальный путь к тому, чтобы попытаться избежать кары. С большой долей достоверности можно предположить, что среди наших недавних союзников нашлись бы лица, готовые посодействовать невозвращению на родину этих двух людей. В других случаях это делалось

охотно.

Можно также — и на этот раз с абсолютной достоверностью — предположить, что немцы со злорадством ознакомили и Понеделина и Кириллова с тем приказом № 270 от 16 августа 1941 года, в котором их обвиняли в дезертирстве к врагу. Однако, видимо, они не признавали этого обвинения справедливым и были убеждены, что теперь, после войны, во всем разберутся по справедливости. Наличие этого неотмененного приказа не могло родить у них мысли нарушить присягу. Вместе с другими своими товарищами по несчастью в декабре 1945 года они вернулись на родину, очевидно, считая при этом, что теперь нет никаких причин для того, чтобы не разобраться в их прошлом, отменив несправедливый по отношению к ним пункт приказа Ставки, изданного в грозный момент отчаянного положения страны и армии.

Однако все вышло по-другому. 30 декабря 1945 года после возвращения на родину Понеделин и Кириллов были арестованы и после почти пятилетнего следствия 25 августа 1950 года осуждены к расстрелу.

Понеделину было предъявлено обвинение в том, что «он, являясь командующим 12-й армии и попав в окружение войск противника, не проявил необходимой настойчивости и воли к победе, поддался панике и 7 августа 1941 года, нарушив воинскую присягу, изменил Родине, без сопротивления сдался в плен немцам и на допросах сообщил им сведения о составе 12-й и 6-й армий».

Кириллову было предъявлено обвинение в том, что «он, являясь командиром 13-го стрелкового корпуса и попав в окружение противника, изменил Родине, сдавшись 7 августа 1941 года без сопротивления в плен немцам, и что при допросе сообщил немцам секретные сведения о составе частей корпуса».

Трудно представить себе, какие секретные сведения о составе частей своего корпуса мог сообщить на допросе немцам Кириллов, после того как остатки его корпуса были окружены и в ожесточенных боях уничтожены или взяты в плен, очевидно, вместе с достаточным количеством штабного имущества.

Трудно представить себе также, какие сведения о составе 12-й и 6-й армий, составлявшие к тому времени военную тайну для немцев и способные повлиять на дальнейший ход военных действий, мог сообщить на допросе Понеделин.

Не хочу вдаваться в это, тем более что впоследствии, уже после смерти Кириллова

и Понеделина, эти обвинения были признаны необоснованными.

При чтении документов по этому делу меня больше всего потрясло то, что эти два человека, арестованные в декабре 1945 года и через год, в декабре 1946 года, исключенные из списков армии, около пяти лет просидели в тюрьме до суда над ними.

Глава РОА Власов и те из его ближайших сотрудников, которые не успели бежать к американцам, были судимы и по заслугам повешены почти сразу после войны.

А для того, чтобы разобраться в том, какие секретные сведения о составе частей 12-й армии и 13-го корпуса, окруженных в августе 1941 года, сообщили немцам на допросах Кириллов и Понеделин, понадобилось пять лет следствия! Может быть, я не прав, но я не верю в сам факт такого длительного следствия. Мне кажется, что дело обстояло проще и страшнее.

В 1945 году Сталин приказал арестовать этих двух людей, фигурировавших в его августовском приказе 1941 года, и приказал расследовать связанные с их судьбами обстоятельства, но сам еще не принял решения, как с ними поступить. С одной стороны, еще не отгремели салюты Победы, да и; видимо, ему, в общем-то, было ясно, что эти люди не по доброй воле оказались в плену у немцев. А с другой — существовал его остававшийся в памяти у всех, кто воевал, августовский приказ 1941 года, в котором упоминались эти люди. Решение вопроса было отложено, и они провели между жизнью и смертью почти пять лет, до 1950 года, то есть до времени, отмеченного тревожными симптомами возрождения обстановки 1937 года.

Не хочу гадать о неизвестных мне подробностях: что было в 1950 году последним толчком к осуждению и гибели Понеделина и Кириллова и кто непосредственно приложил к этому руку.

Но я убежден, что им, как и многим другим людям, стоила жизни та атмосфера необоснованных репрессий, которую Сталин заново все нагнетал и нагнетал в последние годы своей жизни. Именно она и определила все остальное.

Двадцать девятого февраля 1956 года Верховный Суд СССР, проверив материалы дел Понеделина и Кириллова и учитывая, что дополнительным расследованием были вскрыты новые обстоятельства, свидетельствующие об их необоснованном осуждении, и что эти обстоятельства были неизвестны суду в момент вынесения

приговора, принял решение, отменив приговоры, вынесенные в 1950 году, прекратить эти дела за отсутствием состава преступления.

Девятого мая того же 1956 года, в одиннадцатую годовщину Победы над фашистской Германией, приказом министра обороны был отменен декабрьский приказ 1946 года об увольнении Понеделина и Кириллова из армии в связи с их арестом, и генерал Понеделин Павел Григорьевич, бывший командующий 12-й армией, и генерал-майор Кириллов, бывший командир 13-го стрелкового корпуса, были исключены из списков Советской Армии ввиду их смерти. Если перевести это с языка военных документов на обиходный язык, Кириллову и Понеделину этим приказом окончательно возвращалось их доброе имя. Как и многим другим — посмертно.

Остается закончить всю эту печальную историю необходимым, хотя в данном случае горьким признанием: я был человеком своего времени, и тогда, летом 1941 года, читая этот приказ Ставки, под которым стояла подпись Сталина, не меньше других верил, что люди, упомянутые в нем, действительно виноваты во всем, что им приписывают. Свидетельство этой веры — соответствующие места записок.

67 «…были видны огромные багровые отсветы доменных печей Мариупольского завода. Кто мог тогда подумать, что все это придется взрывать через каких-нибудь полтора месяца?»

Действительно, через полтора месяца после того, как мы были там, Мариуполь был захвачен немцами стремительным ударом, нанесенным через наши тылы из района Днепропетровска. Это был один из самых внезапных захватов наших городов. Немцы ворвались в Мариуполь 8 октября вечером; в нашей оперативной сводке за 10 октября отмечались мелкие группы противника, наступавшие уже в шестидесяти пяти километрах восточнее Мариуполя.

Во время прорыва немцев к Мариуполю погибли находившиеся в этом районе командующий 18-й армией генерал-лейтенант Смирнов и член Военного Совета бригадный комиссар Миронов.

О Мариупольских доменных печах в записках сказано неверно: мы не успели взорвать их, так неожидан был прорыв немцев к Мариуполю.

68 «Оказалось… что штаб Азовской флотилии приехал сюда только вчера вечером…»

Это неточно. Азовская флотилия была сформирована в Мариуполе за неделю до нашего приезда, 10 августа 1941 года. Может быть, неточность вызвана тем, что штаб перебирался из какого-то одного помещения в другое, и в моих записках речь шла об этом.

Выраженное в записках недоумение: как мог комиссар штаба Южного фронта послать нас в Мариуполь, в штаб Азовской флотилии, чтобы мы оттуда добирались в Одессу, — не вполне оправдано. Штаб фронта отделяло от Одессы триста пятьдесят километров; от Херсона, через который отступали последние левофланговые части Южного фронта, до Одессы было тоже без малого двести километров. Оставшаяся оборонять Одессу отдельная Приморская армия 18 августа, когда мы уезжали из штаба Южного фронта, в сущности, уже была для него отрезанным ломтем. Из штаба фронта уже не могли ни управлять оставшимися в Одессе войсками, ни снабжать их и, видимо, не имели точного представления о том, что там происходит.

А на следующий день, 19 августа, когда мы ехали из Мариуполя к Геническу, Приморская армия уже и официально перестала подчиняться Южному фронту.

Девятнадцатого августа приказом Сталина был создан Одесский оборонительный район, в состав которого вошли части Приморской армии. Командующим районом был назначен контр-адмирал Жуков, в свою очередь непосредственно подчиненный командованию Черноморским флотом.

Входившие раньше в состав Южного фронта части Приморской армии играли и продолжали играть в обороне Одессы огромную роль, но отныне Одесса со всеми оборонявшими ее войсками становилась, если можно так выразиться, сухопутным бастионом Черноморского флота. Это подчеркивалось тем, что во главе оборонительного района был поставлен морской начальник, и, оглядываясь назад, следует сказать, что именно это очень своевременное решение — возложить общую ответственность за оборону Одессы на Черноморский флот — сыграло большую роль и в длительности ее обороны, и в успешной — а точнее сказать: самой образцовой за всю историю войны — эвакуации войск морем.

69 «Повсюду были расклеены приказы командующего войсками Крыма генерал-лейтенанта Батова… Чувствовалось, что Крым готовится к обороне»

Четырнадцатого августа, за шесть дней до нашего приезда в Крым, там была

создана приказом Ставки отдельная 51-я Крымская армия, которой и предстояло оборонять Крым. Видимо, приказы, которые мы видели расклеенными в Крыму за подписью генерал-лейтенанта Батова как командующего войсками Крыма, были уже недельной давности. 19 августа, за день до нашего приезда, в командование 51-й армией вступил генерал-полковник Кузнецов, командовавший в первые дни войны Северо-Западным фронтом, а Батов был оставлен его заместителем.

Быть может, решение о создании 51-й отдельной Крымской армии было принято даже с некоторым запозданием.

О мере нетерпения, с которым немцы готовились к захвату Крыма, могут дать представление некоторые выписки из опубликованных ныне неофициальных бесед Гитлера с Борманом. В этих беседах, связанных с самым разным кругом проблем, Гитлер почти с маниакальной настойчивостью то там, то тут все время возвращается к Крыму.

«Красоты Крыма мы сделаем доступными для нас, немцев, при помощи автострад. Крым станет нашей Ривьерой. Крит выжжен солнцем и сух. Кипр был бы неплох, но в Крым мы можем попасть сухим путем» (беседа в ночь с 5 на 6 июля).

«Южную Украину, в частности Крым, мы полностью превратим в германскую колонию» (беседа 27 июля).

«Крым даст нам свои цитрусовые, хлопок и каучук. 100 тысяч акров плантаций будет достаточно, чтобы обеспечить нашу независимость в этом отношении. Мы будем снабжать украинцев стеклянными безделушками и всем тем, что нравится колониальным народам. Мы будем организовывать путешествия в Крым и на Кавказ, потому что есть большая разница — смотрите ли вы географическую карту или сами посещаете эти места» (беседа 18 сентября).

«На восточных землях я заменю все славянские географические названия германскими. Крым, например, можно было бы назвать „Готенланд“» (беседа 2 ноября).

Странное, двойственное чувство испытываю я, читая сейчас эту книгу бесед плохо образованного людоеда, очень любившего, чтобы его стенографировали для истории. Он с абсолютной серьезностью говорил, что, «по мнению русского, главная опора цивилизации — водка», что «мы будем править Россией при помощи горстки людей», что «было бы большой ошибкой давать образование

русским туземцам», что «наша задача одна: германизовать эту страну при помощи германских поселенцев и обращаться с коренным населением как с краснокожими». И с уникальной обстоятельностью проектировал будущий образ жизни немцев на бывшей территории поверженного им Советского Союза: «Германские колонисты должны жить в изумительно красивых поселениях. Немецкие учреждения получат чудесные здания, губернаторы — дворцы. Вокруг будет построено все, что нужно для жизни. На расстоянии 30–40 километров от городов мы создадим пояс из красивых деревень, соединенных первоклассными дорогами. Все, что существует за пределами этого пояса, — другой мир, в котором мы разрешим жить русским. В случае революции — сбросим несколько бомб на их города, и инцидент будет исчерпан. Раз в год в столицу третьего рейха мы будем привозить на экскурсию по группе киргизов, чтобы их сознание преисполнилось величием и величиной наших монументов. Восточные территории будут для нас тем, чем была Индия для Англии. Лишь бы только я мог убедить германский народ в значении этой части света для нашего будущего! Ведь колонии — дело ненадежное, а эти земли наверняка наши».

Читая все это, я, однако, не поддаюсь первой реакции — подальше отшвырнуть от себя эту книгу.

Моя первая реакция естественна, но неверна, потому что в этой книге присутствует нечто весьма для меня важное и притягивающее меня к ней.

Это «нечто» — не просто любопытство к личности Гитлера, к тому, что думал о себе и о человечестве этот немец из Браунау, пятидесяти двух лет от роду, ста семидесяти двух сантиметров роста, восьмидесяти трех килограммов веса, считавший, что в нем погиб архитектор, любивший собак, не любивший снега, чувствовавший себя неудобно, когда его машина забрызгивала грязью людей, идущих по обочине, и делавший себе вставные зубы у берлинского дантиста Блашке, те самые зубы, по которым в конце концов его труп обнаружили среди других трупов.

Впрочем, я сказал не совсем точно. Доля любопытства к этой — хочешь-не хочешь — исторической личности у меня тоже есть. Но не оно то главное, что притягивает меня к этой книге.

Главное другое — острое чувство реальности всего того, что нас ожидало, если бы

мы не устояли тогда, в сорок первом году. Что ожидало бы в этом случае весь «район по эту сторону Урала», который должны были «контролировать 250 тысяч человек плюс хорошая администрация» и из которого раз в год для демонстрации величия третьего рейха должна была привозиться в Берлин «группа киргизов».

Вот что, оказывается, впоследствии ожидало тех людей, которым был адресован «Пропуск перебежчикам»: «Предъявитель сего переходит линию фронта по собственному желанию. Приказываю с ним хорошо обращаться и немедленно накормить его в сборном пункте. Мы хотим вам помочь и вас освободить. Не проливайте зря свою кровь. Бейте комиссаров и жидов, где попало, не исполняйте их приказаний». (И здесь и дальше орфография подлинников).

Вот что ожидало то мирное население, которому в листовке за подписью «командующий германскими войсками» сообщалось, что «германская армия ведет войну не против вас, а только против Красной армии. Вам она несет освобождение от гнета большевиков, мир и улучшение вашего хозяйственного порядка. То есть постепенное ликвидирование колхозов. Но для этого необходимо, чтобы вы не помогали советской власти против нас. Не бойтесь больше советской власти, ее дни сочтены и вы никогда не попадете больше в ее руки. Прогоните и бейте ваших комиссаров, которые хотят вас поднять на партизанскую войну против нас, и не исполняйте их сумасшедших распоряжений».

Да, да, именно это — «район до Урала» — огромное белорусское, русское, украинское гетто, контролируемое германской администрацией, — вот что ожидало бы всех нас, если бы мы в 1941 году, захлебываясь кровью, совершая бездну ошибок и на ходу учась воевать, не выполнили бы «сумасшедших распоряжений» советской власти, в общем-то, сводившихся к тому, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях.

Когда теперь некоторые немецкие генералы в своих сочинениях сетуют (проигравшие войну генералы вообще любят заниматься сетованиями, это для них нечто вроде вязания на спицах) на то, что во время русской кампании имело место излишне жестокое обращение с населением и военнопленными, то эти сетования не так уж дорого стоят.

За ними, как правило, стоят не столько доводы запоздалой гуманности, сколько соображения тактического порядка. Излишне жестокое обращение с населением и

военнопленными, как выяснилось, не запугало, а ожесточило противника и в чисто военном отношении невыгодно отразилось на действиях германской армии на Восточном фронте.

Немецкие генералы сетуют на содержавшийся в июльской речи Сталина призыв воевать не на жизнь, а на смерть, что «этот призыв — и отчасти здесь были виноваты сами немцы — нашел отклик в сердцах людей».

Они, видимо, склонны думать, что излишняя жестокость, проявленная на Восточном фронте, была преждевременной, тактически и психологически невыгодной в разгар войны, ее не следовало проявлять в таких крайних формах, во всяком случае до тех пор, пока действительно не будет бесповоротно занят весь «район до Урала».

Гитлер в 1941 году не намерен был считаться с этими несущественными в его глазах тактическими и психологическими просчетами. Его занимали великие стратегические цели войны: на первое время — захват всего «восточного пространства» до Урала.

И когда некоторые его генералы, в начале войны преследовавшие, в сущности, те же, что и он, только несколько более ограниченные, более разумно и последовательно спланированные цели, увидев, что дело плохо, попробовали отречься от него, то все-таки не они ему, а он им свернул шею.

И сделал это с помощью других своих генералов, а точнее — большинства других своих генералов, которые в противоположность некоторым его генералам, или, точнее, меньшинству его генералов, разделяли его цели до конца и в полном объеме.

В качестве иллюстрации к сказанному мне хочется привести несколько выдержек из одного документа, попавшего мне на глаза в связи с совсем другой темой.

Седьмого марта 1945 года, ровно за два месяца до конца войны, в Померании сдался в плен командир немецкой пехотной дивизии Вилли Райтер, старый профессиональный германский военный, генерал-лейтенант вермахта («Родился в 1894 году в Баварии. Женат, имеет двух дочерей, католик, профессиональный военный-артиллерист, отец — майор в отставке. На военную службу вступил добровольно в 1913 году. Домашний адрес: Ютеборг, Кайзер Вильгельмштрассе, дом 11»).

Вот что сказал на допросе 10 марта этот генерал вермахта о своих взглядах на германскую армию и на национал-социализм:

«Я несколько раз встречался с Гиммлером и знаю его как порядочного и корректного человека. Он очень отзывчив к нуждам армии, знает солдат, заботится о них. Он, несомненно, любит власть и стремится к ней, но это я не ставлю ему в минус. Назначение Гиммлера командующим группой армий „Висла" должно символизировать непреклонную волю к сопротивлению. То, что он не имеет военного образования, — не беда. Тут решает воля. Эсэсовские генералы в массе своей обладают, по моему мнению, большой волей и большой личной храбростью. Большей волей и личной храбростью, чем тоже в массе своей — армейские. Это искупает отсутствие у них подлинной военной школы и недостаток военного образования. Они легче находят путь к сердцу солдата. Я отдаю себе отчет, что все это ведет к поглощению армии войсками СС. Но считаю, что это соответствует духу национал-социалистической революции и идет на благо военной мощи Германии. Перспектива поражения Германии меня ужасает. Я верю, что после этого Германия перестанет существовать. Кроме того, Германия лишится нацистской системы управления, а это, я считаю, будет для нее большим несчастьем. Это наиболее подходящая для немецкого народа система, выражающая его интересы. Основной заслугой этой системы является политика поддержания чистоты расы и вытекающее отсюда признание прав германской расы на господство… В том факте, что Вицлебен и его группа, с одной стороны, а Паулюс и его соратники — с другой, выступают против нацизма, я еще не вижу доказательства того, что существует противоречие между традициями немецкой армии и нацизмом. Сейчас традиции немецкой армии, видоизмененные в соответствии с духом времени, все больше и больше переходят к войскам СС. Я считаю это закономерным».

По совести говоря, нельзя отказать такому врагу ни в мужестве, ни в чувстве собственного достоинства. Попав в плен в период уже надвигавшейся на германскую армию окончательной катастрофы, этот генерал, в самых невыгодных и тяжелых для него лично обстоятельствах, пленный, на допросе имел решимость сказать все, что он в действительности думал и о нацизме, и об отсутствии противоречий между традициями германской армии и нацизмом.

Если бы многие другие немецкие генералы, разделявшие взгляды Гитлера в дни

побед, говорили впоследствии с той же мерой откровенности, как этот Вилли Райтер 10 марта 1945 года на допросе в Померании, то, думается, многие и многие их мемуары выглядели бы совсем по-другому, чем выглядят сейчас.

Мне не кажется, что я отвлекся от темы, приведя эту длинную цитату из показаний двадцатилетней давности. Двигавшийся в августе 1941 года к Крыму фельдмаршал Манштейн в принципе думал так же, как этот Вилли Райтер. Он несколько иначе относился персонально к Генриху Гиммлеру и к доблести эсэсовских генералов, но вряд ли его душу раздирали противоречия между традициями германской армии и нацизмом. Потом, после поражения, он сделал вид, что думал иначе. Но тогда он думал так. И так думало большинство немецкого генералитета тогда, в 1941 году уж во всяком случае. И как раз это служило одним из важнейших оснований для той уверенности, с которой Гитлер планировал свою тысячелетнюю оккупацию «района до Урала». Не могу не вспомнить его полное безграничного оптимизма восклицание, относящееся как раз к тем дням, когда Манштейн штурмовал Крым: «Ах, какие великолепные задачи стоят перед нами. Впереди сотни лет наслаждений!» (беседа 17 октября).

Я откладываю эту переведенную на английский язык толстую книгу с обложкой, на которой нарисованы Гитлер и Геббельс. Откладываю и не могу удержаться от мысли, что хотя бы избранные места из нее стоило бы перевести на русский, украинский, белорусский, грузинский, армянский, татарский, киргизский и иные языки нашей страны. Здесь по разным поводам сказано обо всех нас такое, что всем нам стоит прочесть просто для информации.

Конечно, годы идут, времена меняются, «кто старое помянет — тому глаз вон» — русская поговорка, а способность к забвению — общечеловеческое свойство, все верно, все так… Но ведь будущее, которое было для нас запроектировано в этой книге, проектировалось на сотни лет вперед — вот в чем штука! Может, поэтому сейчас, всего-навсего через четверть века, и хочешь все это забыть, а не забывается?

70 «Начальник Дома флота батальонный комиссар Шпилевой, впоследствии, по-моему, комиссар морского полка…»

Написав это, я, к несчастью, ошибся. Начальник Дома флота Ефим Фомич Шпилевой действительно был впоследствии назначен на должность комиссара

3-го полка морской пехоты, но комиссаром его не стал, а попал под трибунал в связи с тем, что, как указано в приговоре, «под предлогом болезни глаз стремился уклониться от выполнения возложенных на него обязанностей».

Трудно разобраться теперь, насколько справедливо было решено это дело тогда, в конце сентября, в самый разгар боев на Перекопе, что в нем было правдой и что неправдой. Во всяком случае из последующих документов известно, что Шпилевой Ефим Фомич был направлен рядовым, погиб в октябре 1941 года под Перекопом и был «посмертно восстановлен в рядах политсостава и в звании, как искупивший вину перед Родиной».

71 «Услышав о тревожном положении в Одессе, мы беспокоились, уж не из-за того ли задерживают нас… что решается вопрос о ее судьбе?»

Тревога эта, как видно сейчас из документов, имела свои основания.

В «Отчете Черноморского флота по обороне Одессы» говорится, что в предшествующие дни «в настроениях и действиях армейского командования проглядывала тенденция эвакуации Одессы… Несмотря на приказ Буденного „Одессу не сдавать ни при каких условиях", „командование частично начало эвакуацию войск и вооружения"».

В мемуарах вице-адмирала И. Азарова «Осажденная Одесса» говорится, что еще 17 августа «Военный Совет Приморской армии спланировал эвакуацию 2563 военнослужащих. В ответ на сообщение об этом командование Черноморского флота запретило вывозить из Одессы военнослужащих и гражданских лиц, способных носить оружие».

Не уверен, стоит ли сейчас спорить о том, кто в те дни в Одессе проявил и кто не проявил мужества. Как показали последующие события, незаурядную стойкость при обороне Одессы проявили все — и Приморская армия, и моряки. И причина тех столкновений, о которых упоминает Азаров, как мне думается, не столько в недостатке мужества, сколько в том, что, оказавшись в те дни совершенно оторванным от всего Южного фронта и еще не войдя в подчинение Черноморскому флоту, командование Приморской армии имело достаточно серьезные основания тревожиться за судьбу Одессы и вверенных ему войск. Если бы Приморская армия еще на несколько дней раньше была оперативно подчинена флоту и почувствовала у себя за спиной всю его мощь, то можно предполагать, что

никакой «тенденции к эвакуации» вообще не возникло бы.

Нескольким дням никогда не доводящего до добра двоевластия был положен конец 19 августа приказом Ставки о создании Одесского оборонительного района с подчинением его флоту. Однако даже самый хороший приказ еще не все. Приказ был получен в разгар нового ожесточенного наступления на Одессу. Когда мы сидели на борту тральщика, ожидая отхода туда, это наступление продолжалось и его все еще не удавалось остановить. Соотношение сил под Одессой было примерно четыре к одному. Буквально все документы тех дней свидетельствуют об остроте положения.

В боевом донесении штаба Одесского оборонительного района за 20 августа (день нашего приезда в Севастополь) сказано: «Войска Одесского оборонительного района 18 и 19.VIII-41 г. вели особенно напряженные бои со значительно превосходящими силами противника… Введя в бой до шести пехотных, кавалерийскую дивизию и бронебригаду, противник к исходу 19.VIII, прорвав фронт, продолжает развивать наступление. Наши части, понеся в боях значительные потери (свыше 2000 раненых), отходят, задерживаясь на промежуточных рубежах».

В этот же день командиры оборонявших Одессу дивизий получили приказ — к утру 21 августа «расформировать все дивизионные тыловые части, весь личный состав обратить на доукомплектование боевых частей».

Положение казалось настолько критическим, что дыру прорыва решились заткнуть, бросив туда часть запасного полка, и этим только ухудшили положение. Люди, которые были еще не обучены и в большинстве не умели обращаться с винтовкой и гранатой, бежали под огнем с поля боя, внося замешательство и в соседние, продолжавшие держаться части.

В тот же день, 20 августа, командиром 25-й стрелковой Чапаевской дивизии, находившейся на направлении главного удара противника, был назначен генерал-майор Иван Ефимович Петров, до этого командовавший кавалерийской дивизией. Прежние командир и комиссар дивизии были сняты, а Петрову было приказано восстановить положение, объединив под своим командованием 25-ю стрелковую и 1-ю кавалерийскую дивизии. Во всех донесениях за этот день говорится о тяжелых потерях. 287-й полк 25-й стрелковой дивизии зацепился 20

августа за тот самый рубеж у хутора Красный Переселенец, где мы с Халипом потом его и застали, но это дорого ему стоило — к вечеру в его ротах осталось по пятнадцать-двадцать человек.

Немцы стремились к захвату Одессы уже давно. В служебном дневнике Гальдера за 18 июля, то есть больше чем за месяц до событий, о которых идет речь в записках, зафиксировано: «Согласно указанию фюрера теперь следует овладеть Одессой. Для выполнения задачи можно использовать только корпус Ганзена в составе двух германских и большого количества румынских дивизий».

В листовке, подписанной командиром военного участка города Одессы корпусным генералом А. Сон и разбросанной самолетами еще 13 августа перед началом наступления на Одессу, говорилось: «Всем бойцам. Многочисленная румынская армия окружила город Одессу. Для того чтобы избавиться от жидов и коммунистов, еще до начала штурма советую вам сдаться в плен».

Штурм, о котором шла речь в листовке, имел своей наивысшей точкой 20–21 августа. 22-го, когда мы ушли на тральщике в Одессу, и в следующие дни, когда мы были там, штурм еще продолжался, но, несмотря на ожесточенные бои, положение начинало стабилизироваться. Самая критическая точка развития событий осталась уже позади.

72 «Наконец наш тральщик стал выходить из Севастопольской бухты»

Тральщик, на котором мы шли в Одессу, назывался «Делегатом». Это была старая потрепанная грузовая моторная шхуна водоизмещением в 2 тысячи тонн, с ходом в 9,1 узла. Комиссия мобилизационного отделения штаба флота в июле 1941 года даже отказалась было принять «Делегат» от Азовского пароходства, написав: «Ввиду неисправности рулевого управления, больших дефектов по механической части „Делегат" в состав военно-морского флота принят быть не может». Но, видимо, потом обстоятельства вынудили переменить это решение, и «Делегат», числясь тральщиком, пробыл в составе Военно-морского флота до 27 октября 1941 года. В этот день он потонул в Керченском порту «во время бомбежки порта в результате близких взрывов и прямого попадания бомбы».

За полтора месяца до своей гибели, 15 сентября 1941 года, «Делегату», как свидетельствуют документы, удалось отразить «атаку шести пикирующих самолетов, которые сбросили на корабль двадцать две бомбы. Бомбы упали

вокруг корабля, осколками ранено четыре человека. Личный состав тральщика мужественно отражал налет вражеских самолетов». Вот и все, что я мог узнать о судьбе этого маленького, мобилизованного во флот гражданского судна, которое три месяца, вплоть до своей гибели, исправно, в меру своих сил несло военно-морскую службу.

О капитане «Делегата» документы позволяют сказать несколько больше. Во время рейса, которым мы шли, и вплоть до самой гибели «Делегата» тральщиком командовал Валерий Николаевич Ушаков, торговый моряк, призванный из запаса в звании младшего лейтенанта. Ушаков, по сведениям, не до конца мною проверенным, кажется, был отдаленным потомком своего знаменитого однофамильца и во всяком случае потомственным моряком. Его отец тоже был капитаном военного и торгового флота. Ушаков родился в 1912 году, с семнадцати лет плавал матросом первого класса, а потом, окончив Одесский морской техникум, плавал на торговых судах третьим, вторым и старшим помощником капитана. В его автобиографии сказано, что он «был во всех странах света, кроме Австралии». «В 37–38 сидел в тюрьме в Испании на острове Майорка, в числе экипажа парохода „Зырянин"». «За время войны имел контузию 27 октября 41 г., был ранен в колено левой ноги 19 апреля 42 г. и в голову 24 сентября 42 г.».

Ровно через месяц после того, как Ушаков был контужен, в момент гибели «Делегата» он стал командиром плавбазы «Львов». На этом санитарном транспорте Ушаков, как свидетельствует его боевая характеристика, совершил с 28 ноября 1941 года по 1 апреля 1943 года сто двадцать один рейс и перевез на нем 34 тысячи человек, из них 23 тысячи вывез из Крыма. В своей автобиографии Ушаков, после упоминания о ранениях и контузии, написал: «Имею диплом капитана дальнего плавания». Но ходить после войны в дальние плавания ему не пришлось. Как свидетельствует личное дело Ушакова, став в 1945 году командиром отряда учебных кораблей, он умер 3 ноября 1946 года, тридцати четырех лет от роду, находясь в звании капитана 3-го ранга. Медицинского заключения в деле не оказалось, и мне остается лишь гадать, что было причиной ранней смерти этого отличного моряка, говоря о котором его начальники не скупились на самые превосходные аттестации. Была ли это одна из тех несчастных случайностей, от которых никто не избавлен, или поздний результат контузии и ранений сорок первого и сорок второго годов?

Сейчас, просмотрев документы Военно-морского архива, я убедился, что тогда, 20 августа в Севастополе нам сказали правду: 21 августа, в тот день, когда мы рассчитывали выйти на «Делегате», ни одно военное судно в Одессу действительно не пошло.

В архивных записях о прибытии судов в Одессу записано, что транспорт «Грузия» и тральщик «Делегат», груженные боезапасом, пришли в Одессу 23 августа в 16.40. Видимо, в данном случае это просто описка. Наш «Делегат» пришел в Одессу утром, не в 16.40, а в 6.40.

73 «…между капитаном и комиссаром шло обсуждение того, как лучше взяться за электрика»

В списках судового состава «Делегата» указано, что замполитом на нем был старший политрук Леонид Иванович Ерпылев, а электриком Епистрат Аристархович Бабурин. Вот имена двух остальных действующих лиц того эпизода с мнимой «сигнализацией» немцам, о котором я рассказываю в записках. Собственно говоря, по судовому списку электриков на «Делегате» числилось два, но один из них оказался краснофлотцем действительного срока службы, то есть молодым человеком, а стыдил нас за нашу «шпиономанию» человек, по тогдашним моим представлениям, пожилой — краснофлотец запаса Бабурин.

74 «Одессу защищало значительно меньше войск, чем это думали и до сих пор думают те, кто там не был»

Представление о количестве сухопутных войск, оборонявших Одессу, я получил тогда из разговора с членом Военного Совета Приморской армии Михаилом Георгиевичем Кузнецовым. Упомянув его имя, хочу сказать несколько слов о его последующей судьбе. В 1941 году ему было тридцать семь лет. После Одессы он был членом Военного Совета армии в осажденном Севастополе. Потом некоторое время был членом Военного Совета Воронежского фронта, а осенью 1943 года, когда была освобождена Черниговщина, вернулся на партийную работу секретарем Черниговского обкома партии.

Как можно судить теперь по документам, Кузнецов откровенно обрисовал нам тогда положение и состав наших оборонявшихся на суше частей. Но мне хочется дополнить это некоторыми документальными данными, характеризующими соотношение сил под Одессой.

В «Отчете Черноморского флота по обороне Одессы», составленном штабом Черноморского флота, сказано, что «части Одесского оборонительного района общей численностью около трех стрелковых дивизий с весьма ограниченными техническими средствами борьбы сковали на подступах к Одессе большую и лучшую часть всей румынской армии, в составе: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21-й пехотных дивизий, 27-й и 37-й резервных дивизий, 1-й гвардейской, 1-й пограничной, 1-й кавалерийской дивизий». В этом же отчете справедливо указывается, что «если бы Одесса была сдана противнику без боя, то он мог бы все его действующие на подступах к ней силы использовать для своих основных ударов в направлении на Донбасс».

К 19 августа, ко дню образования Одесского оборонительного района, его сухопутные войска насчитывали 34500 человек. Эта цифра приводится в «Истории Великой Отечественной войны» и проходит через ряд документов.

В «Отчете Черноморского флота по обороне Одессы», о котором я уже упоминал, говорится, что, «по заявлению Антонеску, потери румынской армии под Одессой составляли: 20 тысяч убитых, 70 тысяч раненых, 15 тысяч пропавших без вести — всего 111 тысяч человек».

Мы тоже за время обороны Одессы понесли тяжелые потери. Я не нашел в документах цифры убитых, но цифра раненых там есть; Приморская армия с 12 августа по 15 октября потеряла раненными 33367 человек. К этому следует прибавить потери флота на двенадцати потопленных за эти три месяца в районе Одессы транспортах, средних и малых военных кораблях и катерах, на береговых батареях, а также в полках и отрядах морской пехоты, в которых за период обороны Одессы в общей сложности воевало восемь тысяч моряков-добровольцев.

Как я уже говорил, соотношение сил под Одессой в среднем выражалось в цифрах четыре к одному. В двадцатых числах августа оно было еще невыгоднее для нас, а потом несколько исправилось к лучшему. На протяжении последующих месяцев обороны флот доставил в Одессу еще одну стрелковую дивизию, несколько тысяч бойцов морской пехоты и довольно значительное пополнение, а всего около 50 тысяч человек. Эта цифра делает особенно очевидным, что без поддержки флота и снабжения по морю Одесса, разумеется, не смогла бы так долго держаться. Доставив в город свыше 50 тысяч солдат и моряков, флот за это же время вывез

оттуда 31 тысячу раненных и 189 тысяч человек гражданского населения. К этому надо добавить те несколько десятков тысяч человек, которые обороняли Одессу до последнего дня и были полностью вывезены оттуда при эвакуации.

К тому времени, когда было принято решение об эвакуации, Одессу обороняло больше войск, чем в 20-х числах августа, и оборона ее была устойчивее, чем когда бы то ни было. Вопрос об эвакуации был решен в связи с общей обстановкой на всем Южном фронте, где немцы захватили к этому времени Мариуполь и начали бои за Крым.

Информбюро сообщило об эвакуации Одессы на следующий же день после того, как она закончилась, в вечернем сообщении 17 октября 1941 года:

«Организованная командованием Красной Армии в течение последних восьми дней эвакуация советских войск из Одессы закончилась в срок и в полном порядке. Войска, выполнив свою задачу в районе Одессы, были переброшены нашим морским флотом на другие участки фронта в образцовом порядке и без каких-либо потерь. Распространяемые немецким радио слухи, что советские войска вынуждены эвакуироваться из Одессы под напором немецко-румынских войск, лишены всякого основания. На самом деле эвакуация советских войск из района Одессы была проведена по решению Верховного командования Красной Армии по стратегическим соображениям и без давления со стороны немецко-румынских войск».

Хорошо помню, как, находясь в это время далеко на Севере, на Мурманском участке фронта, я с некоторым сомнением читал тогда это сообщение. На фоне трагических событий, происходивших под Москвой, о которых все только и думали, оно выглядело подчеркнуто оптимистическим и в него не до конца верилось. Но на самом деле как раз в этом сообщении все было абсолютной правдой, от первого до последнего слова.

75 «…пришел… новый командир полка — бывший начальник разведки дивизии капитан Ковтун, немолодой, грузный…»

Капитан Андрей Игнатьевич Ковтун-Станкевич был тогда для своего капитанского звания действительно немолод, ему шел уже сорок второй год. Казак по происхождению, он вступил в Красную Армию в 1918 году и прослужил в ней до 1927 года. Демобилизовавшись, работал директором совхоза, директором МТС и

секретарем райкома партии и снова был призван в армию уже перед войной, в 1940 году. В период обороны Севастополя Ковтун исполнял обязанности начальника оперативного отдела Приморской армии[2]. Впоследствии под Будапештом командовал 297-й дивизией и закончил войну И мая 1945 года возле городе Чешские Будейовицы боем с частями 2-й власовской дивизии, пытавшимися прорваться за демаркационную линию к американцам. После этого Ковтун успел побывать на Дальнем Востоке и уже в генеральском звании был назначен первым комендантом Мукдена. Вот куда ровно через четыре года, в августе 1945 года, забросила судьба того капитана, который в августе 1941 года вступил в должность командира 287-го полка вместо подполковника Султан-Галиева, тяжело раненного перед нашим приездом в полк.

76 «…когда мы встретились с Балашовым, он был уже три раза легко ранен. Положение под Одессой было тяжелое, и, честно говоря, я не думал, что еще когда-нибудь встречу его живым и здоровым»

Прежде чем рассказать о судьбе комиссара 287-го полка Никиты Алексеевича Балашова, хочу привести несколько выдержек из оперативных документов тех августовских дней, дающих представление о том, как воевал этот полк и какой вообще была обстановка под Одессой.

Об обороне Севастополя А. Ковтун рассказал в своих записках, опубликованных в «Новом мире» (№ 8 за 1963 год).

23 августа 1941 года.

«На участке 287-го полка противник ввел в действие до батальона, но, потерпев неудачу, ввел резервы до полка. Атака была отбита с большими потерями для противника. Противник частями 21-й пехотной дивизии и 1-й гвардейской дивизии в течение дня продолжал атаковывать 287-й полк. Но, встретив упорное сопротивление полка, перенес свои атаки по флангам. К исходу дня противник, введя свежие силы, овладел северной окраиной Петерсталь. В бою тяжело ранен командир 287-го стрелкового полка подполковник Султан-Галиев. На его место назначен капитан Ковтун-Станкевич. В 21.00 287-й стрелковый полк контратакой уничтожил до батальона пехоты, прорвавшего передний край в направлении хутора Красный Переселенец, восстановил передний край и продолжает удерживать прежний рубеж».

24 августа 1941 года:

«Противник с 8.00, имея перед собой обнаженный левый фланг 287-го полка, повел наступление, но под воздействием контратак полка бежал. Части 21-й пехотной и 1-й гвардейской дивизий, неся большие потери, продолжают атаковывать передний край обороны. Но, встретив упорное сопротивление, откатываются назад. 287-й стрелковый полк, отразив четыре атаки противника, восстановил передний край. Не восстановлено пятьсот метров. Переход части 287-го полка в контратаку был полной неожиданностью для противника. Полк, ведя ожесточенный бой с противником, контратаками восстановил положение своего левого фланга. Занимает прежнее положение».

25 августа 1941 года:

«287-й стрелковый полк, отразив в 10.00 атаку противника и нанеся ему поражение, вновь перешел сам в 14.30 в контратаку на высоте 63/3 и занял ее. 31-й стрелковый полк, усиленный третьим кавалерийским полком, отошел, продолжая все более обнажать фланг 287-го стрелкового полка. Противник продолжает атаковывать передний край обороны дивизии, но, встретив упорное сопротивление батальона НКВД и отряда моряков и неоднократные контратаки 287-го стрелкового полка, бросает свои силы на 31-й стрелковый полк, где имеет частичный успех. 287-й полк храбро и мужественно отражает многочисленные атаки врага. В бой были брошены все резервы: разведвзвод, саперная рота, химвзвод».

26 августа 1941 года:

«С утра противник вновь начал непрерывные атаки переднего края обороны, особенно на левом фланге 287-го стрелкового полка. 287-й стрелковый полк в течение всего дня отражал атаку за атакой, переходя сам в контратаки. Всего в течение дня отбито четыре атаки, каждая силой до полутора полков».

Так выглядят действия 287-го полка по документам 25-й Чапаевской дивизии, ее «Журналу боевых действий» и оперативным сводкам.

А вот как выглядит общая обстановка по документам штаба Приморской армии:

«24. VIII. Противник, сосредоточив восемь дивизий, ведет наступление по всему фронту, нанося главный удар в направлении хуторов Вакаржаны и Красный

Переселенец. Наши части в последние дни несут большие людские и материальные потери. В некоторых батальонах осталось по 80—100 человек. 23.VIII тяжело ранены командиры: 136-го полка Матусевич, 287-го — Султан-Галиев, 161-го — Серебров, 90-го — Соколов, легко ранен командир 241-го полка Новиков, тяжело ранены все командиры батальонов 161-го полка. Для смягчения напряженного положения на фронте необходима хотя бы одна кадровая стрелковая дивизия, что дало бы возможность создать минимальный резерв…

В связи с наметившимся главным ударом противника командование разрешило командиру 25-й стрелковой дивизии использовать 2-й добровольческой отряд морского флота.

По докладу начальника штаба 25-й дивизии, использованы все резервы до комендантского взвода включительно.

За 24 и 25 августа части армии имели потери: ранеными 1901 человек, всего в одесских госпиталях на 25.VIII находится 5000 раненых…

В 95-й стрелковой дивизии за два дня боев выбыли из строя: командиры всех полков дивизии, начальник штаба дивизии, начальник артснабжения дивизии.

В частях армии ощущается большой недостаток оружия: винтовок, пулеметов, мин, снарядов для 67-мм и 120-мм орудий; личный состав в течение шестнадцати дней ведет непрерывный бой. Резервов нет. Обученные резервы исчерпаны полностью».

Так выглядели эти дни под Одессой, когда 25-я Чапаевская дивизия и в ее составе 287-й стрелковый полк дрались у хуторов Вакаржаны и Красный Переселенец, как раз там, где противник, ведя наступление по всему фронту, наносил свой главный удар.

А теперь — о самом Балашове. Судя по всем сохранившимся документам, связанным с его именем, это был человек замечательных личных качеств. Несмотря на краткость нашей встречи, старший политрук Балашов, подобно полковнику Кутепову, на многие годы сохранился в моей памяти как один из тех комиссаров сорок первого года, которые действительно были душою своих полков и дивизий. То есть соответствовали своим комиссарским должностям в самом высшем и самом глубоком смысле.

Потом, в ходе войны, я, случалось, справедливо или несправедливо внутренне соизмерял запомнившийся мне облик Балашова с обликом других встреченных мною людей, и люди, казавшиеся мне похожими на него, были для меня хороши уже одним этим.

Балашов родился в 1907 году в Егорьевском районе Московской области. Его отец был плотником, мать — крестьянкой. Пойдя в 1932 году в армию по партийной мобилизации, Балашов сначала был политруком эскадрона, а потом учился на курсах усовершенствования политсостава в Москве. Оттуда, видно, и пошли те его литературные знакомства, о которых он мне говорил ночью под Одессой. В одной из сохранившихся в его личном деле анкет он сообщает, что трижды подвергался партийным взысканиям: в 1932 году — за утерю партийного билета, в 1934 году — за антипартийный поступок, выразившийся в том, что, учась в Москве на курсах усовершенствования «и будучи парторгом группы, допустил, что слушатели рисовали на портрете товарища Сталина ромбы, а я мер не принял». Третий выговор имел в 1935 году, служа в кавалерийском полку, за то, что, «будучи политруком полковой школы, не знал об имевшем место проявлении антисемитизма со стороны одного красноармейца по отношению к другому».

В 1940 году Балашов участвовал в финской кампании, служил в политотделе 51-й стрелковой дивизии. В одном из написанных о Балашове партийных отзывов сказано так: «Неоднократно сам лично видел его в бою увлекающего подразделение вперед за родину, за Сталина, где он проявил мужество, смелость, отвагу и награжден за это орденом Красной Звезды».

В последней предвоенной аттестации в ноябре 1940 года о Балашове сказано: «Энергичный, решительный работник с большой инициативой. Лично много работает над воспитанием бойцов и командиров. В тактическом отношении подготовлен достаточно. Во время боев с белофиннами проявил себя стойким, смелым, выносливым. Посылался на самые решающие участки боя. Достоин присвоения военного звания батальонного комиссара».

Звания батальонного комиссара Балашову не присвоили ни перед войной, ни в первый год войны. Когда я во второй раз встретил его в декабре 1941 года во время нашего наступления под Москвой, он все еще был, как и в Одессе, старшим политруком.

Вскоре после нашей встречи в Одессе 28 августа 1941 года в политдонесении, направленном из дивизии в армию, говорилось: «За последние дни особенно отличился 287-й стрелковый полк, где командиром капитан Ковтун и военком старший политрук Балашов. Полк отразил много ожесточенных атак в несколько раз превосходившего по численности противника. Мужественный и храбрый военный комиссар 287-го стрелкового полка старший политрук Балашов в самые критические минуты появлялся на самых опасных участках и личным примером воодушевлял бойцов и командиров». А еще через неделю в политдонесении, отправленном в штаб армии 6 сентября, снова упоминался Балашов: «Сегодня ранен вторично военком 287-го стрелкового полка старший политрук Балашов.

Прошу прислать из резерва политсостава двух человек для работы в частях военкомами до возвращения товарища Балашова из госпиталя».

Я упоминаю в записках, что ко времени нашего приезда Балашов был уже трижды легко ранен. Не думаю, что я мог ошибиться. Скорее, сам Балашов два из этих легких ранений за ранения не считал и сказал мне о них, наверное, не он сам, а кто-нибудь из окружающих.

Балашов вернулся из госпиталя в свой полк, воевал с ним до конца под Одессой, потом в Севастополе. И только следующее ранение и очередной госпиталь забросили его с Южного фронта на Западный, под Москву.

Зимой 1941/1942 года Балашов, как я уже сказал, участвовал в боях под Москвой в должности комиссара штаба 323-й стрелковой дивизии.

Как выглядели наши последние отчаянные попытки уже в конце этой зимы еще хоть немного, хоть сколько-нибудь во что бы то ни стало продвинуться вперед, даст представление одно из донесений, подписанных Балашовым. «323-я стрелковая дивизия продолжает выполнять поставленную задачу: по приказу № 018 готовится к следующему наступлению. 1088-й стрелковый полк — сто штыков, занимает рубеж северо-западнее Гусевка. 1086-й полк — 44 штыка, произведя перегруппировку, готовится совместно с 1090-м полком к атаке на Гусевку. 1090-й стрелковый полк — 49 штыков, оставив прикрытие и одну стрелковую роту на безымянной высоте, что севернее Запрудная, остальными подразделениями вышел на исходное положение с задачей атаковать Гусевку с востока. Справа от 330-й стрелковой дивизии на 8.HI-42 г. сведений нет. Слева 11-я гвардейская

стрелковая дивизия ведет бой за овладение Зимницы — Маклаки. Дорога для транспорта непроходима…»

В апреле 1942 года Балашов, получивший наконец звание батальонного комиссара, стал комиссаром 324-й стрелковой дивизии, а с сентября 1942 года сначала комиссаром, а потом, после отмены института комиссаров, замполитом 11-й гвардейской дивизии, той самой, о которой он в марте 1942 года доносил, что она «ведет бой за овладение Зимницы — Маклаки».

11-я гвардейская дивизия, последняя, в которой служил Балашов, закончила войну в Восточной Пруссии, а гвардии полковник Никита Алексеевич Балашов, не дожив до этого, скончался от ран в 16 часов 55 минут 13 мая 1943 года.

Война — и это случается куда чаще, чем может показаться тем, кто не знает всех подробностей ее кровавой бухгалтерии, — порой так нелепо и горько шутит с людьми, что только руками разводишь. Несколько раз раненный и возвращавшийся с недолеченными ранами на передовую, ходивший много раз в атаки и контратаки, отвоевавший все, что было ему положено, под Одессой, под Севастополем и под Москвой, Балашов погиб не на поле боя, а во время затишья, во втором эшелоне, на тактических занятиях. Невозможно без горечи читать, как все это произошло:

«13 мая в 10.00 я и гвардии полковник Балашов выехали в 33-й полк для выдачи партийных документов. По окончании выдачи партдокументов мы направились на тактические занятия во 2-й стрелковый батальон. Занятия проходили с боевыми стрельбами…

Гвардии полковник Балашов и сопровождавшие его командиры находились несколько сзади пехотных подразделений и двигались вслед за ними. В это время в 8—10 метрах от них разорвалась мина, в результате чего был тяжело ранен гвардии полковник Балашов и получил легкое ранение командир полка подполковник Куренков.

Огонь был прекращен.

Гвардии полковнику Балашову была немедленно сделана перевязка, и в 14.30 на автомашине я доставил его в медсанбат, расположенный в лесу. Здесь ему было сделано переливание крови, произведена операция. Во время операции в 16 часов 55 минут в моем присутствии гвардии полковник Балашов умер».

Дальше в донесении следует рассказ о том, как именно произошел этот недолет мины, — о том, как командир минометного расчета делал замечание одному из своих подчиненных и отвлекся, а в это время другой его подчиненный, не ко времени проявив старательность, в спешке опустил в ствол мину без дополнительного заряда. Из-за отсутствия этого заряда мина разорвалась с недолетом и смертельно ранила Балашова.

Дальше в донесении излагаются сведения о людях, которые без всякого умысла с их стороны стали причиной гибели Балашова: все хорошие солдаты, до этого уже по одному и по два раза раненные и опять вернувшиеся на фронт… Произойди этот выстрел на несколько секунд раньше или позже — ничего бы не случилось. Иди Балашов в этот момент на несколько шагов левее, чем он шел, — не окажись он именно в эту секунду именно на этом месте, тоже ничего бы не случилось.

Тем не менее тот наводчик, который, ревностно отнесясь к своим обязанностям, стремясь не снизить темпа огня, самовольно, без приказа командира расчета, произвел роковой выстрел, был предан суду Военного трибунала.

Читая эти строчки донесения, я почему-то подумал, что Балашов, будь он ранен легко, а не смертельно, наверное, воспротивился бы этому. Но он был ранен смертельно, и, как свидетельствуют документы, на следующий день, 14 мая, в районе командного пункта дивизии у лесничества состоялся траурный митинг, посвященный памяти гвардии полковника Балашова.

«Выступавшие на митинге командующий войсками 16-й армии генерал-лейтенант Баграмян, командир дивизии гвардии генерал-майор Федюнькин, представители от частей и спецподразделений отметили, что дивизия потеряла пламенного большевика, мужественного и смелого воина, человека, который беззаветно любил родину и беспредельно ненавидел врага. На митинге присутствовало около 2000 бойцов и командиров. Гроб с телом на машине отправили в город Сухиничи. Бойцы и командиры впереди машины несли венки и ордена гвардии полковника Балашова».

На следующий день утром в Сухиничах на площади Ленина состоялись похороны. От Военного Совета с надгробной речью выступил командующий 16-й армией генерал-лейтенант Баграмян.

В это же утро, когда хоронили Балашова, в частях дивизии, как об этом

свидетельствует «Журнал боевых действий», «продолжались батальонные учения с боевой стрельбой, с танками и с артиллерией». Дивизия готовилась к предстоящим боям за Орел.

Война продолжалась.

77 «Он (Петров) был четок, немногословен, корректен, умен. Мне показалось тогда по первому впечатлению, что это, наверно, хороший генерал»

Встреченного мною впервые под Одессой в должности командира 25-й Чапаевской дивизии, Ивана Ефимовича Петрова я знал потом на протяжении многих лет и знал, как мне кажется, хорошо, хотя, быть может, и недостаточно всесторонне. У меня сохранились и стенографические записи его рассказов о первых месяцах войны, и мои дневники последнего года войны, в которых немало страниц о Петрове. Однако здесь, в комментариях, все это заняло бы слишком много места. Ограничусь лишь некоторыми наиболее существенными, на мой взгляд, впечатлениями и сведениями.

Иван Ефимович Петров был во многих отношениях незаурядным человеком. Огромный военный опыт и профессиональные знания сочетались у него с большой общей культурой, широчайшей начитанностью и преданной любовью к искусству, прежде всего к живописи. Среди его близких друзей были превосходные и не слишком обласканные в те годы официальным признанием живописцы. Относясь с долей застенчивой иронии к собственным дилетантским занятиям живописью, Петров обладал при этом своеобразным и точным вкусом. И, пожалуй, к сказанному стоит добавить, что в заботах по розыску и сохранению Дрезденской галереи весьма существенная роль принадлежала Петрову, бывшему в ту пору начальником штаба Первого Украинского фронта. Он сам не особенно распространялся на эту тему, тем более следует сказать об этом сейчас.

Петров был по характеру человеком решительным, а в критические минуты умел быть жестким. Однако, при всей своей, если можно так выразиться, абсолютной военности, он понимал, что в строгой военной субординации присутствует известная вынужденность, и не жаловал тех, кого приводила в раж именно эта субординационная сторона военной службы. Он любил умных и дисциплинированных и не любил вытаращенных от рвения и давал тем и другим чувствовать это.

В его поведении и внешности были некоторые странности, или, вернее, непривычности. Он имел обыкновение подписывать приказы своим полным именем: «Иван Петров» или «И. Е. Петров», любил ездить по передовой на «пикапе» или на полуторке, причем для лучшего обзора частенько стоя при этом на подножке.

Контузия, полученная им еще в гражданскую войну, заставляла его, когда он волновался и особенно когда сердился, вдруг быстро и часто кивать головой так, словно он подтверждал слова собеседника, хотя обычно в такие минуты все бывало как раз наоборот.

Петров мог вспылить, и уж если это случалось, бывал резок до бешенства. Но, к его чести, надо добавить, что эти вспышки были в нем не начальнической, а человеческой чертой. Он был способен вспылить, разговаривая не только с подчиненным, но и с начальством.

Однако гораздо чаще, а верней почти всегда, он умел оставаться спокойным перед лицом обстоятельств.

О его личном мужестве не уставали повторять все, кто с ним служил, особенно в Одессе, в Севастополе и на Кавказе, где для проявления этого мужества было особенно много поводов. Храбрость его была какая-то мешковатая, неторопливая, такая, какую особенно ценил Толстой. Да и вообще в повадке Петрова было что-то от старого боевого кавказского офицера, каким мы его представляем себе по русской литературе XIX века.

Такой сорт храбрости обычно создается долгой и постоянной привычкой к опасностям: именно так оно и было с Петровым. Кончив в 1916 году учительскую семинарию и вслед за ней военное училище, он командовал в царской армии полуротой, добровольно вступив весной 1918 года в Красную Армию, воевал всю гражданскую войну, а после окончания боев на Польском фронте еще два года занимался ликвидацией в западных пограничных районах различных банд. Но и на этом не кончилось его участие в военных действиях. В 1922 году его перебросили в Туркестан, где он до осени 1925 года участвовал в различных походах против басмачей в составе 11-й кавалерийской дивизии. Осенью 1927 года — снова бои против басмаческих банд. Весной и летом 1928 года — опять бои.

В промежутках между этими боями в личном деле Петрова записано еще несколько месяцев какой-то оперативной командировки. Не берусь расшифровывать эту запись, но, судя по моим давним разговорам с самим Петровым, командировка эта, кажется, тоже была связана с военными действиями.

Весной и летом 1931 года Петров участвовал в разгроме Ибрагим-Бека в Таджикистане. Осенью того же года воевал с басмачами в Туркмении. И наконец, зимой и весной 1932 года там же в Туркмении участвовал в ликвидации последних крупных басмаческих банд.

Был один раз контужен, три раза ранен и награжден тремя орденами Красного Знамени: РСФСР, Узбекской ССР и Туркменской ССР.

В этих растянувшихся на пятнадцать лет боях, наверно, и сложился тот облик привычного ко всему и чуждому всякой рисовки военного человека, который отличал Петрова.

Если взять начальную и конечную точки военного пути Петрова в годы Великой Отечественной войны, то, казалось бы, можно считать его человеком, быстро и успешно выдвинувшимся: начал войну генерал-майором, формировал в Одессе кавалерийскую дивизию, а кончил в звании генерала армии и должности начальника штаба одного из двух крупнейших наших фронтов — Первого Украинского.

Но на самом деле путь этот был далеко не гладок, а порой и странно тернист по причинам, не до конца понятным.

В июле 1941 года Петров сформировал кавалерийскую дивизию из ветеранов гражданской войны — буденновцев и котовцев, и в начале августа стал воевать во главе нее, 20 августа был назначен командиром 25-й Чапаевской дивизии, а 5 октября, накануне эвакуации Одессы, — командующим Приморской армией.

После Одессы — девять месяцев обороны Севастополя в качестве командующего всеми его сухопутными силами. После падения Севастополя Петров — командующий Черноморской группой войск, командующий войсками Северо-Кавказского фронта, а затем командующий войсками отдельной Приморской армии.

И тут в начале 1944 года за неудачную, связанную с гибелью нескольких военных кораблей, десантную операцию — снятие с должности, и не только снятие, но и понижение в звании — из генералов армии в генерал-полковники. Одновременно с Петровым снимают и командующего флотом. Кто и в какой мере был виноват в происшедшем — еще может стать предметом дополнительного изучения, но факт остается фактом: Петрова снимают с армии, с погон у него снимают звезду, а войска, которыми он прокомандовал все самое тяжелое время обороны Кавказа, воюют в Крыму уже во главе с другим командующим.

Действительно ли были достаточные причины снимать Петрова и понижать его в звании? Последующие события заставляют в этом усомниться — ровно через два месяца после всего случившегося Петрова назначают командующим Вторым Белорусским фронтом, которому, по плану Ставки, вместе с другими фронтами предстояло окружить и разгромить немецкую группу армий «Центр» в Белоруссии. Исходя из нормальной человеческой логики, было бы странно поручать командование одним из фронтов в этой огромного значения операции только что не справившемуся со своими обязанностями и пониженному в звании генералу. При том, конечно, условии, что он был действительно кругом виноват.

Казалось бы, все хорошо. Однако не тут-то было! Проходит полтора месяца, и перед началом операции, уже спланированной на своем фронте Петровым, его опять снимают.

Петров настолько тяжело воспринял это второе снятие, что никогда, даже через много лет после войны, не хотел говорить о нем. Поэтому в данном случае я сошлюсь на человека, на долю которого в качестве представителя Ставки «выпала задача как можно безболезненнее обеспечить замену командующего». Я имею в виду воспоминания генерал-полковника С. М. Штеменко в «Военно-историческом журнале», где рассказывается история снятия Петрова с командования Вторым Белорусским фронтом.

«Замена И. Е. Петрова, не так давно принявшего Второй Белорусский фронт, была произведена по личному приказанию И. В. Сталина. Однажды, когда мы с Антоновым были на очередном докладе в Ставке, И. В. Сталин сказал, что член Военного Совета Второго Белорусского фронта Мехлис прислал ему письмо, в котором обвинил И. Е. Петрова в мягкотелости и неспособности обеспечить успех

операции, и, кроме того, сообщил, что Петров болен и много времени уделяет врачам. Мехлис не постеснялся вылить на голову Петрова ушат и других неприятных и по существу неправильных обвинений. Для нас они оказались совершенно неожиданными. Все мы знали Ивана Ефимовича Петрова как смелого боевого командира, разумного военачальника и прекрасного человека, целиком отдающегося своему делу. Он защищал Одессу, Севастополь, строил оборону на Тереке. Нам пришлось неоднократно бывать у него в Черноморской группе войск Закавказского фронта, на Северо-Кавказском фронте и в Отдельной Приморской армии, и мы были убеждены в его высоких командирских и человеческих качествах. Однако по навету Мехлиса он был снят, прокомандовав фронтом всего полтора месяца. Необоснованность снятия И. Е. Петрова вскоре стала очевидной. Ровно два месяца спустя, 5 августа 1944 года, он был вновь назначен командующим Четвертым Украинским фронтом, а 26 октября этого же года получил звание генерала армии».

Итак, Штеменко заканчивает эту страницу своих воспоминаний тем, как Петрова назначили командующим Четвертым Украинским фронтом.

А мне довелось присутствовать при том, как в марте 1945 года Петрова с оскорбительной поспешностью, абсолютно неожиданно для него самого и для работников его штаба, сняли с командования фронтом. В данном случае, как непосредственный свидетель событий, могу утверждать, что к этому моменту на фронте, которым он командовал, не только не произошло никакой внезапной катастрофы, но и ничего, даже отдаленного похожего на нее.

Причина происшедшего мне так и осталась неизвестной. Может быть, некоторый свет на это может пролить одно, опять-таки странное для нормальной человеческой логики обстоятельство, о котором мне напомнили мемуары Штеменко. Дело в том, что именно Мехлис, который, по словам Штеменко, добивался снятия Петрова со Второго Белорусского фронта, был назначен Сталиным опять-таки членом Военного Совета все к тому же Петрову на Четвертый Украинский фронт и остался там после того, как Петров был снят.

Мне остается, заканчивая этот не по моей вине несколько странный рассказ, сослаться на воспоминания маршала Конева. Едва успев снять Петрова с Четвертого Украинского фронта, Сталин предложил Коневу: не согласится ли тот

взять этого только что снятого командующего начальником штаба Первого Украинского фронта. Конев охотно согласился, и Петров буквально накануне Берлинской операции стал начальником штаба Первого Украинского фронта, который по своей мощи и количеству войск превосходил Четвертый Украинский фронт по крайней мере в четыре-пять раз.

Вспоминая всю эту чехарду назначений и снятий Петрова, невольно думаешь, что хорошо всем нам известной железной воле отнюдь не всегда сопутствовала железная логика.

Командующим сухопутными войсками в Одессе Петров был назначен за одиннадцать дней до ее эвакуации.

5 октября 1941 года. Передо мной лежит документ, извещающий об этом командиров и комиссаров дивизий. «С сего числа в командование войсками Приморской группы вступил генерал-майор Петров. Генерал-майор Софронов по болезни направлен на лечение. Жуков. Азаров».

У меня сохранились стенограммы записанных в 1950 году бесед с Петровым. Петров с уважением отзывался о командующем Одесским оборонительным районом адмирале Жукове, который еще в бытность Петрова командиром дивизии неоднократно приезжал к нему на передовую в самые тяжелые дни боев.

В своих положительных оценках мужественного поведения контр-адмирала Жукова Петров не одинок. Об этом свидетельствуют многие другие воспоминания участников боев за Одессу.

Петров принял командование Приморской армией, когда вопрос об эвакуации Одессы был не только принципиально решен, но и одна из дивизий, находившихся в Одессе, уже закончила свою эвакуацию. Вопрос стоял лишь о том, в какие сроки и как именно эвакуировать оставшиеся в городе войска.

В «Отчете Черноморского флота по обороне Одессы» говорится, что план отхода войск из Одессы имел два варианта. В документе, отправленном в штаб Черноморского флота 4 октября, накануне назначения Петрова, предполагалась перевозка тылов и техники к 12–13 октября, перевозка остальных частей оборонительного района — к 17–18 октября, и уход частей прикрытия — к 19–20 октября.

Идея эвакуации Одессы по второму варианту, заключавшемуся, как написано в «Отчете по обороне Одессы», в том, чтобы эвакуировать войска «скрытно и внезапно для противника с непосредственно занимаемых рубежей обороны и одновременно в ночь с 15 на 16 октября», была выдвинута позже, уже после того, как Петров вступил в командование войсками Приморской армии.

Существуют и опубликованы в печати разные мнения относительного того, кто именно выдвинул эту идею — командование Одесского оборонительного района или командование Приморской армией. На мой взгляд, основанный на изучении ряда документов, это правильное и увенчавшееся блестящим успехом решение было принято потому, что в конце концов на нем сошлись все. Но при этом факт остается фактом: до вступления Петрова в должность командующего Приморской армией продолжал еще выдвигаться первый, отвергнутый, вариант, а после его вступления в эту должность был утвержден второй, окончательный. Никак не приуменьшая роли всех других лиц, принимавших участие в выработке этого решения, я думаю, однако, что Петров, как вновь назначенный командующий войсками, которым предстояло эвакуироваться, сыграл в принятии этого дерзкого решения на эвакуацию отнюдь не последнюю роль. Тем более что именно такое решение соответствовало духу этого человека.

Хочу привести одну запись из упомянутых уже мною бесед с Петровым. Это не правленная Петровым стенограмма, и в ней возможны неточности, но, на мой взгляд, она передает запах времени и дает представление об атмосфере, в которой проходила внезапная и скрытная эвакуация Одессы.

«Стояла темнота. Все уже были готовы. Только солнце село, полки сразу, по сигналу, снялись и пошли. Оставили на участках каждого батальона по взводу от роты. Им было приказано три часа сидеть, а спустя три часа уходить в порт. В величайшем порядке и спокойствии части вошли в порт. Каждая пришла к своему кораблю, к своей пристани. Морской частью эвакуации командовал адмирал Кулешов. Штаб Одесского оборонительного района переехал на крейсер „Червонная Украина“, штаб армии перебрался туда же. Остались Крылов, Кулешов и я. В последний момент пришли двенадцать немецких самолетов и бомбили порт. Пакгаузы горят, в гавани полусвет. Погрузка идет при мерцающем зареве пожара. Самолеты кладут бомбы по этим пожарам, по порту, по сооружениям, а не по кораблям. Мы заехали на КП моряков в самом порту. Адмирал Кулешов подошел к

нам и сказал: „Товарищ командующий, разрешите пригласить вас и сопровождавшихся вас лиц поужинать". Входим на КП к Кулешову. У него накрыт стол человек на двадцать пять, стоит вино и закуска. Мы накоротке выпили, закусили вместе со всеми офицерами и нашими шоферами. В половине четвертого Крылов, Кулешов и я проехали вдоль причалов. На пристанях оставалось только несколько подрывных команд. Кораблям было уже приказано отойти на рейд. Мы сели на катера. Была подана команда взорвать мол. И вот рвануло Воронцовский мол. Туда было заложено шесть тонн тола. Пристани взлетели на воздух. Стало совсем светло. Мы проходили на катере мимо подорванного Воронцовского мола. Эскадра стояла на рейде и уже трогалась в путь. Корабли были видны до самого горизонта. В этот момент началась бомбежка эскадры, головная часть которой уже ушла на семьдесят километров от Одессы. Бомбили, но не попадали. Им удалось потопить только одно небольшое судно „Большевик", а все остальные благополучно пришли в Севастополь…»

А вот документ, как бы завершающий эту страницу воспоминаний Петрова. «Командующему Одесским оборонительным районом контр-адмиралу товарищу Жукову. Доношу: в ночь с 15 на 16 сего октября произведена эвакуация войск Приморской армии. Вывод войск с фронта и посадка на суда проведена в последовательности и в сроки, предусмотренные планом вывода и эвакуации войск. Войсковые части, производившие посадку в Одесском порту, личный состав погрузили полностью, за исключением случайно отставших людей. Материальная часть артиллерии эвакуирована в количестве, превышающем предварительно намеченное по плану. 17.X-41. Петров. Кузнецов».

Впереди были Крым и девятимесячные бои за Севастополь…

Там, в Крыму, в трагическом положении, в котором оказались части Приморской армии, не успевшие подойти на помощь нашим войскам, оборонявшимся на Перекопе, и атакованные прорвавшимися немцами посреди голых Крымских степей, Петров на свой страх и риск принял решение, сыгравшее большую роль в последующей обороне Севастополя. Не имея ни приказов сверху, ни связи, он вынужден был решать, как быть: уходить ли частям Приморской армии на Керчь и оттуда на Кавказ или идти к Севастополю. И после короткого военного совета, на котором большинство голосов было подано за Севастополь, пошел с армией к Севастополю…

78 «Бочаров… стал говорить об Иране, что едва ли там будет что-нибудь интересное, и отдаленно намекать, что наш отъезд туда из Одессы будет некрасиво выглядеть»

Со странным чувством я перечитывал вместе с Халипом эти строки, связанные с моим и его внезапным намерением лопасть в наши войска в Иран. У меня даже был соблазн вычеркнуть в записках эту историю, свидетельствующую о некоторой легкости в наших мыслях.

Высказанные там соображения насчет того, что мы не могли отправлять свои материалы из Одессы в Москву на перекладных через третьи руки, были верны и впоследствии оправдались. Но справедливо сейчас, через двадцать пять лет, сказать и другое: если бы не эта вдруг возникшая идея командировки в Иран, мы, очевидно, пробыли бы в Одессе еще несколько дней, собрали больше материала, и, вернувшись из Одессы, я послал бы в Москву что-то более серьезное, чем мои наспех написанные одесские очерки, появившиеся в «Красной звезде».

Видимо, меня подвело тогда самолюбивое мальчишеское желание еще где-то оказаться самым первым, да и просто-напросто было любопытно.

Словом, на мой нынешний взгляд, полковой комиссар Бочаров тогда был прав, а мы, уехавшие из Одессы на несколько дней раньше из-за своей никому не нужной иранской затеи, были не правы. Больше того, Бочаров имел основания быть недовольным нами, присутствующий в записках оттенок несправедливой досады на него был результатом того, что, наверно, где-то в глубине души я и тогда ощущал свою неправоту. Как известно, люди в таких случаях сердятся. И я не был исключением из этого правила.

79 «…когда мы подъехали к причалам, „Грузия" уже подошла и разгружалась. Борт теплохода был черен от морских бушлатов»

В тот день, 26 августа, к причалам Одесского порта подошла не «Грузия», а два теплохода — «Армения» и «Крым». По документам Военно-морского архива видно, что «Крым» и «Армения» вышли из Севастополя в Одессу 25 августа, «имея на борту груз боезапаса и 920 бойцов», и прибыли в Одессу утром 26-го между 5.50 и 7.50. Эти 920 человек, указанных в документах, и были тем новым прибывшим в Одессу отрядом моряков, который мы видели.

80 «Мы познакомились с тремя братьями-стариками. Они работали в мастерских с

1899 года»

Фамилия этих трех старых рабочих, ремонтировавших танки, — Зайцевы. Халип разыскал эту фамилию в своем старом одесском блокноте…

81 «…решили заехать в госпиталь, где, как нам говорили, лежал татарин-подполковник, командир балашовского полка»

О дальнейшей судьбе подполковника Султан-Галиева, которого мы тщетно пытались разыскать в одесском госпитале, я так и не нашел никаких документов. Остается думать, что он не выжил после тяжелого ранения. В архиве сохранилось лишь его довоенное личное дело, из которого можно было узнать, что Султан-Галиев Сулейман Ибрагимович, татарин по национальности, родился в 1903 году в Башкирской АССР в семье муллы; в 1925 году вступил в партию, а с 1926 года находился в армии на командных должностях. В последней предвоенной аттестации о нем было сказано кратко, но выразительно: «Качествами командира обладает, энергичен, решителен, инициативен, свои решения в жизнь провести может».

82 «На базе меня встретил контр-адмирал, высокий, бородатый, в морских брюках, заправленных в сапоги»

Это был начальник Одесской военно-морской базы Илья Данилович Кулешов. Тот самый, про которого вспоминал Петров, рассказывая о последней ночи эвакуации Одессы. Кулешов был старым моряком, в тридцатые годы служил на Тихоокеанском флоте, а с 1940 года командовал Николаевской военно-морской базой. В дни боев за Николаев оставался там до конца. Когда адмирала Жукова назначили командующим Одесским оборонительным районом, Кулешов стал вместо него командиром Одесской военно-морской базы и ушел из Одессы тоже последним.

83 «Эсминец отшвартовался уже в темноте…»

Мы ушли из Одессы в Севастополь в девять часов вечера 26 августа на эсминце «Беспощадный».

84 «Это был спокойный, деловой, точный, иронический человек… грустноватый от сознания, что слишком многое делается не так…»

Секретарь Военного Совета 51-й Крымской особой армии Василий Васильевич

Рощин, как это явствует из его личного дела, был к началу войны тяжело больным человеком и жил в Крыму из-за своего туберкулеза. Это не помешало ему пойти с первых дней в армию и провоевать до конца войны. Пройдя обе горестные крымские эпопеи — и сорок первого и сорок второго годов, он после этого участвовал в боях под Сталинградом и закончил войну в Германии в должности начальника отдела штаба все той же 51-й армии. Его последняя боевая характеристика была подписана командующим армией генерал-полковником Крейзером, тем самым, который когда-то в июле 1941 года в звании полковника воевал во главе Пролетарской дивизии под Борисовом.

85 «Мы уже слышали, что немцы в эти дни упорно пытались форсировать Днепр у Каховки»

Слухи соответствовали действительности. По данным нашей разведки, через три дня, 31 августа, немцы уже переправились через Днепр в районе Каховки.

86 «С этим „Дугласом" летели из Севастополя в Москву полтора десятка английских офицеров»

По словам Халипа, прочитавшего сейчас мои записки, англичане, с которыми он летел, были группой специалистов, прибывших к нам на Черноморский флот поделиться опытом устройства на кораблях противомагнитных поясов для борьбы с новыми немецкими магнитными минами. Возможно, так оно и было. Я не нашел в архиве документа, который бы прямо говорил о приезде на Черноморский флот именно этой группы, но из других документов видно, что англичане в этот период на Черноморском флоте бывали. В частности, там побывали представители английской военно-морской миссии капитан 2-го ранга Фокс и капитан-лейтенант Пауль, причем Фокс даже ходил в боевой поход на одной из наших подводных лодок в район Констанцы. И мало того, что ходил, но даже после похода написал в «Боевой листок» лодки М-34 статью «Мои впечатления».

87 «В Крыму было абсолютно нечего делать. Казалось стыдным сидеть здесь»

В записках не сказано ни слова об одном хорошо запомнившемся мне эпизоде, который произошел, если не ошибаюсь, как раз в те дни, когда Халип был в Москве и в дороге туда и обратно.

Я узнал в штабе 51-й армии о налетах наших ночных бомбардировщиков на Плоешти и о том, что они базируются здесь, в Крыму. Бомбардировщики

находились в подчинении у нынешнего маршала авиации В. А Судца, в то время полковника.

Явившись к нему, я попросил взять меня, как корреспондента «Красной звезды», на один из ночных бомбардировщиков, чтобы я, вернувшись, смог написать о их действиях.

Судец отказал мне, и довольно строго. Я стал настаивать. Тогда он заявил, что в этих полетах рассчитан каждый килограмм загрузки и брать лишних людей вместо бомб и бензина он не будет. А если я все-таки желаю летать — он даст мне возможность кончить шестинедельные курсы и после этого лететь бортстрелком.

Я понял, что это предложение — ироническая форма отказа, и, не желая отступать, вытащил имевшуюся у меня на крайние случаи бумагу за подписью Мехлиса — о необходимости оказывать мне всяческое содействие.

Однако, к моему удивлению, эта бумага не только не произвела на упрямого полковника ожидаемого мною впечатления, а наоборот — разозлила его.

Он сердито кинул мне ее обратно через стол, сказав нечто по тону времени уж и вовсе для меня неожиданное, вроде того, чтобы я шел вместе со своей бумажкой куда подальше, бомбардировщиками здесь командует не Мехлис, а он, и я могу ехать и жаловаться на него хоть самому Мехлису. Закончив разговор вполне официальной фразой «вы свободны», полковник, в сущности, предложил мне убираться, что я и сделал.

Как выяснилось при нашей встрече много лет спустя, как раз в те дни полеты на Плоешти сопровождались для нас особенно большими потерями, о которых, разумеется, тогда не распространялись, и полковник Судец, несмотря на разозлившее его размахивание бумажкой Мехлиса, пожалел меня, считая, что незачем зря рисковать лишней головой.

Когда весной 1942 года я псредиктовывал свои записки с блокнотов, я не оставил в них и следа этого эпизода. Этому могли быть две причины. Первая — самолюбие; наверное, мне не особенно хотелось вспоминать о неудавшейся затее с полетом на Плоешти. Но могла быть и вторая причина, более существенная: при том положении, которое еще продолжал занимать Мехлис, я мог сознательно не доверить бумаге этого эпизода, который мог выглядеть в то время чем-то вроде жалобы на столь непочтительно отнесшегося к Мехлису полковника.

88 «Художественный руководитель театра Лифшиц большой, красивый, еще молодой парень, — сидя на берегу, развивал мне свои идеи о синтетическом театре…»

Перечитав в записках это место о Лифшице с его казавшимися мне тогда нелепыми разговорами о синтетическом театре будущего, я стал разыскивать в Морском архиве следы этого человека. То, что я узнал о нем, было неожиданно и вступало в психологический контраст с моими записями.

Александр Соломонович Лифшиц, когда мы с ним встретились, оказывается, уже был призван во флот из запаса, хотя еще не имел звания. Он получил это звание — интенданта 3-го ранга — только в декабре 1941 года. Лифшиц продолжал оставаться руководителем Театра Черноморского флота до декабря 1943 года. Кто знает, может быть, и тогда, в разгар войны, мысли о синтетическом театре будущего продолжали волновать его. Однако, вопреки всему сказанному в записках, эти мысли не мешали Лифшицу ни думать о войне, ни участвовать в ней. Ставя у себя в театре военные пьесы, он, очевидно, считал своим долгом режиссера знать, как выглядит война вблизи, и за это заплатил жизнью. В политдонесении начальника политотдела Азовской военной флотилии, датированном декабрем 1943 года, рассказывается об операции по снятию десантных войск Приморской армии, высадившихся в Крыму, во время которой погибло несколько мелких кораблей — мотобаза, понтон, мотобот и два катера. Вот что говорится в этом документе:

«С 7 по 10 декабря 1943 года сторожевой корабль МО-04 выполнял боевую задачу по снятию десантных войск Приморской армии из города Керчь, район Митридат…

10 декабря сего года, продолжая выполнять поставленные командованием флотилии задачи, катер находился в Керченской бухте. Действуя в этом районе, катер подорвался на мине.

Личный состав во время катастрофы находился на палубе, за исключением радиста и режиссера политуправления Черноморского флота капитана Лифшиц, которые погибли, а остальной личный состав был подобран нашими катерами.

Во время взрыва и после него на катере паники не было. Командир катера капитан-лейтенант Аксиментьев Степан Михайлович, начальник штаба операции капитан-лейтенант Дементьев Михаил Владимирович вели себя исключительно

мужественно и смело…»

Когда я прочел это, мне захотелось узнать подробности происшедшего, и я написал упомянутому в донесении командиру катера С. М. Аксиментьеву.

Вот несколько выдержек из его ответного письма:

«…Не знаю, в какой мере удовлетворит Вас содержание моего письма, но пишу все, как было и как сохранилось в моей памяти. Дело в том, что в трагической гибели Александра Соломоновича Лифшица, очевидно, и я немного виноват. Коротко, как все это произошло.

Получив приказание: высадить подкрепление, перебросить боеприпасы и продовольствие, — в ночь с 8 на 9 декабря мы высадили десант непосредственно на керченский Приморский бульвар, подбросили боеприпасы и продовольствие.

9 декабря, перед новым заданием, ко мне подошел начальник политотдела бригады кораблей тов. Денисенко (он погиб под Керчью) и представил мне тов. Лифшица А. С., последний попросил рассказать ему о том, как прошла высадка десанта. Честно говоря, я более двух суток не спал, к тому же предстояла и третья бессонная ночь. Тогда я сказал: „Тов. Лифшиц, у нас нет времени, да и рассказчик я неважный. Пойдемте со мной в операцию, и Вы увидите своими глазами". Он охотно согласился…

Примерно в 19.30 мы вышли для выполнения поставленной задачи. Ночь была кромешно-темной. Тов. Лифшиц находился рядом со мной на мостике. В 10–15 кабельтовых от места вчерашней высадки десанта корабли были обнаружены противником, с берега был включен прожектор и почти одновременно открыт огонь из всех видов оружия. Я сошел с мостика к носовому орудию и приказал открыть огонь по прожектору. После нескольких залпов прожектор погас. Тогда я услышал рядом голос тов. Лифшица „Браво, артиллеристы", но когда прожектор погас на мгновение, наступила какая-то особенная темнота и очень рельефно стали видны трассы, которые тянулись со всего полукруглого берега в сторону кораблей, в этих случаях создается впечатление, что как будто бы каждая из них летит на тебя. Тов. Лифшиц сказал: „Неплохой фейерверк, в такой обстановке можно было бы и поднять тост". Когда я обернулся, чтобы показать ему на вспышки батареи, тов. Лифшица возле меня не было. Очевидно, он спустился в кают-компанию. В это время в районе мостика разорвался небольшой снаряд, а

еще через некоторое время сигнальщик доложил, что справа по борту плотик с людьми. Мы застопорили ход, люди с плотика были подняты на борт корабля, среди них — раненые. Со слов подобранных десантников нам стало известно, что почти весь десант сброшен в воду.

Корабль дал ход, маневрируя, чтобы продолжать подъем плавающих десантников. В это время под кормою раздался сильный взрыв, корабль получил дифферент на корму, начал тонуть. В результате катастрофы погиб Александр Соломонович Лифшиц — взрыв мины произошел под днищем корабля, как раз в районе кают-компании…

Больше ничего о тов. Лифшице я не знаю. В Вашей архивной справке сказано, что я командир катера МО-04. Это немного не так. Я был флагманским артиллеристом десантной операции, но поскольку командир МО-04 был ранен, то по совмещению я руководил кораблем во время указанной катастрофы…»

89 «У пирса, рядом с другими, стояла и та лодка, на которой я должен был идти в поход. Это была большая лодка крейсерского типа»

На страницах записок, связанных с походом на подлодке Л-4, есть несколько неточностей. Начать хотя бы с того, что я по своей сухопутной необразованности кое-где именовал флотские кителя френчами, ревун — колоколом, а вместо «подошел» писал «причалил». Но были и другие неточности, более существенные.

Я пишу, что лодка шла в свой седьмой поход. На самом деле это был ее четвертый поход за войну. Спрашивается, откуда появилась цифра — седьмой поход? Командир дивизиона, разговаривая со мной перед началом похода, мог сказать мне, что это седьмой боевой поход лодок его дивизиона. Каждая из двух его лодок к этому времени сделала по три похода, и теперь Л-4 шла в седьмой по счету.

Я упоминаю, что Л-4 была лодкой крейсерского типа. На самом деле Л-4 хотя и принадлежала к одному из двух наиболее крупных типов наших подводных лодок, была не крейсерской лодкой, а минным заградителем типа «ленинец», отсюда и ее название Л-4. Здесь к месту будет сказать, что Л-4 действовала во время разных походов не только как минный заградитель, она выполняла и другие задания.

Двадцать второго октября 1942 года лодка была награждена орденом Красного Знамени. Справка, составленная штабом Черноморского флота в связи с

представлением лодки к ордену, дает понятие о том, чем занималась лодка в первый период войны. Она выполнила за это время семь минных постановок у берегов и баз противника, поставив 140 мин, на которых подорвалось пять транспортов общим водоизмещением 23 тысячи тонн и один торпедный катер. В справке упоминается, что, кроме этого, лодка несла позиционную службу, настойчиво добиваясь встреч с противником, и во время одного из походов, подорвавшись на минах и имея повреждения, не покинула позиции. Во время боев за Севастополь лодка совершила семь походов, доставив в осажденный город 156 тонн боеприпасов, 290 тонн продовольствия, 27 тонн бензина и эвакуировав оттуда 250 раненых.

Лодка воевала в составе Черноморского флота до конца войны, точнее, до начала осени 1944 года, когда практически закончились боевые действия на Черном море. В наградном листе на боцмана лодки Л-4, мичмана Ивана Степановича Перова, которому в конце июля 1944 года было присвоено звание Героя Советского Союза, указано, что он участвовал на борту лодки в двадцати пяти боевых походах — эта цифра, очевидно, близка к общей цифре боевых походов, совершенных лодкой за войну.

90 «— Пойдем к румынам, — не уточняя подробностей, сказал мне Стршельницкий»

Я с некоторой долей тревоги искал в Военно-морском архиве документы об этом походе. Поход проходил в обстановке вполне понятной секретности, и я опасался, что у меня могут оказаться ошибки, вызванные просто-напросто моим незнанием всех действительных обстоятельств того дела, в котором я принимал участие.

Однако к моей сухопутной гордости оказалось, что мои записки ни в чем существенном не расходятся с хранящимся в архиве вахтенным журналом этого похода. Только в вахтенном журнале с его морской терминологией все это записано короче, точней, суше и, пожалуй, чуть многозначительней. Вот как выглядят выдержки из этого журнала за 7 и 9 сентября — третий и четвертый дни нашего похода.

7 сентября, воскресенье

5.35 Закончена зарядка аккумуляторной батареи. Погрузились на глубину 20 м.

8.10 Всплыли на перископную глубину, горизонт чист.

15.33 Прибыли в район выполнения боевой задачи. Боевая тревога!

16.33 Легли на курс минной постановки.

16.42–16.52 Выставлено минное заграждение в заданном районе. Всего выставлено 20 мин.

16.57 Легли на курс отхода. Продолжаем находиться на позиции у вражеского побережья.

20.27 Зашло солнце. Всплыли в надводное положение. Торпедные аппараты приготовлены к выстрелу, лодка готова к погружению.

Начата зарядка аккумуляторов.

8 сентября, понедельник

0.15— 2.00 За кормой, на берегу периодически появляются белые огни. Курс переменный, маневрируем в районе позиции.

24.00 В течение суток встреч с кораблями и самолетами не было.

91 «Когда Стршельницкий был свободен от вахты, мы подолгу разговаривали с ним. До войны он работал… в Соединенных Штатах…»

О старшем лейтенанте Юрии Александровиче Стршельницком мне потом говорили, что он погиб, перейдя после Л-4 на другую подводную лодку.

Как выясняется по документам, хотя Стршельницкого действительно нет в живых, дело обстояло не совсем так. Хочу привести некоторые подробности биографии этого многообещавшего морского командира, почерпнутые мною из папок Военно-морского архива.

Попав на лодку, я был отдан под опеку Стршельницкого, и это свело меня с ним короче, чем с другими. Под его опеку я попал, как выясняется, не случайно. С 1940 года он был флагманским артиллеристом бригады подводных лодок, а незадолго до войны стал слушателем курсов командного состава подводного плавания. В поход на Л-4 он ходил старшим помощником в качестве стажера, перед тем, как получить под свое командование другую лодку. На него как на человека, находившегося на лодке сверх комплекта, и была взвалена дополнительная обуза — возня с корреспондентом.

Стршельницкому в 1941 году было двадцать восемь лет. Он пошел во флот

добровольно с девятнадцати лет. За пять лет до войны закончил Высшее военно-морское училище, владел двумя языками — английским и немецким, — и 1937 год провел в США в качестве секретаря нашего военно-морского атташе. Как указано в его личном деле, после возвращения из Соединенных Штатов он с 1938 по 1939 год был «вне флота». «Уволенный по болезни», он служил в каком-то гражданском учреждении радистом. К счастью для Стршельницкого, в 1939 году он смог вернуться во флот и накануне войны, в мае 1941 года, вступил в партию.

Перейдя с лодки Л-4 на лодку Д-5 командиром, Стршельницкий совершил на ней несколько походов; об одном из них стоит сказать подробнее.

В период начавшейся под новый, 1942 год высадки наших десантов в Керчи и Феодосии «Красная звезда» направила меня туда. Когда я добрался до Новороссийска и пришел там к Азарову, который стал к тому времени членом Военного Совета Черноморского флота, он укоризненно сказал мне, что я поздновато явился; теперь мне придется идти в Феодосию на крейсере «Красный Кавказ», а явись я пораньше, он мог бы послать меня с подводной лодкой, которая пошла высаживать десант в Коктебеле. Я был раздосадован и, наверное, досадовал бы еще больше, если б знал, что командиром этой высаживавшей в Коктебеле десант подводной лодки был мой старый знакомый — Стршельницкий.

В те дни все казалось радужнее, чем вышло на деле. Никто не думал тогда, что мы надолго зацепимся только за Керчь, а Феодосию нам придется вскоре снова оставить. Маленький коктебельский десант был одним из тех, которые, высадившись в тылу у немцев, по плану должны были соединиться с нашими войсками, шедшими от Феодосии. Но план рухнул, десант погиб, и теперь в Коктебеле стоит хорошо известный всем, кто туда приезжает, памятник сражавшимся до конца морякам-десантникам.

Десант был высажен с подводной лодки Д-5, которой командовал Стршельницкий. Вот как выглядит эта высадка в вахтенном журнале лодки:

«28. XII. 3.30. Получен приказ Военного Совета Черноморского флота о выходе в море. Задача: выйти в район Коктебеля, высадить диверсионный десант в Коктебеле, после чего отойти на позицию в район Судака для прикрытия операции, где находиться до особого распоряжения.

6.07. Прошли кромку своих минных полей.

10.36. Два самолета.

10.37. Срочное погружение.

11.30. Всплыли.

14.48. Бреющим полетом на нас два самолета. Срочное погружение.

15.18. Всплыли.

15.19. Один самолет. Срочное погружение.

15.50. Всплыли.

16.15. Прямо по носу показался берег. Погрузились для скрытого подхода.

18.24. Всплыли.

18.39. Идем по бухте Коктебеля.

19.17. Вспышки орудийных выстрелов.

19.35. В районе Феодосии зарево.

19.45. Там же большое зарево.

19.45. В районе Феодосии зарево и взрывы большой силы.

29. XII.

2.45. Вошли в бухту Коктебеля. Ветер четыре балла. Пасмурно. Береговая черта не различается. Определяем место высадки десанта.

3.10. Ветер стал крепнуть.

3.30. Начали выгружать десантную группу на палубу подлодки.

3.42. Ветер дошел до шести баллов. Волна четыре балла. Волны стали перекатываться через палубу, смывая за борт не уложенные в шлюпки сумки и ранцы с боезапасом и питанием диверсионной группы. Налетевшим шквалом сорвало за борт две надутые шлюпки. Пытавшийся задержать шлюпки краснофлотец Кривошеин Н. А. накатившейся волной был сбит с ног и упал за борт. В течение одной минуты Кривошеин утонул. По приказанию капитана 2-го ранга Бук высадка десанта прекращена.

3.57. Выходим из бухты. В районе Феодосии гул интенсивной артиллерийской стрельбы.

4.10. Дана радиограмма на имя начальника штаба Черноморского флота: „По состоянию погоды ветер шесть море четыре высадку произвести не могу. Утонул один краснофлотец. Иду на позицию".

11.25. Получена радиограмма: „Высадку произвести при первой возможности. Азаров, Елисеев".

15.10. Самолет типа „хейнкель". Срочное погружение.

18.01. Всплыли.

20.57. На берегу слышны и видны вспышки ружейной стрельбы.

21.12. На берегу пулеметные очереди.

30.XII.

1.02. Вошли в бухту Коктебель.

1.07. Определяем место высадки десанта. Ветер четыре балла, накат около 3–4 баллов. Пасмурно. Идет снег.

2.18. Глубина под валом четыре метра. Начали высадку десантного отряда».

Дальнейший ход событий с большей краткостью, чем в журнале, изложен в донесении Стршельницкого:

«…Накат представлял значительные затруднения, вследствие которых часть людей высадиться не смогла. Одна шлюпка с двумя бойцами перевернулась. Однако можно предполагать, что ее добуксировали до берега. Всего высажен двадцать один человек во главе с главстаршиной тов. Елькиным. На борту осталось десять человек во главе с политруком тов. Гусевым. Поднявшаяся пурга и сильный норд-ост вынудили прекратить дальнейшую высадку. Сквозь пургу виден был ряд белых ракет, пущенных вверх с берега, и была слышна короткая очередь из пулемета. После этого ни ракет, ни стрельбы не было. Считаю, что наши сняли ракетчика и заняли село.

На следующий день вошел в бухту под водой для осмотра. На берегу, так же как и в самом селе, следов боя не обнаружено. На улицах села никого не видел. Выполняя приказ, лег на курс отхода на позицию…»

Дальнейшая история сначала успешных действий десанта, а потом его гибели, связанной с общим трагическим ходом событий в районе Феодосии, выходит за

пределы моих комментариев. Об этом уже писали и будут писать еще. Мне хотелось лишь привести некоторые данные о действиях лодки, которой командовал Стршельницкий, и о том упорстве, которое проявили подводники в тяжелейших условиях высадки этого десанта.

В апреле 1942 года Стршельницкому было присвоено звание капитан-лейтенанта и он был назначен начальником штаба Первого дивизиона подводных лодок.

В заключение хочу привести две выдержки из аттестаций Стршельницкого, которые рисуют привлекательный и своеобразный характер этого человека:

«…Как моряк вынослив. Морской болезни не подвержен. В сложной обстановке разбирается хорошо. Обладает чувством долга. Для пользы службы пренебрегает личными выгодами и удовольствиями. Морально устойчив. Работоспособен. Вынослив. Абсолютно здоров. Быстро осваивает каждую новую отрасль знаний. Сообразителен. Находчив. Хладнокровен. Отлично ориентируется в простой и сложной обстановке. Обладает силой воли. Энергичен. Решителен. Смел…»

«…Инициативен, по страдает в этом отношении особенностью: проявляет много инициативы в придумывании многих различных и зачастую фантастических способов использования своего оружия. Инициатива же в использовании этого оружия уже проверенными способами недостаточна. Море любит. Морскую службу и специальность подводника высоко ценит. Тяги к берегу не имеет. Оперативно-тактическая подготовка хорошая. Очень начитан. Хорошо знает морское дело».

Эта последняя из двух аттестаций датирована февралем 1942 года.

А в конце личного дела Стршельницкого я вдруг прочел неожиданную, как шальная пуля, фразу: «12 мая 1943 года исключен из списков флота, как умерший после операции».

Мои попытки найти историю болезни ни к чему не привели. Да и что бы это изменило? Сами попытки эти были вызваны ощущением неожиданности и нелепости этой смерти. Когда вспоминаешь войну, никак не можешь привыкнуть, что, кроме всех остальных смертей, людей иногда подстерегала и та смерть, о которой на войне отвыкали думать: просто-напросто смерть от болезни, от неудачной операции, от того, от чего умирает большинство из нас в те годы, когда не бывает войны. А мог бы человек еще плавать, совершать подвиги, жить,

работать, и шел бы ему сейчас, через двадцать пять лет после нашей встречи тогда, в сорок первом, всего-навсего пятьдесят третий год…

92 «…я улегся… чувствуя, что лодка стопорит ход и производит какие-то эволюции»

Как объяснил мне теперь бывший штурман Л-4, а ныне капитан 1-го ранга Б. Х. Быков, наше тогдашнее положение осложнялось тем, что лодка была вынуждена маневрировать возле берега, на очень малых глубинах, буквально проползая «на брюхе» по грунту и оставляя за кормой мутный шлейф поднятого винтами ила. И все это делалось в непосредственной близости от наблюдательных постов противника.

93 «Штурман лодки Быков, совсем молодой парень… сидя в своей штурманской кабине, вычислял обратный курс»

Бориса Христофоровича Быкова, судя по запискам, я считал тогда совсем молодым — гораздо моложе себя. На самом деле он был почти моим ровесником: мне должно было вскоре стукнуть двадцать шесть, а ему — двадцать пять.

Быков, так же как и Поляков, провоевал на Л-4 практически всю войну и только в ноябре 1944 года перешел на другую подводную лодку командиром.

94 «Впоследствии… выяснилось, что как раз… в этом квадрате моря был потоплен… корабль… груженный боеприпасами…»

История того, как мы догоняли надводным ходом и обстреливали какой-то небольшой корабль, вдруг исчезнувший после нашего второго выстрела, не стала для меня окончательно ясной и сейчас, через двадцать пять лет.

Вот как она записана в вахтенном журнале за 9 сентября 1941 года. Пожалуй, это будет интересно тем, кто прочел соответствующее место в записях.

9 сентября, вторник

6.00 Оставили район позиции. Легли на курс возвращения в базу. Идем в надводном положении.

13.05 По пеленгу 35° обнаружен силуэт корабля. Боевая тревога! Срочное погружение!

13.07 Погрузились на перископную глубину, начали маневрирование для выхода в

торпедную атаку. Полный ход.

13.36 Обнаруженный корабль — двухмачтовое парусное судно.

14.19 Дистанция до цели увеличивается. Ввиду невозможности занять позицию для торпедного залпа принято решение атаковать парусник артиллерией.

14.23 Всплыли в надводное положение. Полный ход под двумя дизелями.

Артиллерийская тревога! Носовое орудие готово к стрельбе.

14.55 Открыт артогонь с предельной дистанции.

15.10 Цель исчезла. Артстрельба окончена.

15.47 Прибыли в район, где находилась цель, ничего не обнаружено. Отбой артиллерийской тревоги.

17.23 По пеленгу 335° самолет. Срочное погружение! Погрузились на глубину 30 м (глубина, на которой лодка не просматривается с воздуха). Начали маневрирование по уклонению от атаки самолета.

18.43 Всплыли на перископную глубину, горизонт и воздух чист.

Документального подтверждения данных нашей агентурной разведки о потоплении корабля противника я в архиве не нашел. Очевидно, какие-то сведения на этот счет в Севастополе были, иначе бы они не попали в записки, но достоверность их остается под вопросом.

95 «Я прожил два дня в Севастополе, ожидая возвращения Халипа и Демьянова из Одессы… Сведения из Одессы в эти дни были тревожные…»

Сведения соответствовали действительности. Под Одессой шли ожесточенные бои на южной окраине Дальника, где в августе стоял штаб Петрова. В 287-м стрелковом полку у Балашова, как об этом упоминает в своих мемуарах адмирал Азаров, к этому дню оставалось всего 150–170 человек. Командование Одесского оборонительного района в своей телеграмме в Ставку и в штаб флота настаивало на усилении Приморской армии хотя бы одной дивизией (через несколько дней эта дивизия была дана) и сообщало, что за один день 12 сентября в Одессе только учтенными в госпиталях ранеными было потеряно 1900 человек.

96 «Поляков, видимо, недолюбливал корреспондентов и с моим присутствием на лодке примирился только к середине плаванья»

Командир Л-4 капитан-лейтенант Евгений Петрович Поляков плавал на лодке почти всю войну, до лета 1944 года. Все ее последующие походы были совершены под его командой. За время плавания на лодке Поляков был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени. А в мае 1945 года, командуя к этому времени дивизионом подводных лодок и находясь в звании капитана 2-го ранга, был награжден орденом Ушакова 2-й степени и орденом Британской империи. В 1941 году, когда мы встретились, Полякову был тридцать один год.

В 1960 году он был уволен из военно-морского флота по состоянию здоровья: сказались годы войны, многочисленные военные и послевоенные сложные плаванья — тысячи часов, проведенные под водой. Но оторвать этого человека от моря оказалось не так просто. Он и до сих пор в свои пятьдесят шесть лет ходит в дальние плавания капитаном-наставником на гидрографических и рыболовных судах.

97 «…возникали дополнительные сложности. По сводкам, немцами еще не был взят Херсон и ничего не сообщалось о форсировании ими Днепра, а нам… придется начать писать о боях на подступах к Крыму»

Говоря о сложностях с публикацией наших материалов из Крыма, я даже скорее приуменьшал их, чем преувеличивал. Всю предыдущую неделю в сообщениях Информбюро появлялись почти одни и те же, ничего не говорившие фразы: «Наши войска вели бои с противником на всем фронте» или «Наши войска продолжали бои с противником на всем фронте…» — с той только разницей, что в одних сообщениях писалось просто «бои», а в других добавлялся эпитет «упорные». И то и другое, особенно по контрасту с доходившими до нас слухами о новом крупном наступлении немцев на Южном и Юго-Западном фронтах, не только не успокаивало своей лаконичностью, а напротив — вселяло в душу лишь еще большую тревогу. По сводкам нельзя было представить себе ни того, что немцы вплотную подошли к Перекопу и Чонгару, ни того, что они форсировали Днепр по всему его нижнему течению. Что касается Херсона, то сообщения о том, что мы его оставили, так никогда и не появилось. Мои опасения — как я буду писать о боях за Крым, если они вот-вот начнутся, — оказались вполне обоснованными. В моих первых очерках, опубликованных в «Красной звезде» уже в самом конце сентября, после возвращения из Крыма, пришлось вынужденно

обходить всё, что могло дать представление о месте их действия. А это было нелегко по многим причинам, в том числе и психологическим.

И лишь в последнем из этих очерков, напечатанном уже в октябре, после того, как я улетел в Мурманск, впервые не было вычеркнуто слово «Крым». К тому времени немцы уже прорвались через Перекоп и заняли Армянск.

98 «На вопрос Николаева, что делается в дивизии, он ответил, что немцы вышли к станции Сальково и заняли ее…»

В связи с событиями, свидетелем которых я стал под станцией Сальково и на Арабатской стрелке, я предпочитаю обратиться главным образом к документам. Как мне кажется, они, в общем, подтверждают точность изложения этих печальных событий в моих записках.

Вот как выглядел бой под станцией Сальково в приказе № 0012 по войскам 51-й отдельной армии, отданном 18 сентября 1941 года.

«15 сентября мелкие части противника появились на участке 276-й стрелковой дивизии. В 10 часов 30 минут двум-трем танкам и нескольким мотоциклистам, только потому, что части 276-й стрелковой дивизии по-прежнему имели низкую боевую готовность, беспрепятственно и безнаказанно удалось выскочить к станции Сальково, куда подошел неизвестный эшелон с автомашинами и тракторами. Прямым выстрелом из пушечного танка противника паровоз был пробит и эшелон остался на месте.

Примерно в это же время до роты мотоциклистов вели наступление с юго-запада на станцию Ново-Алексеевка, район которой оборонялся третьим батальоном 876-го стрелкового полка, с батареей.

Занятие противником станции Сальково сразу нарушило связь по постоянным проводам со станцией Ново-Алексеевка, в результате чего командиры 276-й стрелковой дивизии и 876-го стрелкового полка потеряли связь с командиром батальона.

В течение 15-го и до 15-ти часов 16 сентября командир и штаб 276-й стрелковой дивизии оставались безучастными наблюдателями того, что на их глазах небольшая кучка врага захватила эшелон автомашин и тракторов.

Командир 276-й стрелковой дивизии не выяснил положения батальона 876-го

стрелкового полка, а командир 876-го стрелкового полка тоже никаких мер к выводу 3-го батальона не принял. Только по моему требованию командир дивизии предпринял попытку овладеть станцией Сальково, вывести с нее автотранспорт и установить связь с 3-м батальоном 876-го стрелкового полка.

Около 18-ти часов вместо 16 часов 30 минут, как предусматривалось командиром дивизии, наступление батальона началось. Но плохо организованный бой не дал успеха. Наша артиллерия дала несколько очередей по своей пехоте.

В 24 часа наступление было прекращено и батальон получил приказание, оставив охранение, вернуться к утру в исходное положение».

Так оно, примерно, и было на самом деле, и я думаю, что этот отражавший реальное положение вещей приказ не в малой степени был результатом именно того, что все это своими собственными глазами видел член Военного Совета армии Николаев.

А если бы он не видел этого своими глазами, то истинный ход событий под Сальково мог остаться неизвестным или не до конца известным штабу армии. Почему я так думаю? А очень просто. Потому что в той оперативной сводке штаба 276-й стрелковой дивизии за 16 сентября, которая шла наверх — в корпус, а оттуда в армию, — заместитель начальника штаба дивизии писал:

«В 19.30 наш батальон занял Сальково».

И в этот же день, 16 сентября, в 23.40, то есть за какие-нибудь полчаса до того, как мы с Николаевым после неудачной атаки вернулись в штаб к Савинову, командир дивизии донес в корпус: «Боем батальона к исходу дня 16 сентября станцию Сальково занял. Противник под давлением батальона отошел с боем. Батальон усилил свежей ротой с задачей удержать станцию Сальково до выгрузки эшелона с автомобилями и выяснения положения с третьим батальоном в Ново-Алексеевке. К утру батальон отведу в исходное положение».

Сличив этот с процитированным мною приказом по войскам армии, нетрудно убедиться, что в первоначальном донесении, посланном из дивизии наверх, содержалась попытка прямого обмана. В итоге она не увенчалась успехом, но при других обстоятельствах могла и увенчаться.

В том же приказе по войскам 51-й армии сказано и о событиях на Арабатской

стрелке:

«Пример проявления безволия и трусости показал в этот же день командир 873-го стрелкового полка полковник Келадзе в северной части Арабатской стрелки.

4-я рота 873-го стрелкового полка, вместо того чтобы оборонять позицию на северной окраине Геническа, затем на северной части Арабатской стрелки, без боя отошла в район Генической Горки.

Около 23-х часов 16.IX группа фашистов в 30–40 человек, не встретив наших частей, проникла в северную часть Арабатской стрелки, откуда была выбита огнем артиллерии, без всякого участия в бою пехоты.

Факт безнаказанного проникновения на стрелку группы противника с мотоциклами указывает на то, что командир 2-го батальона 873-го стрелкового полка старший лейтенант Кузнецов проявил нераспорядительность и трусость.

Находившийся 16.IX на Стрелке командир 873-го стрелкового полка полковник Келадзе с завязкой боя позорно, трусливо, самовольно уехал со Стрелки, не приняв никаких мер, чтобы навести порядок и заставить красноармейцев и командиров 2-го батальона выполнить боевой приказ. Причем полковник Келадзе донес командиру дивизии, что на Стрелке все спокойно, а командир дивизии генерал-майор Савинов не проверил правдивость донесения.

Полковник Келадзе неточно выполнил приказ командира дивизии. Вместо того, чтобы немедленно выйти на Стрелку и выяснить положение, полковник Келадзе только в 8.00 17.IX начал выдвижение на Стрелку. Выдвинувшись в район Геническая Горка, полковник Келадзе ничего не сделал, по-прежнему подло, трусливо бездействуя.

События на Арабатской стрелке выявили отсутствие твердого руководства и контроля со стороны командира дивизии генерал-майора Савинова, штаба той же дивизии, командиров полков, батальонов 276-й дивизии и показали преступную трусость в поведении командира 873-го стрелкового полка полковника Келадзе».

А теперь возьмем этот же эпизод на Арабатской стрелке, уже дважды изложенный — и в моих записках, и в только что процитированном приказе, — и посмотрим, как он выглядит в третьем варианте изложения, в жалобе командира 873-го стрелкового полка полковника Келадзе в Управление кадров РККА, отправленной

им в июле 1942 года, когда события отодвинулись в прошлое и ему, очевидно, казалось, что о них успели забыть.

«С боевой характеристикой, данной мне оценкой за боевую работу в годы Отечественной войны, я не согласен. В августе месяце 1941 года полк был отправлен на Крымский фронт. В районе сосредоточения полка был выделен 2-й батальон самостоятельно на Арабатской Стрелке для занятия района. Этим батальоном командовал неопытный командир.

В последних числах августа месяца 1941 года на участке 2-го батальона противник произвел разведку, и ему удалось выявить расположение батальона. После стычки с противником разведка батальона отошла с потерями, но не была уничтожена полностью. Связь со 2-м батальоном была исключительно через посыльных, так как управление штаба полка и два батальона находились на левом берегу Сиваша, а 2-й батальон — на правой стороне Сиваша, — два с половиной километра.

Батальон только впервые получил боевое крещение, командование не смогло преждевременно оценить противника и не организовало уничтожение его. Как только стало известно об этом, я с начальником штаба переправился на тот берег и принял все меры.

В этот период штаб полка имел специальное задание командования дивизии организовать взрыв железнодорожного моста в районе Арабатской стрелки, где я с начштабом были заняты по выполнению задания.

О случившемся факте командующий армией назначил расследование на предмет установления причин появления противника на Арабатской стрелке. Установлено было, что командир батальона не вел непрерывную разведку и слабо организовал охранение, благодаря чему и сам командир батальона погиб в этой стычке, и мне оставил на всю жизнь незаслуженное обвинение, после чего последовал приказ по армии о моем снятии с командования полка с формулировкой: „за проявленную слабохарактерность и безвольность", тогда как материалом расследования подтвердилось, что я и штаб в этот период не могли возглавить батальон, и дело по обвинению меня было прекращено, на что я имею справку прокуратуры Крымского фронта».

Я привел эту написанную через год после событий жалобу потому, что если

мысленно опрокинуть ее в прошлое, то нетрудно представить себе ее не в виде жалобы, а в виде донесения, которое такой человек мог отправить и наверное бы отправил начальству, о событиях, происшедших на Арабатской стрелке, если бы, на его несчастье, там не оказался Николаев, увидевший все, что произошло, собственными глазами.

В приказе по армии генерал-майору Савинову объявлялся выговор за нетребовательность и нераспорядительность. Келадзе за бездеятельность и трусость устранялся от занимаемой должности и предавался суду военного трибунала. В этом же приказе предавался суду за трусость и паникерство и командир находившегося на Арабатской стрелке батальона, хотя он к тому времени был мертв.

Приказ, видимо, был написан второпях, и на нем не стояло подписи Николаева. В следующем приказе по армии, изданном через пять дней, 23 сентября, и на этот раз подписанном Николаевым, говорилось:

«Ввиду выяснившихся обстоятельств, что командир 2-го батальона 873-го стрелкового полка старший лейтенант Кузнецов руководил боем отдельной группы батальона с проникшим на Арабатскую стрелку противником и геройски погиб, приказываю: Пункт 5-й приказа войскам армии от 18 сентября 1941 года отменить.

Ответственность за ложные сведения о старшем лейтенанте Кузнецове несет бывший командир 873-го стрелкового полка полковник Келадзе».

Я сказал, что приказ писался второпях. Об этом говорят не только содержащиеся в нем неточности, но и быстрота его появления — буквально на следующий день после событий. Насколько я понимаю, само появление этого приказа было результатом запроса начальника Генерального штаба Шапошникова, до которого, уж не знаю через какие каналы, дошли сведения о событиях под Сальково и на Арабатской стрелке. Из текста видно, что приказ был отправлен Шапошникову в ответ на его запрос: «В ответ на № 002064. В результате расследования событий на Арабатской стрелке факта захвата противником станции Сальково отдан прилагаемый приказ войскам 51-й армии…»

В чисто военном смысле ничего катастрофического не произошло. Положение на Арабатской стрелке было без особого труда восстановлено. А тот батальон 276-й

дивизии, который был отрезан от нее немцами под Салькoво, вопреки первым сведениям, не погиб, а, потеряв пятьдесят человек убитыми и ранеными, прорвался через тылы немцев и присоединился к одной из дивизий воевавшей на материке 9-й армии. Но смысл событий, содержавшийся в них урок были гораздо опаснее масштаба этих двух частных неудач. Видимо, это и обеспокоило Генеральный штаб. То, что приказ, который я цитировал, был все-таки издан и многие вещи названы в нем своими именами, было очень важно — у нас оставалось меньше недели до начала немецкого наступления на Крым.

А теперь зададим себе вопрос: ну, а если бы подлинная картина не стала ясной? Если бы то донесение о бое за станцию Салькoво, которое направил наверх командир 276-й дивизии, или те объяснения, которые выдвигал в свою защиту командир 873-го полка, были приняты за нечто достоверное? Что тогда? Как бы отразилась эта неправда на наших дальнейших действиях в Крыму? Думаю, самым губительным образом. Должно быть, этим чувством и были вызваны те горькие строки, которые я записал тогда, что в этой истории, как в капле воды, отразилось страшное бедствие — наличие в армии людей, боящихся начальства больше, чем врага…

Хочу дополнить свои комментарии, связанные с событиями под Салькoво и на Арабатской стрелке, еще одним свидетельством, взятым из книги воспоминаний бывшего заместителя командующего 51-й отдельной Крымской армией генерала армии П. И. Батова. Вот что он пишет по этому поводу:

«Салькoво и Арабатская стрелка. Оборону держала здесь, как я уже говорил, 2?6-я стрелковая дивизия, сформированная в Чернигове уже после начала войны. Больше Половины бойцов в ней в возрасте за тридцать лет, не обученных ведению боя. Как-то генерал И. С. Савинов откровенно сказал мне, что он просто порой теряется из-за того, что люди еще не умеют по-настоящему с винтовкой обращаться, а большинство командиров — из запаса, без опыта командования. Помочь ему кадрами было невозможно: в это время в офицерах до крайности нуждалась осажденная Одесса, и управление 51-й отдельной армии, отрывая от себя, посылало их туда. Самого комдива я знал как квалифицированного штабного работника. Позже, в ноябре и декабре сорок первого года, на Тамани, когда я принял командование 51-й армией, генерал Савинов служил у нас заместителем начальника армейского штаба, а после гибели генерала Шишенина

возглавил штаб, прекрасно работал при подготовке десантной операции. Это был очень опытный штабной работник, но командовать дивизией ему, видимо, было тяжело. По характеру мягкий, обходительный, привыкший более доверять, нежели проверять, он представлял полную противоположность Черняеву и Первушину. И потом — одна черта, опасная в боевой обстановке: командир 276-й дивизии больше всего боялся начальства. Окрик лишал его способности работать».

99 «У позиции морских артиллеристов мы на несколько минут задержались. Политрук батареи… был первый человек за утро, четко и ясно доложивший обстановку…»

127-й морской батареей, которая спасла положение и остановила немцев на Арабатской стрелке в ночь с 16 на 17 сентября, командовал лейтенант Василий Назарович Ковшов, шахтер, потом краснофлотец, командир батареи, к началу войны — артиллерийский офицер. Впоследствии, в ноябре 1942 года, он, судя по документам, пропал без вести.

Из донесений о действиях батареи за 16 сентября видно, что минометным огнем немцев на ней было ранено одиннадцать краснофлотцев. В рапорте, написанном «во исполнение личного приказания члена Военного Совета 51-й армии, корпусного комиссара товарища Николаева о награждении отличившихся в этом бою артиллеристов», упоминается фамилия комиссара батареи Н. И. Вейцмана, того самого политрука, который первым в тот день ясно и четко доложил Николаеву обстановку.

100 «…Николаев, в человеческое поведение которого я просто влюбился, все-таки, по моему смутному ощущению, делал что-то не то, что ему нужно было делать как члену Военного Совета…»

Я с большим интересом нашел в мемуарах Батова несколько упоминаний о Николаеве. Приведу два из них, в сущности дополняющие друг друга.

«Николаев по своему обыкновению облазал весь передний край 156-й дивизии, как раз в этот день немецкие самолеты просто не давали житья. Ну, Николаев-то был к опасностям боевой обстановки равнодушен, наоборот, его как будто приводило в хорошее настроение сознание, что он вполне делит эти опасности с массами бойцов и офицеров. К сожалению, он не ответил на волнующие нас вопросы: оценка противника, вероятное направление его удара, а самое главное

— наши резервы…»

«…Ему, как и многим товарищам, испытавшим чрезмерное выдвижение в конце тридцатых годов, было туговато… На Хасане он был комиссаром полка. Теперь — член Военного Совета армии, действующей на правах фронта. С командующим у них не было взаимного понимания: командарм подавлял его эрудицией. Не будучи в состоянии поправить командарма в главном, товарищ Николаев исправлял частности, уезжал в полки, в родную для него стихию боя».

Прочитав это, я еще раз заново подумал об Андрее Семеновиче Николаеве, о своей тогдашней, в общем восторженной, оценке его личности и о том, что представлял собой этот человек в действительности. Не с точки зрения молодого военного корреспондента, восхищенного его храбростью, а с более существенной точки зрения — его соответствия занимаемой им должности члена Военного Совета отдельной армии, находившейся на правах фронта.

Смотрю личное дело Николаева, разрозненные архивные документы, бросающие свет то на один, то на другой кусочек его биографии, и думаю о том, что Батов, конечно, прав: там, в Крыму, Николаеву было туговато.

Смотрю на документ, называющийся «Личным листком перемещений и назначений», и вижу оттиснутое на нем поспешными лиловыми штампами такое лихорадочно-быстрое выдвижение, которое другого человека, нравственно менее цельного, чем Николаев, вообще могло бы душевно искалечить.

14 августа 1936 г. — Штамп: присвоено звание старшего политрука.

3 декабря 1937 г. — Назначен начальником политотдела Академии Генерального штаба.

8 декабря 1937 г. — Штамп: присвоено звание батальонного комиссара.

8 июля 1938 г. — Назначен исполняющим обязанности начальника политуправления Первой армии Краснознаменного Дальневосточного фронта.

10 июля 1938 г. — Штамп: присвоено звание полкового комиссара;

31 июля 1938 г. — Утвержден начальником политотдела этой же армии.

14 августа 1938 г. — Штамп: присвоено звание бригадного комиссара.

10 сентября 1938 г. — Назначен начальником политуправления I Отдельной

Краснознаменной армии.

18 ноября 1938 г. — Назначен членом Военного Совета Киевского особого военного округа.

19 ноября 1938 г. — Штамп: присвоено звание дивизионного комиссара.

2 февраля 1939 г. — Штамп: присвоено звание корпусного комиссара…

Если все это подытожить, окажется, что человек, бывший еще 2 декабря 1937 года выпускником Военно-политической Академии и старшим политруком по званию, ровно через четырнадцать месяцев после этого был уже корпусным комиссаром и членом Военного Совета округа.

Что сказать об этом? Еще раз приходится сказать то же самое: страшные тридцать седьмой-тридцать восьмой годы, страшное для армии время. Страшное не только для тех, кто, не зная за собой никакой вины, погиб, и не только для тех, кто после года-двух-трех лет тюрьмы вернулся в армию, чаще несмотря ни на что не сломленными, но иногда и сломленными. Страшное и для тех, кого вот так, как Николаева, швыряя через несколько ступенек, бездумно, нелепо, беспощадно по отношению к ним самим возносили вверх по военной лестнице, повышая сплошь и рядом губили, а потом с них же беспощадно требовали ответа за то, в чем они, в сущности, не были виноваты, потому что период созревания обязателен не только для пшеницы или кукурузы, но и для людей. Ибо даже самый бесстрашный человек не может силою одних приказов и лиловых штампов в личном листке превратиться за год или за два из старшего политрука в корпусного комиссара, как это было с Николаевым, или из старшего лейтенанта стать заместителем наркома обороны и командующим военно-воздушными силами, как это было, скажем, с храбрейшим летчиком Рычаговым…

Да, конечно, думая сейчас о Николаеве, я куда больше, чем тогда, в 1941 году, понимаю, что он не был готов к тому, чтобы стать членом Военного Совета армии на правах фронта. Он мог быть, да, в сущности, и был храбрым комиссаром полка, может быть, дивизии, не сверх того. Но из-за проклятых событий тридцать седьмого-тридцать восьмого годов он к началу войны, помимо своей воли, вынужден был прийти на место тех опытных и почти поголовно загубленных политработников, которые воевали комиссарами дивизий еще в гражданскую войну, он пришел вместо них и честно делал на войне все, что мог и умел.

И там, в Крыму в 1941 году, он был в моих глазах так хорош потому, что я видел его в те моменты, когда он был на своем месте — бесстрашного комиссара полка или дивизии. Он делал на моих глазах то, что умел делать, и в этом состояла основа моего тогдашнего взгляда на него.

А потом где-то весной 1942 года — я не нашел в документах точной даты — случилось то, что, очевидно, должно было с ним случиться; он был снят с должности, которой не соответствовал, несмотря на все свое мужество, и отправлен в резерв политсостава в Москву. В это время, примерно в конце апреля 1942 года, я встретил его в Москве во второй и последний раз в жизни.

Он ожидал нового назначения, никак не мог его получить, томился и писал рапорты о перемещении на какую-нибудь низшую должность с немедленной посылкой на фронт.

Мы провели с ним день. Он не говорил ни слова об обстоятельствах своего смещения. Не берусь судить, было ли в его душе чувство обиды или не было — он за весь день ни разу даже вскользь не упомянул об этом. В этот день вдруг, как бы освободившись от обязанности говорить о вещах, имевших отношение к его прямому делу — войне, — он с каким-то удивившим меня юношеским, романтическим чувством говорил о чистоте души, которой не хватает людям и которая, как он считал, окончательно придет только тогда, когда всюду, на всем земном шаре, будет социализм. Он говорил о недостатке самопожертвования и в особенности самоотречения в, казалось бы, даже самых хороших людях. В тот день среди всех этих разговоров я как-то вдруг понял, что те жизненные привычки, которые я замечал за ним раньше — жесткая койка с солдатским одеялом, умеренная до удивления еда, непременно собственноручное подшивание подворотничков и чистка сапог, — были не только привычкой, как мне это казалось раньше, но и результатом его взглядов на поведение человека.

С этими разговорами было связано мое последнее впечатление о нем. А дальше идут только архивные бумаги, в которых я бесконечно рылся, ища хоть каких-нибудь упоминаний о его дальнейшей судьбе. И нашел их всего два.

Первое — подписанный 8 мая 1942 года заместителем наркома обороны СССР армейским комиссаром 1-го ранга Мехлисом приказ о том, что «Николаев, Андрей Семенович, корпусный комиссар, состоящий в распоряжении Главного

политического управления РККА, назначается военным комиссаром 150-й стрелковой дивизии».

И второе упоминание — короткая чернильная пометка в личном деле: «Пропал без вести в июне 1942 года».

Продолжая поиски, я обратился к документам, связанным с судьбой 150-й стрелковой дивизии, входившей в мае 1942 года в состав 57-й армии Юго-Западного фронта. Эта армия во время нашего неудачного наступления под Харьковом в мае 1942 года оказалась в глубоком окружении, а ее командующий генерал-лейтенант Подлас застрелился.

Читая эти документы и размышляя о самоубийстве Подласа, я подумал, что этот человек мог в критическую минуту подумать о себе примерно теми же словами, которыми я в своей книге «Живые и мертвые» наделил одного из ее героев, генерала Серпилина: «Помереть на глазах у всех я не боюсь. Я без вести пропасть не имею права». Мне пришло это на память потому, что предвоенная судьба Подласа была почти такой же, как судьба Серпилина — несколько лет тюрьмы, освобождение, назначение на корпус, война, смелый прорыв из окружения во главе своих войск, назначение командующим армией и вслед за этим — новое окружение…

Части 57-й армии вырывались из окружения с кровопролитными боями и тягчайшими потерями. Очевидно, в этих боях и погиб Николаев где-то между 18 мая, когда, судя по документам, 150-я дивизия перешла к обороне в районе станции Лозовая, и 6 июня, когда из армии во фронт было направлено донесение, что из состава 150-й дивизии вышли из окружения 177 человек.

В документах упоминается, что к 10 июня 1942 года была неизвестна судьба ни командира дивизии генерал-майора Д. Г. Егорова, ни ее начальника штаба М. Ф. Ширяева. Упоминается также, что из окружения не вернулся полковой комиссар Лященко, «начальник политотдела, он же военком 150-й дивизии». Эта последняя деталь — упоминание о Лященко «он же военком», — заставляет предполагать, что Николаев, назначенный 8 мая комиссаром в эту дивизию, очевидно, был убит в начале боев и его, уже в окружении, заменил начальник политотдела.

К сожалению, это пока все, что я знаю о судьбе Николаева.

Итак, мне не удалось найти в архивах никаких следов гибели таких людей, как

Николаев и Ракутин, один из которых был корпусным комиссаром, а другой командовал армией. Встает вопрос: почему же так получилось?

Думаю, что это связано с двумя причинами. Во-первых, надо помнить масштабы постигших нас в 1941 и в 1942 году катастроф, большую глубину окружений и то, что, если говорить о сорок первом годе, в этих глубоких окружениях оказались разбитые части армии, которая еще не имела опыта боев, еще только начинала воевать и приспосабливаться к войне.

Одним из последствий этого было и то, что в ряде случаев мы так до сих пор до конца и не узнали, при каких именно катастрофических обстоятельствах, где и как погибли такие люди, как Качалов, Лизюков, Ракутин или Николаев и ряд других командующих армиями и членов Военных Советов.

И второе, что тоже следует помнить: тридцать седьмой-тридцать восьмой годы нанесли очень сильный удар по авторитету командного состава нашей армии. Ведь на глазах у бойцов, у младшего и среднего командного состава в этот период один за другим изгонялись из партии, арестовывались, исчезали командиры и комиссары полков и дивизий, не говоря уже о начальниках более высоких рангов.

Это стало страшным, но привычным явлением. И в сознании людей к началу войны сохранилось ложное представление о том, что многие их довоенные командиры оказались изменниками родины. Ведь публичной реабилитации, недвусмысленно сделанного и доведенного до сведения армии признания ошибок тридцать седьмого-тридцать восьмого годов так и не произошло. Те, которые погибли, а их было большинство, так и оставались оклеветанными, их доброе имя так и не было восстановлено в сознании их подчиненных. А те командиры, которые вернулись в армию, были возвращены так тихо, так бесшумно, словно их не то пощадили, не то помиловали.

В этих условиях авторитет командира в армии неслыханно упал, и не мог не упасть. Наши предвоенные беды сыграли большую роль в том неподчинении командирам, которое нередко имело место в 1941 году. В ходе войны пришлось заново воспитывать в людях не только чувство абсолютного доверия к командиру, но порой и вытекающее из этого сознание необходимости сделать все ради сохранения его жизни.

Конечно, бывало по-разному, и в летописях первых же месяцев войны

сохранилось множество фактов высокого самопожертвования людей, спасавших своих командиров ценой собственной жизни. Но, увы, было не так мало и других случаев. И то, что целый ряд даже высших наших командиров пропал без вести, есть не только следствие тягчайшей обстановки начала войны, но и в такой же, если не в большей, мере следствие тяжелейших процессов, пережитых армией в тридцать седьмом-тридцать восьмом годах, процессов, которые всякую другую армию, наверное, вообще разрушили бы до основания.

101 «…она потащила меня за руку к своей полуторке, чтобы показать, в каких местах… пробили ее машину осколки мин. Так я ее и снял около ее пробитой полуторки — в косынке и платьице. Этот снимок потом бил напечатан в „Красной звезде“»

В «Красной звезде» был напечатан не только снимок Паши Анощенко, но и мой очерк о ней — «Девушка с соляного промысла». Как теперь выясняется, и то и другое дорого ей обошлось.

Облик этой дерзкой и самоотверженной девушки-«шоферки» врезался мне в память на долгие годы. Через пятнадцать лет после тех событий в Крыму, о которых идет речь в записках, я написал маленькую повесть «Пантелеев», в которой была и Арабатская стрелка, и погибшая рота, и не успевшая переобмундироваться девушка в выцветшем платье и косынке, возившая под огнем минометы, прицепив их к своей пробитой осколками полуторке. Именно эта повесть еще через десять лет помогла мне разыскать Пашу Анощенко.

Несколько месяцев назад я нашел у себя на столе письмо, пришедшее из Керчи. В обратном адресе была указана незнакомая фамилия, но с первых же строк письма стало ясно, что в нем идет речь о хорошо знакомых мне событиях. Вот это письмо с некоторыми сокращениями:

«Обращаюсь к вам с просьбой. Дело касается одной статьи, напечатанной в журнале „Москва“ под заголовком „Рассказ Пантелеева“. В этом рассказе Вы описали то, что происходило в Крыму на Арабатской стрелке под Геническом. В рассказе упоминается о девушке-шофере, которая подвозила боеприпасы к передовой. Когда я прочитала этот рассказ, я узнала в девушке-шофере себя. Это было в конце сентября 1941 года. Я была вольнонаемная — меня брали на укрепление обороны с машиной. Я возила снаряды на передовую линию с дер.

Ген. горка, где находился штаб, через пионерский лагерь к Геническу. По машине немцы вели обстрел. В машине находились пять бойцов, снаряды и был прицеплен полковой миномет. Осколком снаряда ударило в капот по брызговику, капот отлетел, к счастью, мотор не задело, верх кузова машины был прострелен пулями. Мотор заглох. Бойцы ушли в окоп, а я в это время продула трубку, подающую горючее, завела мотор, собрала бойцов, и мы поехали дальше. Снаряды мы разгрузили на передовой у домика, стоявшего в стороне от пионерлагеря. Обстрел продолжался, было прямое попадание в дом, и это спасло машину и снаряды…

Эти события потом были описаны в газете под заголовком „Девушка с соляного промысла", помнится, за 2 октября 1941 года. Прошло много лет. Дни войны стали забываться, и вот однажды одна учительница, которой я раньше рассказывала о днях, проведенных на обороне Геническа, принесла мне журнал с описанием этих событий. Читали рассказ всей семьей, затем я отослала его в Ленинград сыну (он там учился), а он отдал его кому-то почитать, так и затерялся, больше у меня ничего не осталось, что бы напоминало мне о прожитых годах войны… Очень хотелось бы иметь хоть одну газету военных лет с описанием этого эпизода моей жизни. Но где хранятся такие газеты, я не знаю. Может, вы сможете в этом мне помочь.

До свидания, с уважением к вам, Колупова Прасковья Ник. Фамилия до замужества Анощенко П. Н. В газете моя фамилия указывалась правильно, а в журнале нет, там было написано Горобец, правильно Анощенко».

Я написал Прасковье Николаевне и вскоре получил ответ:

«…Вы просите рассказать Вам о том, как сложилась моя жизнь-судьба после сентября 1941 г. Я Вам опишу.

2 ноября 1941 г. по приказу командования временно отступить мы начали отступать через пролив в Тамань. Я в это время работала на санитарной машине. И я с ранеными переправилась в Тамань. В Тамани меня вызвал полковник Ульянов и в присутствии маршала Сов. Союза т. Куликова (очевидно, Кулика. — К. С.) сказал, что наш полк расформировывается и что я с бойцами направляюсь в Краснодарский край, ст. Роговская, в медсанбат 217. Там я встретилась со своим мужем Беспяткиным Георгием Ефимовичем, в то время он был лейтенантом. Замуж я вышла еще до войны, но паспорт заменить не успела, так я и осталась на своей

фамилии. Жить нам пришлось недолго. 22 марта нашу 156-ю дивизию направили на поддержку керченского десанта. 9 мая мы начали отступать. Я возила раненых на сан. машине с д. Михайловки в крепость г. Керчи, а 14 мая мне сказал старш. лейтенант, что мой муж Беспяткин Г. Е. погиб в боях за Керчь.

После отступления с Керчи нас направили опять на фронт под Ростов. Под Ростовом около реки Маныч мы сразу же попали в окружение. Мы разбились на маленькие группы по приказу командира и начали ночами выходить из окружения. А днем я переодевалась в гражданскую одежду и добывала продукты для нашей группы. Шли мы Сальскими степями. Когда пробираться стало труднее, мне сказали, что мне, как будущей матери, лучше пробираться одной. И я пошла одна. Идти было очень трудно, шла в основном ночами, выбирала проселочные дороги, ровно месяц и десять дней.

На Сольпром, где жила раньше, я не пошла, т. к. мне сказали, что меня разыскивают и что у начальника полиции лежит вырезка — фотография и статья из газеты обо мне на столе под стеклом, и он все время узнавал, не вернулась ли я. Итак, мне пришлось жить на другом сольпроме, вблизи Керчи. Но и здесь стало известно, что я служила в армии. Местный полицай Пеганов Евгений Николаевич допрашивал меня, с какой целью я вернулась сюда, и бил. В этот период у меня родился сын. Я назвала его в честь погибшего мужа Георгием.

Жена полицая заступилась за меня, сжалилась, как женщина, что у меня маленький ребенок. Но все же полицай сказал одному немецкому офицеру, что я русский солдат и муж был командиром. Офицер этот пришел к нам домой, бил и сказал, что меня расстреляют. Пригрозил, что если я уйду, то расстреляют всех родственников, а сам поехал за гестаповцами. К счастью для меня, он не доехал, по дороге погиб. А я забрала ребенка и уехала в Исламтерский район, где и жила до освобождения Керчи. В этих местах были люди, эвакуированные с Сольпрома, они знали обо мне все, но меня никто не выдал, а когда находили листовки, приносили мне читать.

Когда освободили Крым, меня сразу же райзо направило на работу в Марфовку — шофером. Там я работала до 1947 года. В Марфовке я познакомилась с Колуповым Василием Ивановичем. Он был инвалидом второй группы, во время войны был в Ленинграде, пережил блокаду. Он жил один с двумя ребятишками. И я решила

выйти замуж и воспитать своего сына и этих двух ребятишек. Всей семьей мы выехали на Арабатскую стрелку, где я опять работала шофером».

В конце письма Прасковья Николаевна коротко написала о своей нынешней жизни. Она работает в колхозе «Рассвет», но свою старую шоферскую специальность оставила. Трое старших сыновей в их семье теперь уже сами взрослые, женатые люди. Один работает начальником связи, другой — горным мастером, третий — шофером. А четверо младших — три дочки и сын — еще учатся в школе, самый младший — Василек — всего-навсего в первом классе…

Я достал из архива старый номер «Красной звезды» с моим очерком и с фотографией Паши Анощенко.

В очерке были строчки о нашей тогдашней давней тревоге за ее судьбу: «…Еще издали были слышны частые разрывы мин. Как-то невольно думалось о Паше. Хотелось опять увидеть ее белый платочек и васильковое платье, услышать ее торопливую скороговорку. И в то же время боялись за нее, боялись, потому что — война, и слишком часто встречаешься для того, чтобы больше не увидеться…»

Опасения такого рода мучительно часто оправдывались на войне. Могли оправдаться и на этот раз — и там, на Арабатской стрелке, и потом — под Керчью, под Ростовом, в окружении, в оккупации…

И все-таки не оправдались. Хотя для того, чтобы узнать об этом, понадобилось двадцать пять лет.

102 «Темно было так, что я с трудом различал лицо Николаева… Рыбаки могли бы в такую ночь завезти нас куда угодно, если бы они польстились на немецкую награду, которая, наверное, была бы немалой за генерала и корпусного комиссара сразу»

Перечитывая сейчас заново и это и другие места своих записок, я прихожу к выводу, что в некоторых своих тогдашних суждениях я в гораздо большей мере продукт той эпохи, чем иногда мне — сегодняшнему — хотелось бы думать о себе — тогдашнем.

В связи с тем, что я говорил в комментариях о судьбе таких людей, как Качалов, Понеделин или Кириллов, я невольно возвращаюсь к мысли, что ведь тогда, в 1941 году, касавшийся этих генералов приказ Ставки за № 270 выполнил свою

роль не только вообще, но и по отношению ко мне лично. Он убедил своей жестокой безапелляционностью не только каких-то других, абстрактно взятых «людей того времени», но и меня самого.

Не только кто-то другой, а я сам без колебаний поверил тогда и тому, что во всем происшедшем на Западном фронте виноваты Павлов, Климовских или Коробков, и тому, что их правильно расстреляли.

И не кто-то другой, абстрактный, а также я сам принял на веру, что погибший в бою Качалов «проявил трусость и сдался в плен немецким фашистам», и что Понеделин «имел полную возможность пробиться к своим, но дезертировал к врагу».

И никто не водил моей рукой, когда, увидев в «Фёлькишер беобахтер» фотографию стоявших среди немецких офицеров Понеделина и Кириллова, я с искренней злобой написал в записках об этих взятых в плен людях, что у них «сытые и наглые физиономии».

Вряд ли что-нибудь похожее можно было увидеть на этом газетном снимке. Но под впечатлением приказа № 270 я считал этих людей дезертирами и предателями, и именно такими казались они мне на снимке. Если бы я не верил в это, если бы мной владели сомнения, я никогда бы не написал этих слов, им просто-напросто неоткуда было бы появиться в моих записках, не предназначавшихся в то время ни для чьих глаз, кроме моих собственных.

А кажущиеся мне сейчас нелепыми и даже оскорбительными слова о рыбаках, которые «могли бы в такую ночь завезти нас куда угодно», — откуда они взялись, эти слова?

В тех же записках в других случаях я обрушивался на подозрительность других людей. А здесь вдруг мне самому пришла в голову мысль, рикошетом долетевшая откуда-то из тридцать седьмого года. Значит, в каких-то обстоятельствах я и сам, очевидно, мог быть и бывал тогда несправедлив в своем хотя бы мысленном недоверии к людям, в мысленном допущении того, чего не было оснований допускать. Какой-то своей частицей это недоверие сидело во мне — тогдашнем…

Я пишу все это не ради биения себя в грудь, а чтобы подчеркнуть, что воссоздание атмосферы того времени во всей ее сложности и противоречивости не может быть основано ни на самобичевании и отречении от себя тогдашнего, ни на

искусственном перенесении себя сегодняшнего в атмосферу того времени с целью совершить над ним суд скорый и неправый.

Воссоздание действительной атмосферы того времени, всех его событий и особенностей, в том числе и духовных, — это длительный и сложный процесс познания, а для людей, которые, подобно мне, так или иначе были действующими лицами того времени, — это одновременно и процесс самопознания.

В процессе этого познания и самопознания мы, не унижая, но и не щадя себя, идем по нелегкому пути установления исторической правды. Конца ему пока еще не видно, однако пройденный нами отрезок уже достаточно велик, чтобы дать представление о мере нашей решимости.

Немаловажная часть этой большой и сложной исторической правды о войне — без готовности встретиться с которой литератору незачем и приниматься за историю войны — связана с деятельностью Сталина в предвоенный период и с его ролью в руководстве войной. Наш долг объективно, с помощью документов и живых свидетельств изучить и проанализировать эту роль со всеми ее положительными и отрицательными сторонами, ничего не преувеличивая и не преуменьшая.

Те противоречия, с которыми мы неминуемо при этом столкнемся, не должны ставить нас в тупик или заставлять уходить от фактов, не укладывающихся в прямолинейные схемы, скажем, от таких фактов, как тост за здоровье русского народа, который Сталин произнес в мае 1945 года:

«У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941–1942 годах…

Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии…»

Люди, прошедшие войну, и сейчас вспоминают с глубоким волнением эти слова. Однако волнение не исключает необходимости анализа.

Бесспорно, только такая историческая фигура, как Сталин, могла решиться сказать эти слова, содержащие и прямое признание ряда ошибок, и справедливую

оценку наиболее кризисных моментов 1941–1942 годов. Эти слова, несомненно, содержат самокритику, поскольку, употребляя слово «правительство», Сталин к тому времени уже привык подразумевать под этим прежде всего самого себя.

Все это так. Но у всего этого, несомненно, была и своя оборотная сторона. Сталин своим тостом отнюдь не призывал других людей, в том числе историков, к правдивому анализу ошибок первого периода войны и тем более причин этих ошибок.

Наоборот. Как единственный судья, имеющий на это право, оценив минувший период истории, в том числе и свои отношения с русским народом, так, как он их понимал, он как бы ставил точку на самой возможности существования подобных суровых критических оценок в дальнейшем. Слова этого тоста на первый взгляд как будто призывали людей говорить о прошлом суровую правду, но на деле за этими словами стояло твердое намерение раз и навсегда подвести черту под прошлым, не допуская его дальнейшего анализа со стороны кого-то другого. И нетрудно себе представить, какая судьба ждала бы при жизни Сталина человека, который, оперевшись на текст этого сказанного после победы тоста, попробовал бы на конкретном историческом материале проиллюстрировать слова Сталина о моментах отчаянного положения и о том, что у правительства было немало ошибок…

Во всяком случае, знакомясь с очень широким кругом работ о войне, вышедших между 1945 и 1954 годом, я пока еще ни разу нигде не натолкнулся на ту цитату из тоста Сталина, о которой идет речь. Любые другие цитаты — да. Эта — нет. И принимать это за случайность невозможно.

103 «Мы добрались до Симферополя глухой ночью 23 сентября»

«Николаев сказал… поедем завтра на Перекоп. Но когда я на следующий день в девять утра пришел к нему, он сказал, что поездка откладывается на день или на два. Я спросил его об обстановке. Он сказал, что пока тихо».

Как мне теперь ясно по документам, мы вернулись в Симферополь не ночью 23 сентября, а в ночь на 23-е. И наш утренний разговор с Николаевым происходил 23-го, а не 24-го. Если бы этот разговор происходил в девять утра 24-го, то штабу армии, а значит, и Николаеву, было бы уже известно, что Манштейн на рассвете начал свое наступление на Перекоп. Ответ — «пока тихо» — мог быть дан только

утром 23-го, это был последний день, когда там, в Крыму, так и считали. Вечером 23 сентября, когда наш самолет с прогоревшими патрубками сел на вынужденную, не долетев до Ростова, в разведсводке, переданной в Москву из Крыма штабом 51-й армии, говорилось: «Противник, продолжая прикрываться на Крымском направлении, проявляет главные усилия на Мелитопольском направлении». На следующее утро эта сводка была опровергнута обрушившимся на Перекоп наступлением 11-й немецкой армии.

104 «Ничего, подлетишь в Мурманск на недельку, вернешься — и опять поедешь к себе в Крым…»

В предписании было сказано: «С получением сего вам надлежит отправиться в служебную командировку в Действующую Северную армию и Северный морской флот для выполнения задания редакции».

Добыв для полета старенький Р-5, Ортенберг отправил меня на аэродром фельдсвязи с соответствующей бумажкой: «По указанию начальника Управления военных сообщений Красной Армии тов. Ковалева, прошу 28 сентября отправить в Архангельск специального корреспондента „Красной звезды" писателя Симонова К. М.».

Р-5 был дан только до Архангельска, оттуда в Мурманск предстояло добираться другим самолетом…

Двадцать восьмого не было погоды. Вылетел 29-го.

Против своих ожиданий я попал «к себе в Крым» не через неделю, как думал тогда, а только 2 января 1942 года, когда, потеряв до этого весь Крым, кроме Севастополя, мы снова ворвались на полуостров, высадив десант в Керчи и Феодосии.

Нескоро попал я и в Москву. Выполнив задание редакции и написав об англичанах, я, как и многие другие корреспонденты, просил разрешения вернуться и работать на Западном фронте. Но Ортенберг продержал меня под Мурманском до второй половины ноября. В разгар наступления немцев на Москву газете нужны были для контраста материалы того единственного — Мурманского — участка фронта, где мы стояли почти на старой государственной границе, и откуда можно было писать о действиях наших разведывательных и диверсионных групп в Финляндии и даже Норвегии. Этого и требовала от меня редакция.

Мои довольно подробные записки за этот период представляют собой скорее рассказ об особенностях работы военного корреспондента, заброшенного на самый дальний заполярный участок фронта, чем повествование о событиях, волновавших в те дни всю страну и решавших ее исторические судьбы. Поэтому мне показалось правильным закончить публикацию дневников днем своего отлета на север.

Двадцать девятое сентября… Через сутки немцы начнут свое генеральное наступление на Москву ударом второй танковой группы по левому крылу Брянского фронта, а еще через двое суток, 2 октября, обрушатся главными силами на войска Западного и Резервного фронтов…

День 2 октября был в известной мере символическим для германской армии. Совпало так, что она наносила свой главный удар — на Москву — в день рождения фельдмаршала Гинденбурга, победителя русских при Танненберге в 1914 году. Под Москвой предполагалось повторить нечто схожее с окружением и разгромом армии генерала Самсонова, только на этот раз в неизмеримо больших масштабах.

Двадцать пятого сентября, за несколько дней до начала Московской битвы, очевидно, мысленно видя ее уже завершенной, Гитлер в своей очередной конфиденциальной беседе воскликнул: «Азия! Какой неисчислимый резервуар рабочей силы! Безопасность Европы не будет обеспечена, пока мы не отбросим Азию за Урал. Ни одному организованному русскому государству не будет позволено существовать к западу от этой линии. Они — животные. Ни большевизм, ни царизм не меняют их — они животные по существу своему. Берлин должен быть истинным центром Европы, столицей для всех».

Я перечел эти сохраненные для истории слова Гитлера и вспомнил о высказывании другого, более дальновидного самоубийцы, покончившего с жизнью тогда же и там же, где и Гитлер, — в «истинном центре Европы». Об этом высказывании вспомнил попавший к нам в плен в Берлине государственный советник министерства пропаганды Вольф Херншсдорф.

«Незадолго до смерти Геббельс напомнил своим приближенным, что он всегда считал войну с Россией крайне тяжелым предприятием. Он имел в виду одно из своих выступлений, сделанное в очень узком кругу за две недели до войны с

Россией. Он тогда говорил, что предстоящая война будет непохожа на те войны, которые Германия вела против Польши, Франции и других стран. Война Германии и России будет войной мировоззрений, и обе стороны будут сражаться ожесточенно, не на живот, а на смерть, говорил он тогда».

А взятый в плен в день смерти Гитлера подполковник Эрнст Бисс, один из тех, кто в сорок первом шел все вперед и вперед — к Москве, горестно оглядывая пройденный путь, сказал на допросе так:

«Мне теперь безразлично — жить или умереть. Я был захвачен в плен раненым и я подавлен не только своим положением военнопленного, но и сознанием того, что борьба на поле боя Германией проиграна. Если что еще поддерживает во мне бодрость духа и желание жить, так это то, что я пленен армией, которая одержала победу над сильнейшей армией в мире — германской армией».

Но все это было еще далеко впереди: и самоубийство Гитлера, и воспоминания Геббельса, и признания плененного на улицах Берлина подполковника.

Было еще только 29 сентября 1941 года, шли всего-навсего сотые сутки с того памятного июньского утра…

И да простится мне цитата из собственной старой книги: «Как бы много всего не оставалось за плечами, впереди была еще целая война…»

[Послесловие]

Л. Лазарев

Так это было…

В конце войны, отвечая на вопросы Американского телеграфного агентства, Константин Симонов писал:

«Что касается писателей, то, по моему мнению, сразу же, как кончится война, им нужно будет привести в порядок свои дневники. Что бы они ни писали во время войны и как бы их за это ни хвалили читатели, все равно на первый же день после окончания войны самым существенным, что они сделали на войне за войну, окажутся именно их дневники».

Говоря так, Симонов имел в виду и себя, и, может быть, себя главным образом: мало кто из писателей, буквально по пальцам можно перечесть (конечно, из тех,

кто находился в действующей армии, в редакциях фронтовых газет, а тем более в строю), вел тогда дневники, даже если понимал их важность, их будущую ценность как непосредственного документального свидетельства, как материала для книг, которые предстоит написать. Записные книжки еще куда ни шло, они были у многих — как без них корреспонденту… А вот вести дневник, записывать день за днем происходящее вокруг тебя и с тобой, на это прежде всего не хватало сил — и духовных, и физических. Надо представить себе — и книга Симонова, которую читатель держит в руках, помогает этому, — в каких условиях на фронте находился журналист. И Симонову, человеку редкой работоспособности, собранности и целеустремленности, даже ему не удавалось вести дневник регулярно, день за днем, — он записывал, вернее диктовал, обычно задним числом, возвратившись с фронта в Москву, в редакцию. В одной из бесед — она опубликована — он рассказал мне: «Как же образовалось то, что я называю дневниками? Называю их так условно, точнее — это записи о войне. После того как я отписался и сдал корреспонденции, у меня как-то ранней весной сорок второго года возникла мысль вспомнить и записать все, что со мной было, все, что я видел в начале войны. Возникла для этого возможность — я мог это сделать, потому что была стенографистка и появились свободные, правда ночные, часы. И вот я стал между поездками, беря свои блокноты, которые с точки зрения журналистской были уже отработаны, или просто вспоминая, стал последовательно, день за днем, записывать, как шла война. Это не дневники, а подневная запись, то, что я мог вспомнить — не издалека, а по горячим следам».

И вторая причина, делающая подробные записи явлением редким, даже уникальным: вести дневники на фронте, особенно в первую половину войны, было строго-настрого запрещено. Это объяснялось требованиями бдительности: а вдруг дневник попадет в руки врага и он им воспользуется! Здесь нет нужды выяснять, были ли эти соображения обоснованы, но то, что за дневник можно было серьезно поплатиться, нажить себе нешуточные неприятности, это все хорошо понимали и немногие решались рисковать. Симонов это тоже понимал не хуже других — не зря отдал дневник на хранение главному редактору «Красной звезды», тот берег его в своем служебном сейфе, это место казалось не только надежным, но и безопасным.

Как и было им заявлено Американскому телеграфному агентству, сразу же после

войны Симонов привел в порядок свои записи за сорок первый год и из их фрагментов составил подборку, которая была опубликована в журнале «Знамя» (1945, №№ 5–6, 7). Редактор этого журнала Всеволод Вишневский был одним из тех немногих писателей, кто отважился в дни войны вести дневник, и, наверное, поэтому сумел по достоинству оценить симоновские дневники. Но поразительное дело — в критике о них ни одного слова! А ведь популярность в ту пору у Симонова была огромная: каждая написанная им строчка вызывала у читателей острый интерес. Эта же публикация прошла практически незамеченной (фрагменты из симоновского дневника сорок первого года вошли в один из его сборников и больше не перепечатывались) и была прочно забыта. На четверть века дневники легли в ящик письменного стола, стали материалом лишь для «внутреннего пользования» (Симонов обращался к ним, когда писал «Живые и мертвые»), им долго пришлось ждать своего часа…

В чем же дело? Пусть это не выглядит парадоксом, но в то время мы (я имею в виду ту, основную массу читателей, которые были на фронте солдатами и офицерами переднего края) помнили войну много лучше, а знали хуже, чем четверть века спустя или сейчас. Помнили лучше — это были даже не воспоминания, мы еще продолжали жить в войне, и начавшаяся мирная жизнь казалась каким-то странным сном, в который трудно поверить. А наше знание войны сводилось тогда во многом лишь к личному опыту, хотя это был опыт, купленный очень дорогой ценой, и его никак и ничем невозможно возместить. Это был опыт чрезвычайно глубокий, но вместе с тем узкий, ограниченный, нам все-таки недоставало широкого и «стереоскопического» видения войны, мы смутно представляли ее общую панораму, без которой невозможно было оценить не только симоновский дневник, но и собственный фронтовой опыт.

Эта панорама, это общее представление о войне складывалось постепенно, годами — и продолжает складываться по нынешний день — из множества прочитанных статей в газетах и журналах, книг — документальных и художественных, мемуарных, исторических, из десятков увиденных кинофильмов, из скупо публиковавшихся, но все-таки накапливавшихся архивных документов, статистических данных и т. д. и т. п. И чем больше становился этот багаж, тем яснее осознавали мы место в общей панораме войны того, что видели сами, тем острее ощущали пробелы в наших знаниях, тем внимательнее были ко всему

новому, прежде нам неизвестному, лучше его различали, больше ценили, — впрочем, это обычная диалектика познания.

Было бы заблуждением думать, что военный опыт писателей, того же Симонова, запечатленный в немногих дневниках и записных книжках, в отличие от нашего опыта рядовых участников войны, был свободен от узости и ограниченности. И у них, когда они вели свои записи, представление об общей панораме войны было все-таки приблизительным, порой неточным. Многие взгляды и суждения, рожденные той эпохой и ей принадлежавшие, в какой-то степени были общими для всех современников, их справедливо называют расхожими, они с годами изменялись, трансформировались и через четверть века иногда кажутся странными, нелепыми, поражают даже нас самих, но ничего не поделаешь, так было. Эта проблема с неотвратимостью встает перед каждым писателем, решившим публиковать свои старые записи или дневники. Если он хочет быть верен исторической правде, он не может причесывать на нынешний манер то, что думал и писал когда-то. Но он должен — тоже из уважения к исторической правде, — не вторгаясь в старые записи, не подчищая их, не переписывая, дополнить, углубить, уточнить или оспорить свои впечатления и суждения военного времени, то есть требуется общая панорама, которая не только будет выполнять функции современного критического комментария, но и помогает определить степень достоверности, а, следовательно, и ценность публикуемых записей.

Симонов много размышлял над этим еще до того, как принялся готовить свои записи для второй — после 45-го года — уже полной публикации. В одном из писем в начале 60-х годов он советует автору присланной ему на отзыв рукописи: «…у меня родилась мысль (может быть, запоздалая): не сделать ли всю эту книжку как тогдашний дневник с сегодняшними комментариями? Может быть, это следует даже подчеркнуть и графически, — скажем, тогдашние записи набрать корпусом, а нынешние примечания — курсивом?.. При такой форме будет и ощущение полной достоверности и будет возможность, сохраняя эту достоверность тогдашних обстоятельств, чувств, поступков, мыслей, высказать и то, что Вы по этому поводу думаете и чувствуете сейчас…» Этот принцип подачи материала Симонов и осуществил в книге «Сто суток войны». Сопоставление и сочетание двух точек зрения, между которыми четверть века жизни, двух

взглядов, у каждого из которых есть свои преимущества: один в упор, точно фиксирующий происходящее во всех деталях и подробностях, которые — отступи чуть дальше — расплываются; другой — издалека, охватывающий причины и следствия, обнаруживающий связь явлений, которую с близкого расстояния заметить невозможно. И преимущества одного компенсируют ограниченность другого. Эта постоянная «съемка» с двух «точек», делающая изображение «стереоскопичным», и есть то новое, что открыл автор «Ста суток войны» в традиционном литературном жанре, и одна из главных причин успеха дневниковых книг Симонова.

Но, разумеется, не единственная. Симонов в своих дневниках немало размышляет о чисто военных проблемах, его суждения серьезны и основательны, более того — проницательны, но важнее то, что это писательские дневники, и именно этим они привлекают больше всего. Они написаны автором, обладающим особой остротой, особо «настроенным» зрением. Дневник вел человек и очень наблюдательный, и отличавшийся жадным интересом к тому, что происходило, стремившийся увидеть побольше. Причем это был интерес сосредоточенный — Симонова больше всего занимали люди, их поведение на войне, в минуты смертельной опасности, их душевные качества, какими они были в мирное время и как трансформировались в войну, их чувство ответственности — профессиональной и гражданской (он постоянно подчеркивает их неразделимость), нравственные проблемы, которые встают перед людьми на фронте, житейские заботы, от которых никто не избавлен и на войне.

Всюду, когда Симонову удавалось это выяснить, он в комментариях сообщает обнаруженные им нынче сведения биографические, рассказывает о дальнейшей судьбе людей, с которыми он встречался на фронте. И даже мимолетные встречи начинают выглядеть не только запомнившимся автору коротким эпизодом очередной его командировки в действующую армию, но и частью жизни какого-то человека. (Кстати, читатель может убедиться и в том, сколь проницательны наблюдения писателя, — ведь они не только дополняются, но и проверяются тем, что мы узнаем о биографии этого человека.) «Моментальный снимок» как бы становится кадром того «фильма», который и есть вся прожитая человеком жизнь. В таком остром интересе к человеческой личности, хочу это повторить, — одна из существенных особенностей мемуарно-документальной книги Симонова как

произведения писателя, художника.

Симонов раскрывает в своих записях, что война — это не только храбрость и стойкость солдат и офицеров, не только атаки и свистящие пули, поле боя, изрытое воронками от мин так, что, если бы они разорвались одновременно, ничего живого здесь не осталось бы, не только танки, орудия, самолеты, извергающие смертоносный металл или превращенные в фантастических размеров свалки металлолома. Война потребовала крайних, предельных усилий всего народа, не миновала никого, проникла во все поры жизни, стала повседневным бытом миллионов людей. Такой она запечатлена в дневниках. И не представив достаточно ясно, на каком краю мы стояли, не поймешь подлинных масштабов того, что происходило тогда, — ни размеров жертв, понесенных страной, ни величия народного подвига. Читая дневники Симонова, бесстрашно запечатлевшие те невыносимо тяжкие и горькие дни, все это лучше видишь и глубже осознаешь.

Пожалуй, ни в одном другом литературном жанре «образ рассказчика» не играет такой важной роли, как в дневниках и мемуарах. Здесь прямо отражается то, что было с автором, что он видел, с кем встречался, как в разных ситуациях вел себя, его достоинства и слабости. Самоощущение автора, его отношение к себе и к окружающим, поведение в минуты опасности, реакция на добро и зло — все это накладывает неизгладимо глубокий отпечаток на общую картину жизни, соответствующим образом формирует впечатления действительности. И тут надо прежде всего отметить стремление Симонова по возможности пережить то, что выпадает на долю людей, о которых он пишет, побывать с ними в деле, чтобы понять их, оценить меру выпавших на их долю испытаний. Он видел в этом и профессиональный долг, который потом сформулировал для себя так: «Реже рискуешь — меньше видишь, хуже пишешь», — и нравственный принцип. При этом он исходит из того, что «работа военных корреспондентов была не самой опасной и не самой тяжелой. Тот, кто этого не понимал, не был ни настоящим военным корреспондентом, ни настоящим человеком. А те, кто это понимали, сами, без требований со стороны начальства, стремились сделать свою работу и опасной и тяжелой, старались сделать все, что могли, не пользуясь ни выгодами своей относительно свободной на фронте профессии, ни отсутствием постоянного глаза начальства». Такое отношение к себе — в конце жизни в фильме «Шел

солдат…» он скажет снова и твердо: «Я не был солдатом, был всего-навсего корреспондентом…» — необычайно привлекательная черта симоновских дневников. Автор не сооружает себе словесного пьедестала, не выпячивает себя, не носится с собой, он не боится признаться, что ему бывает и тяжко и страшно, но никак не преувеличивает выпадающих на его долю тягот и опасностей, дает непременно понять, что все это не идет ни в какое сравнение с тем, что приходится выносить солдатам и офицерам «на передке». Попав в опасную заваруху, оказавшись в трудном положении, он склонен относиться к себе скорее с юмором, чем с жалостью. Но он неизменно серьезен, когда дело идет о выполнении долга: здесь он не дает себе никаких поблажек…

Незадолго до смерти, на одной из последних встреч с читателями (если быть совсем точным, на предпоследней — в Военно-политической академии имени В. И. Ленина) Симонов, коснувшись истории своей книги дневников, рассказал: «Идея опубликовать эти дневники, собрать их в книгу у меня возникла после того, как я сделал доклад „История войны и долг писателей" на писательском пленуме. Многое было довольно резко сформулировано, печатать его не хотели. Ну я и решил: ах так, не хотите печатать 25 страниц, хорошо, я сделаю тогда этот доклад об истории войны и долге писателей на полторы тысячи страниц… Я, конечно, шучу, но в общем это был окончательный толчок».

Когда Симонову предложили к 20-летию Победы сделать этот доклад на пленуме Правления московской писательской организации и Комиссии по военно-художественной литературе при Правлении Союза писателей СССР, он сказал, что посвятит его не художественной литературе, а некоторым коренным проблемам истории Великой Отечественной войны, от понимания которых в немалой степени зависит и движение вперед литературы, и глубина осмысления писателями этого трагического материала. Подготовка этого доклада была для Симонова определенным рубежом постижения войны, итогом многолетних размышлений над причинами наших нежданных и постыдных поражений. Один из самых крупных наших военных историков, академик А. Самсонов писал об этом симоновском докладе: «Еще двадцать лет назад К. М. Симонов с присущим ему мужеством и гражданственностью выполнил эту работу, к которой сейчас, по сути, только еще приступают историки…» Действительно, в этом докладе впервые в нашей исторической литературе было сказано с такой резкостью и

определенностью, что уничтожение в 1937–1938 годах больше половины высшего и среднего командного состава армии (репрессии, хотя уже не в таком масштабе продолжались и позже, до самого начала войны, что тоже отметил Симонов), обстановка истерической подозрительности, леденящего, сковывавшего людей страха, нравственный удар, который нанесли репрессии уцелевшим, — все это предопределило разгром наших армий в сорок первом, после которого они оправились с огромным трудом, ценой величайших жертв. Симонов камня на камне не оставлял от официального объяснения наших поражений, нашего отступления, которое в армии без дипломатических околичностей именовали тогда «драпом», вызванных «внезапным», «вероломным» нападением гитлеровской Германии: «Сталин, — писал он, — несет ответственность не просто за тот факт, что он с непостижимым упорством не желал считаться с важнейшими донесениями разведчиков. Главная его вина перед страной в том, что он создал гибельную атмосферу, когда десятки вполне компетентных людей, располагавших неопровержимыми документальными данными, не располагали возможностью доказать главе государства масштаб опасности и не располагали правами для того, чтобы принять достаточные меры к ее предотвращению».

Набранный в двух изданиях доклад Симонова, как уже было сказано, света не увидел (он был опубликован лишь в 1987 году в июньской книжке журнала «Наука и жизнь»), В это же время на Симонова обрушились и другие такого рода неприятности — задержан был выпуск на экран документального фильма об обороне Москвы «Если дорог тебе твой дом…», сценарий которого Симонов написал вместе с Е. Воробьевым и В. Ордынским и работа над которым ему казалась делом в высшей степени общественно важным. Власть предержащие, грозя положить фильм на полку, требовали купюр и поправок, предъявляя фильму те же претензии, что и к зарезанному в печати докладу. Для характеристики идеологической обстановки той поры стоит напомнить, что тогда же состоялся показательный — с оргвыводами — разгром книги А. Некрича «1941, 22 июня». Все это означало, что исследованию причин наших ошибок, поражений, сталинских преступлений кладется конец. После хрущевской «оттепели» страну снова подмораживали, проводилась вкрадчивая, иезуитская — с заверениями: «Никто не отменяет решений XX съезда партии о культе личности», — но непрестанная и неуклонная ресталинизация.

Приходится только удивляться, что в таких условиях Симонов продолжал работать над комментарием к своим военным дневникам. Он не мог не понимать, что напечатать все это будет очень трудно, а если удастся, то только чудом. Но, видно, работа эта была ему так душевно необходима, так захватила его, что забросить или отложить ее он уже не мог. «Сто суток войны» были закончены, приняты Твардовским, который очень высоко оценивал эту вещь Симонова, набраны и должны были появиться в трех последних номерах 1967 года. Но объявленная журналом книга света не увидела — как говорили в ту пору, по не зависящим от автора и редакции обстоятельствам. Симонов пытался бороться с цензурой, пробить эту стену, увы, ничего из этого не вышло. Он решил обратиться «на самый верх», все-таки он был обладателем одного из самых громких имен в нашей литературе, особенно высок был его авторитет как военного писателя, но не получил не только поддержки, но и ответа. Сохранились письма, запечатлевшие историю его безрезультатных хлопот и хамского начальственного произвола.

Человек мужественный и стойкий, обычно не падавший духом от неприятностей и ударов судьбы, Симонов эту историю переживал тяжело. В письме своему старому другу Д. Ортенбергу, в котором речь идет о заказанном им Симонову очерке для готовившегося сборника о Г. К. Жукове, он не скрывает мрачного настроения и горьких мыслей: «Не надо себя тешить иллюзиями. Такого рода работа — а никакую другую мне делать неинтересно, да я просто и не смогу — при нынешнем, подчеркиваю, при нынешнем отношении к истории света не увидит. Поэтому я и сигнализировал тебе, что для проходимого через нынешнюю обезумевшую цензуру очерка надо срочно искать другого автора…

Если бы вдруг случилось чудо и цензура наша образумилась, то тогда другое дело — такая вещь, конечно, могла бы быть напечатана. Но надежд на такое изменение нравов у меня что-то мало.

Что же касается моих колебаний, ты должен понять их. Я дал тебе слово написать. Я люблю тебя и хотел бы выполнить это слово. Я люблю и уважаю Жукова и рад был бы написать о нем. Но пойми мои чувства человека, у которого лежит полтора года без движения рукопись, которую он считает лучшей из всего, что он написал. Как трудно такому человеку сидеть и писать еще одну вещь, которая, по его весьма основательным предчувствиям, ляжет и тоже будет лежать рядом с

предыдущей».

Кстати, предчувствия не обманули Симонова — написанные им по просьбе Д. Ортенберга «Заметки к биографии Г. К. Жукова» были опубликованы только через двадцать лет, в 1987 году. А дневники первых месяцев войны увидели свет через семь с лишним лет после того, как были набраны в «Новом мире», — с немалыми потерями, с весьма существенными купюрами в комментариях.

Отвечая в 1972 году на грустное и растерянное письмо одной читательницы, которая пришла в уныние, столкнувшись в литературе с намеренными искажениями исторической правды, Симонов писал:

«Я менее пессимистически настроен, чем Вы, в отношении будущего. Думаю, что правду не спрячешь и история останется подлинной историей, несмотря на различные попытки фальсифицировать ее — главным образом при помощи умолчаний…

Хотелось бы добавить: поживем — увидим, но поскольку речь идет об отдаленных временах, то мы уже не увидим. Однако думаю, что будут верить как раз тому, что ближе к истине. Человечество никогда не было лишено здравого смысла. Не лишится его и впредь».

Симонов оказался прав, говоря, что правду не скроешь, что подлинная история, что бы ни делалось для того, чтобы задним числом ее переписать, подчистить, приукрасить, все равно рано или поздно откроется. Это время пришло раньше, чем предполагал Симонов, мы дожили до него. Как жаль, что сам он не увидит, что его «Сто суток войны» выходят в том виде, в каком он написал эту книгу суровой правды и в каком хотел, чтобы ее прочитали…